П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений в восьми томах

ТОМ 3

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина

Иллюстрации художника
И. С. Глазунова

В ЛЕСАХ



КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Осиповке все глядят сумрачно, чем-то все озабочены. У каждого своя дума, у каждого своя кручина.

Аксинья Захаровна в хлопотах с утра до́ ночи, и хоть старым костям не больно под силу, а день-деньской бродит взад и вперед по дому. Две заботы у ней: первая забота, чтоб Алексей без нужного дела не слонялся по́ дому и отнюдь бы не ходил в верхние горницы, другая забота — не придумает, что делать с братцем любезным... Только успел Патап Максимыч со двора съехать, Волк закурил во всю ивановскую. Нахлебается с утра хлебной слезы и пойдет на весь день куролесить: с сестрой бранится, вздорит с работниками, а чуть завидит Алексея, тотчас хоть в драку... И за старый промысел принялся: что плохо лежит, само ему в руку лезет: само в кабак под заклад просится. Согнать со двора хотела его Аксинья Захаровна, нейдет: «Меня-де Патап Максимыч к себе жить пустил, я-де ему в Узенях нужен, а ты мне не указчица...» И денег уж Аксинья Захаровна давала ему, уйди только из деревни́ вон, но и тем не могла избавиться от собинки: пропьянствует на стороне дня три, четыре да по милым родным истоскуется — опять к сестре на двор...

Настя и Параша сидят в своих светелках сумрачные, грустные. На что Параша, ко всему безучастная, ленивая толстуха, и ту скука до того одолела, что хоть руки на себя поднимать. За одно дело примется, не клеится, за другое — из рук вон валится: что ни зачнет, тотчас бросит, и опять за новое берется. Только и отрады, как завалится спать...

У Насти другая скорбь, иная назола. Тоскует она по Фленушке, без нее не с кем словом ей перекинуться. Тоскует она, не видя по целым дням Алексея; тоскует, видя его думчивого, угрюмого. Видеться им редко удается, на верх ходу ему нет, а если когда и придет, так Аксинья Захаровна за ним по пятам... Тоскует Настя днем, тоскует ночью, мочит подушку горючими слезьми... Томят ее думы... что-то с ней будет, какая-то судьба ей выпадет?.. Будет ли она женой Алексея, иль на роду ей писано изныть в одиночестве, сокрушаясь по милом и кляня судьбу свою горе-горькую?..

«Что такое с ним подеялось? — думает и передумывает Настя, сидя в своей светелке.— Что за грусть, за тоска у него нá сердце? Спросишь — молчит, и ровно хмарой лицо у него вдруг подернется... И такой молчаливый стал, сам не улыбнется... Разлюбить, кажись бы, еще некогда — да и не зá что... За что же, за что разлюбить меня?.. Все ему отдала беззаветно, девичьей чести не пожалела, стыда-совести не побоялась, не устрашилась грозного слова родительского... Думаю, не придумаю... Раскину умом-разумом, разгадать не могу — откуда такая остуда в нем?.. Новой зазнобы не завелось ли у него?..»

И от одной мысли о новой зазнобе у Насти в глазах туманится, сверкают глаза зловещим блеском, а сердце ровно кипятком обливается...

Запала черная дума. Как ни бьется Настасья Патаповна отогнать ее — не может... Небывалая разлучница то и дело мерещится в глазах ее...

У Алексея свои думы. Золотой песок не сходит с ума. «Денег, денег, казны золотой! — думает он про себя.— Богатому везде ширь да гладь, чего захочет, все перед ним само выкладáется. Ино дело бедному... Ему только на ум какое дело вспадет, и то страшно покажется, а богатый тешь своё хотенье — золотым молотом он и железны ворота прокует. Тугая мошна не говорит, а чудеса творит — крякни да денежкой брякни, все тебе поклонится, все по-твоему сделается».

Люба Настя Алексею, да с пустым карманом как добыть ее? Хоть и стал он в чести у Патапа Максимыча, а попробуй-ка заикнись ему про дочку любимую, такой задаст поворот, что только охнешь. «У тестя казны за-

кроmа́ полны, а у зятя ни хижи, ни крыши. На свете так не водится, такие свадьбы не ладятся... Уходом разве, как Фленушка говорила?.. Так это затея опасная. Не таков человек Патап Максимыч, чтоб такую обиду стерпеть — не пришибет что собаку, так с тюремным горем заставит спознаться... Золота, золота!.. Чем бы денег ни добыть, а без них нельзя жить!..»

Такие мысли туманили Алексееву голову. Тянет его на Ветлугу, там золото в земле, слышь, рассыпано... Греби-загребай, набивай мошну дорогой казной, тогда не лиха беда и посвататься. Другим тогда голосом заговорил бы спесивый тысячник... Не приходят Алексею на ум ни погорелый отец, ни мать, душу свою положившая в сыновьях своих, ни сестры, ни любимый братец Савушка... Черствое себялюбие завладело Алексеем: гнетет его забота об одном себе, до других ему и нуждушки нет... Раздумывая о богатстве, мечтая, как он развернется и заживет на славу,— не думает и про Настю Алексей... Золото, золото да жажда людского почета заслоняли в думах его образ девушки, в пылу страстной любви беззаветно ему предавшейся.

А если не нароет он на Ветлуге дорогой казны?.. Пропадай тогда жизнь бедовая, доля горькая!.. А если помимо Ветлуги выпадут ему несметные деньги, во всем обилье, житье-бытье богатое?.. И если за такую счастливую долю надо будет покинуть Настасью Патаповну... забыть ее, другую полюбить?..

Думает-передумывает Алексей думы тяжелые. Алчность богатства, жадная корысть с каждым днем разрастаются в омраченной душе его... И смотрит он на свет божий, ровно хмара темная. Не слыхать от него ни звонких песен, ни прежних веселых речей, не светятся глаза его ясной радостью, не живит игривая улыбка туманного лица его.

С тяжелой тоской на душе, облокотясь на стол и склонив голову, сидел Алексей в своей боковуше. Роятся думы в уме его, наяву грезится желанное житье-бытье богатое.

Вдруг над ним три раза ногой топнули. То был условный знак, придуманный Фленушкой. В тот вечер, как справляли канун именин Аксиньи Захаровны, она такую уловку придумала.

Отодвинул Алексей оконницу и стал глядеть, как прилетит к нему птичка, про которую говорила тогда Фленушка... Не впервой было Алексею таких птичек ловить...

Из окна Настиной светлицы, приходившейся как раз над Алексеевой боковушей, спустилась на снурке записочка... Окна выходили на огород, занесенный сугробами, заметить некому.

Прочел Алексей записку. Пишет Настя, что стосковалась она, долго не видя милого, и хочет сейчас сойти к нему. Благо пора выдалась удобная: набродившись с утра, Аксинья Захаровна заснула, работницы, глядя на нее, тоже завалились сумерничать... Черкнул Алексей на бумажке одно слово «приходи», подвязал ее на снурок. Птичка полетела кверху.

Через несколько минут дверь в боковушу растворилась и вошла Настя. Тихой поступью, медленно ступая, подошла она к Алексею, обвила его шею белоснежными руками и, припав к плечу, зарыдала...

— Голубчик ты мой!.. Ненаглядный...— всхлипывая и трепетно прижимаясь к милому, говорила она.— Стосковалась я по тебе, измучилась!.. Не мил стал мне вольный свет!.. Тошнехонько!..

Алексей ласкал Настю, но ласки его были не так горячи, не так страстны и порывисты, как прежде...

— Чтой-то, Алеша? — покачав головой, молвила Настя.— Ровно ты мне и не рад.

— Чтой-то ты вздумала, Настасья Патаповна!.. Как же мне твоему приходу не раду быть? — сухо проговорил Алексей, гладя Настю по головке.

— Настасья Патаповна!..— с укором прошептала девушка.— Разве я тебе Настасья Патаповна?..— вскрикнула она вслед за тем.

— Ну, не сердись, не гневайся, моя разлапушка,— с притворной нежностью заговорил Алексей, целуя Настю.— Так с языка сорвалось.

— Разлюбил ты меня!.. Вот что!..— стиснув зубы и отстраняясь от него, молвила Настя.

— Что ты, что ты?.. Настенька... Милая! Подумай, какое слово ты молвила! — говорил Алексей, взяв ее за руку.

— Нечего думать! — нахмуря брови, отрывисто сказала Настя, выдергивая руку.— Вижу я, все вижу... Меня не проведешь! Сердце вещун — оно говорит, что ты...

— Да послушай,— зачал было Алексей.

— Тебе меня слушать!... Не мне тебя!.. Молчи!..— строго сказала Настя, отступив от него и скрестив руки. Глаза ее искрились гневом.— Все вижу, меня не обманешь... Такой ли ты прежде бывал?.. Чем я перед тобой провинилась?.. А?.. Чем?.. Говори... говори же скорее... Что ж, наругаться ты, что ли, вздумал надо мной... А?..

— В уме ль ты, Настя... С чего ты это взяла,— говорил совсем растерявшийся Алексей.

— Молчи, говорят тебе,— топнув ногой, не своим голосом крикнула Настя.— Бессовестный ты человек... Думаешь, плакаться буду, убиваться?.. Не на такую напал!.. Нипочем сокрушаться не стану... Слышишь — нипочем... Только вот что скажу я тебе, молодец... Коль заведется у тебя другая — разлучнице не жить... Да и тебе не корыстно будет... Помни мое слово!

И, презрительно взглянув на Алексея, выбежала из боковуши.

Как стоял, так и остался Алексей, опустя руки и поникнув головою...

* * *

На другой день после размолвки Настасьи с Алексеем воротился из Комарова Пантелей и привез известие о внезапной болезни Манефы. Все переполошились, особенно Аксинья Захаровна. Только выслушала она Пантелея, кликнула канонницу Евпраксею, охая и всхлипывая сказала ей печальную весть, велела зажигать большие свечи и лампады передо всеми иконами в моленной и начинать канон за болящую. Дочерям приказала помогать Евпраксеюшке, а сама, бродя по горницам, раздумывала, какому бы святому вернее службу отправлять ради исцеления матушки Манефы. «Ведь от каждой болезни,— думала она,— своему святому молиться следует: зубы заболят — Антипию, глаза заболят — Лаврентию, оспа прикинется — молись преподобному Конону Исаврийскому, а от винного запойства мученик Вонифатий исцеление подает... А как доподлинно не знаешь болезни, какому угоднику станешь молиться?..

Ну как не тому каноны-то справишь,— тогда, пожалуй, и толку не выйдет».

Раз по пяти на каждый час призывала Аксинья Захаровна Пантелея и переспрашивала его про матушкину болезнь. Но Пантелей и сам не знал хорошенько, чем захворала Манефа, слышал только от матерей, что лежит без памяти, голова как огонь, а сама то и дело вздрагивает.

После долгого совещания с Евпраксией Аксинья Захаровна решила гнать Пантелея на тройке обратно в Комаров и спросить уставщицу мать Аркадию, кому в обители за матушку богомольствуют, а до тех пор на всякий случай читать каноны Иоанну Предтече, скорому помощнику от головной боли, да преподобному Марою, целителю трясавичной болезни.

Прибыло у Насти тоски и думы: то Алексей на уме, то Фленушка. «Что с ней-то будет, что будет с Фленушкой, коли помрет тетенька? — думает она, стоя в моленной за каноном.— Черной рясы она не наденет, а белицей в обители будет ей не житье... Заедят, сердечную, матери... Нет, не житье Фленушке в Комарове... Возьмет ли ее казанский жених Самоквасов, еще бог знает, а до венца куда ей будет голову приклонить?.. У нас бы,— чего бы кажется ближе,— да тятенька не примет, не любит он Фленушку... К Груне разве идти?.. Ах ты бедная моя, бедная Фленушка!.. Хоть минуточку с тобой бы побыть, хоть глазком бы на тебя посмотреть!.. Авось бы вместе печали-то свои мы размыкали, и твое горе и мою беду... Эх, Фленушка, Фленушка!.. Нужно было тебе сводить меня с этим лиходеем...»

И Фленушку-то жаль и у смертного одра больной тетки хочется хоть часок посидеть... «Покаялась бы я во всем тетеньке,— думает Настя,— во всем бы ей покаялась... Из могилы тайны она бы не выдала, а греху все-таки прощенье я получила бы. Прочитала бы она мне предсмертную прóщу и спáла б у меня с души тоска лютая... Закрыла бы я глаза матушке, отдала бы ей последнее целование... А пуще всего и́з дому и́з дому вон!.. Бежать бы куда-нибудь далекó, далеко — хоть в пучину морскую, хоть в вертепы земные, не видать бы только глазам моим врага-супротивника, не слыхать бы ушам моим постылых речей его!.. Вот судьба-то!.. Вот моя до-

ля недобрая!.. «Скоро свыкалися, скорее того расходилися» — так, кажется, в песне-то поется... И как этот грех случился, ума приложить не могу... Кого винить, на кого жалиться!.. На Фленушкины проказы аль на свой глупый девичий разум?.. Нет, уж такая, видно, судьба мне выпала... Супротив судьбы не пойдешь!..»

И много и долго размышляла Настя про злую судьбу свою, про свою долю несчастную. Стоит в моленной, перебирает рукой шитую бисером и золотом лестовку, а сама все про беду свою думает, все враг Алешка на ум ей лезет. Гонит Настя прочь докучные мысли про лиходея; не хочет вспомнить про губителя, а он тут как тут...

Воротился Пантелей, сказал, что в обители молебствуют преподобной Фотинии Самаряныне и что матушка Манефа стала больно плоха — лежит в огневице, день ото дня ей хуже, и матери не чают ей в живых остаться. С негодованием узнала Аксинья Захаровна, что Марья Гавриловна послала за лекарем.

— Бога она не боится!.. Умереть не дает божьей старице как следует,— роптала она.— В черной рясе да к лекарям лечиться грех-от какой!.. Чего матери-то глядят, зачем дают Марье Гавриловне в обители своевольничать!.. Слыхано ль дело, чтобы старица, да еще игуменья, у лекарей лечилась?.. Перед самою-то смертью праведную душеньку ее опоганить вздумала!.. Ох, злодейка, злодейка ты, Марья Гавриловна... Еще немца, пожалуй, лечить-то привезут — нехристя!.. Ой!.. тошнехонько и вздумать про такой грех...

И целый день с утра до́ ночи пробродила Аксинья Захаровна по горницам. Вздыхая, охая и заливаясь слезами, все про леченье матушки Манефы она причитала.

Стала Настя проситься у матери.

— Отпусти ты меня в обитель к тетеньке,— с плачем молила она.— Поглядела б я на нее, сердечную, хоть маленько бы походила за ней... Больно мне жалко ее!

И, рыдая, припала к плечу матери...

— Полно-ка ты, Настенька, полно, моя болезная,— уговаривала ее Аксинья Захаровна, сама едва удерживая рыданья.— Посуди, девонька,— могу ль я отпустить тебя? Отец воротится, а тебя дома нет. Что тогда?.. Аль не знаешь, каков он во гневе бывает?..

— Мамынька, да ведь это не такое дело... Не на гулянье прошусь, не ради каких пустяков поеду... За что ж ему гневаться?.. Тятенька рассудлив, похвалит еще нас с тобой.

— Много ты знаешь своего тятеньку!..— тяжело вздохнув, молвила ей Аксинья Захаровна.— Тридцать годов с ним живу, получше тебя знаю норов его... Ты же его намедни расстроила, молвивши, что хочешь в скиты идти... Да коль я отпущу тебя, так он и не знай чего со мной натворит. Нет, и не думай про езду в Комаров... Что делать?.. И рада бы пустить, да не смею...

— Да право же, мамынька, не будет ничего,— приставала Настя.— Ведь матушка Манефа и мне и тятеньке не чужая... Серчать не станет... Отпусти, Христа ради... Пожалуйста.

— Да полно ж тебе!.. Сказано нельзя, так и нельзя,— с досадой крикнула, топнув ногой, Аксинья Захаровна.— Приедет отец, просись у него, а мне и не говори и слов понапрасну не трать... Не пущу!..

— А как тетенька-то помрет?.. Тогда что?.. Разве не будешь в те поры каяться, что не хотела пустить меня проститься с ней?..— тростила свое Настя.

— Отвяжешься ли ты от меня, непутная? — в сердцах закричала, наконец, Аксинья Захаровна, отталкивая Настю.— Сказано не пущу, значит и не пущу!.. Экая нравная девка, экая вольная стала!.. На-ка поди... Нет, голубка, пора тебя к рукам прибрать, уж больно ты высоко голову стала носить... В моленную!.. Становись на канон... Слышишь?.. Тебе говорят!..

С сердцем повернулась Настя от матери, быстро пошла из горницы и хлопнула изо всей мочи дверью.

— Э!.. Жизнь каторжная!..— пробормотала она, выходя в сени.

— Эка девка-то непутная выросла!..— оставшись одна, ворчала Аксинья Захаровна.— Ишь как дверью-то хлопнула... А вот я тебя самое так хлопну... погоди ты у меня!.. Ишь ты!.. И страху нет на нее, и родительской грозы не боится... Отпусти ее в скит без отцовского позволенья... Да он голову с меня снимет... А любит же Настасья матушку... Так и разливается плачет и сама ровно не в себе ходит. Ох-ох-ох!.. И сама бы я съездила, да дом-от на кого покинуть?.. Не Алексея же с девка-

ми оставить... А их взять в Комаров, тоже беда... Ох, девоньки мои, девоньки!.. Была бы моя воля, отпустила б я вас... Не смею... А матушка-то Манефа!.. Поганят голубушку лекарствами перед смертью-то!..

И горько зарыдала Аксинья Захаровна, припав к столу головою...

* * *

Шли у Насти дни за днями в тоске да в думах.

Словом не с кем перекинуться: сестра по́ходя дремлет, Евпраксеюшка каноны читает, Аксинья Захаровна день-деньской бродит по горницам, охает, хнычет да ключами побрякивает и все дочерей молиться за тетку заставляет...

О враге-лиходее ни слуху, ни духу... Вспомнит его Настя, сердце так и закипит, так взяла бы его да своими руками и порешила... Не хочется врага на уме держать, а что-то тянет к окну поглядеть, нейдет ли Алексей, и грустно ли смотрит он, али весело.

Не видно Алексея... Никто не поминает про него Настасье Патаповне.

«Да что ж это за враг такой! — думает она.— Ему и горюшка мало, и думать забыл про меня!.. Что ж, мол?.. Подвернулась девчонка неразумная, не умела сберечь себя, сама виновата!.. А наше, мол, дело молодецкое — натешился да и мимо, другую давай!.. Нет, мо́лодец!.. Постой!.. Еще не знаешь меня!.. Покажу я тебе, какова Настасья Патаповна!.. Век не забудешь меня... Под солдатскую шапку упрячу, стоит только тятеньке во всем повиниться... А змее разлучнице, только б узнать, кто она такова... нож в бок — и делу конец... В Сибирь, так в Сибирь, а уж ей, подколодной гадине, на белом свете не жить».

Почти бегает взад и вперед по светлице взволнованная девушка, на разные лады обдумывая мщенье небывалой разлучнице. Лицо горит, глаза зловещим пламенем блещут, рукава засучены, руки крепко сжаты, губы трепещут судорогами.

Однажды в сумерки, когда Аксинья Захаровна, набродившись досыта, приустала и легла в боковуше посумерничать, Настя вышла из душной, прокуренной ладаном моленной в большую горницу и там, сто́я у окна,

глядела на догоравшую в небе зарю. Было тихо, как в могиле, только из соседней комнаты раздавались мерные удары маятника.

Скрипнула дверь, Настя оглянулась. Перед ней стоял Алексей.

— Чего тебе здесь надо? — строго спросила его Настя, не двигаясь с места и выпрямившись во весь рост.

— К Аксинье Захаровне,— робко проговорил Алексей, глядя в пол и повертывая в руках шапку.

— Спит... Теперь не время,— сказала Настя и повернулась к окну.

— Дело-то такое, Настасья Патаповна, сегодня бы надо было мне доложиться ей,— молвил Алексей, переминаясь у́ двери.

— Сказано — спит. Чего еще?.. Ступай!..— горделиво сказала Настя, не оборачиваясь к Алексею.

Он не уходил. Настя молчала, глядя на зарю, а сердце так и кипит, так и рвется. Силится сдержать вздохи, но грудь, как волна, подымает батистовую сорочку.

Раз двадцать ударил маятник. Оба ни слова, оба недвижны...

Ступил шаг Алексей, другой, третий... Настя быстро обернулась, подняв голову...

Ни слова ни тот, ни другая.

Еще ступил Алексей, приближаясь к Насте... Она протянула руку и, указывая на дверь, твердо, холодно, какими-то медными звуками сказала ему:

— Вон!

Он схватил ее за руку и, припав к ней лицом, навзрыд заплакал.

— Настенька!.. Золотая моя!.. За что гневаешься?.. Пожалей ты меня, горького... Тошнехонько!.. Хоть руки на себя наложить!..

— Тише!.. тише... мамынька услышит...— шепотом ответила Настя.

И жгучий поцелуй заглушил ее речи.

Страсть мгновенно вспыхнула в сердце девушки... Как в чаду каком, бессознательно обвила она «врага-лиходея» белоснежными руками...

Без речей, без объяснений промелькнули сладкие минуты примиренья. Размолвка забыта, любовь в Настином сердце загорелась жарче прежнего.

После недолгого молчанья Алексей, не выпуская Настиной руки, сказал ей робким голосом, запинаясь на каждом слове:

— Про какую разлучницу ты поминала? Кто это наплел на меня?..

— Не поминай,— шептала Настя, тихо склоняясь на грудь лиходея.— Что поминать?.. Зачем?..

— Да нет, с чего ты взяла? — продолжал Алексей.— Мне в голову не приходило, на разуме не бывало...

— Да перестань же, голубчик!.. Так спросту сказала: ты невеселый такой, думчивый. Мне и вспало на ум...

— То-то и есть: «думчивый, невеселый»! А откуда веселью-то быть, где радостей-то взять? — сказал Алексей.

— Так моя любовь тебе не на радость? — быстро, взглянув ему в глаза, спросила Настя.

— Не про то говорю, ненаглядная,— продолжал Алексей.— Какой мне больше радости, какого счастья?.. А вспадет как на ум, что впереди будет, сердце кровью так и обо́льется... Слюбились мы, весело нам теперь, радостно, а какой конец тому будет?.. Вот мои тайные думы, вот отчего невеселый брожу...

— Как какой конец? — молвила удивленная Настя.— Будем муж да жена. Тем и делу конец...

— Легко сказать, Настенька, каково-то сделать? — уныло промолвил Алексей.

— Как люди, так и мы,— ответила Настя.— Нечего о том сокрушаться.

— А родители? — чуть слышно сказал Алексей.

— Чьи?

— Известно, не мои.

— Ты про тятеньку, что ли? — спросила Настя.

— Да...

— Повенчавшись придем да в ноги ему,— усмехнулась Настя.— Посерчает, поломается, да и смилуется... Старину вспомнит... Ведь сам он мамыньку-то уходом свел, сам свадьбу-самокрутку играл...

— Мало ли что старики смолоду творят, а детям не велят?..— сказал Алексей.— То, золотая моя, дело было давнишнее, дело позабытое... Случись-ка что — вспомнит разве он про себя с Аксиньей Захаровной?..

— Вспомнит! — молвила Настя.— Беспременно вспомнит и простит...

— Не таков человек,— ответил Алексей.— Тут до беды недолго.

— До какой беды?

— До кровавой беды, моя ненаглядная, до смертного убойства,— сказал Алексей.— Горд и кичлив Патап Максимыч... Страшен!.. На гибель мне твой родитель!.. Не снести его душе, чтобы дочь его любимая за нищим голышом была... Быть мне от него убитому!.. Помяни мое слово, Настенька!..

— Пустое городишь,— сухо ответила Настя.— Играют же свадьбы уходом не мы первые, не мы и последние... Да с чего ты взял это, голубчик?.. Тятенька ведь не медведь какой... Да что пустое толковать!.. Дело кончено — раздумывать поздно,— решительно сказала Настя.— Вот тебе кольцо, вот тебе и лента.

Сняла золотой перстень с руки, вырвала из косы ленту и отдала Алексею. Таков обычай перед свадьбами-самокрутками. Это нечто вроде обрученья.

Медленно принял Алексей свадебный дар и, как водится, поцеловал невесту.

И поник Алексей головою. Жалкий такой, растерянный стоит перед Настей.

— Это Флене Васильевне с руки про самокрутки-то расписывать,— молвил он,— а нам с тобой не приходится.

Шаг сделала Настя вперед. Мгновенно алым румянцем вспыхнуло лицо ее, чело нахмурилось, глаза загорелись.

— Не любишь ты меня!..—отрывисто сказала она полушепотом и вырвала из рук Алексея ленту и перстень.

— Настенька!.. Друг ты мой сердечный!..— умоляющим голосом заговорил Алексей, взяв за руку девушку.— Какое ты слово опять молвила!.. Я-то тебя не люблю?.. Отдай, отдай ленту да колечко, отдай назад, моя ясынька, солнышко мое ненаглядное... Я не люблю?.. Да я за тебя и в огонь и в воду пойду...

— В воде глубоко, в огне горячо,— с усмешкой сказала Настасья Патаповна.— Берегись, мо́лодец: потонешь, не то сгоришь.

— Тебе смехи да издевки; а знала бы, что на душе у меня!.. Как бы ведала, отчего боюсь я Патапа Максимыча, отчего денно и нощно страшусь гнева его, не ска-

зала б обиды такой... Погибели боюсь...— зачал было Алексей.

— Знаю,— перебила Настя.— Все знаю, что у парня на уме: и хочется, и колется, и болит, и матушка не велит... Так, что ли? Нечего глазами-то хлопать,— правду сказала.

— Тешь свой обычай, смейся, Настасья Патаповна, а я говорю дело,— переминаясь на месте, сказал Алексей.— Без родительского благословенья мне тебя взять не приходится... А как я сунусь к нему свататься?.. Ведь от него погибель... Пришел бы я к нему не голышом, а брякнул бы золотой казной, другие б речи тогда от него услыхал...

— А где тебе добыть золотой казны? На большую дорогу, что ли, с кистенем пойдешь аль нечистому душу заложишь? — желчно усмехнулась Настя.

— Оборони господи об этом и помыслить. Обидно даже от тебя такую речь слышать мне! — отвечал Алексей.— Не каторжный я, не беглый варнак. В бога тоже верую, имею родителей — захочу ль их старость срамить? Вот тебе Николай святитель, ничего такого у меня на уме не бывало... А скажу словечко по тайности, только, смотри, не в пронос: в одно ухо впусти, в друго выпусти. Хочешь слушать тайную речь мою?.. Не промолвишься?

— Не из таковских, чтобы зря болтать,— небрежно ответила Настя.

— Наслышан я, Настенька, что недалеко от наших мест золото есть,— начал Алексей.

— Ну!..

— Выкопать можно его...

— Ну!..

— Столько можно нарыть, что первым богачом будешь,— продолжал Алексей.

— Клад, что ли? — спросила Настя.

— Не клад, а песок золотой в земле рассыпан лежит,— шептал Алексей.— Мне показывали... Стуколов этот показывал, что с Патапом Максимычем поехал... За тем они на Ветлугу и поехали... Не проговорись только, Христа ради, не погуби... Вот и думаю я — не пойти ли мне на Ветлугу... Накопавши золота, пришел бы я к Патапу Максимычу свататься...

— В некотором царстве, не в нашем государстве, жил-был мужик,— перебила Настя, подхватив батистовый передник рукой и подбоченясь ею.— Прогноилась у того мужика на дому́ кровля, середь избы капель пошла. Напилил мужик драни, вырубил застрехи, конек вытесал — все припас кровлю перекрыть. И вздумалось тут ему ставить каменны палаты. Думает день, думает другой, много годов прошло, а он все думает, откуда денег на палаты достать. Денег не сыскал, палат не построил, дрань да застрехи погнили, а избенка развалилась... Хороша ль моя сказочка, Алексей Трифоныч?.. Ась?..

И, задорно прищурив горевшие глаза, быстро кивнула Настя головой и птичкой порхнула в боковушу. Алексей опешил. Стоит да глядит, ровно глотком подавился.

Вдруг большая дверь быстро распахнулась. Ввалился пьяный Волк, растерзанный, растрепанный, все лицо в синяках и рубцах с запекшейся кровью, губы разбиты, глаза опухли, сам весь в грязи: по всем статьям кабацкий завсегдатель.

— А! Девушник-ушник!..— крикнул он Алексею.— И сюда забрался!.. Постой ты у меня, я те отпотчую.

— Молчать, пьяная рожа! — накинулся на него Алексей.— Только слово пикни, до смерти разражу.

— Нечего грозиться-то. Ах ты, анафема!

Алексей хотел было схватить Никифора, но тот извернулся и бросился в боковушу, куда убежала Настя.

В дверях боковуши стояла канонница Евпраксеюшка с пуком восковых свечей.

Залился веселым хохотом Никифор.

— Ай да приказчик!.. Да у тебя, видно, целому скиту спуску нет... Намедни с Фленушкой, теперь с этой толстухой!.. То-то я слышу голоса̀: твой голос и чей-то девичий... Ха-ха-ха! Прилипчив же ты, парень, к женскому полу!.. На такую рябую рожу и то польстился!.. Ну ничего, ничего, паренек: быль молодцу не укор, всяку дрянь к себе чаль, бог увидит, хорошеньку пошлет.

— Постой ты у меня, кабацкая затычина!.. Я те упеку в добро место!..— кричал Алексей.— Я затем и к хозяйке шел, чтоб про новые твои проказы ей доложить... Кто пегу-то кобылу в Кошелевском перелеске зарезал?..

Кто кобылью шкуру в захлыстинском кабаке заложил?.. А?..

— Нешто я? — с наглостью отозвался Никифор.

— А нешто не ты? — наступая на него, закричал Алексей.— Шкура-то у меня, а целовальник налицо... Ах ты, волк этакой, прямой волк!..

Вышла на шум Аксинья Захаровна. Узнав о новом подвиге любезного братца, согласилась она с Алексеем, что его до приезда Патапа Максимыча на запор следует.

Так и сделали. Запер Алексей нареченного дядюшку во мшенник на хлеб, на воду.

* * *

Новые напасти, новые печали с того дня одолели Настю. Не чаяла она, что в возлюбленном ее нет ни удальства молодецкого, ни смелой отваги. Гадала сокола поймать, поймала серу утицу.

Дивом казалось ей, понять не могла, как это она вдруг с Алексеем поладила. В самое то время, как сердце в ней раскипелось, когда гневом так и рвало душу ее, вдруг ни с того ни с сего помирились, ровно допрежь того и ссоры никакой не бывало... Увидала слезы, услыхала рыданья — воском растаяла. Не видывала до той поры она, ни от кого даже не слыхивала, чтоб парни перед девицами плакали,— а этот...

Думала прежде Настя, что Алеша ее ровно сказочный богатырь: и телом силен, и душою могуч, и что на целом свете нет человека ему по плечу... И вдруг он плачет, рыдает и, еще ничего не видя, трусит Патапа Максимыча, как старая баба домового... Где же удаль молодецкая, где сила богатырская?.. Видно, у него только обличье соколье, а душа-то воронья...

Упал в Настиных глазах Алексей!.. Жаль ей парня, но жаль как беззащитного ребенка, как калеку старика... Плох он, думает Настя, как же за таким замужем жить?.. Только жизнь волочить да маяться до гробовой доски.

Скучно ей, ждет не дождется отца. Выпросилась бы к больной тетке и там бы в обители развеяла с Фленушкой тоску свою. Опостылел Насте дом родительский.

Видалась она после того с Алексеем. Чуть не каждый день видалась, но эти свиданья не похожи были на пер-

вые. Не клеились тайные беседы, не сходили с уст слова задушевные... Сойдутся, раз-другой поцелуются, перекинут несколько слов, глядь, и говорить больше не о чем. И поцелуи уж не так горячи, и ласки не так страстны, как прежде бывали. Только и осталось приманчивого, что тайна свиданий да тревожное опасенье, чтоб кто не застал их на поцелуе. Однажды сошла Настя в подклет к Алексею. Немножко поговорили и замолкли, а когда Алексей, обняв стан Насти, припал к ее плечу, она — зевнула.

Зачинал было Алексей заводить речь, отчего боится он Патапа Максимыча, отчего так много сокрушается о гневе его... Настя слушать не захотела. Так бывало не раз и не два. Алексей больше и говорить о том не зачинал.

Но как ни боится он Патапа Максимыча, а все-таки прежнюю думу лелеет, как бы жениться на богатой Насте. У нее в сундуках добра счету нет, а помрет отец, половина всего именья ей достанется... Другой такой невесты ему не сыскать. Краше Настасьи Патаповны тоже ему не найти... Да что краса, что пригожество, не того надо молодцу, не о том его думы, заботы, не в том тайные его помышленья... С женина лица не воду пить, краса приглядчива, а приданые денежки на всю жизнь пригодятся. А богатства Чапуриных не перечесть,— живи не тужи, что ни день, то праздник... Одна беда — сумел девку достать, как жену-то добыть?.. «Родитель-от, Патап-от Максимыч,— думает Алексей,— добр до меня, уж так добр, что не придумаешь, чем угодить мог ему, а все же он погибель моя... Заикнись ему про Настю, конским хвостом пепел твой разметет... Сохрани, господи, от лютого человека и помилуй меня!..»

Спать ляжет, во сне такие же сны видятся. Вот сидит он в своих каменных палатах, все прибрано, и все богато разукрашено... Несметные сокровища, людской почет, дом полная чаша, а под боком жена-красавица, краше ее во всем свете нет... Жить в добре да в красне и во снях хорошо: тешат Алексея золотые грезы, сладко бьется его сердце при виде длинного роя светлых призраков, обступающих его со всех сторон, и вдруг неотвязная мысль о Чапурине, о погибели... Сонные видения мутятся, туманятся, все исчезает, и перед очами Алексея темной жма-

рой встает страшный образ разъяренного Патапа Максимыча. Как зарево ночного пожара, пылает грозное лицо его, раскаленными угольями сверкают налитые кровью глаза, по́ локоть рукава засучены, в руке дубина, а у ног окровавленная, едва дышащая Настя... Кругом убийцы толпится рабочий люд, ожидает хозяйского приказа. Грозный призрак указывает на полумертвого от страха Алексея, кричит: «Давай его сюда: жилы вытяну, ремней из спины накрою, в своей крови он у меня захлебнется!..» Толпа кидается на беззащитного, нож блеснул... И с страшным криком просыпается Алексей... Долго не может очнуться и, опомнившись, спешно творит одно за другим крестные знамения...

Чуть не каждую ночь такие тяжелые сны... И западает на мысль Алексею: неспроста такие сны видятся, то вещие сны, богом они насылаются, ангелами приносятся, правду предсказывают... Вспоминает про первое свиданье с Патапом Максимычем, вспоминает, как тогда у него ровно кипятком сердце обдало при взгляде на будущего хозяина, как ему что-то почудилось — не то беззвучный голос, не то мысль незваная, непрошеная... И становится Алексей день ото дня сумрачней, ходит унылый, от людей сторонится, иной раз и по делу какому слова от него не добьются. Заели Лохматого думы да страхи... Где бы смелости взять, откуда б набраться отваги?

«Эх, далось бы мне это ветлужское золото! — думает он.— Другим бы тогда человеком я стал!.. Во всем довольство, обилье, ото всех почет и сам себе господин, никого не боюсь!.. Иль другую бы девицу, либо вдовушку подцепить вовремя, чтоб у ней денежки водились свои, не родительские... Тогда... Ну, тогда прости, прощай, Настасья Патаповна — не поминай нас лихом...»

* * *

Раз утром, после тревожных сновидений, в подклете возле своей боковуши сидел Алексей, крепко задумавшись. Подсел к нему старик Пантелей.

— Алексеюшка,— молвил он,— послушай родной, что скажу я тебе. Не посетуй на меня, старика, не погневайся; кажись, будто творится с тобой что-то неладное. Всего шесть недель ты у нас живешь, а ведь ровно из

тебя другой парень стал... Побывай у своих в Поромове, мать родная не признает тебя. Жалости подобно, как ты извелся... Хворь, что ль, какая тебя одолела?

— Нет, Пантелей Прохорыч, хвори нет у меня никакой. Так что-то... на душе лежит...— отвечал Алексей.

— Дума какая? — продолжал свой допрос Пантелей.

— Ох, Пантелей Прохорыч! — вздохнул Лохматый.— Всех моих дум не передумать. Мало ль заботы мне. Люди мы разоренные, семья большая, родитель-батюшка совсем хизнул с тех пор, как господь нас горем посетил... Поневоле крылья опустишь, поневоле в лице помутишься и сохнуть зачнешь: забота людей не красит, печаль не цветит.

— Не о чем тебе, Алексеюшка, много заботиться. Патап Максимыч не оставит тебя. Видишь сам, как он возлюбил тебя. Мне даже на удивленье... Больше двадцати годов у них в дому живу, а такое дело впервой вижу... О недостатках не кручинься — не покинет он в нужде ни тебя, ни родителей,— уговаривал Пантелей Алексея.

— Так-то оно так, Пантелей Прохорыч, а все же гребтится мне,— сказал на то Алексей.— Мало ль что может быть впереди: и Патап Максимыч смертный человек, тоже пóд богом ходит... Ну как не станет его, тогда что?.. Опять же как погляжу я на него, нравом-то больно крутенек он.

— Есть грешок, есть,— подтвердил Пантелей.— Иной раз ни с того ни с сего так разъярится, что хоть святых вон неси... Зато отходчив...

— Как на грех чем не угодишь ему?.. Человек я маленький, робкий... Боюсь я его, Пантелей Прохорыч... Гроза сильного аль богатого нашему брату полсмерти.

— Не говори так, Алексеюшка,— грех! — внушительно сказал ему Пантелей.— Коли жить хочешь побожьему, так бойся не богатого грозы, а убогого слезы... Сам никого не обидишь, и тебя обидеть не попустит господь.

— Знаю я это, сызмалу родители тому научили,— молвил Алексей,— а все же грозен и страшен Патап Максимыч мне... Скажу по тайне, Пантелей Прохорыч, ведь я тебя как родного люблю, знаю — худого от тебя мне не будет...

— Что же, что такое? — спросил Пантелей, думая, что Алексей хочет рассказывать ему про замыслы Стуколова.

Встал Алексей с лавки и зачал ходить взад и вперед по подклету.

— Тайная дума какая? — допытывал Пантелей,— может, неладное дело затеяно?

— Худых дел у меня не затеяно,— отвечал Алексей,— а тайных дум, тайных страхов довольно... Что тебе поведаю,— продолжал он, становясь перед Пантелеем,— никто доселе не знает. Не говаривал я про свои тайные страхи ни попу на духу, ни отцу с матерью, ни другу, ни брату, ни родной сестре. Тебе все расскажу... Как на ладонке раскрою... Разговори ты меня, Пантелей Прохорыч, научи меня, пособи горю великому. Ты много на свете живешь, много видал, еще больше того от людей слыхал... Исцели мою скорбь душевную.

И, опершись руками на плечи Пантелея, опустил Алексей на грудь его пылающую голову.

— Чтой-то, парень? — дивился Пантелей.— Голова так и палит у тебя, а сам причитаешь, ровно баба в родах?.. Никак слезу ронишь?.. Очумел, что ли, ты, Алексеюшка?.. В портках, чать, ходишь, не в сарафане, как же тебе рюмы-то распускать... А ты рассказывай, размазывай толком, что хотел говорить.

— Видишь ли, Пантелей Прохорыч,— собравшись с силами, начал Алексей свою исповедь,— у отца с матерью был я дитятко моленное-прошенное, первенцом родился, холили они меня, лелеяли, никогда того и на ум не вспадало ни мне, ни им, чтоб привелось мне когда в чужих людях жить, не свои щи хлебать, чужим сугревом греться, под чужой крышей спать... И во сне мне таково не грезилось... Посетил господь, обездолили нас люди недобрые — довелось в чужих людях работы искать,— продолжал Алексей.— Сам посуди, Пантелей Прохорыч, каково было мне, как родитель посылал нас с братишкой на чужие хлеба, к чужим людям в работники!.. Каково было слышать мне ночные рыдания матушки!.. Она, сердечная, думала, что мы с братом лежим сонные, да всю ночь-ноченскую просидела над нами, тихонько крестила нас своей рученькой, кропила лица наши

горючо́й слезой... Ох, каково было горько тогда... Вздумать не могу!..

И крепко обнял Алексей старика Пантелея.

— Полно... не круши себя,— говорил Пантелей, гладя морщинистой рукой по кудрям Алексея.— Не ропщи... Бог все к добру строит: мы с печалями, он с милостью.

— Не ропщу я на господа. На него возверзаю печали мои,— сказал, отирая глаза, Алексей.— Но послушай, родной, что дальше-то было... Что было у меня на душе, как пошел я из дому, того рассказать не могу... Свету не видел я — солнышко высоко̀, а я ровно темной ночью брел... Не помню, как сюда доволокся... На уме было — хозяин каков? Дотоле его я не видывал, а слухов много слыхал: одни сказывают — добрый-предобрый, другие говорят — нравом крут и лют, как зверь...

— Мало ль промеж людей ходит слухов! Сто лет живи, всех не переслушаешь,— сказал Пантелей.

— Прихожу я в Осиповку,— продолжал Алексей,— Патап Максимыч из токарни идет. Как взглянул я на него, сердце у меня так и захолонуло...

— Грозён показался? — спросил Пантелей.

— Нет,— отвечал Алексей.— Светел ликом и добр. Только ласку да приятство видел я на лице его, а как вскинул он на меня глазами, показались мне его глаза родительскими: такие любовные, такие заботные. Подхожу к нему... И тут... ровно шепнул мне кто-то: «От сего человека погибель твоя». Так и говорит: «От сего человека погибель твоя». Откуда такое извещение — не знаю.

— От сряща беса полуденного,— строго сказал Пантелей.— Его окаянного дело, по всему видно. От него и страхи нощные бывают, и вещь, во тьме преходящая, и стрела, летящая во дни... Ты, Алексеюшка, вражьему искушенью не поддавайся. Читай двенадцату кафизму, а нет, хоть один псалом «Живый в помощи вышнего», да молись преподобному Нифонту о прогнании лукавых духов... И отступится от тебя бес полуденный... Это он шептал, и теперь он же смущает тебя... Гони его прочь — молись...

— Буду молиться, родной, сегодня ж зачну,— отвечал Алексей.— А не выйдет у меня из головы то извещение, все-таки буду бояться Патапа Максимыча.

— А от страха перед сильным слушай, что пользует,— сказал Пантелей.— «Вихорево гнездо» видал?

— Не знаю, что за «вихорево гнездо» такое,— отвечал Алексей.

— На березе живет,— сказал Пантелей.— Когда вихорь летит да кружит — это ветры небесные меж себя играют... Невегласи, темные люди врут, что вихорь — бесовская свадьба, не верь тем пустым речам... Ветры идут от дуновения уст божиих, какое же место врагу, где играют они во славу божию... Не смущайся — что сказывать стану — в том нечисти бесовской ни капли нет... Когда ветры небесные вихрями играют пред лицом божиим, заигрывают они иной раз и с видимою тварию — с цветами, с травами, с деревьями. Бывает, что, играя с березой, завивают они клубом тонкие верхушки ее... Это и есть «вихорево гнездо».

— Видал я на березах такие клубы, не знал только, отколь берутся они,— молвил Алексей.

— Возьми ты это «вихорево гнездо»,— продолжал Пантелей,— и носи его на себе, не снимаючи. Не убоишься тогда ни сильного, ни богатого, ни князя, ни судии, ни иной власти человеческой... Укрепится сердце твое, не одолеет тебя ни страх, ни боязнь... Да смотри, станешь то гнездо с березы брать, станешь на себя вздевать — делай все с крестом да с молитвой... Ведь это не ворожба, не колдовство... Читай третий псалом царя Давыда да как дойдешь до слов: «Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя», перекрестись и надевай на шею... Да чтоб никто на тебе «вихорева гнезда» не видал, не то вся сила его пропадет, и станешь робеть пуще прежнего. Лучше всего возьми ты самую середку гнезда, зашей во что ни на есть и носи во славу божию на кресте на́узой... [1]. Носят еще от страха барсучью шерсть в на́узе, не делай этого, то не о̀т бога, а от злого чарованья. Кто барсучью шерсть носит, в того человека дьявол на место робости злобу к людям вселяет. Казаки, что в стары годы по Волге разбоем ходили, все барсучью шерсть на шее носили; оттого и были на кровопролитие немилостивы...

---

[1] Науза, иногда оберег — привеска к тельному кресту, амулет.

Внимательно слушал Алексей Пантелея и решил с того же дня искать «вихорева гнезда».

Вдруг благодушное выражение лица Пантелея сменилось строгим, озабоченным видом; повернул он речь на другое.

— А скажи-ка ты мне, Алексеюшка, не заметно ль у вас чего недоброго?.. Этот проходимец, что у нас гостил, Стуколов, что ли... сдается мне, что он каку-нибудь кашу у нас заварил... Куда Патап-от Максимыч поехал с ним?

— В Красну рамень на мельницу,— сказал Алексей.

— Не ври, парень, по глазам вижу, что знаешь про ихнее дело... Ты же намедни и сам шептался с этим проходимцем... Да у тебя в боковуше и Патап Максимыч, от людей таясь, с ним говорил да с этим острожником Дюковым. Не может быть, чтоб не знал ты ихнего дела. Сказывай... Не ко вреду спрашиваю, а всем на пользу.

— Торговое дело, Пантелей Прохорыч. Про торговое дело вели разговоры,— сказал Алексей.

— Да ты, парень, хвостом-то не верти, истинную правду мне сказывай,— подхватил Пантелей...— Торговое дело!.. Мало ль каких торговых дел на свете бывает — за иную торговлю чествуют, за другую плетьми шлепают. Есть товары заповедные, есть товары запретные, бывают товары опальные. Боюсь, не подбил ли непутный шатун нашего хозяина на запретное дело... Опять же Дюков тут, а про этого молчанку по народу недобрая слава идет. Без малого год в остроге сидел.

— Не все же виноватые в остроге сидят,— заметил Алексей.— Говорится: «От сумы да от тюрьмы никто не отрекайся»... Оправдали его.

— Так-то оно так,— сказал Пантелей.— а все ж недобрая слава сложилась про него...

— Какая слава? — спросил Алексей.

— Насчет серебреца да золотца...— молвил Пантелей, пристально глядя на Алексея.

— Золота? — вспыхнул Алексей.— Из каких местов?

— Пес их знает, прости господи, где они поганое дело свое стряпают, на Ветлуге, что ли,— молвил Пантелей.

— На Ветлуге?..— смутился Алексей.— Да они на Ветлугу и поехали.

— То-то и есть... А давеча говоришь: в Красну рамень... Сам знаю, что они на Ветлуге, а по какому делу?.. По золотому?.. Так, что ли?..— порывисто спрашивал Пантелей.

— Не наведи только погибели на меня, Пантелей Прохорыч,— отвечал Алексей, побледнев и дрожа всем телом...

— Не на погибель веду, от погибели отвести хочу... Отвести тебя и хозяина,— заговорил Пантелей.— Живу я в здешнем доме, Алексеюшка, двадцать годов с лишком, нет у меня ни роду, ни племени, ни передо мной, ни за мной нет никого — один как перст... Патапа Максимыча и его домашних за своих почитаю, за сродников. Как же не убиваться мне, как сердцем не болеть, когда он в неминучую беду лезет... Скажи мне правду истинную, не утай ничего, Алексеюшка, авось поможет господь беду отвести... Говори же, говори, Алексеюшка, словечка не пороню никому.

— Почитаючи тебя заместо отца, за твою ко мне доброту и за пользительные слова твои всю правду, как есть перед господом, открою тебе,— медленно заговорил вконец смутившийся Алексей,— так точно, по этому самому делу, по золоту то есть, поехали они на Ветлугу.

— Ахти, господи!.. Ох, владыка милостивый!.. Что ж это будет такое!..— заохал Пантелей.— И не грех тебе, Алексеюшка, в такое дело входить?.. Тебе бы хозяина поберечь... Мне бы хоть, что ли, сказал... Ах ты, господи, царь небесный!.. Так впрямь на золото поехали?

— Да что ж тут неладного, Пантелей Прохорыч? — спросил Алексей.— В толк не могу я принять, какая беда тут, по-твоему...

— Дело-то какое! — отвечал Пантелей.— Сам дьявол этого шатуна с острожником подослал смущать Патапа Максимыча, на погибель вести его... Ах ты, господи, господи!.. Что же наш-от сказал, как зачали они манить его на то дело?

— Сначала не соглашался, потом решился. Выгодное, говорит, дело,— отвечал Алексей.

— Выгодное дело!.. Выгодное дело!..— говорил, покачивая головой, старик.— Да за это выгодное дело в прежни годы, при старых царях, горячим оловом горла заливали... Ноне хоша того не делают, а все же не бархатом спину на площади гладят...

— Что ты, Пантелей Прохорыч?.. Господь с тобой!..— сказал удивленный Алексей.— Да ты про какое дело разумеешь?

— Известно про какое!.. За что Дюков-от в остроге сидел?.. Увернулся, собачий сын, от Сибири, да, видно, опять за стары промыслы... Опять фальшивы деньги ковать.

— Окстись, Пантелей Прохорыч!.. Чтой-то ты? — воскликнул Алексей.— Каки фальшивы деньги? Поехали они золотой песок досматривать... На Ветлуге, слышь, золото в земле родится... Копать его думают...

— Знаем мы, какое золото на Ветлуге родится,— отвечал Пантелей.— Там, Алексеюшка, все родится: и мягкое золото, и целковики, в подполье работанные, и бумажки-красноярки, своей самодельщины... Издавна на Ветлуге живут тем промыслом... Ох уж мне эти треклятые проходимцы!.. На осине бы им висеть — поди-ка ты, как отуманили они, окаянные, нашего хозяина.

— Сам видел я ветлужский золотой песок — Стуколов показывал. Как есть заправское золото,— сказал Алексей.

— Знаем мы, знаем это золото,— молвил Пантелей.— Из него-то мягкую деньгу и куют. Ох, этот лодырь [1] Стуколов!.. Недаром только взглянул я ему в рожу-то, сердце у меня повернулось... Вот этот человек так уж истинно на погибель...

Долго убеждал Алексея старик Пантелей и самому отстать от опасного дела и Патапа Максимыча разговаривать.

Не раз возобновлялся у них разговор об этом, и сердечными, задушевными словами Пантелея убедился Алексей, что затеянное ветлужское дело чем-то не чисто... Про Стуколова, пропадавшего так долго бéз вести, так они и решили, что не по дальним местам, не по чужим

---

[1] Лодырь — шатающийся плут, бездельник.

государствам он странствовал, а, должно быть, за фальшиву монету сослан был на каторгу и оттуда бежал.

— Гляди ему в лоб-от,— говорил Пантелей,— не знать ли, как палач его на торгу железными губами целовал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На шестой неделе великого поста Патап Максимыч домой воротился. Только что послышался поезд саней его, настежь распахнулись ворота широкого двора и в доме все пришло в движение. Дело было в сумерки. Толстая Матренушка суетливо зажигала свечи в передних горницах; Евпраксеюшка, бросив молебные каноны, кинулась в стряпущую с самоваром; Аксинья Захаровна заметалась из угла в угол, выбежала из светлицы Настя, и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, как утка, выплывала полусонная Параша. Чин чином: помолился Патап Максимыч перед иконами и промолвил семейным: «Здравствуйте», предоставив жене и дочерям раздевать его. Аксинья Захаровна кушак развязывала, Настя с Парашей шубу снимали. Раздевшись, стал Патап Максимыч целовать сначала жену, потом дочерей по старшинству. Все по-писаному, по-наученному, по-уста́вному.

— Подобру ли, поздорову ли без меня поживали? — спрашивал он, садясь на диван и предоставив дочерям стаскивать с ног его дорожные валяные сапоги.

— Все славу богу,— отвечала Аксинья Захаровна.— Ждали мы тебя, ждали и ждать перестали.. Придумать не могли, куда запропастился. Откуда теперь?

— Из Городца,— отвечал Патап Максимыч.— Вечор в Городце видел Матвея Корягу... Зазнался в попах... А ты бы, Захаровна, чайку поскорее велела собрать.

— То́тчас, то́тчас, Максимыч,— захлопотала она,— мигом поспеет... А вам бы, девки, накрыть покамест стол-от да посуду поставить бы... Что без дела-то глаза пялить?..

Все принялись за работу.

— Пес его знает, как и в попы-то попал,— продолжал Патап Максимыч.— В Городце ноне мало в Коря-

гу веруют и во все в это австрийское священство... Так я полагаю, что все это московских тузов одна пустая выдумка... Архиереев каких-то, пес их знает, насвятили! Нам бы хоть немудреного попика да беглого, и тем бы довольны остались. А они архиерея!.. Блажь одна — с жиру бесятся... Что нам с архиереями-то делать?.. Святости, что ли, прибудет от них, грешить меньше станем, что ли?.. Как же!.. По нашим местам московска затейка в ход не пойдет... Завелся вот Коряга, полугода не прошло, от часовни ему отказ как шест... у Войлошниковых теперь на дому службу справляют... Те пока принимают, ну и пусть их... А нам бы в Городецку часовню бегленького... С беглым-то не в пример поваднее... Перво дело — без просыпу пьян: хошь веревку вей из него, хошь щепу щепай... Другое дело — страху в нем больше, послушания... А Коряга и все, слышь, эти австрийские — капли в рот не берут, зато гордыбачить зачали... «У меня-де свой епископ, не вы, говорит, мужики,— он мне указ...» И задали мы Коряге указ: вон из часовни, чтоб духа его не было!.. Ну их к шуту совсем!..

— Как же мы страшную-то да пасху без попа будем? — унылым голосом спросила у мужа Аксинья Захаровна.

— А Евпраксея-то чем не поп? ...Не справит разве? Чем она плоше Коряги?.. Дела своего мастерица, всяку службу не хуже попа сваляет... Опять же теперь у нас в дому две подпевалы,— сказал Патап Максимыч, указывая на дочерей.— Вели-ка, Настасья, Алексея ко мне кликнуть. Что нейдет до сей поры?

Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксинья Захаровна ответила мужу:

— Дома нет его, Максимыч. Давеча говорил: надо ему в Марково да в Березовку зачем-то съездить...

— Ну, ин ладно,— сказал Патап Максимыч и зевнул, сидя в креслах. Дорога притомила его.

А встреча была что-то не похожа на прежние. Не прыгают дочери кругом отца, не заигрывают с ним утешными словами. Аксинья Захаровна вздыхает, глядит исподлобья. Сам Патап Максимыч то и дело зевает и чаем торопит...

— Матушка у нас захворала,— подгорюнясь, молвила Аксинья Захаровна.

— Что? — равнодушно спросил Патап Максимыч.

— Матушка Манефа больнешенька,— повторила Аксинья Захаровна.

— Нешто спасенной душе! Не помрет — отдышится! — отозвался Патап Максимыч.— Старого лесу кочерга! Скрипит, трещит, не сломится.

— Нет, Максимыч, не говори,— молвила Аксинья Захаровна.— Совсем помирает, лежит без памяти... А Марья-то Гавриловна!.. греховодница эдакая,— примолвила старушка, всхлипывая.— Перед смертью-то старицу поганить вздумала: лекарь в Комарове живет, лечит матушку-то.

— Дело не худое,— молвил Патап Максимыч.— Лекарь больше вашей сестры разумеет....— И, немного помолчав, прибавил: — Спосылать бы туда, что там?

— И то я три раза Пантелея в обитель-то гоняла,— молвила Аксинья Захаровна.— На прошлой неделе в последний раз посылала: плоха, говорит, ровно свеча тает, ни рученькой, ни ноженькой двинуть не может.

— Кто возле нее? — спросил Патап Максимыч.

— Кому быть? — ответила Аксинья Захаровна,— знамо, дело обительское.

— Что смыслят эти обительские! — с досадой молвил Патап Максимыч.— Дура на дуре, наперед смерти всякого уморят... А эта егоза Фленушка, поди, чать, пляшет да скачет теперь без призора-то... Лекарь разве, да не сидит же он день и ночь у одра болящей.

— Не греши на Фленушку, Максимыч,— заступилась Аксинья Захаровна.— Девка с печали совсем ума решилась!.. Сам посуди, каково ей будет житье без матушки!.. Куда пойдет? Где голову приклонит?

— Гм-да! — промычал Патап Максимыч.

— Возле матушки больше Марья Гавриловна,— проговорила Аксинья Захаровна.— Всю обитель по́д ноготь подогнула... Мать Софию из кельи вытурила, ключи отобрала, других стариц к болящей тоже не пускает...

— И умно делает,— решил Патап Максимыч.— Спасибо!.. Хоть она толком позаботилась.

— Я было вздумала, Максимыч...— робко, нерешительно проговорила Аксинья Захаровна.

— Чего еще? — спросил Патап Максимыч, глядя в сторону.

— Да вот Настя пристает: отпусти да отпусти ее за матушкой поводиться.

— Ну? — спросил Патап Максимыч, поворотив к жене голову.

— Не посмела, батька, без тебя,— едва пропищала Аксинья Захаровна.

— Еще бы посмела! — молвил Патап Максимыч.— Прасковья, сползи в подклет, долго ль еще самовару-то ждать?

Параша пошла поспешней обыкновенного. Прыти прибыло, видит, что отец не то в сердцах, не то в досаде, аль просто недобрый стих нашел на него.

— Отпусти ты меня, тятенька,— тихо заговорила Настя, подойдя к отцу и наклоня голову на плечо его.— Походила б я за тетенькой и, если будет на то воля божия, закрыла б ей глаза на вечный покой... Без родных ведь лежит, одна-одинешенька, кругом чужие.

— Подумать надо,— сказал Патап Максимыч, слегка отводя рукой Настю.— Ну вот и самовар! Принеси-ка, Настя, там на окне у меня коньяку бутылка стояла, пуншику выпить с дороги-то...

Выкушал Патап Максимыч чашечку, выкушал другую, третью... Стал веселей, разговорчивей.

— Вот и отогрелся,— молвил он.— Налей-ка еще, Настенька. А знаешь ли, старуха? Ведь меня на Львов день волки чуть не заели?

— Полно ты!..— всплеснув руками, вскрикнула Аксинья Захаровна.

— Совсем было поели и лошадей и нас всех,— сказал Патап Максимыч.— Сродясь столь великой стаи не видывал. Лесом ехали, и набралось этого зверя видимо-невидимо, не одна сотня, поди, набежала. Мы на месте стали... Вперед ехать страшно — разорвут... А волки кругом так и рыщут, так и прядают, да сядут перед нами и, глядя на нас, зубами так и щелкают... Думалось, совсем конец пришел...

— Как же отбились-то, как вам господь помог? — спросила побледневшая от мысли об опасности мужа Аксинья Захаровна.

— Отобьешься тут!.. Как же!..— возразил Патап Максимыч.— Тут на каждого из нас, может, десятка по два зверья-то было... Стуколову спасибо — надоумил

огонь разложить... Обложились кострами. На огонь зверь не идет — боится.

— Дай бог здоровья Якиму, как бишь его — Прохорыч, что ли,— набожно перекрестясь, сказала Аксинья Захаровна.— Как ему от всякого зла обороны не знать!.. Все страны произошел, всяких делов нагляделся, всего натерпелся.

— Мошенник! — сквозь зубы промолвил Патап Максимыч.

И жена и дочери смолкли, увидя, что он опять нахмурился.

Мало погодя, Аксинья Захаровна спросила его:

— Чем же мошенник-от он? Кажись бы, добрый человек... От писания сведущий, постный, смиренный... Много зол ради веры Христовой претерпел.

— Может, и кнутом дран, только не за Христа,— с досадой молвил Патап Максимыч.

— Как так, Максимыч? — придвигаясь к мужу, спросила Аксинья Захаровна.

— Не твоего ума дело,— отрезал Патап Максимыч.— У меня про Якимку слова никто не моги сказать... Помину чтоб про него не было... Ни дома меж себя, ни в людях никто заикаться не смей...

Никто ни звука... Замолк и Патап Максимыч.

— Да, съели б меня волки, некому бы и гостинцев из городу вам привезти,— через несколько минут ласково молвил Патап Максимыч.— Девки!.. тащите чемодан, что с медными гвоздями... Живей у меня... Не то осерчаю и гостинцев не дам.

Дочери побежали, хоть это и не больно привычно было обленившейся дома Параше.

— Пора бы девок-то под венец,— молвил Патап Максимыч, оставшись вдвоем с женой.— У Прасковьи пускай глаза жиром заплыли, не вдруг распознаешь, что в них написано, а погляди-ка на Настю... Мужа так и просит! Поди, чай, спит и видит...

— Да чтой-то с ума, что ли, ты сошел, Максимыч? На родных дочерей что плетет! — вскрикнула Аксинья Захаровна.

— Житейское дело, Аксинья Захаровна,— ухмыляясь, молвил Патап Максимыч.— Не клюковный сок,— кровь в девке ходит. Про себя вспомни-ка, какова в ее

годы была. Тоже девятнадцатый шел, как со мной сошлась?

— Тьфу! — плюнула чуть не в самого Патапа Максимыча Аксинья Захаровна.— Бесстыжий!.. Поминать вздумал!..

Патап Максимыч только улыбался.

— А ты слушай-ка, Захаровна,— молвил он,— насчет Настасьи я кое-что вздумал...

— Снежков, что ль, опять?.. Чужим людям жену нагишом казать? — спросила Аксинья Захаровна.

— Ну его к шуту, твоего Снежкова! — ответил Патап Максимыч.

— Не мой, батюшка, не мой,— твое сокровище, твое изобретенье!—скороговоркой затростила Аксинья Захаровна.—Не вали с больной головы на здоровую!.. Я бы такого скомороха и на глаза себе близко не пустила... Твое, Максимыч, было желанье, твоим гостем гостил.

— Заверещала!.. Молчи, дело хочу говорить,— молвил Патап Максимыч, но, заметив, что дочери тащат чемодан, смолк.

— После,— сказал он жене.

Чемодан вскрыли. Патап Максимыч вынул сверток и, подавая Аксинье Захаровне, молвил:

— Это тебе, сударыня ты моя Аксинья Захаровна, для Христова праздника... Да смотри, шей скорей, поторапливайся... Не взденешь этого сарафана в светло воскресенье, и христосоваться не стану. Стой утреню в этом самом сарафане. Вот тебе сказ...

— Куда мне, старухе, такую одежу носить! — молвила обрадованная Аксинья Захаровна, развертывая кусок толстой, добротной, темно-коричневой шелковой материи...— Мне бы пора уж на саван готовить.

— Не смей помирать!..— топнув ногой, весело крикнул Чапурин.— Прежде две дюжины таких сарафанов в клочья износи, потом помирай, коли хочешь.

— Уж и две дюжины! — улыбаясь, ответила Аксинья Захаровна.— Не многонько ль будет, Максимыч?.. Годы мои тоже немалые!..

— А это вам, кра́сны де́вицы,—говорил Патап Максимыч, подавая дочерям по свертку с шелковыми материями.— А вот еще подарки... Их теперь только покажу, а дам, как христосоваться станем.

И открыл коробку, где лежали сахарные пасхальные яйца.

Качая головой, Аксинья Захаровна рассматривала их... Вдруг сердито вскрикнула на мужа:

— Выкинь, выкинь!.. Ах ты, старый греховодник!.. Ах ты, окаянный!.. Выбрось сейчас же, да вымой руки-то!.. Ишь каку погань привез?.. Это что?.. Четвероконечный!.. А... Не видал?.. Где глаза-то были?.. Чтобы духу его в нашем доме не было... Еретицкими яйцами христосоваться вздумал!.. Разве можно их в моленну внести?.. Выбрось, сейчас же выкинь на двор!.. Эк обмиршился, эк до чего дошел.

Патап Максимыч не возражал. Нельзя.— Исстари повелось по вере бабе порядки блюсти. Он только отшучивался и кончил тем, что в мелкие крошки раздробил привезенные подарки.

— Ишь, грозная какая у вас мать-та...— шутливо молвил он дочерям.— Ну, прости, Христа ради, Захаровна, не доглядел... Право слово, не доглядел,—сказал он жене.

— То-то, не доглядел,— ворчала Аксинья Захаровна.— Ты такого, батька, натащишь, что после семеро попов дом-от не пересвятят... Аль не знаешь про Кирьяка преподобного?

— Какого там еще Кирьяка? — зевнул Патап Максимыч,— надоедать стала ему благочестивая ругань жены.

— Бысть инок Кириак,— протяжно и с распевом, по обычаю старообрядских чтецов, зачала Аксинья Захаровна,— подвигом добрым подвизался, праведен же бе и благоговеен. И восхоте пресвятая богородица в келию к преподобному внити, обаче не вниде. Преподобный же Кириак паде ниц и моли владычицу, да внидет в келию. Она же отвеща ему: «Не могу, старче, к тебе внити, поне бо еретическая книга в келии твоей лежит...» Видишь ли, безумный ты этакой!.. От книги от одной не вошла богородица к Кириаку, а ты чего натащил?.. Поди, поди, вымой руки-то!

— Да полно ж тебе! Ведь уж раздробил, чего еще тростить-то? — сказал Патап Максимыч.

— Руки вымой,— настаивала Аксинья Захаровна.— Сейчас мой... При мне — чтоб я видела!.. Настасья! принеси отцу руки мыть.

Настя принесла умывальник и полотенце. Нечего делать, пришлось Патапу Максимычу смывать с рук великое свое прегрешенье.

Аксинья Захаровна, на радости, что выпал на ее долю час воли и власти, хотела было продолжать свои сказанья, но вошел Алексей.

— Здорово, Алексеюшка,— сказал, здороваясь с ним, Патап Максимыч.— Что?.. Как у нас?.. Все ли благополучно?

— Все, слава богу, Патап Максимыч,— отвечал приказчик.— Посуду докрасили и по сортам, почитай, всю разобрали. Малости теперь не хватает; нарочно для того в Березовку ездил. Завтра обещались все предоставить. К страстной зашабашим... Вся работа будет сполна.

— С послезавтраго горянщину помаленьку надо в Городец подвозить,— сказал Патап Максимыч.— По всем приметам, нонешний год Волга рано пройдет. Наледь[1] коням по брюхо... Кого бы послать с обозом-то?

— Да я, коли угодно, съездил бы,— отвечал Алексей.

— Тебя в ино место надо посылать. Маркела разве?

— Что ж, Маркел работник хороший, усердный. Кажись, ему можно поверить,— ответил Алексей.

— Маркела и пошлем,— решил Патап Максимыч.— Ступайте, однако, вы по местам,— прибавил он, обращаясь к жене и дочерям.

Те вышли.

— Послушай-ка, Алексеюшка,— тихим голосом повел речь Патап Максимыч.— Ты это должо́н понимать, что я возлюбил тебя и доверие к тебе имею большое. Понимаешь ты это аль нет?

Алексей встал и, низко кланяясь, проговорил:

— Как мне не понимать того, Патап Максимыч? Потому, как бог, так и вы... И призрели меня и все такое...

Вспоминал он про «погибель» и путался маленько в речах, не зная, куда клонит слова свои Патап Максимыч.

— Садись. Нечего кланяться-то,— молвил хозяин.— Вижу, парень ты смирный, умный, руки золотые. Для того самого доверие и показываю... Понимай ты это и чувствуй, потому что я как есть по любви... Это ты должо́н чувствовать... Должо́н ли?.. А?..

---

[1] Вешняя вода поверх речного льду.

— Я, Патап Максимыч, чувствую... Как же мне не чувствовать! Не чурбан же я какой!..

— И чувствуй... Должо́н чувствовать, что хозяин возлюбил... Понимай... Ну, да теперь не про то хочу разговаривать... Вот что. Только сохрани тебя господи и помилуй, коли речи мои в люди вынесешь!..

— Помилуйте, Патап Максимыч. Как это возможно?..— молвил Алексей, робко взглядывая на хозяина.

— Был я на Ветлуге-то,— понизив голос, сказал Патап Максимыч.— Мошенники!..

— Кто-с? — вполголоса спросил Алексей.

— И Стуколов, и Дюков... Все... Виселицы им мало!

— Это так точно, Патап Максимыч... Дюков даже в остроге сидел.

— Знаю, что сидел,— молвил Патап Максимыч.— Это бы не беда: оправдался, значит оправился — и дело с концом, а тут на поверку дело-то другое вышло: они, проходимцы, тем золотом в беду нас впутать хотели... Да.

— Это так точно-с. И то я вашего приезду дожидался, чтоб сказать про ихние умыслы, Патап Максимыч. Доподлинно узнал, что на Ветлуге они фальшивы деньги работают.

— Кто сказал? — пристально взглянув на Алексея, спросил Патап Максимыч.

— Пантелей Прохорыч говорил,— отвечал Алексей.

— Пантелей? Он от кого проведал? — спросил Патап Максимыч. Глаза его засверкали.

— Не могу знать,— опустя глаза, отвечал Алексей.— Сами спросите!

— Кликни его! — сказал Патап Максимыч и, вскочив со стула, быстро зашагал взад и вперед по горнице.

«И Алексей знает, и Пантелей знает... этак, пожалуй, в огласку пойдет,— думал он.— А народ ноне непостоянный, разом наплетут... О, чтоб тя в нитку вытянуть, шатун проклятый!.. Напрасно вздумали мы с Сергеем Андреичем выводить их на свежую воду, напрасно и Дюкову деньги я дал. Наплевать бы на них, на все ихние затейки — один бы конец... А приехали б опять, так милости просим мимо ворот щи хлебать!..»

— Здорово, Прохорыч,— сказал он вошедшему с Алексеем Пантелею.— Как живется-можется?..

— Пеньшим помаленьку, батюшка Патап Максимыч,— отвечал старик.— Ты подобру ль, поздорову ли съездил?

— Слава богу,— отвечал Патап Максимыч.— Садись-ка и ты, чего стоять-то?

Уселись. Патап Максимыч, пристально глядя на Пантелея, спросил:

— Ты что Алексею про Стуколова с Дюковым рассказывал?

— Нехорошие они люди, Патап Максимыч, вот что,— сказал Пантелей.— Алексеюшке молвил и тебе не потаюсь — не стать бы тебе с такими лодырями знаться... Право слово. Как перед богом, так и перед твоей милостью...

— А ты толком говори, речь-то не заворачивай!.. Зачем они нехорошие люди? Что приметил за ними? — спрашивал Патап Максимыч.

— Самому мне где примечать?.. А по́ людям говор нехорош ходит,— отвечал Пантелей.— Кого ни спроси, всяк про Дюкова скажет, что век свой на воровских делах стоит.

— На каких же таких воровских делах? — спросил Патап Максимыч.

— Да хоша б насчет фальшивых денег,— отвечал Пантелей.— Ты думаешь, напрасно он в остроге-то сидел? Как же!.. Зачем бы ему кажду неделю на Ветлугу таскаться?.. За какими делами?.. Ветлуга знамо какая сторона: там по лесам кто спасается, а кто денежку печатает...

— Спрашиваю я, кто про это тебе сказывал?.. Какой человек?.. Стоющий ли? — приставал к Пантелею Патап Максимыч.

— Все говорят, кого ни спроси,— отвечал Пантелей.— По здешним местам еще мало Дюкова знают, а поезжай-ка в город либо к Баки́, каждый парнишка на него пальцем тебе укажет и «каторжным» обзовет.

— Гм!.. Что ж ты мне прежде о том не довел? — спросил Патап Максимыч.

— Прежде что не довел? — усмехнулся старик.— А как мне было доводить-то тебе?.. Когда гостили они, приступу к тебе не было... Хорошо ведь с тобой калякать, как добрый стих на тебя нападет, а в ино время

всяк от тебя норовит подальше... Сам знаешь, каков бываешь... Опять же ты с ними взапертях все сидел. Как же б я до тебя довел?..

— Затвердила сорока Якова! — перервал Пантелея Патап Максимыч.— Про Стуколова что знаешь?

— Мошенник он, либо целый разбойник, вот что я про него знаю. Недаром про Сибирь все расписывает... Не с каторги ль и к нам объявился?.. Погляди-ка на него хорошенько, рожа-то самая анафемская.

Ничего больше не добился Патап Максимыч. Но его то поразило, что Колышкин с Пантелеем, друг друга не зная, оба в одно слово: что один, то и другой.

Оставшись с глазу на глаз с Алексеем, Патап Максимыч подробно рассказал ему про свои похожденья во время поездки: и про Силантья лукерьинского, как тот ему золотой песок продавал, и про Колышкина, как он его испробовал, и про Стуколова с Дюковым, как они разругали Силантья за лишние его слова. Сказал Патап Максимыч и про отца Михайла, прибавив, что мошенники и такого божьего человека, как видно, хотят оплести.

— Вот что я вздумал, Алексеюшка. Управимся с горянщиной, отпразднуем праздник, пошлю я тебя в путь-дорогу. Поедешь ты спервоначалу в Комаров, там сестра у меня захворала, свезешь письмецо Марье Гавриловне Масляниковой,— купеческая вдова там у них проживает. Отдавши ей письмо, поезжай ты на Ветлугу в Красноярский скит, посылочку туда свезешь к отцу Михаилу да поговоришь с ним насчет этого дела... Ты у него сначала умненько повыпытай про Стуколова, старик он простой, расскажет, что знает. А потом и молви ему, что хотя, мол, песок и добротен и Патап-де Максимыч хотя Дюкову деньги и выдал, однако ж, мол, все-таки сумневается, потому что неладные слухи пошли... А насчет фальшивых денег не сразу говори, сперва умненько словечко закинь да и послушай, что старец станет отвечать... Коли в примету будет тебе, что ничего он не ведает, молви: «Жалеет, мол, тебя Патап Максимыч, боится, чтоб к ответу тебя не довели. В городу, мол, Зубкова купца в острог за фальшивы деньги посадили, а доставил-де ему те воровские деньги незнаемый молодец, сказался Красноярского скита послушником...» А Стуколова застанешь в скиту, лишнего с ним не говори... Да тебя

учить нечего, парень ты смышленый, догадливый... Вот еще что!.. Будучи в скиту, огляди ты все хозяйство отца Михаила, он тебе все покажет, я уж ему наказывал, чтобы все показал. Есть, паренек, чему поучиться... Поучись, Алексеюшка, вперед пригодится... Да и мне, бог даст, на пользу будет... А воротишься, одну вещь скажу тебе... Ахнешь с радости... Ну, да что до поры поминать?.. После...

* * *

До праздника с работой управились... Горянщину на пристань свезли и погрузили ее в зимовавшие по затонам тихвинки и коломенки. Разделался Патап Максимыч с делами, как ему и не чаялось. И на мельницах работа хорошо сошла, муку тоже до праздника всю погрузили... С Низу письма получены: на суда кладчиков явилось довольно, а пшеницу в Баронске купили по цене сходной. Благодушествует Патап Максимыч, весело встречает великий праздник.

В велику субботу попросился Алексей домой — в Поромово.

Патап Максимыч слегка насупился, но отпустил его.

— А я было так думал, Алексеюшка, что ты у меня в семье праздник-от господень встретишь. Ведь я тебя как есть за своего почитаю,— ласково сказал он.

— Тятенька с мамынькой беспременно наказывали у них на празднике быть. Родительская воля, Патап Максимыч.

— Так оно, так,— молвил Патап Максимыч.— Про то ни слова. «Чти отца твоего и матерь твою» — господне слово!.. Хвалю, что родителей почитаешь... За это господь наградит тебя счастьем и богатством.

Алексей вздохнул.

— Да, Алексеюшка, вот ноне великие дни. В эти дни праздное слово как молвить?..— продолжал Патап Максимыч.— По душе скажу: не наградил меня бог сыном, а если б даровал такого, как ты, денно-нощно благодарил бы я создателя.

Робко взглянул Алексей на Патапа Максимыча, и краска сбежала с лица. Побледнел, как скатерть.

Такой же перед ним стоит, как в тот день, когда Алексей пришел рядиться. Так же светел ликом, таким же

добром глаза у него светятся и кажутся Алексею очами родительскими... Так же любовно, так же заботно глядят на него. Но опять слышится Алексею, шепчет кто-то незнакомый: «От сего человека погибель твоя». Вихорево гнездо не помогло...

— Что ты?.. Аль неможется?..— спросил Патап Максимыч.

— В красильне все утро был, угорел, надо быть,— едва внятно ответил Алексей.

— Эх, парень!.. Как же это ты? — заботливо сказал Патап Максимыч.— Пошел бы да прилег маленько, капусты кочанной к голове-то приложил бы, в уши-то мерзлой клюквы.

— Нет, уж я лучше, если будет ваше позволенье, домой побреду; на морозце угар-от выйдет,— сказал Алексей.

— Ну, как хочешь,— отвечал Патап Максимыч.— Да неужто тебя пешком пустить?.. Вели буланку запречь, отъезжай. Да теплей одевайся, теперь весна, снег сходит. Долго ль лихоманку нажить?

— Благодарю покорно, Патап Максимыч,— низко поклонясь, сказал Алексей.— Уж позвольте мне всю святую у тятеньки пробыть,— молвил Алексей.

— Всю неделю? — угрюмо спросил Патап Максимыч.

— Уж всю неделю позвольте,— отвечал Алексей.

— Ну, неча делать... Прощай, Алексеюшка,— вздохнув, промолвил Патап Максимыч.

— Счастливо оставаться...— низко кланяясь, сказал Алексей.

— Постой маленько, обожди... Я сейчас,— перервал его Патап Максимыч, выходя из горницы.

Алексей стоял, понурив голову. «Как же он ласков, как же милостив, душа так и льнет к нему... А страшно, страшно!..»

Воротился Патап Максимыч. Подойдя к Алексею, сказал:

— Похристосуемся. Завтра ведь не свидимся... Христос воскресе!

— Воистину Христос воскресе! — отвечал Алексей.

Патап Максимыч крепко обнял его и трижды поцеловал, потом дал ему деревянное красное яйцо.

— Будешь дома христосоваться — вскрой — и вспомни про меня, старика.

Слеза блеснула на глазах Патапа Максимыча.

— На празднике-то навести же,— сказал он.— Отцу с матерью кланяйся да молви — приезжали бы к нам попраздновать, познакомились бы мы с Трифоном Михайлычем, потолковали. Умных людей беседу люблю... Хотел завтра, ради великого дня, объявить тебе кое-что, да, видно, уж после...

Ушел Алексей, а Патап Максимыч сел у стола и опустил голову на руки.

* * *

Совсем захлопоталась Аксинья Захаровна. Глаз почти не смыкая после длинного «стоянья» великой субботы, отправленного в моленной при большом стеченье богомольцев, целый день в суетах бегала она пó дому. То в стряпущую заглянет, хорошо ль куличи пекутся, то в моленной надо посмотреть, как Евпраксеюшка с Парашей лампады да иконы чистят, крепко ль вставляют в подсвешники ослóпные свечи и достаточно ль чистых горшков для горячих углей и росного ладана они приготовили... Из моленной в боковушу к Насте забежит поглядеть, как она с Фленушкой крашены яйца по блюдам раскладывает. С ранней зари по всему дому беготня, суетня ни на минуту не стихала... Даже часы великой субботы Евпраксеюшка одна прочитала Аксинья Захаровна только и забежала в моленну послушать паремью с припевом: «Славно бо прославися!..»

Стало смеркаться, все помаленьку успокоилось. Аксинья Захаровна всем была довольна... Везде удача, какой и не чаяла... В часовне иконы и лампады как жар горят, все выметено, прибрано, вычищено, скáмьи коврами накрыты, на длинном столе, крытом камчатною скатертью, стоят фарфоровые блюда с красными яйцами, с белоснежною пасхой и пышными куличами; весь пол моленной густо усыпан можжевельником... Одна беда, попа не доспели, придется на такой великий праздник сиротскую службу отправить... В стряпущей тоже все удалось: пироги не подгорели, юха курячья с шафраном сварилась на удивленье, солонина с гусиными полотками под чабром вышла отличная, а индюшку рассольную да

рябчиков под лимоны и кума Никитишна не лучше бы, пожалуй, сготовила. Благодушествует хозяюшка... И пошла было она к себе в боковушку, успокоиться до утрени, но, увидав Патапа Максимыча в раздумье, стала перед ним.

— Ты бы, Максимыч, прилег покуда,— молвила она.— Часок, другой, третий соснул бы до утрени-то.

Патап Максимыч поднял голову. Лицо его было ясно, радостно, а на глазах сверкала слеза. Не то грусть, не то сердечная забота виднелась на крутом высоком челе его.

— Присядь, старуха, посоветовать хочу.

Ни слова не молвив, села Аксинья Захаровна возле мужа.

— Я все об Настёнке,— сказал он.— Что ни толкуй, пора ее под венец.

— Нашел время про скоромные дела говорить. Такие ли дни? — ответила Аксинья Захаровна.

— Не про худо говорю,— молвил Патап Максимыч.— Доброму слову всякий день место... Жениха подыскал...

— Кого еще?

— Да хоть бы Алексея,— молвил Патап Максимыч.

Аксинья Захаровна всплеснула руками да так и застыла на месте.

— В уме ли ты, Максимыч? — вскрикнула она.

— А ты не верещи, как свинья под ножом... Ей говорят: «советовать хочу», а она верещать!..— еще громче крикнул Патап Максимыч.— Услышать могут, помешать...— сдержанно прибавил он.

— Да я так, Максимыч...— сробев, ответила Аксинья Захаровна.— В ум взять не могу!.. Хорошего человека дочь, а за мужика!..

— А сама ты за какого князя выходила? — сказал Патап Максимыч.

— Как же ты его к себе приравнял, Максимыч? — молвила Аксинья Захаровна — Ведь он что? Нищий, по наймам ходит...

— Жена богатство принесет,— отвечал Патап Максимыч.— Зачнут хозяйствовать богаче, чем мы с тобой зачинали...

Встал Патап Максимыч, к окну подошел. Ночь темная, небо черное, по̀ небу все звезды, звезды — счету им

нет. Тихо мерцают, будто играют в бесконечной своей высоте. Задумчиво глядит Патап Максимыч то в темную даль, то в звездное небо. Глубоко вздохнув, обратился к Аксинье Захаровне:

— Помнишь, как в первый раз мы встречали с тобой великий Христов праздник?.. Такая же ночь была, так же звезды сияли... Небеса веселились, земля радовалась, люди праздновали... А мы с тобой в слезах у гробика стояли...

Прослезилась Аксинья Захаровна, вспомня давно потерянного первенца.

— Помнишь, каково нам горько было тогда!.. Кажись, и махонькой был, а кручина с ног нас сбила... Теперь такой же бы был!.. Ровесник ему, и звали тоже Алешей... Захаровна!.. Не сам ли бог посылает нам сынка заместо того?.. А?..

Аксинья Захаровна молча отерла слезы.

— Парень умный, почтительный, душа добрая. Хороший будет сынок... Будет на кого хозяйство наложить, будет кому и глаза нам закрыть,— продолжал Патап Максимыч.

— Оно, конечно, Максимыч...— в нерешимости молвила Аксинья Захаровна.— Настя-то как?

— Чего ей еще?.. Какого рожна? — вспыхнул Патап Максимыч.— Погляди-ка на него, каков из себя... Редко сыщешь: и телен, и делен, и лицом казист, и глядит молодцом... Выряди-ка его хорошенько, девки за ним не угонятся... Как Настасье не полюбить такого молодца?.. А смиренство-то какое, послушли́вость-та!.. Гнилого слова не сходит с языка его... Коли господь приведет мне Алексея сыном назвать, кто счастли́вее меня будет!

— То́ропок ты больно, Максимыч,— возразила Аксинья Захаровна.— Что влезет тебе в голову, то́тчас вынь да положь. Подумать прежде надо, посудить!.. Тогда хоть бы Снежкова привез!.. Славы только наделал, по́ людям говор пустил, а дело-то какое вышло?.. Ты дома не живешь, ничего не слышишь, а мне куда горько слушать людские-то пересуды... На что ежовска Акулина, десятникова жена, самая ледащая бабенка, и та зубы скалит, и та судачит: «Привозили-де к Настасье Патаповне заморского жениха, не то царевича, не то коро-

левича, а жених-от невесты поглядел, да хвостом и вильнул...» Каково матери такие речи слушать?.. А?..

— Не слушай глупых бабенок — и вся недолга́,— равнодушно молвил Патап Максимыч.

— Рада бы не слушать, да молва, что ветер, сама в окна лезет,— отвечала Аксинья Захаровна.— Намедни без тебя крива рожа, Пахомиха, из Шишкина притащилась... Новины [1] хотела продать... И та подлюха спрашивает: «Котору кралю за купецкого-то сына ладили?» А девицы тут сидят, при них паскуда тако слово молвила... Уж задала же я ей купецкого сына... Вдругорядь не заглянет на двор.

— Охота была! — отозвался Патап Максимыч.— Наплевала бы, да и полно... С дурой чего вязаться? Бабий кадык ничем не загородишь — ни пирогом, ни кулаком.

— Не стерпеть, Максимыч, воля твоя,— возразила Аксинья Захаровна.— Ведь я мать, сам рассуди... Ни корова теля, ни свинья порося в обиду не дадут... А мне за девок как не стоять?

— Да полно тебе тростить!.. Плюнь!.. Такие ли дни теперь! — уговаривал раскипятившуюся жену Патап Максимыч.— Лучше совет советуй... Как твои мысли насчет Настасьи?..

— Как сам знаешь, Максимыч!.. Ты в дому голова,— глубо́ко вздохнув, промолвила Аксинья Захаровна.

— Тебе-то Алексей по мысли ли будет?..— спрашивал он.

— Не все ль едино — по мысли он мне али нет? — опуская голову, молвила Аксинья Захаровна.— Не мне с ним жить. Настасью спроси.

— И спрошу,— сказал Патап Максимыч.— Я было так думал — утре, как христосоваться станем, огорошить бы их: «Целуйтесь, мол, и во славу Христову и всласть — вы, мол, жених с невестой...». Да к отцу Алексей-от выпросился. Нельзя не пустить.

— Настасью бы вперед спросить...— молвила Аксинья Захаровна.— Не станет перечить, значит божья судьба... Тогда бы и дохнуть с кем-нибудь потихоньку

[1] Новина — каток крестьянского холста в три стены, то есть в 30 аршин длины.

Трифону Лохматому — сватов бы засылал. Без того как свадьбу играть?.. Не по чину выйдет...

— А ты по какому чину шла за меня? — с усмешкой молвил Патап Максимыч.— Свадьбы-те уходом кем уложены?.. Я Алексею заганул загадку — поймет...

— Что еще такое? — спросила Аксинья Захаровна.

— Так, малехонько, обиняком ему молвил: «Большое, мол, дело хотел тебе завтра сказать, да видно, мол, надо повременить... Ахнешь, говорю, с радости...» Двести целковых подарил на праздник — смекнет...

— По моему разуму, не след бы ему, батька, допрежь поры говорить,— возразила Аксинья Захаровна.

— С твое не знаю, что ль?.. Рылом не вышла учить меня,— вспыхнул Патап Максимыч.— Ступай!.. Для праздника браниться не хочу!.. Что стала?.. Подь, говорю,— спокойся!..

К светлой заутрене в ярко освещенную моленную Патапа Максимыча столько набралось народа, сколь можно было поместиться в ней. Не кручинилась Аксинья Захаровна, что свибловский поп накроет их на тайной службе... Пантелей караульных по задворкам не ставил... В великую ночь воскресенья Христова всяк человек на молитве... Придет ли на ум кому мстить в такие часы какому ни есть лютому недругу?..

Чинно, уста́вно правила пасхальную службу Евпраксеюшка. Стройно пели дочери Патапа Максимыча с другими девицами канон воскресению. Радостно, весело встретили праздник Христов... Но Аксинья Захаровна, стоя у образов в новом шелковом сарафане, с раззолоченной свечой в руке, на каждом ирмосе вздыхала, что не привел господь справить великую службу с «проезжающим священником»... Вздыхала и, глядя на сиявшую красотой Настю, думала: «Кому-то, кому красота такая достанется? Не купцу богатому, не хозяину палат белокаменных... Доставаться тебе, доченька, убогому нищему, голопятому работнику!..»

Настя глядела непраздднично... Исстрадалась она от гнета душевного... И узнала б, что замыслил отец, не больно б тому возрадовалась... Жалок ей стал трусливый Алексей!.. И то приходило на ум: «Уж как загорелись глаза у него, как зачал он сказывать про ветлужское золото... Корыстен!.. Не мою, видно, красоту девичью, а

мое приданое возлюбил погубитель!.. Нет, парень, постой, погоди!.. Сумею справиться. Не хвалиться тебе моей глупостью!.. Ах, Фленушка, Фленушка!.. Бог тебе судья!..»

* * *

Праздники прошли. Виду не подал Насте Патап Максимыч, что судьба ее решена. Строго-настрого запрещал и жене говорить про это дочери.

В Фомино воскресенье воротился Алексей. Патап Максимыч пенял ему, что не заглянул на праздниках с родителями.

— Тятенька всю святую прохворал,— оправдывался Алексей.— Опять же такой одежи нет у него, чтоб гостить у вашей милости. Всю ведь тогда выкрали...

— Нешто ты, парень, думаешь, что наш чин не любит овчин? — добродушно улыбаясь, сказал Патап Максимыч.— Полно-ка ты. Сами-то мы каких великих боярских родов? — Все одной глины горшки!.. А думалось мне на досуге душевно покалякать с твоим родителем... Человек, от кого ни послышишь, рассудливый, живет по правде... Чего еще?.. Разум золота краше, правда солнца светлей... Об одеже стать ли тут толковать?

Вздохнул Алексей, ни слова в ответ.

— Что? Справляется ль отец-от? — спросил Патап Максимыч.

— Справляется помаленьку вашими милостями, Патап Максимыч,— отвечал Алексей.— Коне́й справил, токарню поставил... Все вашими милостями.

— Трифон Михайлыч сам завсегда бывал милостив... А милостивому бог подает,— сказал Патап Максимыч.— А ты справил ли себе что из одежи? — спросил он после недолгого молчания.

— Не справлял, Патап Максимыч,— потупя глаза, ответил Алексей.

— Что ж это ты, парень! — молвил Патап Максимыч.— Я нарочно тебе чуточку в красно яйцо положил, чтоб ты одежей маленько поскрасил себя... Экой недогадливый!

— Тятеньке отдал,— еще больше потупясь, сказал Алексей.

— Что ж так? — спросил Патап Максимыч.— Ты бы шелкову рубаху справил, кафтан бы синего сукна, шапку хорошую.

— Не шелковы рубахи у меня на уме, Патап Максимыч,— скорбно молвил Алексей.— Тут отец убивается, захворал от недостатков, матушка кажду ночь плачет, а я шелкову рубаху вдруг вздену! Не так мы, Патап Максимыч, в прежние годы великий праздник встречали!.. Тоже были люди... А ноне — и гостей угостить не на что и сестрам на улицу не в чем выйти... Не ваши бы милости, разговеться-то нечем бы было.

— Хорошо, хорошо, Алексеюшка, доброе слово ты молвил,— дрогнувшим от умиления голосом сказал Патап Максимыч.— Родителей покоить — божию волю творить... Такой человек во́веки не сгибнет: «Чтый отца очистит грехи своя».

И крупными шагами зашагал Патап Максимыч по горнице.

— Слушай-ка, что я скажу тебе,— положив руку на плечо Алексея и зорко глядя ему в глаза, молвил Патап Максимыч.— Человек ты молодой, будут у тебя другой отец, другая мать... Их-то станешь ли любить?.. Об них-то станешь ли так же промышлять, будешь ли покоить их и почитать по закону божьему?..

— Какие ж другие родители? — смутившись, спросил Алексей.

— Человек ты в молодях, женишься — тесть да теща будут,— сказал Патап Максимыч, любовно глядя на Алексея.

Дрогнул Алексей, пополовел лицом. По-прежнему ровно шепнул ему кто на ухо: «От сего человека погибель твоя»... Хочет слово сказать, а язык, что брусок.

«Догадался,— думает Патап Максимыч,— обезумел радостью».

— Что ж, Алексеюшка? Ответь на мой спрос? — спрашивал его Патап Максимыч.

С шумом распахнулась дверь. Весь ободранный, всклоченный и облепленный грязью, влетел пьяный Никифор.

— Вся власть твоя, батюшка Патап Максимыч! — кричал он охрипшим голосом.— Житья не стало от паскудных твоих работников.

— Молчи, непутный! — крикнул на него Патап Максимыч.

— Чего молчать!.. Без того молчал, да невмоготу уж приходится. Бранятся, ругаются, грязью лукают... Все же я человек!..— плакался Никифор.— Проходу нет, ребятишки маленьки и те забижают...

— Вишь, до чего дошел!..— молвил Патап Максимыч.— Сколько раз зарекался? Сколько раз образ со стены снимал? Неймется!.. Ступай, непутный, в подклет, проспись.

— Яйца, пострелята, катают, я говорю: «Святая прошла, грех яйца катать»,— оправдывался Никифор.— Ну и разбросал яйца, а ребятишки грязью.

— Ступай, говорят тебе, ступай проспись!.. крикнул Патап Максимыч.

Тут вбежала Аксинья Захаровна и свое понесла.

— Закажи ты ему путь от нашего двора, Максимыч! — кричала она.— Чтоб не смел он, беспутный, ноги к нам накладывать!.. Долго ль из-за тебя мне слезы принимать?

— Ступай, Захаровна, ступай в свое место,— успокоивал жену Патап Максимыч.— Криком тут не помочь.

— Обухом по башке вот ему псу и по́мочь,— плюнула Аксинья Захаровна.— Голову снимаешь с меня, окаянный!.. Жизни моей от тебя не стало!.. Во гроб меня гонишь!..— задорно кричала она, наступая на брата.

Так и рвется, так и наскакивает на него Аксинья Захаровна. Полымем пышет лицо, разгорается сердце, и порывает старушку костлявыми перстами вцепиться в распухшее, багровое лицо родимого братца... А когда-то так любовно она водилась с Микешенькой, когда-то любила его больше всего на свете, когда-то певала ему колыбельные песенки, суля в золоте ходить, людям сѐребро дарить...

Не отвечая на сестрины слова, Никифор пожимал плечами и разводил руками. Насилу развели его с сестрицей, насилу спровадили в холодный подклет.

Так и не удалось Патапу Максимычу договорить с Алексеем.

«Не судьба, не в добрый час начал,— подумал Патап Максимыч.— Ну, воротится — тогда порадую».

Ранним утром на Радуницу поехал Алексей к отцу Михаилу, а к вечеру того же дня из Комарова гонец пригнал. Привез он Патапу Максимычу письмо Марьи Гавриловны. Приятно было ему то письмо. Богатая вдова пишет так почтительно, с «покорнейшими» и «нижайшими» просьбами — любо-дорого посмотреть. Прочел Патап Максимыч, Аксинью Захаровну крикнул.

— К утрему дочерей сготовь: к Манефе поедут,— сказал он.

Ушам не поверила Аксинья Захаровна — рот так нараспашку у ней и остался... О чем думать перестала, заикнуться о чем не смела, сам заговорил про то.

— Не с матушкой ли что случилось, Максимыч? — тревожно спросила она.

— Ничего,— отвечал Патап Максимыч.— Ей лучше, в часовню стала бродить.

— Письмо, что ли? — спросила Аксинья Захаровна.

— Марья Гавриловна пишет, просит девок в обитель пустить,— сказал Патап Максимыч.

— Что же, пускаешь?

— Велено сряжаться — так чего еще спрашивать?..— отрезал Патап Максимыч.— Марье Гавриловне разве можно отказать? Намедни деньгами ссудила... без просьбы ссудила, и вперед еще сто раз пригодится.

— С кем пустишь? Самой, что ли, мне собираться? — спросила Аксинья Захаровна.

— Куда тебе по этакой грязи таскаться,— молвил Патап Максимыч.— Обительский работник говорил, возле Кошелева, на вражке, целый день промаялся.

— С кем же девицам-то ехать? — пригорюнясь, спросила Аксинья Захаровна.— Не одним же с работником ехать?

— Самому придется,— молвил Патап Максимыч.— Недосужно, а делать нечего... Скоро ворочусь: к вечеру приедем со светом, домой.

* * *

Ровно живой воды хлебнула Настя, когда велели ей сряжаться в Комаров. Откуда смех и песни взялись. Весело бегает, радостно суетится — узнать девки нельзя. Параша — та ничего. Хоть и рада в скит ехать, но таким же увальнем сряжается, каким завсегда обыкла ходить.

То суетится Настя, то сядет на место, задумается, и насилу могут ее докликаться. То весело защебечет, ровно выпущенная из неволи птичка, то вдруг ни с того ни с сего взор ее затуманится, и на глаза слеза навернется.

Отворила она только что выставленное окно в светлице и жадно впивала свежий весенний воздух. В тот год зима сошла дружно. Хоть пасха была не из поздних, но к Фоминой снегу нисколько не осталось. Разве где в глубоком овражке белелся да узенькими полосками по лесной окраине лежал. По пригоркам, на солнечном припеке, показалась молодая зелень. Погода хорошая, со всхода до заката солнце светит и греет, в небе ни облачка... Речки и ручьи шумно бурлят, луга затоплены, легкий ветерок рябит широкие воды, и дрожащими золотыми переливами ярко горят они на вешнем солнце.

Как в забытьи каком стоит Настя у растворенного окна. Мысли путаются, голова кружится. «Господи! — думает,— скорей бы вырваться отсюда... Здесь как в могиле!»

А какая тут могила! По деревне стоном стоят голоса... После праздника весенние хлопоты подоспели: кто борону вяжет, кто соху чинит, кто в кузнице сошник либо полицу перековывает — пахота не за горами... Не налюбуются пахари на изумрудную зелень, пробившуюся на озимых полях. «Поднимайся, рожь зеленая, храни тебя, матушку, небесный царь!.. Уроди, господи, крещеным людям вдоволь хлебушка!..» — молят мужики.

Бабы да девки тоже хлопочут: гряды в огородах копают, семена на солнце размачивают, вокруг коровенок возятся и ждут не дождутся Егорьева дня, когда на утренней заре святой вербушкой погонят в поле скотинушку, отощалую, истощенную от долгого зимнего холода-голода... Молодежь работает неустанно, а веселья не забывает. Звонкие песни разливаются по деревне. Парни, девки весну окликают:

Весна, весна красная,
Приходи к нам с радостью!

Ребятишки босиком, в одних рубашонках, по-летнему, кишат на улице, бегают по всполью — обедать даже не скоро домой загонишь их... Стоном стоят тоненькие дет-

ские голоса... Жмурясь и щурясь, силятся они своими глазенками прямо смотреть на солнышко и, резво прыгая, поют ему весеннюю песню:

Солнышко, ведрышко,
Выглянь в окошечко,
Твои детки плачут...
Солнышко, покажись,
Красное, нарядись,—
К тебе гости на двор,
На пиры пировать,
Во столы столовать.

Радуница пришла!.. Красная горка!.. Веселье-то какое!..

А Настя ничего не слышит. Стоит у окна грустная, печальная... А как, бывало, прыгала она, как резвилась, встречая весну на Каменном Вражке, за обительской околицей, вместе с Фленушкой, с Марьюшкой и другими девицами Манефиной обители... Сколько громких песен, сколько светлого веселья!.. Вспомнилась обитель, вспомнились подружки-игруньи, вспомнилось и то, что через день будет она опять с ними... Побежала вон из светлицы и чуть с ног не сшибла в сенях Аксинью Захаровну... Она с Парашей и Евпраксеюшкой укладывала там пожитки дочерей.

Досадно стало Аксинье Захаровне.

— Посмотрю я на тебя, Настасья, ровно тебе не мил стал отцовский дом. Чуть не с самого первого дня, как воротилась ты из обители, ходишь, как в воду опущенная, и все ты делаешь рывком да с сердцем... А только молвил отец: «В Комаров ехать» — ног под собой не чуешь... Спасибо, доченька, спасибо!.. Не чаяла от тебя!..

Вспыхнула Настя... Хотела что-то молвить, но сдержала порыв.

— Благодарности ноне от деток не жди,— ворчала Аксинья Захаровна, укладывая чемодан.— Правда молвится, что родительское сердце в детях, а детское в камешке... Хоша бы стен-то постыдилась, срамница!.. Мать по дочери плачет, а дочь по доскам скачет!.. Бесстыжая!.. Гляди, Прасковья,— мыло-то в левый угол кладу, не запамятуй, тут яичное с духами — умываться, тут белое — в баню ходить, а в красненьком ларчике московское —

свези от меня Марье Гавриловне... Да полно беситься-то тебе!.. Что за коза такая взялась?.. Чем бы потужить, что с матерью расстаешься, она нако-сь поди... Батистовы рукава с кружевом не каждый день вздевайте... Дорогие ведь, других когда-то еще от отца дождетесь... Подай сюда, Параша, платки-то... Суй в угол... Да тише, дурища,— эк ее ломит!.. Прет, ровно лошадь, прости господи,— изомнешь ведь... Да что я стенам, что ли, говорю, Настасья?.. Что сложа руки-то стоишь, что не пособляешь?.. Погоди, погоди, вот мать-то бог приберет, как-то без меня будете жить?.. Помянешь, не раз помянешь!.. Не знаете вы, каково горько без матери сиротам-то жить!.. Ох, не приведи господи!.. И деньги будут и достатки — все купишь, а родной матери не купишь... А ты ровней складывай, Прасковья,— не мни!..

Вслушиваясь в речи матери, Настя сознавала справедливость ее попреков... Но как удержаться от веселья, потоком нахлынувшего при мысли, что завтра покинет она родительский дом, где довелось ей изведать столько горя? Одна мысль, что, свидевшись с Фленушкой, она выплачет на ее груди свое горе неизбывное, оживляла бедную девушку... Ведь ей дома ни с кем нельзя говорить про это горе... Не с кем размыкать его... Мимо ушей пропускала она ворчанье матери... Но когда Аксинья Захаровна повела речь о смерти, наболевшее сердце Насти захолонуло — и стало ей жаль доброй, болезной матери. Мысль о сиротстве, об одиночестве, о том, что по смерти матери останется она всеми покинутою, что и любимый ею еще так недавно Алексей тоже покинет ее, эта мысль до глубины взволновала душу Насти... С рыданьями кинулась она на шею Аксинье Захаровне.

— Мамынька!.. Родимая!.. Не говори таких речей, не круши сердца, не томи меня!..

Слезы дочери свеяли досаду с сердца доброй Аксиньи Захаровны. Сама заплакала и принялась утешать рыдавшую в ее объятиях Настю.

— Ну, полно, полно же... Перестань, девонька... Не слези своих глазынек... Ведь это я так только с досады молвила. Бог милостив, не помру, не пристроивши вас за добрых людей... Молитесь богу, девоньки, молитесь хорошенько. Он, свет, не оставит вас.

— Мамынька! Прости ты меня, глупую, что огорчила тебя,— заговорила Настя, сдерживая судорожные рыданья.— Ах, мамынька!.. Тяжело мне на свете жить!.. Как бы знала ты да ведала!..

— Что ты, что ты, Настенька?.. Что за горе?.. Какое у тебя горе?.. Что за печаль?.. Отколь взялась?..— тревожно спрашивала Аксинья Захаровна.

— Горе мое, мамынька, великое, беда моя неизбывная!.. Не выплакать того горя до смерти!.. А я-то все одна да одна, не с кем разделить моего горя-беды... Ну и полегчало маленько на сердце... Фленушку увижу, хоть с ней чуточку развею печали мои.

— Разве Фленушка ближе матери? — с тихим, но горьким упреком молвила Аксинья Захаровна.

— Она все знает...— едва слышно простонала Настя, припав к плечу матери.

— Да что это?.. Мать пресвятая богородица!.. Угодники преподобные!..— засуетилась Аксинья Захаровна, чуя недоброе в смутных речах дочери...— Параша, Евпраксеюшка,— ступайте в боковушу, укладывайте тот чемодан... Да ступайте же, Христа ради!.. Увальни!.. Что ты, Настенька?.. Что это?.. Ах ты, господи, батюшка!.. Про что знает Фленушка?.. Скажи матери то, девонька!.. Материна любовь все покроет... Ох, да скажи же, Настенька... Говори, голубка, говори, не мучь ты меня!..— со слезами молвила Аксинья Захаровна.

Настя молчала. Припав к материнской груди, она кропила ее слезами и дрожала всем телом.

— Да скажи ж, говорят тебе... Легче будет,— продолжала уговаривать Аксинья Захаровна, целуя Настю в голову.

— Не целуй меня, мамынька! — едва слышно промолвила Настя.

— Да вымолви словечко, Христа ради,— жалобно причитала Аксинья Захаровна...

Догадывалась мать, в чем дело, но верить боялась.

— Полюбился, что ль, кто? — скрепя сердце, шепнула, наконец, она дочери на ухо.— Зазнобушка завелась?.. А?

Ни слова Настя... Но крепко, крепко сжала мать в своих объятиях.

Поняла Аксинья Захаровна безмолвный ответ. Руки у ней опустились...

Настя к окну отошла... Села на скамью и, облокотясь, закрыла лицо ладонями.

— В скиту, что ли? — спросила Аксинья Захаровна разбитым голосом.

Настя покачала головой.

— Где же? — с удивлением спросила мать.

— Дома,— едва могла прошептать Настя.

— Кто ж такой? Неужель Снежков?

Настя опять покачала головой.

— Ума не приложу,— молвила Аксинья Захаровна.

Старушка совсем растерялась в мыслях... Вспомнился разговор с мужем перед светлой заутреней и спросила:

— Уж не приказчик ли?

Стремительно вскочила Настя и кинулась в землю перед матерью... Дрожащими, холодными руками судорожно обвила ее ноги.

— Виновата я!..— задыхаясь от волненья, вскрикнула она.

— Судьбы господни! — набожно сказала Аксинья Захаровна, взглянув на иконы и перекрестясь.— Ты, господи, все строишь ими же веси путями!.. Пойдем к отцу,— прибавила она, обращаясь к дочери.— Он рад будет...

— Ни за что!.. Ни за что!..— вскрикнула Настя, быстро встав на ноги.— Петлю на шею, в колодезь!.. Нет, нет!..

— Опомнись, что говоришь? — уговаривала ее Аксинья Захаровна.— Отец рад будет... Знаешь, как возлюбил он Алексея...

— Убьет он его!.. Не сказывай тятеньке, не говори... Я не все сказала.

— Не все? — с ужасом вскрикнула Аксинья Захаровна.

— Родная!..— чуть слышно шептала Настя у ног матери.— Не на то ты растила меня, не на то меня холила!.. Потеряла я себя!.. Нет чести девичьей!.. Понесла я, мамынька...

Страшное слово, как небесная гроза, сразило бедную мать.

— Настенька!..— только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная старушка.

Настя не слыхала вопля матери. Как клонится на землю подкошенный беспощадной косой пышный цветок, так бледная, ровно полотно, недвижная, безгласная склонилась Настя к ногам обезумевшей матери...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На пасхе усопших не поминают. Таков народный обычай, так и церковный устав положил... В великой праздник воскресенья нет речи о смерти, нет помина о тлении. «Смерти празднуем умерщвление!..» — поют и в церквах и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста и гремят победные крики апостола Павла: «Где ти, смерте жало? где ти, аде победа?..» Нет смерти, нет и мертвых — все живы в воскресшем Христе.

Но в русском народе, особенно по захолустьям, рядом с христианскими верованьями и строгими обрядами церкви твердо держатся обряды стародавние, заботно берегутся обломки верований в веселых старорусских богов...

Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на ко́ней своих — сизые тучи,— хлещет золотой вожжой — палючей молоньей — Мать Сыру Землю... Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем — жизнь по жилам ее разливается... Все оживает: и поля, и луга, и темные рощи, и дремучие леса... Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле... Встают они из гробов и, незримые земным очам, носятся середь остающихся в живых милых людей... Слышат гробные жильцы все, видят все — что люди на земле делают, слова только молвить не могут...

Как не встретить, как не угостить дорогих гостей?.. Как не помянуть сродников, вышедших из сырых, темных жа̀льников на свет поднебесный?.. Услышат «окличку» родных, придут на зов, разделят с ними поминальную тризну...

Встают мертвецы в радости; выйдя из жа̀льников, любуются светлым небом, красным солнышком, серебряным месяцем, частыми мелкими звездочками... Радуется

и живое племя, расставляя снеди по могилам для совершения тризны... Оттого и день тот зовется Радуницей [1].

Стукнет Гром Гремучий по́ небу горючим молотом, хлестнет золотой вожжой — и пойдет по земле веселый Яр [2] гулять... Ходит Яр-Хмель по ночам, и те ночи «хмелевыми» зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, хороводы водит, в горелки бегает от вечерней зари до утренней...

Ходит тогда Ярило ночною порой в белом объяринном [3] балахоне, на головушке у него венок из алого мака, в руках спелые колосья всякой яри [4]. Где ступит Яр-Хмель — там несеяный яровой хлеб вырастает, глянет Ярило на чистое поле — лазоревы́ цветочки на нем за-

---

[1] Жальник — могила, собственно бугор земли, насыпанной над нею. Окличка — обращение к мертвым на кладбищах, зов. Об окличках, бывающих на кладбищах в Ра́доницу, говорится в «Стоглаве» (25-й царский вопрос в главе 42-й). Радуница — в южных губерниях понедельник, в средних и северных — вторник Фоминой недели, когда совершается и церковное поминовение по умершим. В уставах поминовения усопших в этот день не положено, но церковь хотела освятить радуницкую тризну своими священнодействиями, чтоб в народной памяти загладить языческое ее происхождение...

[2] Словом Яр означалась весна, а также зооморфическое божество жизни и плодородия, иначе Ярило. Оно же именуется Купалой (от старого слова купить — в смысле совокупить). Местами зовут его «Яр-Хмель» — отсюда «хмелевые ночи», то есть весенние хороводы и другие игры молодежи, продолжающиеся до утренней зари. Радуница, Красна Горка, Русальная неделя, Бисериха, Земля-именинница (10 мая), Семик, Зеленые святки, Девята пятница, Ярило Кострома, Клечалы, Кукушки, Купало, хороводы: радуницкие, русальные, никольщина, зилотовы, семицкие, троицкие, всесвятские, пятницкие, ивановские или купальские — все это ряд праздников одному и тому же Яриле, или Купале. На Радуницу празднуется его приход, на Купалу — похороны, причем в некоторых местах хоронят соломенную куклу, называемую Ярилой, Костромой, Кострубом и пр. От Фоминой недели до Ивана дня (Иван Купало 24 июня) продолжаются «хмелевые ночи», и это самое веселое время деревенской молодежи. В больших городах и селах к названным праздникам приурочены народные гулянья, называемые «полями» — Семиково поле, Ярилино поле и т. п. Каждое происходит на особом месте, где, быть может, во время о́но совершались языческие праздники Яриле.

[3] Объярь — волнистая шелковая материя (муар) с серебряными струями, иногда с золотыми.

[4] Яровой хлеб: пшеница, ячмень, овес, греча, просо и другие.

пестреют, глянет на темный лес — птички защебечут и песнями громко зальются, на̀ воду глянет — белые рыбки весело в ней заиграют. Только ступит Ярило на̀ землю — соловьи прилетят, помрет Ярило в Иванов день — соловьи смолкнут.

Ходит Ярилушка по темны́м лесам, бродит Хмелинушка по селам-деревня́м. Сам собою Яр-Хмель похваляется: «Нет меня, Ярилушки, краше, нет меня, Хмеля, веселее — без меня, веселого, песен не играют, без меня, молодого, свадеб не бывает...»

На кого Ярило воззрится, у того сердце на любовь запросится... По́ людям ходит Ярило нето̀ропко, без спеха, ходит он, веселый, по сеня́м, по клетям, по высоким теремам, по светлицам, где красные девицы спят. Тронет во сне мо̀лодца золотистым колосом — кровь у мо́лодца разгорается. Тронет Яр-Хмель алым цветком сонную девицу, заноет у ней ретивое, не спится молодой, не лежится, про милого, желанного гребтится... А Ярило стоит над ней да улыбается, сам красну девицу утешает: «Не горюй, красавица, не печалься, не мути своего ретива сердечка — выходи вечерней зарей на мое на Ярилино поле: хороводы водить, плетень заплетать, с дружком миловаться, под ельничком, березничком сладко целоваться».

Жалует Ярило «хмелевые» ночи, любит высокую рожь да темные перелески. Что там в вечерней тиши говорится, что там теплою ночью творится — знают про то Гром Гремучий, сидя на сизой туче, да Ярило, гуляя по сырой земле.

Таковы народные поверья про восстание мертвых и про веселого бога жизни, весны и любви...

* * *

Только минет святая и смолкнет пасхальный звон, по сельщине-деревенщине «помины» и «окличчки» зачинаются. В «на̀вий день» [1] стар и млад спешат на кладбище с мертвецами христосоваться. Отпев церковную панихиду, за старорусскую тризну садятся.

---

[1] «Навий день», а в Малороссии «мертвецкий велык день» — другое название Радуницы... Нав, навье — мертвец.

Рассыпается народ по божьей ниве, зарывает в могилки красные яйца, поливает жа̀льники сычёной брагой, убирает их свежим дерном, раскладывает по жа̀льникам блины, оладьи, пироги, кокурки [1], крашены яйца, пшенники да лапшенники, ставит вино, пиво и брагу... Затем окликают загробных гостей, просят их попить-поесть на поминальной тризне.

Оклички женщинами справляются, мужчинами никогда. Когда вслушаешься в эти оклички, в эти «жальные причитанья», глубокой стариной пахнет!.. Те слова десять веков переходят в устах народа из рода в род... Старым богам те песни поются: Грому Гремучему, да Матери Сырой Земле.

Со восточной со сторонушки
Подымались ветры буйные,
Расходились тучи черные,
А на тех ли на тученьках
Гром Гремучий со молоньями,
Со молоньями да с палючими...
Ты ударь, Гром Гремучий, огнем полымем,
Расшиби ты, громова стрела,
Еще матушку — Мать Сыру Землю...
Ох ты, матушка, Мать Сыра Земля,
Расступись на четыре сторонушки,
Ты раскройся, гробова доска,
Распахнитесь, белы саваны,
Отвалитесь, руки белые,
От ретивого сердечушка...
Государь ты наш, родной батюшка,—
Мы пришли на твое житье вековечное,
Пробудить тебя ото сна от крепкого.
Мы раскинули тебе скатерти браные;
Мы поставили тебе яства сахарные,
Принесли тебе пива пьяного,
Садись с нами, молви слово сладкое,
Уж мы сядем супротив тебя,
Мы не можем на тебя наглядетися,
Мы не можем с тобой набаяться.

Наплакавшись на «жальных причитаньях», за тризну весело принимаются. Вместо раздирающей душу, хватающей за̀ сердце «оклички», веселый говор раздается по жа̀льникам...

Пошел пир на весь мир — Яр-Хмель на землю ступил.

Другие песни раздаются на кладбищах... Поют про «калинушку с малинушкой — лазоревый цвет», поют про

[1] Пшеничный хлебец с запеченным в нем яйцом.

«кручинушку, крытую белою грудью, запечатанную крепкою думой», поют про то, «как прошли наши вольные веселые дни, да наступили слезовы-горьки времена». Не жарким весельем, тоской горемычной звучат они... Нет, то новые песни, не Ярилины.

Клонится солнце на запад... Пусть их старухи да молодки по домам идут, а батьки да свекры, похмельными головами прильнув к холодным жа̀льникам, спят богатырским сном... Молодцы-удальцы!.. Ярило на поле зовет — Красну Горку справлять, песни играть, хороводы водить, просо сеять, плетень заплетать... Девицы-красавицы!.. Ярило зовет — бегите невеститься...

Ша̀ром-ва́лом катит молодежь с затихшего кладбища на зеленеющие луговины.

Там игры, смехи... Всех обуял Ярый Хмель...

— Красну Горку!.. Плетень заплетать!.. Серу утицу!..— раздаются веселые голоса.

И громко заливается песня:

Заплетися, плетень, заплетися,
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, камка хрущатая!..
Ой, мимо двора,
Мимо широка́
Не утица плыла
Да не серая,
Тут шла ли прошла
Красна девица,
Из-за Красной Горки,
Из-за синя моря,
Из-за чиста поля —
Утиц выгоняла,
Лебедей скликала:
«Тига, тига, мои ути,
Тига, лебеди, домой!..
А сама я с гуськом,
Сама с сереньким,
Нагуляюсь, намилуюсь
С мил-сердечным дружком».

Спряталось за небесный закро́й солнышко, алой тканью раскинулась заря вечерняя, заблистал синий свод яркими, безмолвно сверкающими звездами, а веселые песни льются да льются по полям, по лугам, по темным перелескам... По́ людям пошел веселый Яр разгуливать!..

Перелески чернеют, пушистыми волнами серебряный туман кроет Мать Сыру Землю... Грозный Гром Грему-

чий не кроет небо тучами, со звездной высоты любуется он на Ярилины гулянки, глядит, как развеселый Яр меж людей увивается...

Холодно стало, но звонкие песни не молкнут — стоном стоят голоса... Дохнéт Яр-Хмель своим жарким, разымчивым дыханьем — кровь у молодежи огнем горит, ключом кипит, нá сердце легкò, радостно, а песня так и льется,— сама собой поется, только знай да слушай. Прочь горе, долой тоска и думы!.. Как солью сытым не быть, так горе тоской не избыть, думами его не размыкать. «Гуляй, душа, веселися!.. Нет слаще веселья, как сердечная радость — любовная сласть!..» Таково слово Яр-Хмель говорит. Слово то крепко, недвижно стоит оно óт веку дò веку. Где тот день, где тот час, когда прéйдет вековечное животворное Ярилино слово? Пока солнце греет землю, пока дышит живая тварь, не минуть словесам веселого бога...

— В горелки! — кричат голоса.

— В горелки! В огарыши! — раздается со всех сторон.

Начинается известная игра, старая, древняя как мир славянский. Красны девицы со своими серенькими гуськами становятся парами, один из молодцов, по жеребью, всех впереди.

— Горю, горю пень!..— кричит он.

— Что ты горишь? — спрашивает девушка из задней пары.

— Красной девицы хочу,— отвечает тот.

— Какой?

— Тебя, молодой.

Пара бежит, и мóлодец ловит подругу.

Старый обычай, еще Нестором описанный: «Схожахусь на игрища, на плясанья и ту умыкиваху жены собе, с нею же кто съвещашеся».

Пары редеют, забегают в перелески. Слышится и страстный лепет и звуки поцелуев. Гуляет Яр-Хмель... Чтó творится, чтò говорится — знают лишь темные ночи да яркие звезды.

Стихло на Ярилином поле... Разве какой-нибудь бесталанный, отверженный лебедушками горюн, серенький гусек, до солнечного всхода сидит одинокий и, наигрывая на балалайке, заливается ухарскою песней, сквозь которую слышны и горе, и слезы, и сердечная боль:

Эх, зять ли про тещу да пиво варил,
Кум про куму брагу ставленую,
Выпили бражку на Радуницу,
Ломало же с похмелья до Иванова дня.

* * *

На Каменном Вражке по-своему Радуницу справляют. С раннего утра в Манефиной обители в часовню все собрались; все, кроме матушки Виринеи с келарными приспешницами.

Недосужно было добродушной матери-келарю: зáгодя надо довольную трапéзу учредить: две яствы горячих, две яствы студеных, пироги да блины, да овсяный кисель с сытой [1]. И не ради одних обительских доводилось теперь стряпать ей, а вдвое либо втрое больше обычного. В поминальные дни обительские ворота широкó, на весь крещеный мир, распахнуты — приди сильный, приди немощный, приди богатый, приди убогий — всякому за столом место... Сберутся на халтуру [2] и сироты и матери с белицами из захудалых обителей, придут и деревенские христолюбцы... Кому не охота сродников на чужих харчах помянуть?

Тихо, не спешно передвигая слабыми еще ногами, брела Манефа в часовню. В длинной соборной мантии из черного камлота, отороченной красным снурком, образующим, по толкованию староверов, «Христовы узы», в черной камилавке с креповою наметкой, медленно выступала она... Фленушка с Марьюшкой вели ее пóд руки Попадавшиеся на пути инокини и белицы до земли творили перед нею по два «метания», низко преклонялись и прихожие богомольцы. Едва склоняя голову, величавая Манефа, вместо обычной прóщи, приветствовала встречных пасхальным приветом: «Христос воскресе!»

Не раз останавливалась она на коротком пути до часовни и радостно сиявшими очами оглядывала окрестность... Сладко было Манефе глядеть на пробудившуюся от зимнего сна природу, набожно возводила она взо-

---

[1] Сыта — разварной с водой, но небродивший мед.

[2] Халтура (в иных местах хаптура — от глагола хапать — брать с жадностью) — даровая еда на похоронах и поминках. Халтурой также называется денежный подарок архиерею или другому священнослужителю за отправление заказной церковной службы.

ры в глубокое синее небо... Свой праздник праздновала она, свое избавленье от стоявшей у изголовья смерти... Истово творя крестное знаменье, тихо шептала она, глядя на вешнее небо: «Иже ада пленив и человека воскресив воскресением своим, Христе, сподоби мя чистым сердцем тебе пети и славити».

Через великую силу взобралась она на высокое крутое крыльцо часовни. На паперти присела на скамейку и маленько вздохнула. Затем вошла в часовню, сотворила уставной семипоклонный начал, замолитвовала нача́н часов и села на свое игуменское место, преклонясь на посох, окрашенный прозеленью с золотыми разводами...

Отправили часы, Манефа прочла отпуст. Уставщица мать Аркадия середи часовни поставила столик, до самого полу крытый белоснежною полотняною «одеждой» с нашитыми на каждой стороне осмиконечными крестами из алой шелковой ленты. Казначея мать Таифа положила на нем икону воскресения, воздвизальный крест, канун [1], блюдо с кутьей, другое с крашеными яйцами. Чинно отпели канон за умерших...

Большого о̀браза соборные старицы, мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия, мать Лариса, в черных креповых наметках, спущенных до половины лица, и в длинных мантиях, подняли кресты и иконы ради крестного хода в келарню. Уставщица с казначеей взяли поминальные блюда... Впереди двинулись певицы с громогласным пением стихер: «Да воскреснет бог и разыдутся врази его». Марьюшка, как головщица правого клироса, шла впереди; звонкий, чистый ее голос покрывал всю «певчую стаю». Середи крестов, икон и поминальных блюд тихо выступала Манефа, склонясь на посох... Став на верхней ступени часовенной паперти, выпрямилась она во весь рост и повелительным, давно не слышанным в обители голосом кликнула:

— Стойте, матери.

Крестный ход остановился.

— К матушке Екатерине,— приказала игуменья.

Ход поворотил направо. Там, за деревянной о́горожью, в небольшой рощице, середь старых и новых мо-

---

[1] Канун — мед, поставленный на стол при отправлении панихиды.

гил, возвышались два каменные надгробия. Под одним лежала предшественница Манефы мать Екатерина, под другим мать Платонида, в келье которой гордая красавица Матренушка стала смиренной старицей Манефой...

Поклонясь до земли перед надгробием, Манефа взяла с блюда пасхальное яйцо и, положив его на́ землю, громко сказала:

— Матушка Екатерина! Христос воскресе!

Потом с таким же приветом положила яйцо на могилу Платониды.

Марьюшка завела ирмос: «Воскресения день...» Певицы стройно подхватили, и громкое пение пасхального канона огласило кладбище. Матери раскладывали яйца на могилки, христосуясь с покойницами. Инокини, белицы, сироты и прихожие богомольцы рассы́пались по кладбищу христосоваться со сродниками, с друзьями, приятелями...

Пропели канон и стихеры. Возгласили «вечную память». С пением «Христос воскресе» крестный ход двинулся к келарне.

Тем и кончился поминальный обряд на кладбище... Причитать над могилами в скитах не повелось, то эллинское беснование, нечестивое богомерзкое дело, по мнению келейниц. Сам «Стоглав» возбраняет оклички на Радуницу и вопли на жальниках...

В келарне собралась вся обитель. Много пришло сирот, немало явилось матерей и белиц из скудных обителей: и Напольные, и Марфины, и Заречные, и матери Салоникеи, и погорелые Рассохины — все тут были, все собрались под гостеприимным кровом восставшей от смертного одра Манефы. Хотелось им хоть глазком взглянуть на сердобольную, милостивую матушку, в жизни которой совсем было отчаялись... А больше всего нашло деревенских христолюбцев. Изо всех окрестных селений собрались они. Пришли бабы, пришли девки, пришли малые ребята — все привалили помянуть покойников за сытной обительской трапезой.

Сев на игуменское кресло, Манефа ударила в кандию, и трапеза пошла по чину, стройно, благоговейно. Обительские и сироты сидели с невозмутимым бесстрастием, пришлые христолюбцы изредка потихоньку покашливали, шептались даже меж собою, но строгий взор

угощавших стариц мгновенно смирял безвременное их шептанье... Все шло тихо, благообразно, по чину... Но богу попущающу, врагу же действующу, учинилось велие искушение...

Чтениями на трапезе распоряжается уставщица. На великий пост выдала мать Аркадия из кладовой книгу Лествицу[1], дорогую старообрядцам книгу, печатанную при патриархе Иосифе. До страстной успели прочитать из нее тридцать степеней монашеского подвига и несколько добавлений, помещенных в конце книги. На страстной стали Страсти читать, на пасхе Златоуста. Лествица осталась недочитанною... На Радуницу надо бы матушке Аркадии иную книгу в келарню внести, да за хлопотами ей не удосужилось. Придя в келарню, и вздумала она сбегать за книгой, да на грех ключ от сундука обронила. Нечего делать, пришлось Лествицу дочитывать — самое последнее слово от Патерика Скитского.

Замолитвовала Манефа, и раздалось по келарне мерное чтение рядовой канонницы.

«Поведа нам отец Евстафий, глаголя...»

Спохватилась знавшая наизусть всю Лествицу Манефа, но было уже поздно. Не в ее власти прекратить начатое чтение. То грех незамолимый, непрощаемый, то непомерный соблазн перед своими, тем паче перед прихожими христолюбцами. А выкинуть из чтения ни единого слова нельзя. Как сметь святые словеса испразднять?.. Это, по мнению старообрядцев, значило бы над святыней ругаться, диавольское дело творить. Ссылаясь на хворь и на слабость, Манефа торопила суетившуюся Виринею скорей кончать трапезу, а каноннице велела читать как можно протяжней. То было на мысли у игуменьи, чтобы чтения не довести до конца. Но у Виринеи столько было наварено, столько было нажарено, людей за столами столько было насажено, что, как медленно ни читала канонница, душеполезное слово было дочитано.

Читает канонница, как Евстафий, накопив денег, восхотел на мзде хиротонисатися пресвитером и того ради пошел из пустыни в великий град Александрию. И бысть

---

[1] Лествица, печатанная при патриархе Иосифе в Москве 1647 года.

на пути Евстафию от беса искушение. Предстал окаянный в странном образе...

«Идуще же ми путем,— читала среди глубокой тишины канонница,— видех мужа, высока ростом и нага до конца, че́рна видением, гну́сна образом, ма́ла главою, тонконога, несложна, бесколенна, грубосоставлена, железнокоготна, чермноока, весь зверино подобие имея, бяше же женомуж, лицем черн, дебелоустнат, вели... вели... великому...»

Споткнулась канонница. Такие видит речи, что девице на́ людях зазорно сказать. А пропустить нельзя, сохрани бог от такого греха!.. В краску бросило бедную, сгорела вся...

— Говорком вели читать, учащала бы...— строго шепнула Манефа уставщице.

Спешно и вполголоса прочитала канонница смутившие ее речения... Матери потупили взоры, белицы тихонько перемигивались, прихожие христолюбцы лукаво улыбались.

«Аз же видев его убояхся,— продолжала, немножко оправясь от смущения, канонница,— знаменах себя крестным знамением».

Из дальнейшего чтения оказалось, что и это не помогло Евстафию.

«Абие бысть,— читала канонница,— аки жена кра́сна и благозрачна...»

Опять споткнулась бедная... слезы даже на глазах у ней выступили.

— Скорей бы кончала,— угрюмо шептала Манефа, бросая суровые взгляды на Аркадию.

Душеполезное слово кончилось. Потупя глаза и склонив голову, сгоревшая со стыда канонница со всех ног кинулась в боковушу, к матери Виринее. Глубокое молчание настало в келарне. Всем стало как-то не по себе. Чтобы сгладить впечатление, произведенное чтением о видениях Евстафия, Манефа громко вскликнула:

— Пойте Пасху, девицы.

И звучные голоса велегласно запели: «Да воскреснет бог и разыдутся врази его».

Кончились стихеры, смолкло пение, Манефа уставно́й отпуст прочла и «про́щу» проговорила.

Затем, стоя у игуменского места, твердым голосом сказала:

— Господу изволившу, обыде мя болезнь смертная... Но не хотяй смерти грешнику, да обратится душа к покаянию, он, сый человеколюбец, воздвиг мя от одра болезненного. Исповедую неизреченное его милосердие, славлю смотрение создателя, пою и величаю творца жизнодавца, дондеже есмь. Вас же молю, отцы, братие и сестры о Христе Исусе, помяните мя, убогую старицу, во святых молитвах своих, да простит ми согрешения моя вольная и невольная и да устроит сам Спас душевное мое спасение...

И до земли поклонилась Манефа на три стороны. Все бывшие в келарне ответили ей такими же поклонами.

— А в раздачу сиротам на каждый двор по рублю... Каждой сестре, пришедшей в день сей из скудных обителей, по рублю... Прихожим христолюбцам, кто нужду имеет, по рублю... И та раздача не из обительской казны, а от моего недостоинства... Раздавать будет мать Таифа... А ты, матушка Таифа, прими, кроме того, двести рублей в раздачу по нашей святой обители.

— Благодарим покорно, матушка!.. Дай тебе господи долголетнего здравия и души спасения!.. Много довольны твоей милостью...— загудели голоса.

Двинулась с места Манефа. Перед ней все расступились. Фленушка с Марьюшкой повели игуменью под руки, соборные старицы провожали ее.

Взойдя за крыльцо своей кельи, Манефа присела на скамейку под яркими лучами весеннего солнца. Матери стояли перед ней.

— В огородах просохло? — спросила она казначею.

— Просыхает, матушка,— торопливо ответила Таифа.— В бороздах только меж грядок грязненько... Да день-другой солнышко погреет, везде сухо будет.

— Молодым гряды копать, старым семена мочить,— распоряжалась Манефа.— Семян достанет?

— Вдосталь будет, матушка,— отвечала Таифа,— всего по милости божьей достанет.

— Всхожи ли? — спрашивала игуменья.

— Всхожие, матушка, всхожие,— уверяла мать Таифа.— Все испробовала — хорошо всходят.

— Навоз на гряды возили?

— До праздника еще свезли, на̀ снег еще возили,— ответила Таифа.

— В большом огороде двадцать гряд под свеклу, двадцать под морковь, пятнадцать под лук саженец, остальные под редьку,— приказывала Манефа.

— Слушаю, матушка,— кланяясь, ответила Таифа.

— За конным двором, в малом огороде, брюкву да огурцы... Капусту, как прежде, на Мокром лужку... Срубы под рассаду готовы?

— Нет еще, матушка, не справлены,— ответила Таифа.— Когда же было? Праздники...

— Завтра справить. Ирины мученицы в пятницу — рассады сев,— сказала Манефа.

— Будет готово, матушка, все будет исправлено,— успокоивала ее казначея.

— А в четверг апостола Пуда,— продолжала игуменья.

— Вынимай пчел из-под спуда,— с улыбкой подхватила Таифа.— Знаю, матушка, знаю [1].

— То-то, не забудь.

— Как забыть?.. Что ты, матушка?.. Христос с тобой... Можно ль забыть! — зачастила мать-казначея.

— Марью Гавриловну спроси, не надо ль ей грядок под цветочки. Если прикажет — белицам вскопать.

— Велю, матушка.

— А тебе, мать Назарета, послушание,— сказала Манефа, обращаясь к одной из степенных стариц,— пригляди за белицами. Пусть их маленько сегодня разгуляются, на всполье сходят...

— Слушаю, матушка,— низко кланяясь, молвила мать Назарета.

— Ронжинских ребят чтобы духу не было,— сказала Манефа,— да мирские песни девицы чтоб не вздумали петь.

— Как это возможно, матушка? — вступились Назарета и некоторые другие матери.— Наших девиц похаять нельзя — девицы степенные, разумные.

— Знаю я их лучше вас,— строго промолвила Манефа.— Чуть не догляди, тотчас бесовские игрища заве-

---

[1] Ирине мученице празднуют 16 апреля; народ называет этот день «Арины-рассадницы», «Арины сей капусту на рассадниках» (в срубах). Апреля 15-го — «апостола Пуда — доставай пчел из-под спуда».

дут... Плясание пойдет, нечестивое скакание, в долони плескание и всякие богомерзкие коби [1]. Нечего рыло-то кривить,— крикнула она на Марью головщицу, заметив, что та переглянулась с Фленушкой.— Телегу нову работную купили? — обратилась Манефа к казначее.

— Евстихей Захарыч из Ключова в поминок прислал,— ответила Таифа.— Справная телега, колеса дубовые, шины железные в палец толщиной.

— Спаси его Христос,— сказала Манефа.— Молились за благодетеля?

— Как же, матушка, на̀ год в синодик записан,— вступилась уставщица.

— А сиву кобылу продать,— решила Манефа.— Вечор Трофим проехал на ней, поглядела я, плоха — чуть ноги волочит.

— Старая лошадушка, еще при матушке Екатерине вкладом дана — много годов-то ей будет,— заметила мать Таифа.

— За что ни стало продать. Вел бы Трофим в четверг на базар,— сказала Манефа.— Кур много ли несется? — спросила она подошедшую Виринею.

— Сорок молодочек, матушка, сорок...— ответила Виринея.— Две заклохтали, хочу на яйца сажать.

— Яиц много?

— Сот семь от праздника осталось, каждый день по сороку прибывает,— сказала Виринея.

— До петровок станет?

— Хватит, матушка, хватит. Как до петровок не хватить? — отвечала Виринея.

— Масла, сметаны станет? — продолжала спрашивать игуменья.

— Уповаю на владычицу. Всего станет, матушка,— говорила Виринея.— Не изволь мутить себя заботами, всего при милости божией хватит. Слава господу богу, что поднял тебя... Теперь все ладнехонько у нас пойдет: ведь хозяюшкин глаз, что твой алмаз. Хозяюшка в дому, что оладышек в меду: ступит — копейка, переступит — другая, а зачнет семенить, и рублем не покрыть. За тобой, матушка, голодом не помрем.

— Ну, уж семенить-то мне, Виринеюшка, не прихо-

---

[1] Волхвование, погань, скверность.

дится,— улыбнувшись, ответила Манефа на прибаутки добродушной Виринеи.— И стара и хила стала. А ты, матушка, уж пригляди, порадей, бога ради, не заставь голодать обитель.

— Ах ты, матушка, чтой-то ты вздумала? — утирая выступившие слезы, заговорила добрая Виринея.— Да мы за тобой, как за каменной стеной,— была бы только ты здорова, нужды не примем...

— Это как есть истинная правда, матушка,— заговорили соборные старицы, кланяясь в пояс игуменье.— Будешь жива да здорова — мы за тобой сыты будем...

— Подаст господь пищу на обитель нищу!..— сквозь слезы улыбаясь, прибавила мать Виринея.— С тобой одна рука в меду, другая в патоке...

— Бог спасет за ласковое слово, матери,— поднимаясь со скамейки, сказала игуменья.— Простите, ради Христа, а я уж к себе пойду.

Матери низко поклонились и стали расходиться. Пошла было и Аркадия, но мать Манефа остановила ее.

— Войди-ка, матушка Аркадия, ко мне на минуточку,— сказала она.

Вошли в келью, помолились на иконы, утомленная Манефа села, а Фленушке с Марьюшкой велела в свое место идти.

— Ты это что наделала? — грозно спросила Манефа оторопевшую уставщицу.

— Прости, Христа ради, матушка,— робко молвила Аркадия, кланяясь в землю перед Манефой.

— Какое ты чтение на тра́пезе-то дала?.. А?..

— Прости, Христа ради,— с новым земным поклоном молвила уставщица.

— При чужих-то людях!.. Со́блазны в обители творить?.. А?..

Глаза Манефы так и горели. Всем телом дрожала Аркадия.

— Прости, Христа ради, матушка,— едва слышно оправдывалась она, творя один земной поклон за другим перед пылавшей гневом игуменьей.— Думала я Пролог вынести аль Ефрема Сирина, да на грех ключ от книжного сундука неведомо куда засунула... Память теряю, матушка, беспамятна становлюсь... Прости, Христа ради — не вмени оплошки моей во грех.

— Не знаешь разве, что сло́ва об Евстафии не то что при чужих, при своих читать не подобает?.. Сколько раз говорила я тебе, каких статей на тра̀пезе не читать?— началила Манефа Аркадию.

— Говорила, матушка!.. Много раз говорила... Грех такой выпал! — оправдывалась уставщица.

— Где память-то у тебя была? Где ум-то был? А?..— продолжала Манефа.

— Прости, господа ради, матушка,— кланяясь до земли, говорила Аркадия.— Ни впредь, ни после не буду!..

— Еще бы ты и впредь стала такие со́блазны заводить!..— грозно сказала Манефа.— Нет, ты мне скажи, чем загладить то, что случилось?.. Как из памяти пришлых христолюбцев выбить, что им было читано на трапезе? Вот что скажи.

— Что ж, матушка? Словеса святые, преподобными отцами составлены,— робко промолвила уставщица.— Как их судить?.. Кто посмеет?

Так и вспыхнула Манефа.

— Дура! — вскрикнула она, топнув ногой.— Дожила до старости, а ума накопить не успела... Экое ты слово осмелилась молвить!.. Преподобные, по-твоему, виноваты!.. А?.. Безумная ты, безумная!.. Преподобные в простоте сердца писали, нам с ними не в вѐрсту стать!.. Преподобных простота нам, грешным, собла̀зн... Видела, как девицы-то перемигивались?.. Видела, как мужики-то поглядывали!.. Бабы да сироты чуть не хихикали... Что теперь скажут, что толковать учнут?.. Кто отженит от них омрачение помыслов?.. Кто?.. В со́блазн, как в тину смердящую, вкинуты, в яму бездонную, полну греховных мерзостей... А кто их вкинул?.. Кто вверг?.. Ну-ка, скажи!.. Разошлись теперь по домам, что говорят?.. На̀ людях-то что скажут? «Были, дескать, мы на Радунице в Манефиной обители, слышали поученье от божественного писания — в кабак не ходи, и там средь пьяных такой срамоты не услышишь...» Вот что скажут по твоей милости... Да... А врагам-то никонианам, как молва до них донесется, какая слава, какое торжество будет!.. Вот, скажут, у них, у раскольников-то, прости господи, какова чистота — соро́мные слова в поучение читают... Срамница!.. А девкам-то нашим, даже черницам из молодых разве не собла̀зн было слушать?.. Ах ты, старая, ста-

рая!.. Помнишь евангельское слово?.. Лучше камень на шею да в омут головой, чем слово об Евстафии дать на трапѐзе читать.

— Прости, Христа ради, матушка,— говорила, кланяясь в ноги, Аркадия. Слезы катились у ней по щекам — отереть не смела.

— Чью должность исправила ты? — приставала к ней Манефа.— Чью?

Аркадия молча рыдала.

— Чье, говорю, дело ты правила?.. Чье?..

— Моя вина, матушка, моя вина... Прими покаяние, прости меня, грешную,— молвила уставщица у ног игуменьи.

— Чье дело творила, спрашиваю?..— топнула ногою мать Манефа.— Отвечай — чье дело?

— Не разумею учительного твоего слова, матушка... Не умею ответа держать... Прости, ради Христа...

— Диавола!.. Вот чье дело сотворила ты, окаянная! — грозно сказала ей Манефа.— Кто отец со́блазнов? Кто со́блазны чинит на пагубу душам христианским?.. Кто?.. Говори — кто?..

— Диавол, матушка,— едва слышно проговорила лежавшая у ног игуменьи Аркадия.

— Ему поработала... Врагу божию послужила... Его волю сотворила.

— Ведаю грех свой великий, исповедую его тебе... Прости, матушка... меня, скудоумную, прости меня, неключимую,—молвила Аркадия.

Долго длилось молчание. Только звуки маятника стенных часов в большой горнице Манефиной кельи, да судорожные всхлипывания и тихие вздохи уставщицы слышны были в келейной тишине.

— Встань,— повелительно сказала Манефа.— Старость твою не стану позорить перед всею обителью... На поклоны в часовне тебя не поставлю... А вот тебе епитимья: до дня пятидесятницы — по тысяче поклонов на̀ день. Ко мне приходи отмаливать — это тебя же ради, не видали бы. К тому ж сама хочу видеть, сколь велико́ твое послушание... Ступай!

— Матушка, прости, матушка, благослови! — обычно сказала уставщица, творя метания перед игуменьей.

— Прощу и благословлю, коль жива буду, во святый день пятидесятницы...— сказала Манефа.

С поникшей головой вышла Аркадия из кельи игуменьи. Лица на ней не было. Пот градом выступал на лбу и на морщинистых ланитах уставщицы. До костей проняли ее строгие речи игуменьи...

Оставшись одна, прилечь захотела Манефа. Но наслал же и на нее проклятый бес искушение. То вспоминаются ей слова Лествицы, то мерещится образ Стуколова... Не того Стуколова, что видела недавно у Патапа Максимыча, не старого паломника, а белолицего, остроглазого Якимушку, что когда-то, давным-давно, помутил ее сердце девичье, того удалого добра молодца, без которого цветы не цветно́ цвели, деревья не красно́ росли, солнышко в небе сияло не радостно... Молиться, молиться!.. Но нейдет молитва на ум, расшатанный воспоминаньями о суетном мире... Давнишний, забытый, казалось, мир опять заговорил в остывшей крови. Опять шепчет он страстью, опять на греховные думы наводит. Бес, бес! Отмолиться надо, плоть побороть!..

И стала Манефа на поклоны. И клала поклоны до истощения сил.

Не помогло старице... Телом удручилась, душой не очистилась... Столь страшно бывает демонское стреляние, столь велика злоба диавола на облекшихся в куколь незлобия и в одежду иноческого бесстрастия!.. Искушение!.. Ох, это искушение!.. Придет оно — кто в силах отвратить его?.. Царит, владеет людьми искушение!.. Кто против него?..

Но что ж это за искушение, что за бес, взволновавший Манефину кровь? То веселый Яр — его чары... Не заказан ему путь и в кельи монастырские, от его жаркого разымчивого дыханья не спасут ни черный куколь, ни власяница, ни крепкие монастырские затворы, ни даже старые годы...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часа через полтора после того как матери разошлись по кельям, а белицы с Назаретой ушли погулять за околицу, на конный двор Манефиной обители въехала кибитка с кожаным верхом и наглухо застегнутым фарту-

ком, запряженная парой толстых с глянцевитою шерстью скитских лошадей. Из работницкой «стаи» вышел конюх Дементий и весело приветствовал тщедушного старика, сидевшего на козлах.

— Родион Данилыч! Сколько лет, сколько зим! Матушку, что ль, какую привез?

— Гостя московского, распевалу,— отвечал Родион, слезая с козел и витаясь[1] с Дементием.— Спит,— промолвил он, заглянув под фартук.— Умаялся, сердечный...

— Видно, лесные путинки не по московским костям,— заметил Дементий.

— И дорога же, друг! — сказал Родион.— К вам-то ближе еще туда-сюда, а у нас, вкруг Оленева, беда!.. На Колосковской гати совсем завязли... Часа три пробились... Уж я на деревню за народом бегал... Не приведи господи.

— Знамо, распутица,— промолвил Дементий, почесываясь спиной о угол крыльца...

Родион стал распрягать приусталых коней.

— Что за гость такой? — спросил Дементий.

— А кто его знает? С подаянием, должно быть. В Оленево к нам еще на шестой неделе приехал... А бывал не у всех, у нас в Анфисиной да у матушки Фелицаты... По другим обителям ни ногой.

— Что же так? — спросил Дементий.

— Ихне дело. Как нам узнать? — отвечал Родион.— Петь тоже обучал, у нас все с Анной Сергеевной пел, что при матушке Маргарите живет, а водился больше с Аграфеной, что живет в келарных приспешницах; у Фелицатиных больше с Анной Васильевной.

— Ишь ты! с молоденькими все да с пригожими,— лукаво улыбаясь, заметил Дементий.

— Ихне дело! Нам не узнать, наше дело черное, трудовое, в чисты светлицы ходу нам нет,— проговорил Родион, распрягая лошадей.

— Вестимо,— заметил Дементий,— в Чернухе были?

— Объехали,— сказал Родион.— Ему, слышь, прописано у нас быть да у вас в Комарове. Поедет ли, нет ли в Ула́нгер, наверно тебе сказать не могу...

---

[1] Витаться — здороваться, подавая друг другу руку.

— Ох, как в Ула́нгер придется!.. Беда!..— сказал Дементий.— На Митюшино разве будет везти... Прямо ехать — затонешь.

— Не клянчи, Дементьюшка,— отозвался Родион.— У нас две недели гостил, коль у вас столь же погостит, дорога-то обсохнет.

— Хорошо бы так. Пущай бы подольше ему погостилось,— молвил Дементий.— Он к кому?.. Не знаешь?..— спросил конюх, немного помолчав.— Из матерей к которой аль к самой матушке Манефе?

— К самой, поди,— отозвался Родион.— Что ему до матерей?.. По игуменьям ездит, московский.

— Наша-то матушка не больно еще оправилась,— сказал Дементий.— Хворала... Думали, не встанет.

— Слышно было про то,— молвил Родион.— Теперь как.

— Обошлась, ничего,— отвечал Дементий.— Лекарь из города наезжал... Лечили... Греха-то что было!..

— А что?

— Да лекарь-от из немцев аль бусурманин какой... У людей великий пост, а он скоромятину, ровно собака, жрет... В обители-то!.. Матери бунт подняли, сквернит, знаешь, им. Печки не давали скоромное-то стряпать. Да тут у нас купчиха живет, Марья Гавриловна, так у ней стряпали... Было, было всякого греха!.. Не сразу отмолят...

— А вылечил-таки? — спросил Родион.

— Еще бы не вылечить! — усмехнувшись, ответил Дементий.— Ведь матери, Родионушка, не наш брат — голь да перетыка... У них — деньгам заговенья нет. А богатых и смерть не сразу берет... Рубль не бог, а тоже милует.

— И верно так, Дементьюшка,— сказал Родион,— верно... Дай-ка овсеца ко́ням-то засыпать,— прибавил он, отводя лошадей в конюшню.

— Пойдем,— сказал Дементий и лениво побрел за Родионом.

Меж тем спавший в оленевской кибитке московский певец проснулся. Отворотил он бок кожаного фартука, глядит — место незнакомое, лошади отложены, людей ни души. Живого только и есть что жирная корова, улегшаяся на солнопеке, да высокий голландский петух, ок-

руженный курами всех возможных пород. Склонив голову набок, скитский горлопан стоял на одной ножке и гордо поглядывал то на одну, то на другую подругу жизни.

Отстегнул приехавший гость фартук, поднялся с груды подушек в ситцевых чехлах и тихонько вылез из кибитки.

Это был невысокого роста, черноволосый, с реденькой бородкой и быстро бегавшими черными глазками человек, в синей суконной шубке на хорьковом меху и с новеньким гарусным шарфом на шее — должно быть, подарок какой-нибудь оленевской мастерицы... Певец догадался, что он в Комарове, но где же люди? Не в сонное же царство, не в мертвый заколдованный город приехал.

— Ох, искушение!..— молвил он серебристым звонким голоском и пошел в работницкую поискать, нет ли хоть там живого человека. Изба была пуста.

— Вот какое положение! — сказал он, выйдя на крыльцо.— Родион пропал... Родионушка!— крикнул он, сколько было мочи.

— Ась,— отозвался тот из конюшни. Приезжий направился на́ голос.

— Проснулся, Василий Борисыч? — спросил Родион.— А я уж ко́ней отпряг и корму задал... Что, аль со сна-то головушку разломило?

— И то маленько вздремнул!.. Искушение!..— молвил Василий Борисыч.

— Ну, вздремнуть не вздремнул, а здорово всхрапнул,— заметил, улыбаясь, Родион.— От самой Клопихи носом песни играл — пятнадцать верст...

— Уж и пятнадцать,— усомнился Василий Борисыч.

— Говорю тебе пятнадцать,— сказал Родион.— Хоть людей спроси,— прибавил он, указывая на Дементья.

— До Клопихи точно пятнадцать верст отселева будет... Больше будет — дорога-то ведь здесь не меряная,— подтвердил Дементий.

— И матушку Манефу можно повидать? — спросил его приезжий.

— Не знаю, как тебе сказать, господин купец,— ответил Дементий.— Хворала у нас матушка-то — только что встала. Сегодня же Радуницу справляли — часы

стояла, на могилки ходила, в келарне за трапѐзой сидела. Притомилась. Поди, чать, теперь отдыхать легла.

— Ох, искушение! — тихонько промолвил Василий Борисыч, покачав головой.

— С Мóсквы [1], что ль, будете? — спросил его Дементий.

— Из Москвы,— ответил гость.

— Та-ак,— протянул Дементий.— Большая, слышь, столиция?

— Побольше вашего скита,— сказал, улыбнувшись, Василий Борисыч.

— Одних церквей сорок сороков!

— Так говорится — на деле-то поменьше будет,— ответил Василий Борисыч.

— И все золотоглавые? — продолжал спрашивать Дементий.

— Есть и золотоглавые,— сказал Василий Борисыч.

— Эка подумаешь! — удивился Дементий.— А Иван Великий высок будет?

— Высок,— сказал Василий Борисыч.

— Диковина! — воскликнул Дементий.— А правда ль, что в Москве сорокам невóд?

— Не видать.

— Это Алексей митрополит на сороку заклятие положил, чтоб она в Москву не летала... Птица вор, а на Москве, сказывают, и без того много воров-то.

— Есть,— подтвердил Василий Борисыч.

— Вот и к Макарью на ярманку воры-то больше все из Москвы наезжают,— заметил Дементий.— А правда ль, что у вас хлеб по шести да по семи гривен на серебро живет?

— Случается,— сказал Василий Борисыч.

— То-то и есть: толстó звонят да тонкѝ едят...— примолвил Дементий.— У нас по лесам житье-то, видно, приглядней московского будет, даром что воротàми в угол живем. По крайности ешь без меры, кусков не считают.

— Вон старица неведомо какая бредет, ее бы про матушку спросить,— молвил Василий Борисыч, показывая на Таифу, подходившую к конному двору.

---

[1] За Волгой во многих местностях говорят Мóсква твердым ó.

— Это наша мать казначея,— сказал Дементий.— Ругаться, поди, на конный двор идет!.. Ух, бедовая старица!.. Всяка порошинка у ней на перечете. Одно слово, бедовая!..

Василий Борисыч пошел навстречу Таифе.

— Что вашей милости угодно? — спросила она.

— К матушке Манефе письмецо из Москвы привез, да вот еще к матери Назарете от сродницы.

— Матушка Манефа теперь започивала,— ответила Таифа.— Скорбна у нас матушка-то — жизни не чаяли... Разве в сумерки к ней побываете... А мать Назарета в перелесок пошла с девицами. До солнечного заката ей не воротиться.

— Я бы сходил к ней покудова. Чать, недалеко?..— встрепенувшись, подхватил Василий Борисыч.

— Как вам будет угодно,— сказала Таифа.— Пожалуй, Дементий укажет дорогу... Да вы обедали ли?.. Не то в келарню милости просим.

— Покорно благодарю, матушка,— ответил Василий Борисыч.— Дорогой закусили — сытехонек. Благословите к матушке Назарете сходить.

— Ин самоварчик не поставить ли? — уговаривала гостя мать казначея.— Ко мне бы в келью пожаловали, побеседовали б маленько, а тем временем и матушка Назарета подошла бы и матушка Манефа проснулась бы.

— Мне бы матушку Назарету поскорей повидать,— стоял на своем Василий Борисыч и, как ни упрашивала его казначея посетить ее келью, устоял на своем.

Как истый москвич, не прочь бы он от чашки чаю, пожалуй, и от трапе́зы не отказался бы, но уж очень загорелось у него поскорей идти к Назарете. Знать ее не знал, в глаза не видывал и, покаместь одна читалка на Рогожском не покучилась ему свезти Назарете письмецо с посылочкой, во снях даже про такую старицу не слыхивал. Но, узнав, что пошла она с девицами на гулянку, ног под собой не заслышал Василий Борисыч... Так и тянет его поглядеть на Комаровских белиц, как они там в перелеске свою Красну Горку справляют. Искушение!.. Ну да ведь человек не старый, кровь в жилах не ледяная...

Втащили в работницкую избу поклажу Василья Борисыча. Расшнуровал он чемодан; вынул суконный каф-

танчик, чуйку на ваточной подкладке, шапочку новую, и таким молодцом вырядился, что любо-дорого посмотреть. Затем отправился с Дементьем за околицу...

Только дошли до Каменного Вражка, как послышались издали молодые веселые голоса и звонкий хохот Фленушки.

Дементий воротился, Василий Борисыч тихонько пошел на голоса.

Звучным, приятным голосом искусно завел он песню про «младую юность».

Горе мне, увы мне во младой во юности!
Хочется пожити — не знаю, как быти,
Мысли побивают, к греху привлекают.
Кому возвещу я гибель, мое горе?
Кого призову я со мной слезно плакать?
Горе мне, увы мне во юности жити —
Во младой-то юности мнози борют страсти.
Плоть моя желает больше согрешати.
Юность моя, юность, младое ты время,
Быстро ты стрекаешь, грехи собираешь.
Где бы и не надо — везде поспеваешь,
К богу ты ленива, ко греху радива,
Тебе угождати — бога прогневляти!..

Смолкли белицы... С усладой любовались они нежным голосом незнаемого певца и жадным слухом ловили каждый звук унылой, но дышавшей страстностью песни. Василий Борисыч продолжал:

Юность моя, юность во мне ощутилась,
В разум приходила, слезно говорила:
«Кто добра не хочет, кто худа желает?
Разве змей соперник, добру ненавистник!
Сама бы я рада — силы моей мало,
Сижу на коне я, а конь не обуздан,
Смирить коня нечем — вожжей в руках нету.
По горам по холмам прямо конь стрекает,
Меня разрывает, ум мой потребляет,
Вне ума бываю, твòрю что, не знаю,
Вижу я погибель, страхом вся объята,
Не знаю, как быти, как коня смирити...»

Заслушалась и мать Назарета... Заслоня ладонью от солнца глаза, с недоуменьем разглядывала она подходившего незнакомца.

— Кто б это такой? — говорила она.— Не здешний, не окольный, а наезжих гостей, кажись, во всем Комарове нет... Что за человек?

— Московским глядит,— молвила Фленушка.

— А может, из самого Питера,— подхватила Марья головщица.

— Может, и питерский,— согласилась Фленушка.— А голосок-от каков!.. Как есть соловей.

— Вот бы на клирос в нашу «певчую стаю» такого певца залучить,— закинув бойко голову, молвила молодая, пригожая смуглянка с пылавшими страстным огнем очами. Звали ее Устиньей, прозывали Московкой, потому что не один год сряду в Москве у купцов в читалках жила.

— Молчи, срамница!.. Услышать может...— строго заметила ей Назарета.

— Мы бы ему бородку-то выщипали, в сарафан бы его обрядили,— продолжала со смехом Устинья Московка.

— Замолчишь ли, срамница?.. Аль совести не стало в глазах? — ворчала Назарета.

Василий Борисыч меж тем подошел к старице и, низко поклонившись ей, спросил:

— Матушка Назарета не вы ли будете?

— Так точно,— отвечала она.— Что угодно вашей милости?

— Письмецо к вам с Рогожского привез,— сказал он, вынимая из кармана письмо. — Посылочки тоже есть, ужо предоставлю.

— От кого это, батюшка? — недоверчиво спросила Назарета, быстрым взором окидывая девиц, столпившихся вкруг незнакомца...

— От Домны Васильевны,— отвечал Василий Борисыч.— В Антоновской палате в читалках живет....

— От Домнушки! — радостно воскликнула мать Назарета...— Что она, голубушка?.. Как живет-может?..

— Спасается,— ответил Василий Борисыч.— Негасимую у болящих читает — любят ее старушки...

— Ну, слава богу!.. На утешительном слове благодарю покорно, батюшка,— сказала мать Назарета.— Как имечко-то ваше святое?

— Василий.

— По батюшке?

— Борисов.

— Утешили вы меня, Василий Борисыч. Ведь Домнушка-то по плоти племянница мне доводится — братца покойника дочка... Ведь я тоже московская родом-то.

— Очень приятно,— ответил Василий Борисыч, а черные глазки его так и разбежались по молодым, цветущим здоровьем белицам, со всех сторон окружившим его и мать Назарету.

— К матушке Манефе прибыли? — спросила Назарета.

— Так точно,— отвечал Василий Борисыч,— тоже письма привез.

— От кого, батюшка, письма-те? — продолжала свои расспросы старица.

— От разных,— отвечал он.— От матушки Пульхерии есть письмецо, от Гусевых, от Мартынова Петра Спиридоныча.

— Великий благодетель нам Петр Спиридоныч, дай ему, господи, доброго здравия и души спасения,— молвила мать Назарета.— День и ночь за него бога молим. Им только и живем и дышим — много милостей от него видим... А что, девицы, не пора ль нам и ко дворам?.. Покуда матушка Манефа не встала, я бы вот чайком Василья-то Борисыча напоила... Пойдемте-ка, умницы, солнышко-то стало низенько...

— Рано еще матушка!.. Погоди маленько! — заголосили белицы.

— Что вы, что вы?.. Как возможно не угостить дорогого гостя? Пойдемте... Будет — погуляли, натешились.

— Да матушка!.. Да еще маленько!.. Да погоди хоть с полчасика.

— Вы для меня, матушка, не беспокойтесь,— вступился Василий Борисыч.— Дайте девицам развеселиться... Они нам споют что-нибудь.

— Такому певцу да лесные песни слушать! — бойко подхватила Фленушка, прищуривая глазки и лукаво взглядывая на Василья Борисыча.— Соловью худых птиц слушать не приходится... От худых птиц худые и песни.

— А у матушки Маргариты в Оленеве про вас не то говорят,— отвечал Василий Борисыч.— Там очень похваляют здешнее пение, говорят, что лучше вашего клира по всем скитам нет...

— Так вы из Оленева пожаловали? — спросила мать Назарета.

— Из Оленева, матушка,— ответил Василий Борисыч.— Там и страстную пробыл и праздник праздновал.

— У кого гостили? В какой обители? — спросила Назарета.

— У Анфисиных больше, с матушкой-то Маргаритой мы давние знакомые — она ведь тоже наша московка... У Фелицатиных тоже гостил.

— Это вам Анна Сергеевна, что ли, наше-то пение славила? — спросила его Марьюшка.

— И Анна Сергеевна хвалила и Аграфена келарная, а из Фелицатиных Анна Васильевна. Все хвалили,— говорил Василий Борисыч.

— Всех-то что самых ни на есть лучших девиц в Оленеве спознали,— лукаво усмехнувшсь и быстро вскинув глазами, молвила Фленушка.

— Петь обучал,— улыбнувшись, заметил Василий Борисыч.

— И нас бы поучили!..— защебетали и Фленушка, и Марьюшка, и Устинья Московка, и другие крылошанки.

— Отчего ж не поучить?.. С великою радостью! — сказал Василий Борисыч.— Только ведь надо прежде голоса попробовать: какие у вас голоса — без того нельзя.

— Пробуйте нас, пробуйте,— приставали белицы.

— Очченно бы рад попробовать,— сказал Василий Борисыч.— Матушка Назарета, благословите псàльму спеть.

— Пойте во славу божию,— молвила Назарета, отрываясь на минутку от письма.

— Воскресную надо, девицы... Пасхальную,— сказал Василий Борисыч.— «Велию радость» знаете?

— Знаем, знаем,— защебетали белицы, окружая московского певца.

Высоко, чистым голосом завел он:

Велия радость днесь в мире явися...

Стройно и бойко подхватил девичий хор:

Христос бо воскресе, а смерть умертвися,
Сущиево гробех живот восприяша!
Воспоем же, други, песнь радостну ныне —
Христос бо воскресе от смертные сени,

Живот дарова в сем мире человеку!
Ныне все ликуем,
Духом торжествуем,
Простил бо господь грехи наши. Аминь.

Голоса́ Василья Борисыча и головщицы Марьюшки покрывали остальные. Дале́ко по перелескам разносились звуки воскресной пса̀льмы...

— А мирские песенки попеваете, Василий Борисыч? — бочком подвернувшись к московскому гостю, спросила Фленушка.

— Флена Васильевна! — строго крикнула на нее, складывая письмо, Назарета.— Матушке доложу.

— Не пужай, мать Назарета!.. Я ведь не больно из робких,— резко ответила Фленушка и, не смигаючи, с рьяным задором глядела в разгоревшиеся глаза Василья Борисыча.

— Вольница этакая!.. Бесстыдница!..— ворчала Назарета...

— Что ж, Василий Борисыч?.. Поете мирские? — приставала Фленушка, не обращая внимания на ворчавшую и хлопавшую о полы руками мать Назарету.

— Зачем мирские? — переминаясь на одном месте, сказал Василий Борисыч,— божественных много, можно и без мирских обойтись...

— А мы думали — вы новеньких песенок нам привезли,— недовольным голосом молвила Фленушка.— У нас есть, да все старые. Оченно уж прискучали. Нет ли у вас какого хорошенького «романцика».

— Беспутная!.. Тебе ль говорят?.. Замолчи, озорная!.. Забыла, что в обители живешь?..— кричала Назарета.

— Мы не черницы! — громко смеясь, отвечала старице Фленушка.— Ты, что ль, на нас манатью-то[1] надевала... Мы белицы, мирское нам во грех не поставится...

— Все матушке скажу... Погоди у меня, воструха! — ворчала Назарета и решительным голосом приказала белицам домой собираться.

---

[1] Манатья (мантия), иначе иночество — черная пелеринка, иногда отороченная красным снурком, которую носят старообрядские иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту считается грехом, а кто наденет ее хоть шутя, тот уже постригся.

Впереди пошли Василий Борисыч с Назаретою. За ними, рассыпавшись кучками, пересмеиваясь и весело болтая, прыгали шаловливые белицы. Фленушка подзадоривала их запеть мирскую. Но что сходило с рук игуменьиной любимице и баловнице всей обители, на то другие не дерзали. Только Марьюшка да Устинья Московка не прочь были подтянуть Фленушке, да и то вполголоса.

Фленушка завела плясовую:

Во городе во Казани
Полтораста рублей сани.
Девка ходит по крыльцу,
Платком машет молодцу.

Веселый, игривый напев нерадостно звучит в устах скитских певиц... То ли дело льющаяся из жаркой взволнованной Яр-Хмелем груди свободная опьяняющая песнь Радуницы, что раздавалась о ту пору на Руси по ее несчетным лугам, полям и перелескам...

* * *

Напившись у матери Назареты чаю, Василий Борисыч в сумерки отправился к Манефе.

Положив начал и сотворив метания, Василий Борисыч сказал:

— С письмецом к вам, матушка, от Петра Спиридоныча да от Гусевых... От матушки Пульхерии тоже есть.

— Садиться милости просим,— величаво молвила Манефа, указывая гостю на лавку у стола, на котором уже расставлено было скитское угощенье. Икра, балыки и другая соленая, подстрекающая на большую еду снедь поставлена была рядом с финиками, урюком, шепталой, пастилой, мочеными в меду яблоками и всяких сортов орехами.

Василий Борисыч сел, а пока Манефа читала письма, принялся рассматривать убранство кельи. Келья была просторная, чистая—нигде ни порошинки. В переднем углу, в божнице из простого дерева, с алой бархатной пеленой, стояло несколько древних икон высоких писем, а в самой середине образ Корсунской богородицы старого новгородского пошиба в густо позолоченной ризе сканного дела. Та икона была у Манефы родовая — от дедов и

прадедов шла. Перед нею неугасимо теплилась серебряная лампадка с бисерными подвесками. Стены кельи обшиты были ясеневыми досками, поставленными стоймя, гладко выструганными и натертыми воском. Кругом широкие деревянные скамьи с положенными на них мягкими суконными полавошниками. В красном углу под святыми и по двум сторонам стола полавошники были кармазинные [1], остальные василькового цвета. На окнах, убранных белоснежными кисейными занавесками, обшитыми красной бахромкой, стояли горшки с бальзамином, розанелью, геранью, белокрайкой, чудом в мире и столетним деревом [2]. По стенам развешаны были картины в деревянных рамках, не отличавшиеся, впрочем, ни смыслом, ни изяществом. То были московские произведения, изображавшие апокалипсические деяния антихриста, видение святым Макарием беса в тыквах, распятие плоти во образе монаха с замком на устах, хождение Феодоры по мытарствам и другие сказанья византийского склада. И на каждой картине непременно бес сидит... Ни одной, где бы не был намалеван хоть маленький чертенок...

— Так вы и в Белой Кринице побывали!.. Вот как!..— молвила Манефа, прочитав письма.— Петр Спиридоныч пишет, что вы многое мне на словах перескажете... Рада вас слушать, Василий Борисыч... Побеседуем, а теперь покаместь перед чайком-то... настоечки рюмочку, не то мадерки не прикажете ли?.. Покорно прошу...

Василий Борисыч хватил какой-то девятисильной [3] и откромсал добрый ломоть паюсной икры. За девичьими гулянками да за пением божественных псальм совсем забыл он, что в тот день путем не обедал. К вечеру пронял голод московского посланника. Сделал Василий Борисыч честь донскому балыку, не отказал в ней ветлужским груздям и вятским рыжикам, ни другому, что доброго перед ним гостеприимной игуменьей было наставлено.

---

[1] Кармазинный цвет — ярко-алый.

[2] Бальзамин — balsamina. Розанель, герань и белокрайка — разные виды pelargonium. Чудо в мире — mirabilis. Столетнее дерево, иначе алой — один из видов кактуса.

[3] Девятисильною зовут настойку на траве девесиле.

— Давно ль из Москвы? — спросила его Манефа.

— Давненько, матушка, я с Москвы-то съехал,— отвечал Василий Борисыч.— Еще на четвертой неделе... Дороги — не приведи господи! Через Волгу пешком переходили... Страстную и праздники в Оленеве взял.

— У матушки Маргариты? — спросила Манефа.

— У нее, матушка... еще у матери Фелицаты погостил,— ответил Василий Борисыч.— К австрийскому-то священству склонных обителей в Оленеве только и есть.

— И у нас склонных не много,— заметила Манефа.— Наши да Жженины, Бояркины да Московкины — вот и все... Из захудалых обителей еще кой-какие старицы... А по другим скитам и того нет. В Улàнгере только мать Юдифа маленько склонна...

— А в Чернухе? — помолчав, спросил Василий Борисыч.

— Разве самое малое число,— ответила Манефа.— А по деревням и слышать не хотят.

— Слепотствуют,— молвил Василий Борисыч.— Народ темный, непонимающий.

— Не слепота, Василий Борисыч, сóблазн от австрийского священства больше отводит людей,— сказала Манефа.— Вам, московским, хорошо: вы на свету живете. Не грех бы иной раз и об нас подумать. А вы только совесть маломощных сóблазнами мутите.

— Какие же соблàзны, матушка?.. Кажись, от Москвы соблазнов никогда не бывало,— возразил Василий Борисыч, зорко посматривая на Манефу.

— По письму Петра Спиридоныча, что про вас пишет, да опять же наслышана будучи про вас от батюшки Ивана Матвеича[1] да от матушки Пульхерии, не обинуясь всю правду буду говорить тебе, Василий Борисыч... О чем по нашим палестинам заикнуться не след, и про то скажу,— с заметным волненьем заговорила Манефа. Ее голос дрожал негодованьем, но говорила она сдержанно, ни нà волос не нарушая обычной величавости. Царицей смотрела.

— Что ж такое, матушка? — тревожно спросил игуменью Василий Борисыч.— Скажите, господа ради.

---

[1] Беглый поп по фамилии Ястребов, живший на Рогожском кладбище и пользовавшийся большим уважением старообрядцев.

— Издали зачну, с чего все дело началось,— сказала Манефа.— По письмам батюшки Ивана Матвеича склонились было мы австрийское священство принять. Много было противностей от слабых совестей, много было и шатости... Трости, ветром колеблемы, здешние люди!.. но господу помогающу, склонила я, убогая, обитель нашу к приятию и другие немногие обители, в Оленеве матушку Маргариту, матушку Фелицату, в Ула̀нгере матушку Юдифу. И сначала духовно мы ликовали, Василий Борисыч: наконец-то, говорили, явися благодать божия, спасительная всем человекам... Не нарадовались господню смотрению... Что же?.. Слышим, на Москве закипели раздоры, одни толкуют: «Неправилен митрополит,— обли́ванец», другие богом заклинают, что крещен в три погружения... Кому верить? Кого послушать?.. У нас по лесам народ темный, силы писания не разумеет, а новшества̀ страшится, дабы в чем не погрешить... Сколько было молвы, сколько шатости!.. Рассказать невместимо... Я, убогая, говорила тогда: «Потерпите, други любезные, потерпите самое малое время, явит господь благодать свою, не предайте слуха словесам мятежным...» И по милости господней удержала...

— Знают на Москве про старания ваши, матушка,— прервал было Василий Борисыч.

— Славы, друг, не ищу...— вспыхнула Манефа.— Что делаю, господа ради делаю, не ради вашей суетной Москвы.

— Праведное дело, матушка,— впо́лголоса заметил смешавшийся немного Василий Борисыч.

Величаво, но едва заметно склонила Манефа голову, как бы в знак согласия. Затем, отчеканивая каждое слово, продолжала:

— А скажи по совести, чем нам пособила Москва?..

— Что ж, матушка, кажется, не были оставлены,— промолвил Василий Борисыч.

— Не про деньги речь,— с усмешкой презренья прервала его Манефа.— Про духовное у тебя спрашиваю. Чем поддержали меня?.. Со́блазнами?

— Да какими же, матушка, собла̀знами? — с робким удивленьем спросил Василий Борисыч.

— Сколько годов душевным гладом томимы были мы без священника?.. Писали, писали на Москву: «При-

шлите пастыря»,— ни ответа, ни привета... Ну, вот и дождались...

— Отца Михаила? — сказал Василий Борисыч.

— Да, Михайлу Корягу... По нашим местам так его величают,— отвечала Манефа.— Он-от и есть камень соблазна для здешнего христианства.

— Человек начитанный, сказывали, постный,— заметил Василий Борисыч.

— Постный-от он постный, только не пиюще, не ядуще, а пенязи беруще,— с усмешкой молвила Манефа.

— Где ж бессребреника достать, матушка? Сытых глаз что-то ноне не видится,— сказал Василий Борисыч.

— А чин на нем какой положон? — возразила Манефа.— Благодать, друг мой Василий Борисыч, не репа, за деньги ее не стать продавать... Коряга — стяжатель... Пальцем без денег не двинет... Да еще торгуется... Намедни просят его болящего исправить, а он: «Сколько дашь?» Посулили полтину, народ бедный — больше дать не под силу, а Коряга: «За полтину, говорит, я тебе и господи помилуй не скажу»... Так-то, друг!.. Вот каким пастырем нас Москва наградила... В Апостоле-то что писано пр Симона, восхотевша на сребре благодать стяжати?.. А?.. Ну-ка, скажи... Коряга тот же Симон-волхв — потому стяжатель... Таких пастырей нам не надо... Скорей душевным гладом истомимся, чем к такому попу на исправу пойдем.

— Как же, матушка, возможно пробыть без священника!..— воскликнул Василий Борисыч.— Не в беспоповы ж идти...

— Спасова воля...— твердо сказала Манефа.— Как ему, свету, угодно, так с нами и будет... Сам он спасение наше управит... А Коряге путь к нам заказан... Так и скажи в Москве.

Не отвечал Василий Борисыч.

— Коли на то пошло, я тебе, друг, и побольше скажу,— продолжала Манефа.— Достоверно я знаю, что Коряга на мзде поставлен. А по правилам, такой поп и епископ, что ставил его, извержению подлежат, от общения да отречутся. Так ли, Василий Борисыч?

— Есть такие правила, точно что есть,— отвечал Василий Борисыч.— Двадесять девятое апостольское, чет-

вертого собора двадесятое, на шестом и на седьмом соборах тож подтверждено.

— То-то и есть,— продолжала Манефа.— Как же должно вашего Софрона епископа понимать?.. А?.. Были от меня посыланы верные люди по разным местам, и письмами обсылалась... Нехорошие про него слухи, Василий Борисыч, ох, какие нехорошие! А Москва его терпит! Да как не терпеть?.. Московский избранник!..

— Это, матушка, вы сказали несправедливо,— возразил Василий Борисыч.— Не было Софрону московского избранья. Сам в епископы своей волей втесался... Нашего согласия ему дадено не было... Да ноне в Москве его и принимать перестали.

— С коих пор?..— быстро спросила Манефа.

— Я все доподлинно вам расскажу,— молвил Василий Борисыч.— Затем и прислан — выслушать извольте.

— Слушаю, друг, слушаю,— медленно проговорила Манефа, облокачиваясь на стол и устремив как уголья горевшие черные глаза на Василья Борисыча.

— Епископа Софрония в миру Степаном Трифонычем звали, Жировым...

— Знаю,— перебила Манефа.— Двор постоялый в Москве держал.

— И беглыми попами торговал,— добавил Василий Борисыч.— Развозил по христианству... Свел он, матушка, в то самое время дружбу с паломником одним... Яким Стуколов прозывается.

Чуть заметно дернуло у Манефы бровь, но подавила она вздох и, пустив на глаза креповую наметку, судорожно сжала губы...

— Этот Стуколов по чужим землям долго странствовал, искавши епископа древлего благочестия. Оттого в Белой Кринице ему ото всех большое доверие было... Вздумал этот Яким Стуколов заодно с Жировым деньги добывать — богатства захотелось, в миллионщики вылезть пожелал. Спервоначалу стали они где-то в Калужской губернии искать золото... Землю купили — заварилось у них дело. Каково было то дело, говорят розно... Господь ведает, что у них меж собой творилось — обман ли какой, на самом ли деле золото сыскали — не могу сказать доподлинно, только Жиров с Стуколовым меж

собой были друзья велики. А у Жирова золото золотом, попы попами,— прежнего промыслу не покидал... В самое то время наши московские соборне уложили особого для Российской державы епископа получить, потому что в Австрии смуты да войны настали. Не ровен час — иерархия в один час могла бы порешиться; опять бы остались без архиерейства... Покаместь на Рогожском судили да рядили, кого послать за архиерейством, Степан Трифоныч, не будь плох, да с черным попиком [1], Егором звали, и махни за границу. «Если, думает, от развоза попов добрые деньги в мошну перепадали, от епископа не в пример больше получить их можно». Ладно, хорошо: взял он у приятеля своего у Стуколова письма и повез Егора в Белу-Криницу в архиереи ставить. Там гостям рады, туда уж успели дохнуть, что московские желают своего епископа, и по письмам Стуколова скорехонько занялись того попа Егора в архиереи поставить... Стали исповедывать, и нашлись за Егором такие грехи, что ему не то чтоб епископом — в попах-то быть не годится... Монастырские власти Степану про то объявили — никак, дескать, невозможно... Степан Трифоныч туда-сюда — не соглашаются. Тогда и говорит ему отец Павел, настоятель тамошний: «Да за чем, говорит, дело стало? Ты, Степан Трифоныч, человек вдовый, в писании горазд, для че самому тебе архиереем не быть... Яким Прохорыч Стуколов про тебя хорошо описал, а мы ему верим во всем...» Степан рад-радехонек... Не думал, не гадал — хиротония сама на него свалилась... На другой же день постригли его во иночество, Софронием нарекли, в дьяконы поставили, назавтра в попы, послезавтра в епископы. Так его в трое суток и обмотали... На четвертые домой архиерей отправился... Дорогой-то, правда ли, нет ли, Егора в реке утопил... Москва так и ахнула, узнавши, каков святитель в ней проявился... А делать нечего: омофор не шуба — с плеч не сбросишь... Толки пошли, пересуды, вражда в обществе, свары да ссоры. Однакож все помаленьку утешилось. Хочешь не хочешь, к новому владыке ступай.

— Так вот он каков! — едва слышно промолвила Манефа.

---

[1] Черный поп — иеромонах.

— Таков, матушка, таков,— поистине говорю,— отвечал Василий Борисыч.— Про это самое доложить вам и велено...

— Хороша Москва!.. Можно чести приписать!..— с горечью сказала Манефа, поднимая наметку и сурово вскинув глазами на Василья Борисыча.— Пекутся о душах христианских! Соблюдают правую веру!

— Грех такой вышел, матушка, искушение!.. Ничего тут не поделаешь,— разводя руками, чуть слышно проговорил Василий Борисыч и потупил взоры перед горевшими негодованием очами величавой игуменьи.

— Истинно грех вышел, да еще грех-от какой! Горше его нет!..— сказала Манефа.— Спасибо вам, московским, спасибо!.. Сами впали в яму и других с собой ввалили... Спасибо!..

Не отвечал Василий Борисыч. Не по себе ему было. Вынув из кармана шелковой платок, молча отирал он обильно выступивший на лбу пот.

— Дальше что? — спросила Манефа после молчания, длившегося несколько минут.

— Святокупец святокупцом и остался,— слегка запинаясь, ответил Василий Борисыч.— Попа поставить — пятьсот целковых, одигон [1] — та же цена и выше; с поставленных попов меньше ста рублей в месяц оброку не берет... Завел венечные пошлины, таковы-де при патриархе Иосифе бывали: пять целковых с венца, три за погребенье, по три с крещения, со всего.

— Прежде торговал попами, теперь благодатью святого духа?.. Так, что ли? — язвительно усмехнувшись, спросила Манефа.

— Так... так точно, матушка,— приниженно молвил Василий Борисыч и снова принялся утираться платком.

— Что ж это он у Макарья лавки не возьмет себе?.. Вывеску бы повесил — большую, золотую, размалеванную... Написал бы на ней: «Торговля благодатью святого духа, московского купца епископа Софрония».

— Бывал и у Макарья, матушка,— сказал Василий Борисыч.

— Без вывески, должно быть, торговал. Такой что-то не виделось,— с желчной улыбкой ответила Мане-

---

[1] Одигон — путевый престол, переносный антиминс, на котором во всяком месте можно совершать литургию.

фа.— Такцию бы ему напечатать — за одигон, мол, пятьсот, за попа пятьсот... Греховодники!..

— Не наша вина, матушка!.. Не Москва Софрона выбирала,— оправдывался Василий Борисыч.— Аки пес на престол вскочил.

— Это ты из гранографа [1],— усмехнулась Манефа...— Про Гришку Расстригу в гранографе так писано... А ведь, подумать хорошенько, и ваш Степка, хоть не Гришкиной стезей, а в его же пределы идет — к сатане на колени — рядом с Иудой предателем... Со́блазны по християнству разносить!.. Шатость по́ людям пускать!.. Есть ли таким грехам отпущенье?..

— Ох, искушение!..— глубоко и горько вздохнул Василий Борисыч.

— Хоть не ведали мы про такие дела Софроновы, а веры ему все-таки не было,— после некоторого молчанья проговорила Манефа.— Нет, друг любезный, Василий Борисыч... Дорога́ Москва, а душ спасенье дороже... Так и было писано Петру Спиридонычу, имели бы нас, отреченных... Не желаем такого священства — не хотим сквернить свои души... Матушка Маргарита в Оленеве что тебе говорила?

— Да те же речи, что и ваши,— отвечал Василий Борисыч.

— Видишь!.. И не будет у нас согласья с Москвой... Не будет!.. Общения не разорвем, а согласья не будет!.. По-старому останемся, как при бегствующих иереях бывало... Как отцы и деды жили, так и мы будем жить... Знать не хотим ваших московских затеек!..

При этих словах вошла келейная девица и, низко поклонясь гостю, доложила игуменье:

— От Патапа Максимыча нарочного пригнали.

— Пантелей? — спросила Манефа.

— Нет, матушка, неведомо какой человек. Молодой еще из себя, рослый такой.

— Знаю,— кивнула ей Манефа.— Кликни.

* * *

Келейная девица вышла, и минуты через две явился Алексей. Сотворя уставной нача́л перед иконами и два

---

[1] Хронограф.

метания перед игуменьей, поклонился он гостю и, подавая Манефе письмо, сказал:

— Патап Максимыч приказали кланяться.

Не вставая с места и молча, Манефа низко склонила голову.

— Здоровы ль все? — спросила она.— Садись, гость будешь,— примолвила она.

— Все, слава богу, здоровы,— отвечал Алексей, садясь на лавку рядом с Васильем Борисычем.— Про вашу болезнь оченно скорбели.

— Патап Максимыч в отлучке был? — спросила Манефа.

— Уезжали, на шестой неделе воротились,— отвечал Алексей.

— Как праздник справили? — невозмутимо, ровным голосом продолжала расспросы Манефа.

— Все слава богу,— отвечал Алексей.

— Ну и слава богу,— молвила Манефа и, показывая на расставленные закуски, прибавила: — Милости просим, покушай, чем бог послал...

Алексей выпил, закусил... Чаю подали ему.

— Там кое-что привезено к вашей святыне, матушка... От Патапа Максимыча припасы... Кому прикажете сдать? — спросил Алексей.

— Завтра,— молвила Манефа и ударила в малую кандию, стоявшую возле нее на окошке. Келейная девица вышла из-за перегородки.

— В задних кельях прибрано? — спросила ее Манефа.

— Прибрано, матушка.

— А в светелке над стряпущей?

— И там все как надо быть.

— Московского гостя дорогого в заднюю,— сказала Манефа,— а его,— прибавила, показывая на Алексея,— в светелку. Вели постели стлать... Пожитки ихние туда перенесть. Сейчас же.

Низко поклонившись, вышла келейная девица.

— Ты сюда нарочно аль проездом? — спросила Манефа Алексея.

— В два места Патап Максимыч послали,— отвечал он,— велел вам да Марье Гавриловне письма доставить, а отсель проехать в Урень.

— На Ветлугу? — быстро спросила Манефа, вскинув глазами на Алексея и нахмуря брови.

— На Ветлугу, матушка,— отвечал Алексей.

— Марью Гавриловну видел? — немного помолчав, спросила она.

— Нет еще, матушка.

— Ступай к ней покуда,— сказала Манефа.— Не больно еще поздно, она ж полуночница... Долго ль у нас прогостишь?

— Благословите, матушка, завтра ж пораньше отправиться,— молвил Алексей.

— Как знаешь. Работника послала я в Осиповку, с письмом от Марьи Гавриловны. При тебе приехал?

— Нет, матушка.

— Разъехались. Ступай с богом. Завтра позову,— сказала Манефа, слегка наклоняя голову.

Положил Алексей исходный нача́л перед иконами, сотворил метания и вышел.

— Помешали нам,— молвила Манефа Василью Борисычу.— Суета!.. Что делать?.. Не пустыня Фиваидская — с миром не развяжешься!.. Что ж еще Петр Спиридоныч наказывал?

— Да насчет того же Софрония, матушка,— отвечал Василий Борисыч.— Узнавши про нечестивые дела его, кладбищенские попечители на первых порах келейно его уговаривали, усовестить желали. И то было неоднократно... Деньги давали, жалованье положили, перестал бы только торговать благодатью да ставил бы в попы людей достойных, по выбору обществá. А он и деньги возьмет и беспутных попов наставит... А уследить невозможно — всё в разъездах... Время гонительное, всюду розыски — на одном месте пребывать нельзя, а ему то и на руку... Этак, матушка, без малого четыре года с ним маялись... От того от самого и вам доброго священника до сей поры не высылали... Что с самочинником поделаешь?..

— В прежни годы обо всех делах и не столь важных с Рогожского к нам в леса за известие посылали, советовались с нами, а ноне из памяти нас, убогих, выкинули,— укоряла Манефа московского посла.— В четыре-то года можно бы, кажись, изобрать время хоть одно письмецо написать...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава VI.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава IX.

— Все хотелось, матушка, келейно, по тайности уладить, чтоб молва не пошла... Соблазна тоже боялись,— оправдывался Василий Борисыч.— Хоть малую, а все еще возлагали надежду на Софронову совесть, авось, полагали, устыдится... Наконец, матушка, позвали его в собрание, все вины ему вычитали: и про святокупство, и про клеветы, и про несвойственные сану оболгания, во всем обличили.

— Что ж он? — спросила Манефа.

— А плюнул, матушка, да все собрание гнилыми словами и выругал...— сказал Василий Борисыч.— «Не вам, говорит, мужикам, епископа судить!.. Как сметь, говорит, ноге выше головы стать?.. На меня, говорит, суд только на небеси да в митрополии...» Пригрозили ему жалобой митрополиту и заграничным епископам, а он на то всему собранию анафему.

— Анафему! — с ужасом вскликнула Манефа.

— Как есть анафему, матушка,— подтвердил Василий Борисыч.— Да потом и говорит: «Теперь поезжайте с жалобой к митрополиту. Вам, отлученным и анафеме преданным, веры не будет». Да, взявший Кормчую, шестое правило второго собора и зачал вычитывать: «Аще которые осуждены или отлучены, сим да не будет позволено обвинять епископа». Наши так и обмерли: делу-то не пособили, а клятву с анафемой доспели!.. Вот те и с праздником!..

— Ах он, разбойник! — вскочив с места, вскрикнула Манефа. Лицо ее так и пылало...

— Истинно так, матушка,— подтвердил Василий Борисыч.— Иначе его и понимать нельзя, как разбойником... Тут, матушка, пошли доноситься об нем слухи один другого хуже... И про попа Егора, что в воду посадил, и про золото, что с паломником Стуколовым под Калугой искал... Золото, как слышно, отводом только было, а они, слышь, поганым ремеслом занимались: фальшивы деньги ковали.

Наклонив голову, Манефа закрыла ее ладонями. Смолк Василий Борисыч.

— Дальше что? — спросила игуменья, подняв голову после минутного молчанья.

Не думал Василий Борисыч, какими ножами резал он сердце Манефы.

— Жалобу к митрополиту послали,— продолжал он,— другого епископа просили, а Софрона извергнуть.

— Ну? — спросила Манефа.

— Согласился владыко-митрополит,— отвечал Василий Борисыч.— Другого епископа перед великим постом нынешнего года поставил, нарек его Владимирским, Софрона же ограничил одним Симбирском... Вот и устав новоучрежденной Владимирской архиепископии,— прибавил он, вынимая из кармана тетрадку и подавая ее Манефе.

— Потрудитесь почитать, глаза-то у меня после болезни плохи, мало видят,— сказала Манефа.

Василий Борисыч начал чтение:

— «Владимирский архиепископ подведомственно себе иметь должен все единоверные епархии, ныне существующие и впредь учредиться могущие во всей Российской державе, даже по Персии и Сибири простирающиеся, и на север до Ледовитого моря достигающие. И имеет право во оные епархии поставлять епископов по своему усмотрению с содействием своего наместника».

— Какого ж это наместника? — спросила Манефа.

— А другого-то епископа, матушка, что в Белой-то Кринице,— отвечал Василий Борисыч.

— Софрона! — воскликнула Манефа.

— Нет, матушка... Как возможно... Избави бог,— сказал Василий Борисыч.— Софрон только при своем месте, в Симбирске, будет действовать — там у него приятели живут: Вандышевы, Мингалевы, Константиновы — пускай его с ними, как знает, так и валандается. А в наместниках иной будет — человек достойный,— а на место Софрона в российские пределы тоже достойный епископ поставлен — Антоний.

— Дальше читай,— молвила Манефа.

— «А по поставлении давать только сведение Белокриницкой митрополии»,— продолжал Василий Борисыч.

— Это хорошо,— заметила Манефа.— Что, в самом деле, с заграничными невесть какими водиться!.. Свои лучше.

— «Все епископы, подведомственные Владимирской архиепископии, отныне и впредь, по поставлении своем

должны по чину, в Чиновнике[1] изображенному, исповедание веры и присяжные листы за своим подписом давать прямо архиепископу владимирскому. В действии же епископы и прочие священники, в России сущие, смотрительного ради случая и доколе обстоит гонение, могут иметь пребывание во всяком граде и месте, где кому будет возможность скрыться от мучительских рук, и имеют право безвозбранно в нуждах христианам помогать и их требы священнические исполнять. Святительские же дела, сиречь поставлять попов и диаконов и прочих клириков и запрещать или извергать, без благословения архиепископа да не дерзают. В своей же епархии каждый епископ полное право имеет распоряжаться и поставлять попов и диаконов и прочих клириков, по его благоусмотрению, яко господин в своем доме»[2].

Долго еще читал Василий Борисыч устав Владимирской архиепископии и, кончив, спросил он Манефу:

— Каких же мыслей будете вы насчет этого, матушка? Узнать ваше мнение велено мне.

Задумалась Манефа. Соображала она.

— А что мать Маргарита? — спросила она.

— Матушка Маргарита склонна̀,— отвечал Василий Борисыч.— Писать к вам собирается... Ваше-то какое решение будет?

— Что ж... По моему рассуждению, дело не худое... Порочить нельзя,— сказала Манефа.— Дай только бог, чтоб христианству было на пользу.

— О согласии вашем прикажете в Москву доложить? — спросил Василий Борисыч.

— Обожди, друг, маленько. Скорого дела не хвалят,— ответила Манефа.— Ты вот погости у нас,— добрым гостям мы рады всегда,— а тем временем пособоруем, тебя позовем на собрание — дело-то и будет в порядке... Не малое дело, подумать да обсудить его надо... Тебе ведь не к спеху? Можешь недельку, другую погостить?

Вспомнил Василий Борисыч про полногрудых, быстроглазых белиц и возрадовался духом от приглашения Манефы.

---

[1] Так называется книга, в которой изложены правила архиерейских священнодействий.

[2] Дословно из устава Владимирской (старообрядской) архиепископии, доставленного 4-го февраля 1853 года в Белой Кринице.

— Сколько будет угодно вам, матушка, столько под вашим кровом и проживу,— сказал он.— Дело в самом деле таково, что надо об нем подумать да и подумать. А чтоб мне у вас не напрасно жить, благословите в часовне подьячить.

— Разве горазд? — спросила Манефа.

— На том стоим, матушка... Сызмальства обучен,— сказал Василий Борисыч.— На Рогожском службы справлял... Опять же меня и в митрополию-то с уста́вщиком Жигаревым посылали, потому что службу знаю до тонкости и мог приметить, каково правильно там ее справляют... Опять же не в похвальбу насчет пения скажу: в Оленеве у матушки Маргариты да у матушки Фелицаты пению девиц обучил — развод демественный им показал.

— И нашим покажи, Василий Борисыч,— молвила Манефа. — Мы ведь поем попросту, как от старых матерей навыкли, по слуху больше... Не больно много у нас, прости, Христа ради, и таких, чтоб путем и крюки-то разбирали. Ину пору заведут догматик — «Всемирную славу» аль другой какой — один со́блазн: кто в лес, кто по дрова... Не то, что у вас на Рогожском, там пение ангелоподобное... Поучи, родной, поучи, Василий Борисыч, наших-то девиц — много тебе благодарна останусь.

— С великим моим удовольствием,— ответил Василий Борисыч. Черненькие глазки его так и заискрились при мысли, что середь пригоженьких да молоденьких он не одну неделю как сыр в масле будет кататься. «Подольше бы только старицы-то соборовали»,— думал он сам про себя.

— Ну, гость дорогой, не пора ль и на покой? — поднимаясь с места, молвила Манефа.— Выкушай посошок... Милости прошу... А там в задней келье ужинать тебе подадут.

Василий Борисыч выкушал посошок и, помолясь иконам, простился с игуменьей.

— Бог простит, бог благословит,— сказала Манефа, провожая его.— Дай бог счастливо ночь ночевать. Утре, как встанешь, пожалуй ко мне в келью, чайку вместе изопьем, да еще потолкуем про это дело... Дело не малое!.. Не малое дело!..

— Какого еще дела больше того, матушка? — отозвался Василий Борисыч, выходя из кельи.

В сенях со свечой встретила его келейница.

— Пожалуйте, гость дорогой... Вот сюда пожалуйте,— говорила она, проводя Василья Борисыча по внутренним закоулкам игуменьиной «стаи», мимо разных чуланов и боковуш, середи которых непривычному человеку легко было заблудиться.

По уходе Василья Борисыча Манефа перестала сдерживаться. Дала простор и волю чувствам, вызванным речами московского посла... Облокотясь на стол обеими руками и закрыв разгоревшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразия святопродавца Софрона и соблазны, поднявшиеся в старообрядской среде, мутили душу ее, сколько *он*, этот когда-то милый сердцу ее человек, потом совершенно забытый, а теперь ставший врагом, злодеем, влекущим людей на погибель... И прежде нередко задумывалась она над словами Таифы, поразившими ее чуть не нàсмерть, но до сей поры не твердо им верила, все хотелось ей думать, что сказанное казначеей одни пустые сплетни... Теперь конец сомненьям... Он в самом деле лживый, коварный человек, *он* нечестие свое лживо и лицемерно покрывает обманной личиной святости и духовности... «Ах, Фленушка, Фленушка! — шевелилось в уме Манефы.— Горькая ты моя сиротинушка!.. Благо, что не знаешь, от кого ты на свет родилась!..»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

От Манефы Алексей пошел было к Марье Гавриловне, но вышедшая из домика ее бойкая, быстроглазая, пригоженькая девушка, одетая не по-скитски, вся в цветном, остановила его.

— Вам кого надобно? — спросила она Алексея.

— Марью Гавриловну,— отвечал он.— Письмо к ней привез...

— От кого письмо? — спросила девушка.

— Из Осиповки, от Патапа Максимыча. Еще посылочка маленькая,— сказал Алексей.

— Обождите маленько,— молвила девушка.— Сегодня Марье Гавриловне что-то не поздоровилось, сбира-

лась пораньше лечь... Уж не разделась ли? Да я тотчас скажу ей. Обождите у воротец манехонько...

Минуты через три девушка воротилась и сказала, чтоб Алексей письмо и посылку отдал ей, а сам бы приходил к Марье Гавриловне завтра поутру.

Побродил Алексей вкруг домика, походил и вокруг часовни. Но уж стемнело, и путем ничего нельзя было разглядеть. Пошел на огонь к игуменской «стае», добраться бы до ночлега да скорей на боковую... Только переступил порог, кто-то схватил его за руку.

— Тебя зачем принесло, пучеглазый? — дернув его за рукав, вполголоса спросила Фленушка.

— Ах, Флена Васильевна! — вскликнул Алексей. Не заметно было в его голосе, чтоб обрадовался он нечаянной встрече со старой знакомой...— Всё ли в добром здоровье?...— прибавил он, заминаясь.

— Зачем сюда попал? — спрашивала Фленушка, сильнее дергая его за рукав.

— Мимоездом...— отвечал он.— С письмом от Патапа Максимыча.

— Куда едешь?

— Далеко,— отшучивался Алексей.

— Куда, говорят?.. Сказывай, совесть твоя проклятая!..— продолжала Фленушка.

— Отсель не видать,— молвил Алексей, отстраняясь от Фленушки.

— Сказывай, бесстыжий, куда? — приставала к нему Фленушка.

— Много будешь знать — мало станешь спать,— с усмешкой ответил Алексей.— Про что не сказывают, того не допытывайся.

— Цыган бессовестный!.. От тебя ль такие речи? — сказала Фленушка...— Что Настя?

— Настасья Патаповна ничего. Кажись, здорова,— равнодушно ответил Алексей.

— Да ты, друг ситный, что за разводы вздумал передо мной разводить?.. А?..— изо всей силы трепля за кафтан Алексея, вскликнула Фленушка.— Сказывай сейчас, бесстыжие твои глаза, что у вас там случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Алексей.

— Меня не проведешь... Вижу я... Дело неладно. Сказывай скорей, долго ль мне с тобой растабарывать?..

— Да ничего не случилось,— сказал Алексей.— Образ, что ли, тебе со стены тащить?..

— Ходишь к ней?

Алексей молчал.

— Да говори же, непутный...— приставала Фленушка.— Пучеглазый ты этакой, бессовестный!.. Говори скорей, все ль у вас по-прежнему?

Сени осветились — из задней со свечой в руках вышла келейная девица. Фленушка быстро отскочила от Алексея.

— Спрашивает, где ночевать ему приготовлено,— сказала она.— Это от Патапа Максимыча.

— Знаю,— отвечала келейница.— Пойдем, молодѐц... Сюда вот... А тебе, Флена Васильевна, не пора ль на покой?

— Знаю с твое! — быстро отвернувшись, молвила Фленушка и скорыми, частыми шагами пошла в свои горницы. Остановясь на полдороге, обернулась она и громко сказала:

— Я с тобой письмо к Настеньке пошлю. Надо койчто узнать от нее... Перед отъездом скажись...

В отведенной светелке Алексей плотно поужинал под говор келейной девицы. Рада была она радехонька, что пришлось ей покалякать с новым человеком.

Долго рассказывала она Алексею, как матушка Манефа, воротясь из Осиповки с именин Аксиньи Захаровны, ни с того ни с сего слегла и так тяжко заболела, что с минуты на минуту ожидали ее кончины,— уж теплая вода готова была обмывать тело покойницы. Горько жаловалась на Марью Гавриловну... И лекаря-то выписала поганить нечестивым лекарством святую душеньку и власть-то забрала в обители непомерную, такую власть, что даже ключницу, мать Софию, из игуменских келий выгнала, не уважа того, что пятнадцать годов она в ключах при матушке ходила, а сама Марья Гавриловна без году неделя в обители живет, да и то особым хозяйством... А после того, как выздоровела матушка, должно быть, Марьей же Гавриловной наговорено чтонибудь на мать Софию. Не пожелала матушка, чтоб она при ней в ключах ходила, и пока не придумала, кому быть в ключах, ее при келье держит.

И это промолвила старая рябая келейная девица с чувством гордости.

Алексей слушал ее краем уха... Думы его были далече.

Не спалось ему на новом месте. Еще не разгорелась заря, как он уж поднялся с жаркой перины и, растворив оконце душной светелки, жадно впивал свежий утренний воздух.

Обитель спала. Только чириканье воробьев, прыгавших по скату крутой часовенной крыши, да щебетанье лесных птичек, гнездившихся в кустах и деревьях кладбища, нарушали тишину раннего утра. Голубым паром поднимался туман с зеленеющих полей и бурых, железистой ржавчиной крытых мочажин... С каждой минутой ярче и шире алела заря... Золотистыми перьями раскидывались по ней лучи скрытого еще за небосклоном светила.

Глядит Алексей на стоящий отдельно от обительских строений домик... Вовсе не похож он на другие... Крыт железом, обшит тесом, выкрашен, бемские стекла, медные оконные приборы так и горят на заре... «Так вот в каких хоромах поживает Марья Гавриловна»,— думает Алексей, не сводя глаз с красивого, свеженького домика...

Поднялась занавесь в домике, распахнулось окно... Стройная, высокая, молодая женщина, вся в белоснежном платье, стала у окна, устремив взор на разгоравшуюся зарю... Вздохнув несколько раз свежим весенним воздухом, зорко оглянулась она и запела вполголоса:

Кручина ты моя, кручинушка великая,
Никому ты, кручина моя, неизвестна,
Знает про тебя одно мое сердце,
Крыта ты, кручинушка, белой моей грудью,
Запечатана крепкой моей думой.

Дивуется Алексей... Что за красота!.. Что за голос звонкий, душевный!.. И какая может быть у нее кручина?.. Какое у нее может быть горе?

Еще тише запела Марья Гавриловна:

Не слыхать тебе, друг милый, моих песен,
Не узнать тебе про мою кручину,
Ах! Заной же, заной, сердце ретивое.

— Ах! — тихо вскрикнула она. Песня оборвалась. Быстро захлопнулось окно... Внутри опустилась шелковая занавеска.

Зевая и лениво всей пятерней почесывая в затылке, из кельи уставщицы Аркадии выползла толстая, рябая, с подслеповатыми гноившимися глазами канонница. Неспешным шагом дошла она до часовенной паперти и перед иконой, поставленной над входною дверью, положила семипоклонный начàл... Потом медленно потянулась к полке, взяла с нее деревянный молот и ударила в било... Заутреня!

Из-за вершин дальнего темно-сизого леса сверкнул золотистый серп. Он растет, растет, и вот на безоблачный, ясный небосклон выкатилось светоносное солнце. Заблестели под его лучами длинные ряды обительских келий и убогие сиротские избенки; переливным огнем загорелись стекла домика Марьи Гавриловны. Ниже и ниже стелется туман... Заря потухла, и только вверху небосклона розовым светом сияют тонкие полосы полупрозрачных перистых облаков... Звончей, веселей щебечут птицы в кустах и на деревьях скитского кладбища... Игривыми, радостными криками по дальним перелескам громко и вольно заливается разноголосная пернатая тварь...

Клеплет рябая в «малое древо», клеплет в «великое», мерно ударяет в железное клепало [1]. Издали со всех сторон послышались такие ж глухие, но резкие звуки... По всем обителям сзывают на молитву... Смолкли, про-

[1] Колокола в скитах запрещены. Вместо колокольного звона там сзывали к богослужению «билами» и «клепалами», употреблявшимися в старину повсеместно. По большей части у каждой часовни бывало по одному билу, больше трех никогда. «Малое древо» делается из сухого ясеневого дерева, аршина в полтора длины, вершка в два ширины и в два пальца толщины; по краям его по два или по три отверстия. Малое древо висит на веревках, иногда скрученных из толстых струн «Великое древо» отличается от малого только размером, оно в два с половиной аршина или в сажень длины, в пол-аршина ширины и вершка в полтора толщины. В малое било колотят одним деревянным (иногда железным) молотом, в большое — двумя. «Железное клепало» — чугунная доска, такая же, что употребляется ночными караульщиками. По нем бьют железным молотком или большим гвоздем (гроетесным). Сначала в било ударяют медленно, потом скорей и громче, с повышением и понижением звуков и разными переливами, что зависит от более или менее сильного удара молотом. «Деревянный звон», как называли его в скитах, гармоничен, особенно издали и если производит его опытная рука... В скитах дорожили искусными «звонарихами», умевшими владеть такими незатейливыми инструментами.

мчавшись по воздуху, призывные звуки, опять затихло все под утренними лучами солнца... Ярко стелются эти лучи по зеленой луговине и по бурым тропинкам, проторенным от каждой стаи келий к часовне... Веет весной, жизнью, волей...

Ровно черные галицы спешат по тропинкам инокини, собираясь в часовню... Медленна, величава их поступь... Живо, резво обгоняют их по свежей зеленой мураве белицы... Открылись окна в часовне... Послышалось заунывное пение.

* * *

Обутрело... Пошел Алексей к Марье Гавриловне. Не красна́ на молодце одежа, сам собою молодец красён.

Идет двором обительским, черницы на мо́лодца поглядывают; молоды белицы с уда̀лого не сводят глаз. На пригожество Алексеево дивуются, сами меж собой таковы речи поговаривают: «Откуда, из каких мест такой молодчик повыявился, чей таков, зачем к нам пожаловал?..»

А он степенным шагом идет себе по двору обительскому... На̀ стороны Алексей не озирается, лишь изредка по окнам палючими глазами вскидывает... И от взглядов его не одно сердце девичье в то ясное утро черной тоской и алчными думами мутилося...

В скитских обителях не знают ни запоров, ни затворов, только на ночь там кельи замыкаются. Поднялся Алексей на разубранное точеными балясинами и раскрашенное в разные цвета̀ крылечко уютного домика Марьи Гавриловны, миновал небольшие сенцы и переднюю и вошел в первую горницу... Райской светлицей она показалась ему. Хорошо в хоромах у Патапа Максимыча прибрано, богато они у него разукрашены, но далёко им до приютного жилья молодой вдовы... И светло и красно в том жилье, чисто и ладно все обряжено, цветам да заморским деревьям счету нет, на полу разостланы ковры пушистые, по окнам в клетках прыгают веселые пташки-канареечки, заливаются громкими песнями...

Вспомнил Алексей, как на утренней заре видел он молодую вдову, вспомнил про песню ее кручинную, про звонкий душевный голос и про внезапный переполох ее... И чего так спугалась она?.. Его ли приметила?..

Иль, завидя звонариху, спешно укрылась от нее с глаз долой? Не разгадать Алексею.

Распахнулись двери створчатые — перед Алексеем во всей красе стала Марья Гавриловна.

В синем шелковом платье, с лазоревым левантиновым платочком на голове, стоит она стройная, высокая, будто молодая сосенка. Глаза опущены, а белое лицо тонким багрецом подернулось... Чем-то нежданным-негаданным она взволнована: грудь высокó подымается, полуоткрытые алые губки слегка вздрагивают.

Стоит Алексей как вкопанный, не сводит со вдовьей красы своих ясных очей. Чем дольше глядит, тем краше Марья Гавриловна ему кажется.

А у той ровно гири на веки навешены — глаз не может поднять, стоит, опустя взоры летучие, и, ровно девушка-слёточка, ничего на веку своем не видавшая, перебирает рукой оборочку шелкового передника.

Подал Алексей ей письмо.

— От Патапа Максимыча? — чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

— От Патапа Максимыча,— ответил Алексей.

Вскинула глазами вдовушка... Будто маленькие хрусталики, на ресницах ее блеснули чуть заметные слезки. Зарделось лицо пуще прежнего.

— Ответ пришлю с девушкой,— тихо она промолвила.— Иль сами после обеда зайдите.

Забыл Алексей, что надо ему наскоре ехать к отцу Михаилу... Разок бы еще полюбоваться на такую красоту неописанную... Медленным, низким поклоном поклонился он Марье Гавриловне и не то с грустью, не то с робостью промолвил ей:

— Счастливо оставаться!

— До свиданья,— тихо ответила Марья Гавриловна и, слегка наклонив голову, оставила Алексея.

Высокó нес он голову, ровным неспешным шагом ступал, йдя к Марье Гавриловне. Потупя взоры, нетвердой поступью, ровно сам не в себе, возвращался в кельи игуменьи. Много женских взоров из келейных окон на пригожего молодца было кинуто, весело щебетали промеж себя, глядя на него, девицы. Ничего не видал, ничего не слыхал Алексей. Одно «до свиданья» раздавалось в ушах его.

— Пил ли чай-от, непутный? — спросила Фленушка, схватив Алексея за рукав, когда в задумчивом молчанье входил он в сени игуменьиной стаи.

— Ах, Флена Васильевна! — вздрогнув, сказал Алексей...

— Что бесстыжие твои глаза? — быстро спросила она.— Нечего рожу-то воротить, гляди прямо, коли совести не потерял... Чего вздрогнул?.. Сказывай!

— Испугала ты меня, Флена Васильевна! — отозвался Алексей.— Подкралась невзначай — дернула вдруг. Разве можно так человека пужать?..

— Ишь какой ты неженка! — ответила Фленушка.— Самого с коломенску версту вытянуло, а он ровно малый ребенок пужается. Иди ко мне — самовар на столе.

— Благодарю покорно, Флена Васильевна,— сказал Алексей, слегка сторонясь от Фленушки.— Что-то корежит [1] меня — увольте.

— Ах ты, пучеглазый этакой,— видно, в тебе совести нет ни на грош! — подхватила Фленушка, крепче держа за рукав Алексея.— Девица чай его пить зовет, а он нос на̀ сторону... Мужлан ты сиволапый!.. Другой бы за честь поставил, а ты, глядь-ка поди!

— Ей-богу... право, через великую силу брожу, Флена Васильевна,— отговаривался Алексей.— В другой раз со всяким моим удовольствием... А теперь увольте, господа ради. Голова болит, ног под собой не чую, никак веснянка [2] накатывает. Совсем расхилел — мне бы отдохнуть теперь.

— На то ночь была,— подхватила Фленушка.

— Да я, право, Флена Васильевна,— начал было Алексей.

— Нечего тут! — стояла на своем Фленушка.— Ишь сахар медович какой выискался!.. Нет, друг сердечный, отлынью [3] здесь не возьмешь. Здесь наша большина́ — твори волю девичью, не моги супротивничать. Волей нейдешь — силком сволочём... Марьюшка!

Из боковуши выглянула Марья головщица.

---

[1] Гнетет лихорадочным ознобом.

[2] Веснянка — весенняя лихорадка. Осенью зовут эту болезнь «подосенницей».

[3] Отлынь — от глагола отлынивать — уклоняться с ложью, из лени.

— Гляди, каки вежливы гости наехали. Девица зовет чай его пить, приятную беседу с ним хочет вести, а он ровно бык перед убоем — упирается. Хватай под руки бесстыжего — тащи в горницу.

Волей-неволей пришлось Алексею зайти к Фленушке.

— Садись — гость будешь,— с веселым хохотом сказала Фленушка, усаживая Алексея к столу с кипящим самоваром.— Садись рядышком, Марьюшка! Ты, Алексеюшка, при ней не таись,— прибавила она, шутливо поглаживая по голове Алексея.— Это наша певунья Марьюшка, Настина подружка,—она знает, как молодцы по девичьим светлицам пяльцы ходят чинить, как они красных девиц в подклеты залучают к себе.

Ни слова в ответ Алексей. Только брови маленько у него посдвинулись.

— Рассказывай про лапушку-сударушку,— молвила Фленушка, подавая Алексею чашку чая.— Что она? Как все идет у вас? По-прежнему ль по-хорошему, аль как по-новому?

— Невдомек мне ваши речи, Флена Васильевна,— сквозь зубы процедил Алексей.

— А ты лисьим-то хвостом не верти,— молвила Фленушка, ударив Алексея по лбу чайной ложечкой.— Сказано, при Марьюшке таиться нечего. Рассказывай же: каково видались, каково расставались. Люблю ведь я, парень, про эти дела слушать — пряником не корми.

— Чего рассказывать-то? — глядя в сторону, молвил Алексей.— Не знаю, чего вам требуется?.. Настасья Патаповна при своем месте, я при своем...

— Наверх ходишь? — резко спросила Фленушка.

— Как наверх не ходить? — не глядя на нее, отвечал Алексей.— Хозяйски дела тоже на руках.

— Ну? — с нетерпеньем, топнув ногой, молвила Фленушка.

— Значит, каждый день к хозяину хожу, а не случится его дома, к хозяйке,— ответил Алексей.

— Да ты, парень, вьюном-то не увертывайся, у нас у девиц — увертка не вывертка,— сказала Фленушка.— Прямо говори: по-прежнему ль с Настенькой любишься?

— Отдохнуть бы мне маленько,— молвил Алексей, покрывая допитую чашку.— Больно что-то недужится — в глазах мутит, головушку совсем разломило.

— Эх ты! — вскликнула Фленушка.— Ударить бы путем дурака, да жаль кулака.

Опустя голову в пол, глядел Алексей.

— Марьюшка, сливки-то совсем скислись, сбегай, голубка, доспей кипяченых,— молвила Фленушка головщице и подмигнула.

Марьюшка степенно поднялась и неспешно вышла из горницы.

— Часто ль сходитесь? Сказывай, долговязый! — торопливо спросила Фленушка Алексея, когда остались с ним с глазу нà глаз.

Алексей как воды в рот набрал. Смотрит в окно, сам ни словечка.

— Да что́ ж это такое? — вскликнула Фленушка, сверкнув на него очами.— Нешто рассохлось?

— Эх, Флена Васильевна! — с тяжким вздохом промолвил Алексей и, облокотясь на подоконник, наклонил нà руку голову.

— Что̀ такое?.. Говори, что́ случилось? — приставала к нему встревоженная Фленушка.

Не отвечал Алексей.

— Да говори же, пес ты этакой!..— крикнула Фленушка.— Побранились, что ли?.. Аль остуда какая?..

— Не в меру горда стала Настасья Патаповна...— едва слышно проговорил Алексей.

— А что ж ей? — вскликнула Фленушка.— Ноги твои мыть да воду с них пить?.. Ишь зазнайка какой!.. Обули босого в сапоги — износить не успел, а уж спеси на нем, что сала на свинье, наросло!.. Вспомни,— стоишь ли весь ты мизинного ее перстика?.. Да нечего рыло-то воротить — правду говорю.

По-прежнему склонив голову, бессознательно глядел Алексей в окошко... Из него виднелся домик Марьи Гавриловны.

— Не бросить ли вздумал?.. Не вздумал ли избесчестить девичью красоту? — крикнула Фленушка, наступая на Алексея.

— Что ж, Флена Васильевна?..— с глубоким вздохом промолвил он.— Человек я серый, неученый, как есть неотесанная деревенщина... Ровня ль я Настасье Патаповне?.. Ихней любви, может быть, самые что ни

на есть первостатейные купцы аль генералы какие достойны... А я что?

— Так ты срамить ее? — вскочив с места, вскликнула Фленушка.— Думаешь, на простую девку напал?.. Побаловал, да и бросил?!. Нет, гусь лапчатый,—шалишь!.. Жива быть не хочу, коль не увижу тебя под красной шапкой. Над Настей насмеешься, над своей головой наплачешься.

Дверь растворилась— и тихо вошла мать Манефа. Помолилась на иконы, промолвила:

— Чай да сахар!

Фленушка сотворила уставные метания, поцеловала у игуменьи руку. Потом Алексей дважды поклонился до земли перед матушкой Манефой.

— А я прибрела на твой уголок поглядеть,— сказала Манефа, садясь на широкое, обтянутое сафьяном кресло.— А у тебя гости?.. Ну что, друг, виделся с Марьей Гавриловной?

— Виделся, матушка,— ответил Алексей.

— Что ж она сказала тебе? — спросила мать Манефа.

— Подал письмо от Патапа Максимыча; после обеда велела за ответом прийти,— отвечал Алексей, стоя перед игуменьей.

— Что ж это она вздумала? — молвила Манефа.— Ты ведь отсель на Ветлугу?

— На Ветлугу,— ответил Алексей.

— Поедешь назад — тогда бы могла написать,—сказала Манефа.— Говорил ей ты, что на Ветлугу послан?

— Не сказывал, матушка,— ответил Алексей.

— Тебе бы сказать,— молвила Манефа.— Зачем ей писать безвременно?.. Вечор сказала ли я тебе, что работника нарядила к Патапу Максимычу?

— Сказывали, матушка,— молвил Алексей.

— Не сегодня, так завтра с ответом воротится,— сказала Манефа.— И так я думаю, что сама Аксинья Захаровна с дочерьми приедет ко мне.

Алексей немножко смутился.

— Аксинья Захаровна с неделю места пробудет здесь, она бы и отвезла письмо,— продолжала Манефа.—А тебе, коли нàспех послан, чего попустому здесь проживать? Гостя не гоню, а молодому человеку старушечий совет даю: коли послан по хозяйскому делу,

на пути не засиживайся, бывает, что дело, часом опозданное, годом не наверстаешь... Поезжай-ка с богом, а Марье Гавриловне я скажу, что протурила тебя.

— Слушаю, матушка,—подавляя вздох, молвил Алексей.

— Маленько-то повремени,— сказала Манефа.— Без хлеба-соли суща в пути из обители не пускают... Подь в келарню, потрапезуй чем господь послал, а там дорога тебе скатертью — бог в помощь, Никола в путь!

Помолился Алексей на иконы и стал творить прощенные поклоны. Манефа, проговоря прощу, молвила:

— На обратном пути милости просим. Не объезжай, друг, нашей обители.

— Что он к тебе, с письмом, что ль, от девиц, аль с вестями какими? — спросила Фленушку Манефа, когда Алексей затворил за собою дверь.

— Настенька на словах приказывала,— небрежно выронила слово Фленушка.

— Про что? — спросила Манефа.

— Да там насчет шерстей да бисеру,— сказала Фленушка.— Обещалась к празднику прислать, да у самой, говорит, нет еще, до сих пор не привезли из городу.

— Подушку-то кончила? — спросила Манефа, оглядывая Фленушкины и Марьюшкины пяльцы.

— Самая малость осталась,— ответила Фленушка.— Денек, другой посидеть, совсем готова будет.

— Кончай да скорее отделывай, из Казани гостям надо быть. С ними отошлю,— сказала Манефа, садясь в кресло.

— А после подушки, омофор, что ли, зачинать? — спросила Фленушка.— Коли Настенька с Парашей приедут, с ними да с Марьюшкой как раз вышьем.

— Не надо,— отрезала Манефа.

— Что ж так, матушка?.. Раздумала? — спросила Фленушка.— Целу зиму работой торопила, чтоб омофор скорей зачинать, а теперь вдруг и не надо...

— Не надо,— повторила игуменья.

— Что же благословишь работать? — севши за пяльцы, спросила Фленушка.

— Что хотите, то и шейте,— тихо молвила мать Манефа.

— Так мы тебе в келью к иконам новы пелены вы-

шьем,— подхватила Фленушка, вскинув веселыми глазами на Манефу.

— Ладно, хорошо. Господь вас благословит...— шейте с богом,— молвила игуменья, глядя полными любви глазами на Фленушку.— Ах ты, Фленушка моя, Фленушка! — тихо проговорила она после долгого молчания.— С ума ты нейдешь у меня... Вот по милости господней поднялась я с одра смертного... Ну, а если бы померла, что бы тогда было с тобой?.. Бедная ты моя сиротинка!..

— Полно, матушка! — вскочив из-за пялец и ласкаясь к Манефе, вскликнула Фленушка.

— Из ума у меня не выходишь,— с озабоченным видом продолжала Манефа.— Надо мне хорошенько с тобой посоветовать.

— Да полно ж, матушка,— наклоняясь головой на плечо игуменьи, сквозь слезы молвила Фленушка,— что о том поминать?.. Осталась жива, сохранил господь... ну и слава богу. Зачем грустить да печалиться?.. Прошли беды, минули печали, бога благодарить надо, а не горевать.

— Впервòй хворала я смертным недугом,— сказала Манефа,— и все время была без ума, без памяти. Ну как к смерти-то разболеюсь, да тоже не в себе буду... не распоряжусь, как надо?.. Потому и хочется мне зáгодя устроить тебя, Фленушка, чтоб после моей смерти никто тебя не обидел... В мое добро матери могут вступиться, ведь по уставу именье инокини в обитель идет... А что, Фленушка, не надеть ли тебе, голубушка моя, манатью с черной рясой?..

— Что ты, матушка? — тревожно вскликнула и побледнела Фленушка.— Да у меня и в мыслях этого не бывало, на ум не приходило...

— Хоть и молода, а я бы тебя, отходя сего света, на игуменство благословила. Тогда матери должны будут тебе покориться,— не отвечая на Фленушкины слова, продолжала Манефа...— Все бы мое добро при тебе осталось. Во всем бы ты была моею наследницей.

— Нет, матушка, нет,— взволнованным голосом сказала Фленушка.— Не поминай мне про это... не бывать мне черницей — не могу и не хочу.

— Напрасно, Фленушка, напрасно так говоришь,

милая моя,— молвила на то Манефа.— Подумай-ка хорошенько, голубка... Помру — куда пойдешь?..

— В обители век доживу,— отирая глаза, сказала Фленушка.— От твоей могилки куда ж мне идти?

— Белицей, Фленушка, останешься — не ужиться тебе в обители,— заметила Манефа.— Востра ты у меня паче меры. Матери поедо̀м тебя заедят... Не гляди, что теперь лебезят, в глаза тебе смотрят... Только дух из меня вон, то̀тчас иные станут — увидишь. А когда бы ты постриглась, да я бы тебе игуменство сдала — другое бы вышло дело: из-под воли твоей никто бы не вышел.

— Молода я, матушка, не снести мне иночества,— сказала Фленушка.

— Я моложе тебя иночество приняла,— заметила Манефа,— а помог же господь — снесла.

— У тебя такое произволение было, а у меня его нет,— решительно сказала Фленушка...— Нет, матушка, воля твоя, ты мне лучше про это и не поминай — в черницах мне не бывать.

Вздохнула Манефа и, поникнув головой, задумалась.

— Не тороплю тебя,— после недолгого молчанья сказала она, подняв голову.— Время терпит. А ты подумай хорошенько да рассуди. Сказываю: в белицах житья тебе не будет, куда ж ты голову сиротскую свою приклонишь?.. У братца Патапа Максимыча?.. Да не больно он тебя жалует, нравом же крутенек,— живучи у него много придется слез принимать... Аксинья же Захаровна хилеть зачала, Настя с Парашей того гляди замуж выйдут... По-моему, уж лучше в Вихорево к Аграфенушке... Она добрая, жалостливая... А все-таки хоть и Аграфенушку взять, чужой дом не свой, Фленушка. Люди говорят: свой сухарь сытней чужих пирогов... И правда, сущая правда... Святое бы дело обителью тебе хозяйствовать.

— Нет, матушка, не могу,— сдерживая рыданья, ответила Фленушка.

— Мир смущает? — спросила Манефа.

— Где я видела его, мир-от, матушка? — покачивая головой, возразила Фленушка.— Разве что в Осиповке, да когда, бывало, с тобой к Макарью съездишь... Сама знаешь, что я от тебя ни на пядь,— где ж мне мир-от было видеть?

В ее голосе звучали и грусть и укоры судьбе.

— Лукав мир, Фленушка,— степенно молвила Манефа.— Не то что в келью, в пустыни, в земные вертепы он проникает... Много того видим в житиях преподобных отец... Не днем, так нощию во сне человеку козни свои деет!

Молчала Фленушка.

— Ты в мир не захотела ли?.. Замуж не думаешь ли? — спросила Манефа.

— Как мне замуж идти?.. За кого?..— с грустью сказала Фленушка.— Честью из обители под венец не ходят, уходом не пойду... Тебя жаль, матушка, тебя огорчить не хочу — оттого и не уйду, уходом...

— Ах, Фленушка моя, Фленушка! — вздохнула Манефа и, склонив голову, тихо побрела вон из горницы.

* * *

Алексей в келарню прошел. Там, угощая путника, со сверкавшими на маленьких глазках слезами любви и участья, добродушная мать Виринея расспрашивала его про житье-бытье Насти с Парашей под кровом родительским. От души любила их Виринея... Как по покойницам плакала она, когда Патап Максимыч взял дочерей из обители.

— Расскажи ты мне, Алексей Трифоныч, расскажи, родной, как поживают они, мои ластушки, как времечко коротают красавицы мои ненаглядные? — пригорюнясь, спрашивала она гостя, сидевшего за большой сковородкой яичницы-глазуньи.— Как-то они, болезные мои, у батюшки в дому взвеселяются, поминают ли про нашу обитель, про матушек да про своих советных подруженек?

— Как же, матушка, не поминать? — ответил Алексей.— Долго ведь жили у вас, нельзя вдруг позабыть.

— Бог их спаси, что помнят нас,— молвила Виринея.— А скажи-ка ты мне, болезный ты мой, такая ль теперь Настенька-то, шустрая да бойкая, как росла у нас во обители? Была она здесь первая любимая затейница, на всякие игры первая забавница. Взвеселяла нас, старух старыих, потешала наших девушек, своих милых советных подруженек... Соберутся, бывало, мои лебедушки ко мне в келарню зимним вечером, станут шутить разные шуточки, затеют игры девичьи, не насмотришься на

них, не налюбуешься. Есть ли теперь у них подруги-то, есть ли вкруг них дружные разговорщицы?

— Нет, матушка, подруг у них не видится,— отвечал Алексей.— С деревенскими девками дружиться им не повелось, а ровни поблизости нет.

— Скучно ж им, моим голубонькам,— пригорюнясь, молвила мать Виринея.— Все одни да одни — этак не взмилеет и белый свет... Женихов на примете нет ли?

Замялся Алексей, но тотчас оправился и отрывисто ответил:

— Не слыхать, матушка.

— Не слыхать!.. Что ж так?.. Ну да эти невесты в девках не засидятся — перестарками не останутся,— заметила Виринея.— И из себя красовиты и умом-разумом от бога не обижены, а приданого, поди, сундуки ломятся. Таких невест в миру нарасхват берут.

Жутко было слушать Алексею несмолкаемые речи словоохотливой Виринеи Каждое ее слово про Настю мутило душу его... А меж тем иные думы, иные помышленья роились в глубине души его, иные желанья волновали сердце.

Распрощавшись с Виринеей, снабдившей его на дорогу большим кульком с крупичатым хлебом, пирогами, кокурками, крашеными яйцами и другими снедями, медленными шагами пошел он на конный двор, заложил пару добрых вяток в легкую тележку, уложился и хотел было уж ехать, как ровно неведомая сила потянула его назад. Сам не понимал, куда и зачем идет. Очнулся перед дверью домика Марьи Гавриловны.

«Зайду... скажу, что за письмом... что ехать пора...» — подумал он, не помня приказа Манефина, и с замираньем сердца, робким шагом, взошел на крыльцо.

В горнице встретил он Таню, прислужницу Марьи Гавриловны.

— Что надобно вашей милости? — спросила она у Алексея.

— За письмом... Марья Гавриловна зайти велели,— ответил он вполголоса.

— Обождите маленько. Скажу ей,— молвила девушка, окинув любопытным взором Алексея.

Долго ждал он возвращения Тани. Сердце так и замирало, так и колотилось в груди, в ушах звенело, в

голове мутилось... Сам не свой стоял Алексей... Сроду не бывало с ним этого.

Вышла девушка, молвила, что Марья Гавриловна письмà не изготовила.

— Ехать пора мне,— сказал он задрожавшим от такой вести голосом.— Матушка Манефа скорей наказывала ехать... Путь не ближний... Лошади заложены.

— Скажу... обождите минуточку,— сказала девушка и скрылась за дверью.

«Выйдет ли она?.. Увижу ль ее? — думал Алексей.— Голову бы отдал на отсеченье, только бы на минутку повидать ее».

Таня появилась в дверях и сказала, что письма не будет, а когда он назад через скит поедет, завернул бы к Марье Гавриловне... К тому времени она и ответ напишет и посылочку изготовит.

— Скоро ль назад-то будете? — спросила Таня.

— Не знаю,— мрачно ответил Алексей.— Недели через полторы либо через две.

— Так я и скажу... А вы уж беспременно заезжайте,— с улыбкой молвила Таня.— Далеко ль вам ехать-то?

— Далеконько,— отвечал Алексей.— На Ветлугу, коли слыхали.

— Про Ветлугу-то?.. Слыхала,— сказала она.— Это ведь туда, кажись, за Кèрженцем?

— Да, за Керженцем,— молвил Алексей, жадно глядя на белую, как мрамор, створчатую дверь, зà которой, сдавалось ему, стояла Марья Гавриловна.

— Дай бог счастливого пути,— поклонившись, сказала Алексею Таня.— Прощайте.

— Прощайте! — грустно ответил он, наклоняя голову, и с тяжелым вздохом пошел вон из горницы.

* * *

Точно по незнаемым местам возвращался Алексей от домика Марьи Гавриловны. Весеннее солнце ярко сияло, подымаясь на полуденную высоту, а ему все казалось в мутном свете... На крыльце келарни стояла мать Виринея, справляя уезжавшему гостю прощальные поклоны — не видал ее Алексей... Из светелки игуменьиной кельи Фленушка грозила ему кулаком и плюнула вслед, и того не заметил... Оглянуться б ему на шелковые за-

навески, что висели в середнем окне Марьи Гавриловны, не приметил ли бы он меж ними светлого искрометного глаза, зорко следившего за удалявшимся мо́лодцем?..

Сел Алексей в тележку и, выехав за околицу, с чувством бессильной злобы жарко хлестнул арапником по крутым бедрам откормленных саврасых вяток. Стрелой понеслись кони по гладкой извилистой дорожке, и вскоре густой перелесок скрыл от взоров уезжавшего и часовни, и келейные стаи, и сиротские избенки Каменного Вражка. Удары арапника крепче и крепче раздавались в лесной тиши, тележка так и подпрыгивала по рытвинам и выбоинам. Расходилась рука, раззуделось плечо, распалилось сердце молодецкое — птицей летит Алексей по лесной дорожке.. Того и гляди, что тележка зацепится о пень либо корневище... Не сдобровать тогда победной голове распаленного новой страстью и смутной надеждой молодца... Больше версты проскакал он сломя голову. Тут маленько отлегло у него от сердца, и громкая, тоскливая песня вырвалась из груди:

Ты судьба ль моя, судьбина некорыстная,
Голова ль ты моя бесталанная!
Сокрушила ты меня, кручинушка,
Ты рассыпала печаль по ясным очам,
Присушила русы кудры ко буйной голове.
Приневолила шататься по чужой стороне.

Прискучила Настя Алексею. Чувству́ет, что согнул дерево не по себе. Годами молода, норовом стара... Добыть в жены теперь не трудное дело, зато тужить да плакать век свой доведется... Не ему на̀д домом власть держать, ей верховодить над мужем. Во всем надо будет из ее рук смотреть, не сметь выступить из воли ее, завсегда иметь голову с поклоном, язык с приговором, руки с подносом... А это уж последнее дело: не зверь в зверях еж, не птица в птицах нето́пырь, не муж в мужьях, кем жена владеет. Лучше в дырявой лодке по морю плавать, чем жить со властной женой...

А Патапа Максимыча пуще огня боится. Хоть добр и ласков до него казался, а из памяти Алексея не выходит таинственный голос, предрекавший ему гибель от руки Патапа Максимыча. Немало думал он про его слова, сказанные накануне светлого воскресения и еще раз, как, отпраздновав пасху с родителями, в Осиповку на

Радуницу он воротился... Тогда же догадался, что Патапу Максимычу взбрело на ум в зятья его взять. Не порадовался, а устрашился он тому. «Тут-то и есть погибель моя»,— подумал он... Страшна стала ему Настя, чуть не страшней самого Патап Максимыча — горда очень и власть любит паче меры. А силы в ней много — как раз мужа под ноготь подберет. Что ж тут хорошего?.. Житье под бабьим началом хуже неволи, горчей каторги!.. «Эх, в какую ж я петлю попал,— думает Алексей сам про себя,— ни вон, ни в избу, ни в короб не лезет, ни из короба нейдет. Подсунула тогда нелегкая эту распроклятую Фленушку... А узнает неравно про наши дела Патап Максимыч — тогда что?.. Зверь ведь, не человек, обиды не спустит. А Настасью взять... Нет, легче в омут головой...»

В таком тяжком раздумье увидел Алексей Марью Гавриловну. Умильным взором и блеском непомеркшей красоты пригрела она изболевшее его сердце... Просияло на темной душе его.

Первые порывы новой страсти выразились скачкой сломя голову по изрытой и перекрещенной корневищами лесной дорожке, затем разрешились громкой горькой песнью. Та песня, сперва шумная, порывистая, полная отчаянья и безнадежного горя, постепенно стихала и под конец замерла в чуть слышных звуках тихой грусти и любви. Добрые вятки дробной рысцой трусили по дорожке, проторенной по лывине[1]. В лесу стояло полное затишье, лист на дереве не дрогнет, ветерок не шевельнет молодую травку, только иволги, снегири и малиновки на разные голоса меж собой перекликаются... Где-то вдали защелкал соловей... Славный соловей, мало таких за Волгу прилетает... Все-то колена звонко и чисто у него выливаются... Вот «запулькал» он, «заклыкал» стеклянным колокольчиком, раскатился мелкой серебряной «дробью», «запленкал», завел «юлиную стукотню», громко защелкал и, залившись «дудочкой», смолк[2]. А через минуту опять «почин» заводит, опять колено

[1] Лывина — лес, растущий по сырому месту или по болоту.

[2] Всех колен соловьиного пения до двенадцати, а у курских соловьев еще больше. Каждое колено имеет свое название: пульканье, клыканье, дробь, раскат, пленканье, лешева-дудка, кукушкин-перелет, гусачок, юлиная-стукотня, почин, оттолчка и пр.

за коленом выводит. Дальше где-то в трущобе еще засвистал соловушко... другой, третий. Не слышит ничего Алексей, ничего не видит он, ни кругом, ни возле... В лета̀сах[3], как в мареве, является миловидный облик молодой вдовы... видит Алексей стройный стан ее, крытый густыми белоснежными складками утренней одежды, как видел ее на солнечном всходе... А жадная мысль о богатой казне вдовушки тоже не спадает с ума. Помышленье корыстное царит над его думами. Про Настю ни мысли, ни помина... Правду говорила Фленушка, называя Алексея бессовестным. Шутка ее на дело стала похожа.

Хорошей жизни Алексею все хочется, довольства, обилья во всем; будь жена хоть коза, только б с золотыми рогами, да смирная, покладистая, чтоб не смела выше мужа головы поднимать!.. Хорошая жизнь!.. Ох, эта хорошая жизнь!.. Не то было б тогда!.. Что он теперь?.. Батрак, наймит... Самому бы хозяйствовать, да так, чтобы ворочать тысячами и ото всех людей в почете быть. Не думает про то Алексей, что чем больше почет, тем больше хлопот: ему бы только стать тысячником, а людской почет, мнится ему, сам собой придет незваный, непрошеный. Да вот горе — откуда тысячи-то взять?.. Золото на Ветлуге вышло обманным делом, про Настю и вздумать страшно... Ну ее совсем и с приданым богатством!.. Эх, как бы со вдовушкой сладиться; богатства у нее, слышно, счету нет, са̀ма надо всем большуха, не глядит из отцовских рук... Дернуть бы свадебкой да скорым делом подальше с родины, на новые места... Подальше, как можно подальше, куда б не могла досягну́ть долгая рука Патапа Максимыча.

Вот что думалось, вот что гребтело измученному душевной истомой Алексею, когда он в каком-то забытьи тихонько проезжал по тенистым лесам под щебетанье и веселые клики разнородных пташек.

И вдруг темным мо̀роком пала ему на ум Настя... Вспомнилось, как вдвоем в подклете посиживали, тайные любовные речи говаривали; вспомнилось, как гордая красавица не снесла пыла страсти — отдалась желанному и душой и телом.

---

[3] Летасы — мечты, грезы наяву, иллюзия.

Не раскаянье, не сожаленье шевельнулись на душе его, иная мысль затмила... «Что ж?.. Не мы первые, не мы и последние... Кучился-мучился, доспел и бросил... Не нами заведено, таково дело спокон века стоит. Девка — чужая добыча: не я, так другой бы...» Но, как ни утешал себя Алексей, все-таки страхом подергивало его сердце при мысли: «А как Настасья да расскажет отцу с матерью?..» Вспоминались ему тревожные сны: страшный образ гневного Патапа Максимыча с засученными рукавами и тяжелой дубиной в руках, вспоминались и грозные речи его: «Жилы вытяну, ремней из спины накрою!..» Жмурит глаза Алексей, и мерещится ему сверкающий нож в руках Патапа, слышится вой ватаги работников, ринувшихся по приказу хозяина...

«Вещий тот сон,— думает Алексей.— Да нет, быть того не может, не статочное дело!.. Не вымолвить Настасье отцу с матерью ни единого слова. Без меры горда, не откроет беду свою девичью, не захочет накинуть покора на свою голову...»

* * *

Живучи в честно̀й обители Манефы, забыла Марья Гавриловна обиды и муки, претерпенные ею в восемь лет замужества. Во всем простила она покойнику, все его озлобления покрыла забвеньем. Записала имя его в синодики постепенные и литейные по всем обителям Керженским, Чернораменским. Каждый год справляла по нем уставны́е поминки: и на день преставления и в день тезоименитства покойника, на память преподобного Макария Египетского, поставляла Марья Гавриловна «большие кормы» на трапезе. Но это ради людей, не ради бога... Богу принесла она жертву сокрушенную и смиренную — все простила покойнику, все, даже разлуку с Евграфом. Каждый божий день и утром и на сон грядущий усердно молилась она на келейной молитве за мучителя, со слезами молила о прощении прегрешений его, об успокоении души, отошедшей без про́щи, без покаяния. Но, предав забвенью многие горькие дни, не могла забыть немногих сладких дней, что выпали на ее долю.

И в могиле любила Евграфа. Несомненно веря, что в награду за земные страданья приял он в небесах венец блаженства, даже обращалась к нему в молитвах.

Редкая ночь проходила, чтоб не видала она во сне милого, и каждый день о нем думала... С утра до̀ вечера целые рои воспоминаний проносились в ее памяти. То как будто в ясновиденье представлялась ей широкая, зеленеющая казанская луговина меж Кремлем и Кижицами: гудят колокола, шумит, как бурное море, говор многолюдной толпы, но ей слышится один только голос, тихий, ласковый голос, от которого упало и впервые сладко заныло сердце девичье... То перед душевными очами ее предстает темный, густо заросший вишеньем уголок в родительском саду: жужжат пчелки — божьи угодницы, не внимает она жужжанью их, не видит в слуховом окне чердака зоркой Абрамовны, слышит один страстный лепет наклонившегося Евграфа и, стыдливо опустя глаза, ничего не видит кругом себя... Вспоминается и то Марье Гавриловне, как повеселела она, узнав про сватовство желанного, как вольной пташкой распевала песенки, бегала с утра до ночи по отцовскому садику... А вот и те незабвенные дни, как свиделась она с женихом у Макарья на ярманке... Жизнь была полна и любви и светлых надежд на долгое счастье с любимым человеком, но пала гроза, и сокрушилось счастье от прихоти старого сластолюбца. Разбилась жизнь, а избранник сердца, желанный, любимый жених, бог весть, где и как, слег в могилу. Светлорадужным колесом вращается перед душевными очами Марьи Гавриловны ряд светлых воспоминаний о быстро промелькнувшем счастье. И в каждом воспоминанье неприступным светом, неземным блеском сияет образ того, кому беззаветно отдала она когда-то молодую душу свою...

Так проходили годы... Закрылись понемногу сердечные раны, забылись страданья, перенесенные от суровости постылого разлучника. Но по мере того, как забвенье крыло горечь былого, бледней и туманней представлялся перед нею милый образ. Стало ей как будто обидно, досадно как-то на себя. Реже и реже являлся милый во сне, какая-то тоска, до того незнаемая, разрасталась в ее сердце. Болит, ноет, занывает, ничего не сказывает... Скучно вдовушке, все надоело, ни на что б она не глядела, просит чего-то душа, а чего просит — не разумеет и сама Марья Гавриловна.

И напала на нее злая кручина, одолела ее сердечная истома. Хочется жить, да не так, как живется,— хочется жить жизнию полной, людям полезной... Хочется на кого-нибудь излить всю свою преданность, всю, всю, до крайнего предела женского самоотверженья... А тут в обители все одно да одно; все вяло, бесцветно... Не люба ей стала скитская жизнь... Первое время пребывания в тихом пристанище под крылышком доброй матери Манефы принесло Марье Гавриловне несомненную пользу: она сама сознавала, что только обительская жизнь уврачевала ее сердечные раны и помирила ее с прошедшим. Но когда раны закрылись, когда истерзанной душе возвратилось здоровье, зачем же оставаться в больнице?.. Но куда идти? В Москву ли, где все стало бы поминать ей восьмилетнюю горемычную жизнь, где все отравляло бы дни ее горькими воспоминаньями?.. В Казань ли к брату?.. Но ведь он чуть не совсем забыл ее в слезòвые дни ее замужества, стал заботным и ласковым лишь с той поры, как сделалась она вольной вдовой с большим капиталом... Аль за тем ехать к брату, чтоб опять женихи закружились вкруг нее?.. Бог с ними!.. Ведь были же меж них и хорошие люди, но и глядеть не хотелось на них Марье Гавриловне... Как вспомянет, бывало, Евграфа да сравнит его с подъезжавшими женихами — какими нескладными, непригожими они ей покажутся... Кто изведал сладость полного счастья, не захочется тому отведывать горького...

А душевная тоска растет да растет. Что делать, как горю пособить?

Ночью после Радуницы с тоски и раздумья не спалось Марье Гавриловне. На заре встала она с душной постели и, накинув белое батистовое платье, вздумала освежиться воздухом раннего утра, полюбоваться на солнечный всход. Отворила окно, оглянула кругом — ни души не видать, обитель спала еще. Вперив очи на едневшую пред восходящим светилом зарю, раздумалась она про тоску свою и, сама не помнит, как это случилось, тихим голосом завела песню про томившую ее кручину. Свободней и свободней, громче и громче вырывались из груди звуки... Ничего кругом не видит она, неподвижно устремив взор на разгоравшийся золотистыми лучами восточный край небосклона и на тонкие полосы

перистых облаков, сиявших вверху неба... Вдруг поворотила голову и в окне светелки над игуменьиной кельей увидела .. Евграфа...

Вскрикнула Марья Гавриловна, захлопнула окно, опустила занавеску.

«Что это? — думает она.— Обаянье ль какое, мечта ли от сряща беса полуденного?.. Иль виденье, от небесных селений ниспосленное?.. Иль впрямь то живой человек?.. Волос в волос — две капли воды!.. Что ж это за диво такое!»

Растерялась бедная, не знает, что и придумать.. А сердце так и бьется, так и ноет, тоска так и поднимается в груди.

Долго сидела Марья Гавриловна, облокотясь на подоконник и склоня голову на руку... Сухим лихорадочным блеском глаза горели, щеки пылали, губы сохли от внутреннего жара... Таня вошла.

— Раненько поднялись, Марья Гавриловна,— сказала она.— Утреню не допели, а вы уж на ногах.

— Не спалось мне что-то сегодня, Таня,— подняв голову, молвила Марья Гавриловна,— да и теперь что-то неможется.

— Что это с вами, сударыня? — с неподдельным участьем, даже с испугом молвила Таня. Как к матери родной привязана была к «сударыне» своей девушка, взятая из семьи, удрученной бедностью и осыпанной благодеяниями Марьи Гавриловны.

— Ничего... так... пройдет...— успокоивала ее Марья Гавриловна.— Поставь самовар... Да вот еще что... Не знаешь ли?.. У матушки Манефы есть гости какие на приезде?

— Есть,— отвечала Таня.— Вечор от нас из Москвы какой-то приехал... И прокурат же парень — ни в часовне не помолился, ни у матушки не благословился, первым делом к белицам за околицу куралесить да песни петь... Сам из себя маленек да черненек, а девицы сказывают, голос что́ соловей.

«Не он»,— подумала Марья Гавриловна.

— А то еще из Осиповки с припасами к матушке приказчик прислан от Патапа Максимыча... В светелке его ночевать положили...

— В светелке? — вскрикнула Марья Гавриловна.

— В светелке...— подтвердила Таня.— Вот что сюда окнами — в этой...— прибавила она.

— Поди, Таня, поставь самовар,— сказала Марья Гавриловна, медленно проводя по лбу ладонью и потом закрыв ею глаза.

Таня вышла. Марья Гавриловна стала ходить взад и вперед по горнице.

«Тот, тот самый, что Фленушка сказывала,— думала она.— Непременно он... А похож-то как!.. Вылитый голубчик Евграша! Ровно он из могилы встал...»

По-новому сердце забилось... Во что бы то ни стало захотелось поближе взглянуть на красавца... Решила скорей идти к Манефе, чтоб увидеть его. Тотчас принялась одеваться. Надела синее шелковое платье, что особенно шло ей к лицу.

Принесла Таня самовар и подивилась, увидя «сударыню» в нарядном платье.

— Что это вы так оделись? — спросила она, расставляя посуду на чайном столике.

— К матушке Манефе хочу сходить,— отвечала Марья Гавриловна.

— А платье-то зачем такое надели? Сегодня не праздник,— молвила Таня.

Немножко смешалась Марья Гавриловна, но тотчас поправилась.

— Какая ж ты, Таня, недогадливая! — сказала она.— Как это ты до сих пор не можешь понять, что когда у матушки бывают посторонние люди, особенно из Москвы, так, идучи к ней, надо одеваться нарядней. Все знают про мои достатки — выдь-ка я к людям растрепой, тотчас осудят, назовут скрягой.

— Да, это так,— тихо проговорила Таня, удивляясь, как это самой ей не пришло того в голову.

— А ты сбегай-ка к матушке, узнай, не встала ли она,— сказала Марья Гавриловна.

Вышла Таня, но через минуту воротилась.

— Приказчик от Патап Максимыча к вам идет,— сказала она,— на крылечко уж взошел.

Опустились руки у Марьи Гавриловны.

— Ступай к себе,— сказала она Тане.— Сейчас выйду... Да покаместь к матушке-то не ходи, после часов к ней пойду.

Таня вышла. Марья Гавриловна старалась принять на себя строгий, сдержанный вид. Проходя мимо зеркала, заглянула в него и поправила на груди ленточку.

Вошла в горницу, где Алексей дожидался — обомлела... Евграф, с ног до головы Евграф.

Смутилась, опустила глаза... Сло́ва не может сказать... Заговорил Алексей — Евграфов голос, его говор...

Как в тумане каком пробыла Марья Гавриловна, пока стояла перед Алексеем, а вышел он, тяжело опустилась на стул и закрыла руками лицо... Тяжело и сладко ей было. Почувствовала она особое биенье сердца, напоминавшее золотые минуты, проведенные когда-то в уголке садика, поросшего густым вишеньем.

Таня вошла.

— Что это с вами, сударыня? — сказала она.— Больно, видно, неможется — личико-то так и горит... Легли бы в самом деле.

— И то лягу, Таня,— ответила Марья Гавриловна.— По̀йдем-ка, раздень меня... Нет, уж я не пойду к матушке. После, завтра, что ли...

Часа три пролежала Марья Гавриловна. Ро̀ями думы носятся в ее голове. Про Евграфа вспоминала, но мысль своевольная на Алексея как-то все сворачивала.

Вошла Таня, сказала: «Осиповский приказчик за письмом пришел».

Вскочила с постели Марья Гавриловна.

— Одеваться скорей... Скажи, обождал бы маленько... Ах, нет... Скажи, письма, мол, не успела написать... Да ведь я сказала, чтоб он после обеда пришел.

Таня вышла. Тут только вспомнила Марья Гавриловна про письмо Патапа Максимыча. Оно лежало нераспечатанным.

«Ответ надо писать»,— подумала она и, взявши письмо, стала читать... Не понимает ничего.

Таня пришла, сказала, что приказчик уезжает, кони заложены, матушка-де Манефа ехать скорей велит.

«По скорости не могу письма̀ написать, никак не могу,— думает Марья Гавриловна.— Как же быть-то, как же быть-то мне?.. Повидать бы его хоть минуточку... Скажу Тане... Нет, не могу».

— Скажи ему, Таня,— молвила она,— на обратном

бы пути зашел, теперь, мол, некогда мне письма̀ изготовить... Поди скажи... Посылочку, мол, еще припасу...

Таня пошла, а Марья Гавриловна, на босу ногу, в одной сорочке, побежала в горницу, смежную с той, где Алексей дожидался. Тихонько подвинула она дверцу и, припав к щели глазом, смотрела на Алексея, говорившего с Таней.

Он ушел, а Марья Гавриловна, чуть-чуть раздвинув оконные занавески, вслед за ним смотрела. «Он, он — Евграф»,— думалось ей.

И когда, завернув за угол келарни, Алексей скрылся из глаз Марьи Гавриловны, закрыв пылающее лицо холодными руками, она разразилась рыданьями...

И надобно же было так случиться, что в те самые часы, когда двойник Евграфа свиделся с Марьей Гавриловной, исстрадавшаяся Настя поведала матери про свое неизбывное горе, про свой позор, которого нельзя спрятать от глаз людских.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По̀д вечер того дня как Алексей уехал из Комарова, прискакал туда гонец из Осиповки. Писем не привез, на речах подал весть, что Патап Максимыч, по желанью Марьи Гавриловны, снарядил было в путь обеих дочерей, но вдруг с Настасьей Патаповной что-то попритчилось, и теперь лежит она без памяти, не знают, в живых останется ли. Христом богом велел Патап Максимыч просить Марью Гавриловну,— дала бы посланному письмо к городскому лекарю, что вылечил Манефу, звала бы скорей его в Осиповку. Письмо к лекарю было написано, гонец помчался в город.

На другой день скитский работник приехал из Осиповки. Те же вести: лежит как пласт, навряд ли встанет.

Всполошились в обители. Матери и белицы любили Настю, все жалели об ней... Строга и сдержанна мать Манефа, но, узнав о тяжкой болезни племянницы, и та при людях заплакала. Фленушка так и рвалась, так и металась во все стороны. В каком-то исступленье бегала она из кельи в келью, плакала, рыдала, наконец сама слегла... Алексеевы речи навели ее на мысль, что Настина болезнь от него пришла. И кляла себя Фленушка все-

ми клятвами, что свела Настю с лиходеем бессовестным. У матерей только и речи, что про Настину болезнь, а добрая Виринея походя плакала, и в келарне у ней все пошло не по-прежнему: то рыба переварится, то пироги в уголь перегорят. Сколько лет в келарне хозяйствует, никогда такой беды не случалось.

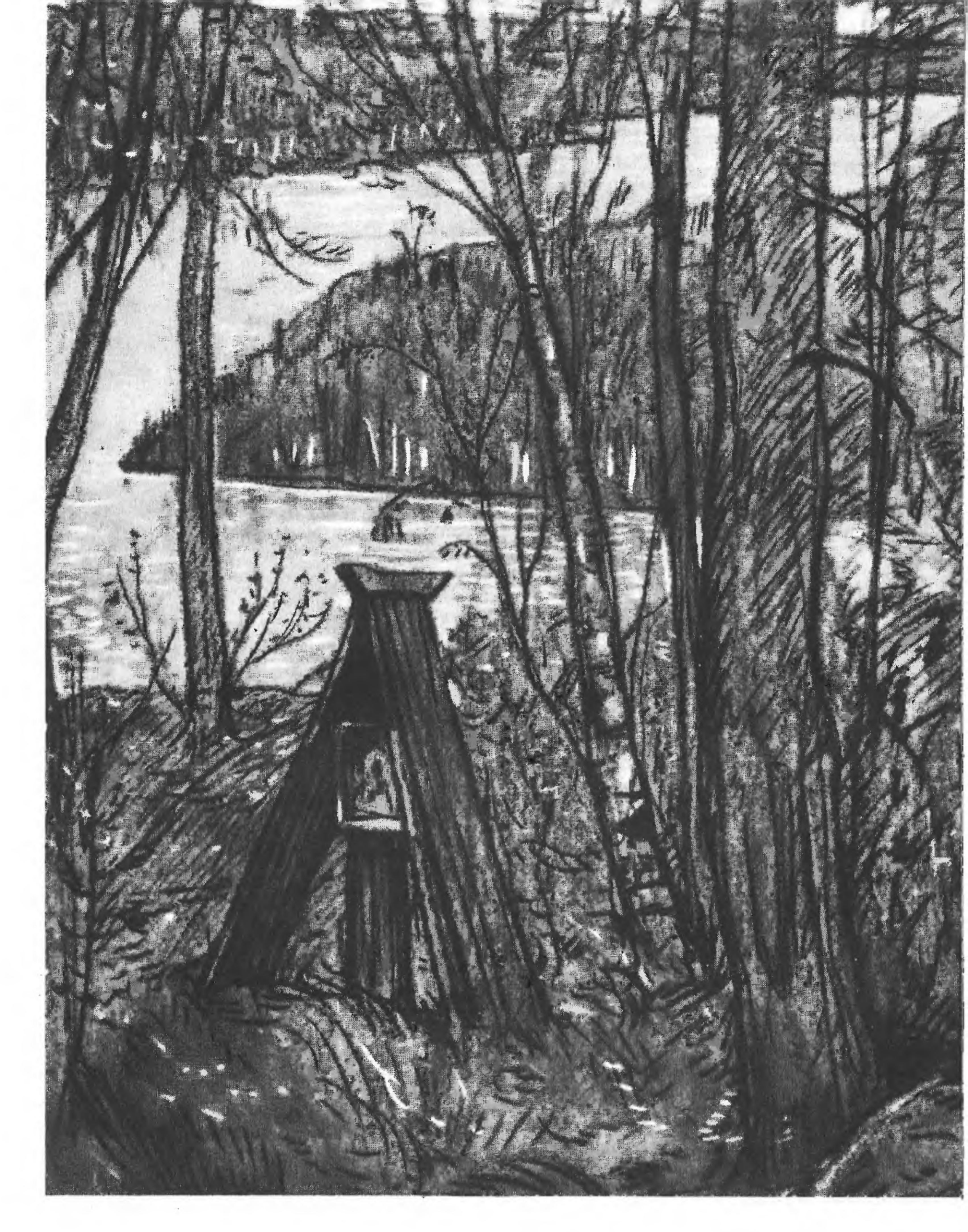
Только что сведала Манефа про болезнь племянницы, нарядила в часовне соборную службу ради исцеления от телесной скорби рабы божией девицы Анастасии служить. Повестили о том сиротам и по всем обителям. И был в келарне большой корм, обильная трапеза и велико число прихожих мольщиков. И большая раздача дана сиротам и иным скудным людям, дабы молились о здравии болящей девицы. И по другим обителям Комарова послала Манефа денег на соборные службы и на кормы. Послала даже к Глафириным, к Игнатьевым и к другим пораздорившим с нею из-за австрийского священства. А на расходы Манефа деньги выдавала от имени ктитора обители, брата своего родного по плоти, скитского заступника и во всем оберегателя Патапа Максимыча.

Ни службы по часовням, ни кормы по келарням не помогали Насте. Через каждые два-три дня пересылалась Манефа с Осиповкой: каждый раз одну весть привозили ей: «нет облегчения».

* * *

В той самой светлице, куда Фленушка привела Алексея пяльцы чинить, без чувств, без памяти, неподвижна и бледна лежала Настя. У изголовья больной, погруженная в думы, стояла сестра ее богоданная — сердобольная, вселюбящая Груня. В одном углу сидела убитая горем, потерявшая сознанье Аксинья Захаровна, возле нее Настина крестная, знаменитая повариха Никитишна В другом углу — Параша. Окна были растворены, свежесть весны и благовонный запах цветущей черемухи обильно вливались в светлицу. Не слышно было никакого звука, опричь щебетанья птичек в огороде, да глухих вздохов больной.

Лежит Настя, не шелохнется; приустали резвы ноженьки, притомились белы рученьки, сошел белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке — скосила ее болезнь трудная... Не дождё-



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава I



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава II.

вая вода в мать сыру землю уходит, не белы-то снеги от вешнего солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется — тает-потухает бездольная девица. Вянет майский цвет, тускнет райский свет — красота ненаглядная кончается.

Недвижно лежит она на постели, ни шепота, ни стона не слышно. Не будь лицо Настино крыто смертной бледностью, не запади ее очи в темные впадины, не спади алый цвет с полураскрытых уст ее, можно б было думать, что спит она тихим, безмятежным сном.

Патап Максимыч подолгу в светелке не оставался. Войдет, взглянет на дочь любимую, задрожат у него губы, заморгают слезами глаза, и пойдет за дверь, подавляя подступавшие рыданья. Сумрачней осенней ночи бродит он из горницы в горницу, не ест, не пьет, никто слова от него добиться не может... Куда делись горячие вспышки кипучего нрава, куда делась величавая строгость? Косой подкосило его горе, перемогла крепкую волю лютая скорбь сердца отцовского.

Лекарь приехал. Стрелой полетел навстречу к нему Патап Максимыч. С рыданьем кинулся ему в ноги и, охватив колена, восклицал трепетным голосом:

— Батюшка!.. Будь отец родной!.. Вылечи дочку... Тысяч не пожалею... Помоги ради создателя... Не умерла бы, не покинула б меня, горького...

— Полноте, Патап Максимыч, перестаньте,— успокоивал его лекарь, отстраняясь от рыдавшего у ног его тысячника.— Вот осмотрим больную, сделаем что нужно... Бог милостив, не всякая болезнь к смерти бывает.

— Голубчик ты мой, Андрей Богданыч... Всего-то девятнадцатый годок!.. Умница-то какая!.. Помоги ты ей,— продолжал мольбы свои Патап Максимыч, ведя в светлицу лекаря.

Андрей Богданыч осмотрел больную. Груня рассказала ему, что знала про болезнь ее от Аксиньи Захаровны. Сама Аксинья Захаровна не могла говорить.

— Что?.. Что, Андрей Богданыч? — с нетерпеньем спрашивал Патап Максимыч, переходя из светлицы в переднюю горницу.— Можно вылечить?.. А?.. Подымется?.. Выздоровеет?..

Молча перебирал Андрей Богданыч в дорожном ящике снадобья.

— Самовар бы поставить да плиту развести,— сказал он.

Патап Максимыч бросился из горницы. Оказалось, что и самовар на столе и плита разведена. В ожиданье лекаря, Никитишна заранее все приготовила, и ветошек нарезала и салфетки для нагреванья припасла, и лед, и горчишники; плита уж двое суток не гасла, самовар со стола не сходил.

Отобрав нужные снадобья, Андрей Богданыч свесил их и пошел на кухню лекарство варить.

— Да скажи же мне, Христа ради, Андрей Богданыч, пожалей сердце отцовское,— приставал Патап Максимыч.

— Что ж я скажу, Патап Максимыч? — пожав плечами, отозвался лекарь.— Все сделаю, что нужно, а ручаться не могу.

— Помрет? — вскрикнул Патап Максимыч.

Ноги у него подкосились, и грузно опустился он на лавку. Холодный пот выступил на померкшем лице.

Прислуживавшая лекарю Никитишна закрыла рукой глаза и прошептала молитву.

— Молитесь богу, Патап Максимыч,— сказал Андрей Богданыч.— В его власти и чудеса творить...

— Господи! Господи!..— закрывая лицо руками и снопом повалясь на лавку, завопил Патап Максимыч.— Голубонька ты моя!.. Настенька!.. Настя! Светик ты мой!.. Умильная ты моя!

— Да перестаньте же, не убивайте себя,— успокоивал его Андрей Богданыч.

— Распороли бы вы, батюшка, грудь мою да посмотрели на отцовское сердце,— вскочив с лавки, вскричал Патап Максимыч.— Есть ли у вас детки-то?

— Есть,— отвечал лекарь, ставя на плиту кастрюлю с лекарством.

— А теряли ль вы их?

— Нет, благодаря бога, не терял...— отвечал Андрей Богданыч.

— И не дай вам господи до такого горя дожить,— сказал Патап Максимыч.— Тут, батюшка, один день десять лет жизни съест... Нет горчей слез родительских!.. Ах, Настенька... Настенька!.. Улетаешь ты от нас, покидаешь вольный свет!..

И, ровно хмельной, качаясь, вышел из кухни. Постояв несколько в раздумье перед светлицей, робкой рукой отворил дверь и взглянул на умирающую.

— Что сказал? — быстро вскинув на него глазами, шепнула Груня.

Патап Максимыч махнул рукой и, чувствуя, что не в силах долее сдерживать рыданий, спешно удалился. Шатаясь, как стень, прошел он в огород и там в дальнем уголке ринулся на свежую, только что поднявшуюся травку. Долго раздавались по огороду отчаянные его вопли, сердечные стоны и громкие рыданья...

Встал Патап Максимыч, в моленную пошел. Там все свечи были зажжены, канонница Евпраксия мерным голосом читала канон за болящую.

— Евпраксеюшка,— молвил Патап Максимыч,— самому мне невмоготу писать, напиши, голубка, письмецо в Городец к Михаилу Петровичу Скорнякову, просит, мол, Патап Максимыч как можно скорее попа прислать, а нет наготове попа, так старца какого... дочку, мол, надо исправить [1].

В заднем углу стон раздался. Оглянулся Патап Максимыч — а там с лестовкой в руках стоит на молитве Микешка Волк. Слезы ручьями текут по багровому лицу его. С того дня, как заболела Настя, перестал он пить и, забившись в уголок моленной, почти не выходил из нее.

— Что ты, Никифор? — грустно спросил его Патап Максимыч.

— Помирает!..— всхлипывая, молвил Никифор и горько, по-детски заплакал...

Патап Максимыч не отвечал ему.

Лекарства не помогли. По-прежнему Настя в забытьи лежит. Дыханье становилось слабей и слабей. Андрей Богданыч стал задумываться.

Только пять дней прошло с приезда лекаря, а Патапа Максимыча узнать нельзя, лицо осунулось, опухшие глаза впали, полуседая борода совсем побелела.

На шестой день Андрей Богданыч сказал ему:

— Силы упали, лекарства не действуют.

— Не действуют? — дрожащим голосом молвил Патап Максимыч.

---

[1] Исповедать.

— Последнее средство употреблю, мускуса дам...— продолжал Андрей Богданыч.

— Мускуса? — бессознательно повторил за ним Патап Максимыч, не понимая слова.

— Да,— подтвердил Андрей Богданыч.— От мускуса на короткое время возвратятся ей силы; тогда дам ей решительное средство... Поможет — хорошо, не поможет — божья воля.

— Боже, милостив буди мне, грешному,— прошептал Патап Максимыч.

Стояло ясное, теплое весеннее утро. Солнце весело горело в небесной выси́, в воздухе царила тишина невозмутимая: листочек на деревце не шелохнется... Тихо в Настиной светлице, тихо во всем доме, тихо и кругом его. Только и слышны щебетанье птичек, прыгавших по кустикам огорода, да лившаяся с поднебе́сья вольная песня жаворонка.

Легкий, сначала чуть заметный румянец показался на бледных ланитах Насти. Глубже и свободней стала она вздыхать, исхудавшая грудь начала подыматься. Гуще и гуще разыгрывался румянец. И вот больная открыла глаза, сухие, как стекло блестящие.

Оглянув стоявших, улыбнулась Настя ясной улыбкой и голосом тихим, как жужжанье пчелки, сказала:

— Приподнимите меня.

Груня с Никитишной приподняли подушки, больная осталась в полусидячем положении.

Отец с матерью бросились к ожившей дочери, но Андрей Богданыч остановил их.

— Не тревожьте,— сказал он.— Вот лекарство... Дайте скорее с божьей помощью.

Груня дала лекарство. Приняв его, Настя весело взглянула на нее и молвила:

— Ах, Груня!.. И ты здесь... Крестненька!.. И ты... Ну вот и хорошо, вот и прекрасно, что все собрались... Благодарствуйте, милые... Тятенька, голубчик, что ты какой?.. Мамынька!.. Родная моя!..

— Ясынька ты моя, голубушка,— обливаясь слезами, сказала Аксинья Захаровна.— Что это сталось с тобой?

— Ничего, мамынька, ничего, теперь мне легко... У меня теперь ничего не болит... Ничего...

И светлая, как ясный день, улыбка ни на миг не схо-

дила с уст ее, и с каждым словом живей и живей разгорались глаза ее.

Вдруг слетела улыбка, и глаза стыдливо опустились. Слабо подняла она исхудавшую руку и провела ею по лбу, будто что вспоминая.

— Мамынька,— тихо сказала она,— наклонись ко мне.

Аксинья Захаровна наклонилась.

— Прости ты меня, господа ради,— жалобно прошептала Настя.— Не жилица я на белом свете, прости меня, родная.

— Что поминать, что поминать? — всхлипывая, тихо молвила Аксинья Захаровна.

— Тяте сказывала? — шепнула Настя.

— Ох, сказала, дитятко, сказала, родная ты моя,— еще тише промолвила Аксинья Захаровна.

— Кто еще знает? — спросила Настя.

— Кому знать? Никто больше не знает,— сказала Аксинья Захаровна.

— Скажи, чтоб не погневались. вышли бы все, а ты останься с тятенькой...— младенческим каким-то голоском пролепетала Настя и закрыла усталые глаза.

Когда вышли все, зорко взглянула она на отца, и слеза сверкнула на ресницах ее.

— Прости меня, тятя... Согрубила я перед тобой...

— Не поминай, Настенька, не поминай, господь простит...— заливаясь слезами и наклоняясь к дочери, проговорил Патап Максимыч.

— Горько тебе... Обиду какую я сделала!..— жалобно продолжала Настя.

— Полно, забудь...— молвил Патап Максимыч.— Выздоравливай только... К чему поминать?..

— Поцелуй же меня, тятя, поцелуй, как, бывало, маленькую целовал.

— Ох ты, милая моя, ненаглядное мое сокровище,— едва мог проговорить Патап Максимыч и, припав губами к Насте, навзрыд зарыдал.

— Перестань, тятя, не плачь, голубчик,— с светлой улыбкой говорила Настя.— Исполни мою просьбу... последнюю...

— Говори, родная; что ни вымолвишь, все будет потвоему...— отвечал Патап Максимыч.

— Прости его...

Сверкнул глазами Патап Максимыч. Ни слова в ответ.

— Не можешь? По крайности зла не делай... господь с ним!..

Молчит Патап Максимыч.

— Тятя,— грустно заговорила Настя,— завтра, как будешь стоять у моего гробика да взглянешь на меня — не жаль тебе будет, что не утешил ты меня в последний час?.. А?

И она тихо заплакала.

— Добрая ты моя!.. Голубица ты моя!..— сказал до глубины души тронутый Патап Максимыч.— Не сделаю зла... Зачем?.. Господь с ним!..

— Ну, вот и хорошо... вот и прекрасно,— улыбнулась Настя.— Где он?

— Не воротился,— сказал Патап Максимыч.

— Ну и слава богу...— с горькой улыбкой прошептала Настя.— Господь с ним!.. Теперь, тятя, благослови ты меня нà смерть великим своим родительским благословением... благослови и ты, мамынька!

— Да полно, Настя, тебе ведь лучше... Бог милостив... Он поднимет тебя,— сказал Патап Максимыч.

— Нет, тятя, не надейся... не встать мне,— ответила Настя.— Смерть уж в головах. Благословите ж меня поскорее да других позовите... Со всеми проститься хочу...

Положив уставнòй семипоклонный начàл, Аксинья Захаровна благоговейно подняла из божницы икону богородицы и подала ее мужу. Тот благословил Настю, потом Аксинья Захаровна... Затем все вошли в светлицу.

— Прости, Параша... прощай, сестрица милая...— обращаясь то к одному, то к другому, говорила Настя тихим, певучим голосом,— не забывай меня... Поедешь к тетеньке, поклонись ей, и Фленушке отдай поклон, и всем, всем... Походи везде, где мы с тобой, бывало, гуляли, цветочки где рвали, веночки плели... Марьюшке голубой сарафан, новый шелковый — пусть поминает меня... Груня, ты моя милая сестрица богоданная... прости, голубушка... помолись за меня, за грешную, твоя молитва чиста... дò бога доходна... Молись же, не забудь меня... Прости, благослови меня нà смерть, крестненька, великим своим благословением... Евпраксеюшка... Матренушка, простите...

И всех, всех одарила Настя последним приветом... Светлая, небесная улыбка так и сияла на устах умиравшей... Все работники пришли, все работницы — всякому ласковое слово сказала, каждому что-нибудь отказала на память...

Вдруг кто-то сильными размахами растолкал работный люд, ринулся к кровати и с громким рыданьем упал перед нею.

— Прости, моя радость!.. Прости, святая душа!..

Он поднялся, всплеснул руками и до̀ крови разбился головой о край кровати.

— Дядя, не пей, голубчик,— тихо молвила ему Настя.

— Не буду, лебедушка, не буду,— рыдал Никифор.— Покарай меня господи, коль забуду зарок, что даю тебе... Молись обо мне, окаянном, святая душенька!.. Ах, Настенька, Настенька!.. Не знаешь, каково я любил тебя... А подойти близко боялся. Что ж?.. Пьян завсегда, мерзко ведь тебе было взглянуть на меня... Только издали любовался тобой... Помолись за меня царю небесному, перед его престолом стоючи...

— Полно, дядя, полно... благослови меня, перекрести...— молвила Настя.

— Нет, святая душа, ты меня благослови на хорошую жизнь... С твоим благословеньем не пропаду, опять человеком стану,— сказал Никифор, становясь на колени перед племянницей.

Она перекрестила дядю.

— Тятенька, миленький, простимся еще разок...— сказала упадавшим голосом Настя.

Стоявший в углу Андрей Богданыч шепнул Никитишне, чтоб лишний народ вышел вон... Пока выходили, отец с матерью вдругорядь благословили Настю.

Стал сбегать румянец с лица Настина, веки смежались, дыханье становилось слабее и реже...

— Тише... Кончается,— шепнул Андрей Богданыч Никитишне, а сам потихоньку вышел из светлицы.

Зажгла Никитишна свечи перед иконами и вышла вместе с канонницей... Все переглянулись, догадались... Аксинья Захаровна села у изголовья дочери и, прижавшись к Груне, тихо плакала. Патап Максимыч, скрестив руки, глаз не сводил с лица дочери.

Вошла Никитишна. В одной руке несла стакан с водой, в другой кацею с жаром и ладаном. Стакан поставила на раскрытое окно, было бы в чем ополоснуться душе, как полетит она на небо... Кацеéю трижды покадила Никитишна пòсолонь перед иконами, потом над головой Насти. Вошла с книгой канонница Евпраксея и, став у икон, впòлголоса стала читать «канон на исход души».

Тише и реже вздыхала Настя... Скоро совсем стихать начала.

В это время откуда ни возьмись малиновка — нежно, уныло завела она свою песенку, звучней и громчей полилась с поднебесья вольная песня жаворонка.. Повеял тихий ветерок и слегка шелохнул приподнятые оконные занавеси.

— Молитесь,— оглянув всех, шепнула Никитишна,— ангелы за душой прилетели.

Все в глубоком молчанье набожно стали креститься.

Никитишна зажгла восковую свечу и, вложив в руку умиравшей, шепнула Параше, чтоб она поддержала ее.

Глубже вздохнула Настя... Еще раз потише... Еще... и дыханье совсем прекратилось.

Никитишна дернула за рукав канонницу. Та перестала читать.

Минут пять продолжалось глубокое молчанье... Только и слышны были заунывное пение на земле малиновки да веселая песня жаворонка, парившего в поднебесье.

Наклонилась Никитишна щекой к хладевшим губам Насти и, обратясь к Аксинье Захаровне, молвила:

— Отошла.

Поднялась со стула Аксинья Захаровна. Закрыла глаза дочери и, перекрестив ее, тихо промолвила:

— Прощай, доченька милая, меня дожидайся!..

И поднялись по всему дому крики и вопли... Плач заглушил и унылую малиновку и поднебесную песню жаворонка...

Насилу выпроводила всех из светлицы Никитишна. Оставшись с канонницей Евпраксеей да с Матренушкой, стала она готовить Настю «под святые», обмывать, чесать и опрятывать [1] новопреставленную рабу божию девицу Анастасию.

---

[1] Одевать.

* * *

Никитишна на все руки была мастерица, на всякие дела дошлая источница. Похоронной обрядней тоже умела распорядиться, Евпраксея с Матренушкой были ей на подмогу.

Только что обмыли покойницу, взяла Никитишна у Аксиньи Захаровны ключи от сундуков и вынула, что нужно было для погребенья. Дала девицам кусок тонкого батиста на шитье савана, а первые три стежка заставила сделать самое Аксинью Захаровну. Под венец ли девицу сряжать, во гроб ли класть ее,— всякое шитье мать должна зачинать — так повелось на Руси...

Достала Никитишна нового полотна обернуть ноги покойнице, новое недержанное полотенце дать ей в руки, было бы чем отереть с лица пот в день страшного суда Христова. Обмыли, причесали Настю. Чистую сорочку на нее надели, в саван окутали, спеленали новым разрезным полотном и положили в моленной на столе... А на том столе загодя наложили соломы и покрыли ее чистой простыней. Парчи наготове не явилось, зато нашелся кусок голубого венецейского бархата; готовили его в приданое Насте. На тот бархат из золотого позумента нашили большой осмиконечный крест с копием, с тростию и с подножием и покрыли им тело покойницы. Канонница Евпраксеюшка достала из книжного шкафа моленной бумажный венец старой московской печати с надписанием молитвы «Святый боже», Аксинья Захаровна положила тот венец на охладевшее чело дочери. Зажгли свечи перед всеми иконами, поставили подсвечники с ослопными свечами вкруг тела, и канонница Евпраксея, окадив образа и покойницу, начала псалтырь читать.

Никитишна сама и мерку для гроба сняла, сама и постель Настину в курятник вынесла, чтоб там ее по три ночи петухи опели... Управившись с этим, она снаружи того окна, в которое вылетела душа покойницы, привесила чистое полотенце, а стакан с водой с места не тронула. Ведь души покойников шесть недель витают на земле и до самых похорон прилетают на место, где разлучились с телом. И всякий раз душа тут умывается, утирается.

И тем Никитишна распорядилась, чтоб на похоронах как можно больше девиц было. Молодость молодостью что под венец, что в могилу провожается. Для того разо-

слали работников по окольным деревням, ближним и дальным, звать-позывать всех девиц проводить до вековечного жилья Настасью Патаповну... И скитам иным повестили... Ждали гостей из Городца и даже из города — повсюду разосланы были посыльные. А девицам всем дары были заготовлены, которым по платку, которым по переднику, которым по ленте в косу. За Волгой ведется обычай на девичьих похоронах, как на свадьбе, дары раздавать.

Не забыла Никитишна послать за плакушами[1]. Не пришлось отпраздновать Настину свадьбу, надо справить ее погребение на славу, людям бы на долгое время памятно было оно... Нарядила Никитишна подводу верст за сорок, в село Стародумово, звать-позывать знаменитую «плачéю» Устинью Клещиху, что по всему Заволжью славилась плачами, причитаньями и свадебными песнями... Золото эта Клещиха была. Свадьбу играют, заведет песню — седые старики вприсядку пойдут, на похоронах «плач заведет» — каменный зарыдает... Кроме Устиньи, еще шесть «вóпленниц» позвала Никитишна, чтоб вся похоронная обрядня справлена была чинно и стройно, как отцами, дедами заповедано.

А меж тем на улице перед домом Патапа Максимыча семеро домохозяев сосновые доски тесали, «домовину» из них сколачивали[2]. Изготовив, внесли его в сени и обили алым бархатом с позументом, а стружки и обрубки бережно собрали и отдали Никитишне... Она сама снесла их за околицу и там с молитвой пустила по живой воде,— в речку кинула. Оборони господи, если малый какой остаток гроба в огонь угодит,— жарко на том свете покойнику будет... В гроб девушки, как под брачное ложе, ржаных снопов настлали и потом все нутро новым белым полотном обили.

Хороша лежала в гробу Настенька... Строгое, думчивое лицо ее как кипень бело, умильная улыбка недвижно лежит на поблеклых устах, кажется, вот-вот откроет

---

[1] Плакуши, плачеи, вопленницы — женщины, которые по найму причитают и поют древние «плачи» на похоронах, на поминках и на свадьбах.

[2] Делают гроб непременно на улице, обыкновенно родственники умершего и непременно в нечетном числе. За неимением родных, делают гроб домохозяева той деревни, где умер покойник.

она глаза и осияет всех радостным взором... Во гроб пахучей черемухи наклали... Приехала Марья Гавриловна, редких цветов с собой привезла, обложила ими головку усопшей красавицы.

Фленушку Марья Гавриловна с собой привезла. Как увидела она Настю во гробе, так и ринулась на̀ пол без памяти... Хоть и не знала, отчего приключилась ей смертная болезнь, но чуяла, что на душе ее грех лежит.

Приехала и Марья головщица со всем правым клиросом, мать Виринея, мать Таифа... Еще собралось несколько матерей... Сама Манефа порывалась ехать, хотелось ей проводить на вековечное жилье любимую племянницу, да сил у нее не достало.

Сотня свечей горит в паникадиле и на подсвечниках в моленной Чапурина. Клубами носится голубой кадильный дым росного ладана; тихо, уныло поют певицы плачевные песни погребального канона. В головах гроба в длинной соборной мантии, с лицом, покрытым черным крепом наметки, стоит мать Таифа — она службу правит... Кругом родные и сторонние женщины, все в черных сарафанах, с платками белого полотна на головах... Патап Максимыч у самого гроба стоит, глаз не сводит с покойницы и только порой покачивает головою... Покамест жива была Настя, терзался он, рыдал, как дитя, заливался слезами, теперь никто не слышит его голоса — окаменел.

Допели канон. Дрогнул голос Марьюшки, как завела она запев прощальной песни: *«Приидите последнее дадим целование...»*. Первым прощаться подошел Патап Максимыч. Истово сотворил он три поклона перед иконами, тихо подошел ко гробу, трижды перекрестил покойницу, припал устами к холодному челу ее, отступил и поклонился дочери в землю... Но как встал да взглянул на мертвое лицо ее, затрясся весь и в порыве отчаянья вскрикнул:

— Родная!..

И расшибся бы на месте, если б сильные руки стоявшего сзади Колышкина не поддержали его.

Оглянулся Патап Максимыч.

— Сергей Андреич?.. Какими судьбами? — слабым голосом спросил он прискакавшего в Осиповку уж во время отпеванья Колышкина.

— Узнал, крестный, про горе твое,— молвил он.— Как же не приехать-то?

Горячо обнял его Патап Максимыч, сдерживая рыданья.

— Плачь, а ты, крестный, плачь, не крепись, слез не жалей — легче на сердце будет,— говорил ему Колышкин... А у самого глаза тоже полнехоньки слез.

После прощанья Аксинью Захаровну без чувств на руках из моленной вынесли.

Кончились простины. Из дома вынесли гроб на холстах и, поставив на черный «одёр» [1], понесли на плечах. До кладбища было версты две, несли, переменяясь, но Никифор как стал к племяннице под правое плечо, так и шел до могилы, никому не уступая места.

Только что вынесли гроб за околицу, вдали запылилась дорога и показалась пара добрых саврасок, заложенных в легкую тележку. Возвращался с Ветлуги Алексей.

Своротил он с дороги, соскочил на̀ землю... Видит гроб, крытый голубым бархатом, видит много людей, и люди все знакомые. В смущении скинул он шапку.

Приближался шедший впереди подросток лет четырнадцати, в черном суконном кафтанчике, с двумя полотенцами, перевязанными крестом через оба плеча. В руках на большой батистовой пелене нес он благословенную икону в золотой ризе, ярко горевшей под лучами полуденного солнца.

— Кого это хоронят? — спросил у него Алексей.

— Настасью Патаповну,— вполголоса ответил мальчик.

Так и остолбенел Алексей... Даже лба перекрестить не догадался.

Как в сонном виденье проносятся перед ним смутные образы знакомых и незнакомых людей. Вот двое высокорослых молодцов несут на головах гробовую крышу. Смотрит на нее Алексей... Алый бархат... алый... И вспоминается ему точно такой же алый шелковый платок на Настиной головке, когда она, пышная, цветущая красой и молодостью, резво и весело вбежала к отцу в подклет

[1] Носилки, на которых носят покойников. За Волгой, особенно между старообрядцами, носить покойников до кладбища на холстах или же возить на лошадях почитается грехом.

и, впервые увидев Алексея, потупила звездистые очи... Аленькой гробок, аленькой гробок!.. В таком же алом тафтяном сарафане с пышными белоснежными рукавами одета была Настя, когда он по приказу Патапа Максимыча впервые пришел к ней в светлицу... когда, улыбаясь сквозь слезы, она страстно взглянула ему в очи и в порыве любви кинулась на грудь его... Вот «певчая стая» Манефиных крылошанок, впереди знакомая головщица Марьюшка. Она знает, что покойница любила его, Фленушка ей о том сказывала. Тихо певицы поют: «*Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи...*». Тут только вспомнил Алексей, что следует перекреститься... А вот четверо несут «одёр» на плечах... В головах твердой поступью идет Никифор... Показалось Алексею, что он злобно взглянул на него... От мерных шагов носильщиков гроб слегка покачивается, и колышется на нем голубой бархатный покров... Сил не стало у Алексея, потупил глаза и низко преклонился перед покойницей...

Вот ведут под руки убитую горем Аксинью Захаровну... Вот неровными шагами, склонив голову, идет Патап Максимыч... как похудел он, сердечный, как поседел!.. Вот Параша, Фленушка... Увидя Алексея, она закрыла глаза передником, громко зарыдала и пошатнулась... Кто-то подхватил ее под руки... Звезды небесные!.. Да это она — Марья Гавриловна!.. Вот взглянула молодая вдова на Алексея, сама зарделась, как маков цвет, и стыдливо опустила искрометные очи... Света не взвидел Алексей, и в глазах и в уме помутилось... Видит пеструю толпу — мужчины, женщины, дети, много, много народу... Слышит голосистые, за душу тянущие причитанья вопленниц:

Не утай, скажи, касатка моя, ластушка.
Ты чего, моя касатушка, спужалася?
Отчего ты в могилушку сряжалася?
Знать, того ты спужалася, моя ластушка,
Что ноне годочки пошли все слезовые,
Молодые людушки пошли все обманные,
Холосты ребята пошли нонь бессовестные...

Как ножом по сердцу полоснуло Алексея от этих слов старорусского «жáльного плача»... Заговорила в нем совесть, ноги подкосились, и как осиновый лист он затрясся... Мельтешит перед ним длинный поезд кибиток,

таратаек, крестьянских телег; шагом едут они за покойницей...

Жалко ему стало ту, за которую так недавно с радостью сложил бы голову... Мутится в уме, двоятся мысли... То покойница вспоминается, то Марья Гавриловна на память идет.

Опомнился Алексей. Вскочив в тележку, во весь опор помчался за похоронным поездом и, догнав, поехал сзади всех... Влекло вперед, хотелось взглянуть на Марью Гавриловну, но гроб не допускал.

— Ефрем,— окликнул он красильщика, ехавшего в задней телеге.

— Чего? — откликнулся тот.

— От чего померла?

— Знамо, от смерти,— ухмыльнувшись, ответил Ефрем.

— Делом говори...— строго прикрикнул Алексей.

— Хворала, болела, ну и померла,— встряхнув головой, молвил Ефрем.

— Долго ль хворала? — спросил Алексей.

— Недели с полторы, не то и боле,— отвечал красильщик.— Лекаря и́з городу привозили, вечор только уехал... Лечил тоже, да, видно, на роду ей писано помереть... Тут уж, брат, ничего не поделаешь.

— А что́ за болезнь была?—перебил Ефрема Алексей.

— А кто ее знат, дело хозяйское,— почесав в затылке, молвил красильщик.— Без памяти, слышь, лежала, без языка.

— Без языка? — быстро спросил Алексей.

— Ни словечка, слышь, не вымолвила с самых тех пор, как с нею попритчилось.

— А что ж с ней такое попритчилось? — продолжал свои расспросы Алексей.

— Кто их знат... Дело хозяйское!.. Мы до того не доходим,— сказал Ефрем, но то̀тчас же добавил: — Болтают по деревне, что собралась она в Комаров ехать, уложились, коне́й запрягать велели, а она, сердечная, хвать о̀ пол, ровно громом ее сразило.

«Коли так, все как осенний след запало»,— подумал Алексей.

Стал Ефрем рассказывать, что у Патапа Максимыча гостей на похороны наехало видимо-невидимо; что уго-

щенье будет богатое; что «строят» столы во всю улицу; что каждому будет по три подноса вина, а пива и браги пей, сколько в душу влезет, что на поминки наварено, настряпано, чего и приесть нельзя; что во всех восемнадцати избах деревни Осиповки бабы блины пекут, чтоб на всех поминальщиков стало горяченьких.

Мимо ушей пропускал Алексей рассказы несмолкавшего Ефрема... Много в те минуты дум у него было передумано.

* * *

Погребальные «плачи» веют стариной отдаленной. То древняя обрядня, останки старорусской тризны, при совершении которой близкие к покойнику, особенно женщины, плакали «плачем великим». Повсюду на Руси сохранились эти песни, вылившиеся из пораженной тяжким горем души. По на́слуху переходили они в течение веков из одного поколенья в другое, несмотря на запрещенья церковных пастырей творить языческие плачи над христианскими телами...

Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, как в лесах Заволжья и вообще на Севере, где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленницы — эти истолковательницы чужой печали — прямые преемницы тех вещих жен, что «великими плачами» справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, изустно передаваемому и́з рода в род. На богатых похоронах вопленницы справляют плачи в виде драмы: главная «заводит плач», другие, составляя хор, отвечают ей... Особые бывают плачи при выносе покойника из дому, особые во время переноса его на кладбище, особые на только что зарытой могиле, особые за похоронным столом, особые при раздаче даров, если помрет молодая девушка. Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям... И на все свой порядок, на все свой устав... Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши еще поклонялись Облаку ходя-

чему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле [1].

Вот за гробом Насти, вслед за родными, идут с поникшими головами семь женщин. Все в синих крашенинных сарафанах с черными рукавами и белыми платками на головах... Впереди выступает главная «плачея» Устинья Клещиха. Хоронят девушку, оттого в руках у ней зеленая ветка, обернутая в красный платок.

Завела Устинья плач от лица матери, вопленницы хором повторяют каждый стих... Далеко́ по полю разносятся голосистые причитанья, заглушая тихое пение воскресного тропаря идущими впереди певицами.

На полете летит белая лебедушка,
На быстро̀м несется касатка-ластушка.
Ты куда, куда летишь, лебедь белая,
Ты куда несешься, моя касатушка?.
Не утай, скажи, дитя мое ро̀дное...
Ты в какой же путь снарядилася,
Во которую путь-дороженьку,
В каки гости незнакомые,
Незнакомые, нежеланные?
Собралася ты, снарядилася
На вечное житье, бесконечное.
Как пчела в меду, у меня ты купалася,
Как скатно̀й жемчу̀г, на золоте блюде рассыпа̀лася.
Уж как зарились удалы до̀бры мо̀лодцы
На твою красоту ненаглядную,
Говорили ж тебе советны милы подруженьки:
«Уж счастлива ж ты, девица таланная,
Цветным платьем ты изнавешана,
Тяжело̀й работой ты не огружена,
Бранным словечушком не огрублена».
Не чаялась я, горюша, не надеялась
Глядеть на тебя во гробу да в дубовом.
Уж как встану я. бывало, по раннему по утрышку,
Потихонечку приду ко твоей ко кроватушке,
Сотворю над тобой молитву Исусову,
Принакрою тебя соболиным одеяльчиком,
Я поглажу тебя по младой по головушке:
«Да ты спи же, усни, моя бела лебедушка,

---

[1] В глубокой древности наши предки поклонялись ходячему небу или ходячему облаку — это *Сварог*. Потом стали поклоняться солнцу — это *Дажбог*, и, наконец, грому — это *Перун* или *Гром Гремучий*. То же самое было и у древних эллинов: сначала поклонение Урану (небо), потом Кроносу (время, которое показывается ходом солнца) и, наконец. Зевсу (грому), что у эллинов Кивилла — то у нас Мать Сыра Земля.

Во своем во прекрасном во девичестве.
На мягкой на пуховой на перинушке».
Не утай, скажи, дитятко мое удатное,
Чем, победная горюша, тебя я погневала,
Коим словом тебя я согрубила?
Что не солнышко за облачком потерялося,
Не светёл месяц за тучку закатался.
Не ясна звезда со небушка скатилася —
Отлетала моя доченька родная
За горушки она да за высокие,
За те ли за леса да за дремучие,
За те ли облака да за ходячие,
Ко красному солнышку на беседушку,
Ко светлому месяцу на супрядки,
Ко частыим звездушкам в хоровод играть.

Приносили на погост девушку, укрывали белое лицо гробовой доской, опускали ее в могилу глубокую, отдавали Матери Сырой Земле, засыпали рудожелтым песком.

Стоит у могилки Аксинья Захаровна, ронит слезы горькие по лицу бледному, не хочется расставаться ей с новосельем милой доченьки... А отец стоит: скрестил руки, склонил голову, сизой тучей скорбь покрыла лицо его... Все родные, подруги, знакомые стоят у могилы, слезами обливаючись... И только что певицы келейные пропели «вечную память», Устинья над свежей могилою новый плач завела, обращаясь к покойнице:

Я кляну да свою буйну головушку,
Я корю свое печально скорбно сердечушко!
Ах, завейте, завейте-тка, ветры буйные,
Вы развейте, развейте-тка желты пески,
Что на новой, на свежей на могилушке.
Расколите, расколите гробову доску,
Разверните, разверните золоту парчу.
Разверните, разверните бел тонкой саван,
Размахни ты, моя голубонька, ручки белые,
Разомкни ты, моя ластушка, очи звездистые.
Распечатай, моя лебедушка, уста сахарные,
Посмотри на меня, на горюшу победную,
Ты промолви-ка мне хоть едино словечушко...
Я надеялась на тебя крепкой надеждушкой:
Ростила до хорошего до возрасту,
Научала уму-разуму
И всякому рукодельицу.
Не судил мне господь с тобой пожить,
Покидала ты меня, горюшу, раным-ранешенько,
Миновалася жизнь моя хорошая,
Наступило горько, слезовое времечко...

Один по одному разошлись с погоста. Выпрягли и потом вновь запрягли коней и поехали в деревню. Без этого обряда нельзя с кладбища ехать — не то другую смерть в дом привезешь.

Опустела Настина могилка, все ее покинули, один не покинул. До позднего вечера, обливаясь слезами, пролежал на ней Никифор. Хоть Аксинья Захаровна и говорила, что остался он на кладбище, чтоб удалиться от искушения, что предстало бы ему на поминальной тра́пезе, но неправду про брата сказала она. Хоть виду не подавал, хоть ни единым словом никогда никому не высказывал, но с раннего детства Насти горячо он любил ее преданной и беззаветной любовью. Нежданная смерть племянницы так поразила его, что он совсем переродился. Душа-то у него всегда была хороша, губила ее только чара зелена́ вина.

Дня потом не проходило, чтоб Никифор по нескольку часов не просиживал на дорогой могилке. На девятый день пришли на кладбище покойницу помянуть и, как водится, дерном могилу окласть, а она уж обложена и крест поставлен на ней. Пришли на поминки в двадцатый день, могилка вся в цветиках.

* * *

Проводив за околицу крестницу и предоставив дальнейшую погребальную обрядню Устинье Клещихе, Никитишна воротилась в дом Патапа Максимыча и там с помощью работниц и позванных деревенских молодух все привела в порядок... Вымыли и мокрыми тряпицами подтерли полы во всех горницах и в моленной. Тряпицы, веники, весь сор, солому, на которой до положения во гроб лежала покойница, горшок, из которого ее обмывали, гребень, которым расчесывали ей волосы,— все собрала Никитишна, с молитвой вынесла за околицу и бросила там на распутье... После того, умывшись и переодевшись во все чистое, принялась она вместе с приспешницами «помины строить». Во всех горницах накрыли столы и расставили на них канун, кутью и другие поминальные снеди. Вдоль улицы, как во время осенних и троицких «кормов», длинным рядом выстроили столы и покрыли их столешниками [1]. На столах явились блюда с кутьей

[1] Скатерть.

и кануном, деревянные жбаны с сыченой брагой и баклаги с медовой сытой для поминального овсяного киселя.

К возврату с погоста досужая Никитишна успела все обрядить, как следует. Гости как на двор, так и за стол... Устинья Клещиха, взойдя в большую горницу, положила перед святыми три поклона, взяла «с красного стола» [1] блюдо с кутьей, сначала поднесла отцу с матерью, потом родным и знакомым. На улице за столами уселось больше двухсот человек мужчин, баб, девок и подростков; там вопленницы тем же порядком всем кутью разносили. Ели ее в молчании, так стародавним обычаем установлено.

После кутьи в горницах родные и почетные гости чай пили, а на улице всех обносили вином, а непьющих баб, девок и подростков ренским потчевали. Только что сели за стол, плачеи стали под окнами дома... Устинья завела «поминальный плач», обращаясь от лица матери к покойнице с зовом ее на погребальную тризну:

Родимая моя доченька,
Любимое мое дитятко,
Настасья свет Патаповна,
Тебе добро принять пожаловать
Стакан да пива пьяного,
Чарочку да зелена́ вина,
От меня, от горюши победныя.
С моего ли пива пьяного
Не болит буйна́ головушка,
Не щемит да ретиво сердце;
Весело́ да напиватися
И легко да просыпатися.
Ты пожалуй, бела лебедушка,
Хлеба-соли покушати:
Дубовы столы порасставлены,
Яства сахарны наношены.

На улице подавали народу поминальные яства в изобилии. Изо всех восемнадцати домов деревни вынесли гречневы блины с маслом и сметаной, а блины были мерные, добрые, в каждый блин ломоть завернуть. За блинами угощали народ пирогами-столовиками [2], щами с солониной, лапшой со свининой, пряженцами с яйцами, а в конце стола подан был овсяный кисель с сытой. Ви-

---

[1] Главный стол, приготовленный для почетных гостей.

[2] Круглый пирог из сочней, с начинкой из молочных блинов и репы.

ном по-трижды обносили, пива и сыченой браги пили, сколько хотели, без угощенья. После киселя покойницу «тризной» помянули: выпили по доброму стакану смеси из пива, меду и ставленной браги [1]. В хоромах за красным столом кушанья были отборные: там и дорогие вина подавали, и мерных стерлядей, и жирных индюков, и разную дичину. Но блины, кисель и тризна, как принадлежности похоронной трапезы, и за красным столом были ставлены.

Только что отобедали, раздача даров началась. Сначала в горницах заменявшая место сестры Параша раздала оставшиеся после покойницы наряды Фленушке, Марьюшке, крылошанкам и некоторым деревенским девицам. А затем вместе с отцом, матерью и почетными гостями вышла она на улицу. На десяти больших подносах вынесли за Парашей дары. Устинья стала возле нее, и одна, без вопленниц, пропела к людям «причет»:

Вы ступайте, люди добрые,
Люди добрые, крещеные.
Принимайте дары великие,
А великие да почетные
От Настасьи свет Патаповны:
Красны девицы по шириночке,
Молоды молодки по передничку,
Добры молодцы по опоясочке.
Да не будьте вы крикливые,
Да не будьте вы ломливые,
А будьте вы милостивы,
Еще милостивы да жалостливы,
Жалостливы да приступливы.

Спервоначалу девицы одна за другой подходили к Параше и получали из рук ее: кто платок, кто ситцу на рукава аль на передник. После девиц молодицы подходили, потом холостые парни: их дарили платками, кушаками, опоясками. Не остались без даров ни старики со старухами, ни подростки с малыми ребятами. Всех одарила щедрая рука Патапа Максимыча: поминали б дорогую его Настеньку, молились бы богу за упокой души ее. А во время раздачи даров Устинья с вопленницами пела:

---

[1] Эту смесь, в которую прибавляется также и виноградное вино, зовут «тризной», а также «чашей». Поповское или семинарское ее названье — «пивомедие».

Не была я, горюша, забытлива [1],
Не была, победна головушка, беспамятна,
Поспрошать родное свое детище,
Как раздать кому ее одеженьку.
Ведь сотлеют в сундуках платья цветные,
Потускнеют в скрыне камни самоцветные,
Забусеет в ларце скатной жемчуг.
Говорила же мне бела лебедушка,
Что Настасья свет Патаповна:
«Я кладу жемчужны поднизи
И все камни самоцветные
Ко иконе пречистой богородицы,
Я своей душе кладу на спасенье
И на вечное поминание.
А все алы, цветны ленточки
По душам раздам по красным девушкам,
Поминали б меня, девицу,
На веселых своих на беседушках.
Сарафаны свои мелкоскладные
Я раздам молодым молодушкам,
Поминали б меня, красну девицу.
А шелковые платочки атласные
Раздарю удалым добрым молодцам,
Пусть-ка носят их по праздникам
Вокруг шеи молодецкия,
Поминаючи меня красну девицу».

А милостыню по нищей братии раздавали шесть недель каждый божий день. А в Городецкую часовню и по всем обителям Керженским и Чернораменским разосланы были великие подаяния на службы соборные, на свечи негасимые и на большие кормы по трапезам... Хорошо, по всем порядкам, устроил душу своей дочери Патап Максимыч.

И ходила про то молва великая, и были говоры многие по всему Заволжью и по всем лесам Керженским и Чернораменским. Все похваляли и возносили Патапа Максимыча за доброе его устроение. Хоть и тысячник, хоть и бархатник, а, дочку хороня, справил все по-старому, по-заветному, как отцами-дедами святорусскому люду заповедано.

* * *

На кладбище, перед тем как закрывать гробовую крышку, протеснился к могиле Алексей и стал среди окруживших Настю для отдачи последнего поцелуя...

[1] То есть забывчива.

Взглянул он на лицо покойницы... Света не взвидел... Злая совесть стоит палача.

Опомнился, когда народ с кладбища пошел, последним в деревню приехал, отдал ко́ней работнику, ушел в подклет и заперся в боковуше... Доносились до него и говор поминальщиков и причитанья вопленниц, но был он ровно в чаду, сообразить ничего не мог.

Уж по́д вечер, когда разошлись по домам поминальщики, вышел он из боко́вуши и увидал Пантелея. Склонив голову на́ руки, сидел старик за столом, погруженный в печальные думы. Удивился он Алексею.

— Отколь взялся, Алексеюшка? — спросил он.

— Приехал вот,— сумрачно ответил Алексей.

— Когда?

— Утром давеча... Во время выносу... Навстречу попалась,— сказал Алексей.

— Вот горе-то какое у нас, Алексеюшка,— молвил, покачав головой, Пантелей.— Нежданно, негаданно — вдруг... Кажется, кому бы и жить, как не ей... Молодехонька была, царство ей небесное, из себя красавица, каких на свете мало живет, все-то ее любили, опять же во всяком довольстве жила, чего душа ни захочет, все перед ней готово... Да, видно, человек гадает по-своему, а бог решает по-своему.

— Как это случилось, Пантелей Прохорыч? — спросил Алексей.— Давеча толку ни от кого добиться не мог. Что за болезнь такая с нею была, отчего?

— Бог ее знает, что за болезнь,— отвечал Пантелей.— На другой никак день, как ты на Ветлугу уехал, Патап Максимыч стал в Комаров с девицами сряжаться. Марья Гавриловна, купецкая вдова, коли слыхал, живет там у матушки Манефы, она звала девиц-то погостить... Покойнице, мнится мне, не по себе что-то было: то развеселая по горницам бегает, песни поет, суетится, ехать торопится, то ровно варом ее обдаст, помутится вся из лица, сядет у окна грустная такая, печальная... Там, наверху, в больших сенях Аксинья Захаровна с покойницей ихни пожитки в чемоданы складывала, а Прасковья Патаповна с Евпраксеюшкой в светлице была... Вдруг она, голубушка, ни с того ни с сего, пала аки мертвая... По́ дому забегали, засуетились, на руках отнесли ее на кровать... И десять денечков лежала она недвижимая, и

не было от нее ни гласа, ни послушания... Перед смертью только очнулась, и уж как же она, голубушка, прощалась со всеми,— камень, кажись, и тот бы растаял. Всякому-то доброе слово промолвила, никого-то не забыла последним своим подареньицем... Все приходили: и работники, и работницы, и с деревни много людей приходило, со всеми прощалась... Один ты, Алексеюшка, не угодил проститься... И только что успела со всеми попрощаться, ровно заснула, голубушка... Тихо возлетела чистая ее душенька ко престолу царя небесного... Да, Алексеюшка, видал я много раз, как люди помирают, дожил, как видишь, до седых волос, а такой тихой, блаженной кончины не видывал... Ни на земле зла не оставила, ни за собой людского зла не унесла... Вот хоть бы сегодня взять... Сколько было на поминах народу, а был ли хоть един человек, кто бы лихом ее помянул?.. Правду аль нет говорю?

— Да,— вымолвил Алексей, отирая платком обильный пот, выступивший на лице его.

— При жизни, пожалуй, и у ней завистники бывали,— продолжал Пантелей.— Кто уму-разуму завидовал, кто богатству да почести, кто красоте ее неописанной... Сам знаешь, какова приглядна была.

— Да,— прошептал Алексей.

— Смертью все смирилось,— продолжал Пантелей.— Мир да покой и вечное поминание!.. Смерть все мирит... Когда господь повелит грешному телу идти в гробную тесноту, лежать в холодке, в темном уголке, под дерновым одеялом, а вольную душеньку выпустит на свой божий простор — престают тогда все счеты с людьми, что вживе остались... Смерть все кроет, Алексеюшка, все...

— Все? — сказал Алексей, вскинув глазами на Пантелея.

— Все,— внушительно подтвердил Пантелей.— Только людских грехов перед покойником покрыть она не может... Кто какое зло покойнику сделал, тому до покаянья грех не прощен... Ох, Алексеюшка! Нет ничего лютей, как злобу к людям иметь... Каково будет на тот свет-от нести ее!.. Тяжела ноша, ух как тяжела!..

Угрюмо молчал Алексей, слушая речи Пантелея... Конца бы не было рассуждениям старика, не войди в

подклет Никитишна. Любил потолковать Пантелей про смерть и последний суд, про райские утехи и адские муки. А тут какой повод-от был!.

— Забегалась я, Пантелеюшка, искавши тебя,— сказала Никитишна.— Ступай кверху, Патап Максимыч зовет.

— Что он? — спросил Пантелей, вставая с лавки.

— Лег... Вовсе, сердечный, примучился... Посылать никак хочет тебя куда-то,— сказала Никитишна.— Ты давно ль приехал? — обратилась она к Алексею.

— Давеча во время похорон,— молвил Алексей.

— Вишь, на какое горе приехал!.. Не чаяли мы, не гадали такого горя... Да что ж я давеча тебя не приметила? — спросила Никитишна.

— На кладбище-то я был,— молвил Алексей.

— Не про кладбище речь,— сказала Никитишна,— за столами тебя не видала.

— Две ночи нѐ спал я, Дарья Никитишна, притомился очень,— сказал Алексей.— Приехавши, отдохнуть прилег, да грехом и заснул... Разбудить-то было некому.

— Как же это, парень?.. И покойницу не помянул и даров не принял, а еще в доме живешь,— сказала Никитишна.— Поесть не хочешь ли?.. Иди в стряпущую.

— Нет, Дарья Никитишна, неохота,— ответил Алексей.

— Ну как знаешь,— молвила Никитишна и потом спросила:

— Патапа Максимыча видел?

— Нет еще,— отвечал Алексей...— Не до того, поди, ему теперь.

При этих словах вошел Пантелей и сказал Алексею, что Патап Максимыч его требует.

— Тебя-то куда посылает? — спросила старика Никитишна.

— В Городец да по скитам с сорокоустами,— отвечал Пантелей.

И Пантелей и Никитишна обошлись с Алексеем ласково, ничего не намекнули... Значит, про него во время Настиной болезни особых речей ведено не было... По всему видно, что Настя тайну свою в могилу снесла... Такими мыслями бодрил себя Алексей, идя на зов Патапа Максимыча. А сердце все-таки тревогой замирало.

Патап Максимыч раздетый лежал на кровати, когда Алексей, тихонько отворив дверь, вошел в его горницу. Лицо у Патапа Максимыча осунулось, наплаканные глаза были красны, веки припухли, седины много прибыло в бороде. Лежал истомленный, изнуренный, но брошенный на Алексея взор его гневен был.

— Здорово, Алексей Трифоныч! — сдержанно проговорил он,— подобру ль, поздорову ли съездил?

Алексей поклонился. Надо бы сказать что-нибудь, да речи на ум не шли.

— Пантелей сказывал, что ты еще утром приехал,— молвил Патап Максимыч, устремив пристальный взор на тяжело переводившего дух Алексея.

— Так точно,— едва слышно проговорил Алексей.

— Вот какие ноне у нас приказчики завелись,— усмехнулся Патап Максимыч.— Приедет с делом, а хозяину и глаз не кажет. Просить его надо, послов посылать...

— Такое время, Патап Максимыч,— запинаясь, ответил смущенный Алексей.— До того ли вам было?.. Не посмел.

— Чего не посмел? — быстро спросил Патап Максимыч.

— Не посмел беспокоить вас,— отвечал Алексей.

— Так ли, полно, парень? — сказал Патап Максимыч.— А я так полагаю, что совестно тебе было на глаза мне показаться... Видно, совести-то малая толика осталась... Не до конца растерял.

Побледнел Алексей. Ни жив ни мертв стоит перед Патапом Максимычем.

— Что молчишь?.. Аль язык-от в цепи заковало?.. Говори!..

— Не погубите...— простонал Алексей, кинувшись в ноги перед кроватью.

— Губить тебя?.. Не бойся.. А знаешь ли, криводушный ты человек, почему тебе зла от меня не будет? — сказал Патап Максимыч, сев на кровать.— Знаешь ли ты это?.. Она, моя голубушка, на исходе души за тебя просила... Да... Не снесла ее душенька позору... Увидала, что от людей его не скроешь,— в могилу пошла... А кто виноват?.. Кто ее погубил?.. А она-то, голубушка, лежа на смертном одре, Христом богом молила — волосом не трогать тебя.

Заплакал Алексей, припав к ногам Патапа Максимыча.

— Я ль тебя не жалел, я ли не возлюбил тебя,— продолжал Патап Максимыч.— А ты за мое добро да мне же в ребро...

— Согрешил я перед богом и перед вами, Патап Максимыч,— простонал Алексей.

— А перед ней-то, перед голубушкой-то моей, нешто не грешен? — отирая слезы, сказал Патап Максимыч.— А у меня, у старого дурака, еще на мыслях было в зятья тебя взять, выдать ее за тебя... А ты позором накрыл ее... Да что́ лежать-то? Встань.

— Глаз не смею поднять, Патап Максимыч,— простонал Алексей.

— Вставай, коли говорят,— сказал Патап Максимыч.

Алексей встал и отер слезы.

— Зла не жди,— стал говорить Патап Максимыч.— Гнев держу,— зла не помню... Гнев дело человеческое, злопамятство — дьявольское... Однако знай, что можешь ты меня и на зло навести...— прибавил он после короткого молчанья.— Слушай... Про Настин грех знаем мы с женой, больше никто. Если же, оборони бог, услышу я, что ты покойницей похваляешься, если кому-нибудь проговоришься — на дне морском сыщу тебя... Тогда не жди от меня пощады... Попу станешь каяться — про грех скажи, а имени называть не смей... Слышишь?

— Слушаю, Патап Максимыч,— отвечал Алексей.— Умрет со мной.

— Смотри же, помни,— сказал Патап Максимыч.— Не хочу, чтобы срамными речами память ее порочили... Не потерплю ни единого гнилого слова об ней... Пойдет молва — кровавыми слезами наплачешься... Помни мое слово!..

— Буду помнить, Патап Максимыч,— отвечал Алексей, понурив голову.

— Еще тебе сказ,— продолжал Патап Максимыч.— Сам понимать можешь, что тебе у меня не житье... Любил я тебя, души в тебе не чаял, в зятья прочил, а теперь отвратилась от тебя душа моя... Сейчас дать тебе расчет нельзя — толки пойдут... Некое время побудь при делах, а тем временем места ищи... Что у меня забрано — прими на помин ее души... Когда отпускать стану тебя — не оставлю... До той поры моей хозяйке глаз не смей показы-

вать!.. Не стерпит твоего виду душа ее... Скажу, что послал тебя за каким ни на есть делом, а ты ступай, куда знаешь.

— Можно войти? — спросил, отворяя дверь, Колышкин.

— Войди, Сергей Андреич... Отчего не войти? — молвил Патап Максимыч.

— Может, у тебя дела какие? — сказал Колышкин.

— Какие теперь дела! — со вздохом молвил Патап Максимыч.— На ум ничего нейдет... Это мой приказчик — посылал его кой-куда, сегодня воротился. Да и слушать не могу его теперь — после.

— А по-моему, теперь-то тебе про дела и поговорить,— заметил Сергей Андреич.— Это бы маленько развеяло печаль твою и на́ сердце полегчало бы.

— Эх, друг ты мой, Сергей Андреич!.. Моего горя ничем не размыкаешь,— сказал Патап Максимыч.

— Разве говорю я, что разговорами размыкаешь его? Твое горе только годы размы́кать могут,— молвил Колышкин.— А надо тебе мыслями перескочить на что на другое... Коли про дела говорить не можешь, расспроси парня, каково съездил, кого видел, что говорил...

— Пожалуй...— неохотно промолвил Патап Максимыч.— Ах да, ведь ты, Сергей Андреич, про это дело знаешь...

— Про какое? — спросил Колышкин.

— А помнишь, я у тебя постом-то был, про золото сказывал?

— Про мышиное-то?.. Помню... Что ж ты молодца́-то за ним, что ли, посылал?.. — улыбнувшись, спросил Колышкин.

— Нет,— ответил Патап Максимыч,— тут другое... Сказал ты мне тогда, что Зубкова Максима Алексеича за фальшивы бумажки в острог посадили и что бумажки те Красноярского скита послушник ему продал.

— Помню,— молвил Колышкин.— Теперь по этому делу пропасть народу навезли — целу фабрику, говорят, нашли.

— Ну, так видишь ли... Игумен-от красноярский, отец Михаил, мне приятель,— сказал Патап Максимыч.— Человек добрый, хороший, да стар стал — добротой да простотой его мошенники, надо полагать, пользу-

ются. Он, сердечный, ничего не знает — молится себе да хозяйствует, а тут под носом у него они воровские дела затевают... Вот и написал я к нему, чтобы он лихих людей оберегался, особенно того проходимца, помнишь, что в Сибири-то на золотых приисках живал?.. Стуколов...

— А сколь давно ты знаешь этого игумна? — спросил Колышкин.

— Да вот тогда, как к тебе ехать, великим постом, впервой его видел,— молвил Патап Максимыч.

— Скоренько же ты приятелей-то наживаешь,— сказал Колышкин.— А пословица, кажись, говорит, что человека узнать — куль соли с ним съесть.

— Такого старца видно с первого разу,— решил Патап Максимыч.— Душа человек — одно слово... И хозяин домовитый и жизни хорошей человек!.. Нет, Сергей Андреич, я ведь тоже не первый год на свете живу — людей различать могу.

— То-то, смотри, не облапошил бы он тебя,— сказал Колышкин.— Про этот Красноярский скит нехорошая намолвка пошла — бросить бы тебе этого игумна... Ну его совсем!.. Бывает, что одни уста и теплом и холодом дышат, таков, сдается мне, и твой отец Михаил... По нонешнему времени завсегда надо опаску держать — сам знаешь, что от малого опасенья живет великое спасенье... Кинь ты этого игумна — худа не посоветую.

— Полно, Сергей Андреич!.. Что пустое городить-то? — с недовольством возразил Патап Максимыч.— Не таков человек, чтоб его беречись...

— Бережно-недолжно, друг ты мой любезный,— сказал на то Колышкин.— Опасливого коня и зверь не берет, так-то...

Надоели Патапу Максимычу наставления Колышкина... Обратился он к Алексею.

— Что Якимко-то? В скиту еще аль уехал?

— Встречу попался,— ответил Алексей.

— Куда ехал?

— Пешком шел, не ехал,—сказал Алексей.

— Как пешком? — удивился Патап Максимыч.

— Пешком,— молвил Алексей,— в кандалах.

— В кандала-а-а-х? — вскочив с кровати, вскрикнул от изумленья Патап Максимыч.

— С арестантами гнали,— продолжал Алексей.

— Значит, допрыгался!..— сказал Патап Максимыч.— Всякие царства произошел, всякие моря переплывал, а доплыл-таки, куда ему следует... Отец-от Михаил знает ли, что Стуколов попался?

— Как не знать! — молвил Алексей.— Сам на одном железном пруте с ним идет... И его в острог... До скита я не доехал, пустой теперь стоит — всех до единого забрали оттуда...

— Господи, господи!..— всплеснув руками, вскрикнул Патап Максимыч.— Час от часу не легче!..

— Что?.. Говорил я тебе?..— молвил Сергей Андреич.— Видишь, каков твой отец Михаил... Вот тебе и душа человек, вот те и богомолец!.. Известно дело — вор завсегда слезлив, плут завсегда богомолен... Письмо-то хозяйское где? — спросил он Алексея.

Вынув из кармана письмо, Алексей подал его Патапу Максимычу.

— Ну, слава богу,— сказал Колышкин, разорвав письмо на мелкие куски.— Попалось бы грехом, и тебя бы притянули.

— Ума не приложу... Отец Михаил!..— удивлялся Патап Максимыч.— Сам ты видел, как гнали его? — обратился он к Алексею.

— Рядом с паломником к пруту прикован,— отвечал Алексей.— Я ведь в лицо-то его не знаю, да мне сказали: «Вот этот высокий, ражий, седой — ихний игумен, отец Михаил»; много их тут было, больше пятидесяти человек,— молодые и старые. Стуколова сам я признал.

— Как же узнал ты, что в скиту всех забрали? — спросил Патап Максимыч.

— На дороге сказали,— отвечал Алексей.— В Урене узнал... Едучи туда, кое-где по дороге расспрашивал я, как поближе проехать в Красноярский скит, так назад-то теми деревнями ехать поопасился, чтоб не дать подозренья. Окольным путем воротился — восемьдесят верст крюку дал.

— Хвалю!..— молвил Колышкин, ударив по плечу Алексея.— Догадливый у тебя приказчик, Патап Максимыч. Хват парень!.. Из молодых да ранний.

— Да,— сквозь зубы процедил Чапурин.— Однако что-то ко сну меня тянет...— сказал он после короткого молчанья.

— И распрекрасное дело, крестный!..— молвил Колышкин.— Усни-ка в самом деле, отдохни...

Но когда Колышкин с Алексеем ушли, Патап Максимыч даже не прилег... Долго ходил он взад и вперед по горнице, и много разных дум пронеслось через его седую голову.

* * *

Не чаял Алексей так дешево разделаться... С первых слов Патапа Максимыча понял он, что Настя в могилу тайны не унесла... Захолонуло сердце, смёртный страх обуял его: «Вот он, вот час моей погибели от сего человека!..» — думалось ему, и с трепетом ждал, что вещий сон станет явью.

И слышит незлобные речи, видит, с какой кротостью переносит этот крутой человек свое горе... Не мстить собирается, благодеянье хочет оказать погубителю своей дочери... Размягчилось сердце Алексеево, а как сведал он, что в последние часы своей жизни Настя умолила отца не делать зла своему соблазнителю, такая на него грусть напала, что не мог он слез сдержать и разразился у ног Патапа Максимыча громкими рыданьями. Не вовсе еще очерствел он тогда.

Надо покинуть дом, где его бедняка-горюна приютили, где осыпали его благодеяньями, где узнал он радости любви, которую оценить не сумел... Куда деваться?.. Как сказать отцу с матерью, почему оставляет он Патапа Максимыча?.. Опять же легко молвить — «сыщи другое место...» А как сыщешь его?..

Всю ночь провел Алексей в тревожных думах и не мог придумать, что делать ему... О возврате к отцу не помышлял. То дело нестаточное... Где же место сыскать?.. И среди таких дум представлялись его душевным очам то Настя во гробе, то Марья Гавриловна, устремившая взоры на солнечный всход... И каждый раз, как только вспоминалась ему молодая вдова, образ Насти тускнел и потом совсем исчезал... А больше всего волновали Алексея думы про богатство... Денег кучу да людской почет — вот чего ему хочется, вот что кружит ему голову!.. Но как добыть богатство?

Рано утром пошел он по токарням и красильням. В продолжение Настиной болезни Патапу Максимычу было не до горянщины, присмотра за рабочими не было.

Оттого и работа пошла из рук вон. Распорядился Алексей как следует, и все закипело. Пробыл в заведениях чуть не до полудня и пошел к Патапу Максимычу. Тот в своей горнице был.

— Что скажешь? — сухо спросил его Чапурин.

— Насчет работы пришел доложить,— молвил Алексей.— Обошел красильни и токарни — большие непорядки, Патап Максимыч.

— Каких порядков ждать, коли больше двух недель призору не было! — заметил Патап Максимыч.

— Ко всем станкам приставил работников,— начал было Алексей.

— Не до них мне теперь,— перебил его Патап Максимыч.— Делай, как прежде. Дня через два сам за дело примусь.

— Слушаю,— сказал Алексей.

— Ступай,— молвил ему Патап Максимыч.

Алексей вышел.

* * *

Возвращаясь в подклет мимо опустелой Настиной светлицы, он невольно остановился. Захотелось взглянуть на горенку, где в первый раз поцеловал он Настю и где, лежа на смертной постели, умоляла она отца не платить злом своему погубителю. Еще утром от кого-то из домашних слышал он, что Аксинья Захаровна в постели лежит. Оттого не боялся попасть ей на глаза и тем нарушить приказ Патапа Максимыча... Необоримая сила тянула Алексея в светлицу... Робкой рукой взялся он за дверную скобу и тихонько растворил дверь.

Только половина светлицы была видна ему. На месте Настиной кровати стоит крытый белой скатертью стол, а на нем в золотых окладах иконы с зажженными перед ними свечами и лампадами. На окне любимые цветочки Настины, возле пяльцы с неконченой работой... О! у этих самых пялец, на этом самом месте стоял он когда-то робкий и несмелый, а она, закрыв глаза передником, плакала сладкими слезами первой любви... На этом самом месте впервые она поцеловала его. Тоскливо заныло сердце у Алексея.

«А где стол стоит, тут померла она,— думалось ему,— тут-то в последний час свой молила она за меня».

И умилилось сердце его, а на глазах слеза жалости выступила... Добрая мысль его осенила — вздумалось ему на том месте положить семипоклонный начал за упокой Насти.

Несмелой поступью вошел он в светлицу. Оглянулся — склонив на руку голову, у другого окна сидит Марья Гавриловна.

Завидя Алексея, она слабо вскрикнула.

— Испужал я вас? — робко молвил Алексей.

— Ах, нет... я задумалась... а вы... невзначай...— опуская глаза, сказала Марья Гавриловна.

На глазах-то хоть и стыдно, зато душе отрадно... Страстно глядит вдовушка на пригожего молодца... покойного Евграфа на памяти нет.

— Не взыщите... Я не знал... думал, нет никого... Я уйду... -говорил смущенный Алексей и пошел было вон из светлицы

— Нет... зачем же?..— вставая с места, сдержанно молвила Марья Гавриловна.— Вы мне не помеха.

Молча стоит перед ней Алексей... Налюбоваться не может... Настя из мыслей вон.

— Заезжали в Комаров? — с наружной холодностью спросила Марья Гавриловна.

— Не заезжал,— ответил Алексей,— надо было другую дорогу взять.

— А опять на Ветлугу поедете? — после короткого молчанья спросила Марья Гавриловна.

— Не знаю... Может статься, и вовсе не буду там,— отвечал Алексей.

— И в Комарове не будете?

— Не знаю.

— Здесь, стало быть, останетесь?.. У Патапа Максимыча? — спросила Марья Гавриловна, пристально глядя на Алексея.

— Вряд ли долго у него проживу... Места ищу,— сказал Алексей.

— Какого? — спросила Марья Гавриловна.

— По торговой части... В приказчики,— сказал Алексей.— Да, сказывают, трудно... Пока сам не знаю, как бог устроит меня.

Не ответила Марья Гавриловна. Опять несколько минут длилось молчанье.

— Приведется быть в Комарове, кельи моей не забудьте,— улыбнувшись слегка, молвила Марья Гавриловна.

— Не премину,— ответил Алексей.

— А насчет места я поразузнаю... Брат у меня в Казани недавно искал приказчика... Его спрошу,— сказала Марья Гавриловна.

— Покорно вас благодарю... Вовек не забуду вас...— начал было Алексей.

— Уж будто и ввек,— лукаво улыбаясь и охорашиваясь, молвила Марья Гавриловна.

— По гроб жизни!..— горячо вскликнул Алексей и сделал порывистый шаг к Марье Гавриловне.

— Прощайте покамест... До свиданья, — сдвинув брови и отстраняясь от Алексея, сказала она.—Недели через две приезжайте в Комаров... К тому времени я от брата ответ получу.

И поспешно вышла из светлицы.

У Алексея из головы вон, что пришел он за Настю молиться... Из млеющих взоров Марьи Гавриловны, из дышавших страстью речей ее понял он, что в этой светлице в другой раз довелось ему присушить сердце женское.

* * *

И Марья Гавриловна, и Груня с мужем, и Никитишна с Фленушкой, и Марьюшка с своим клиросом до девятин [1] остались в Осиповке. Оттого у Патапа Максимыча было людно, и не так была заметна томительная пустота, что в каждом доме чуется после покойника. Женщины все почти время у Аксиньи Захаровны сидели, а Патап Максимыч, по отъезде Колышкина, вел беседы с кумом Иваном Григорьичем.

Дня через три после похорон завела Марья Гавриловна разговор с Патапом Максимычем. Напомнила ему про последнее его письмо, где писал он, что сбирается о чем-то просить ее.

— Дельцо одно у меня затевалось,— сказал Патап Максимыч,— а на почин большой капитал требовался... Хотел было спросить, не согласны ли будете пойти со мной в складчину?

---

[1] Поминки в девятый день после кончины.

— Какое ж это дело, Патап Максимыч? — спросила Марья Гавриловна.

— Вышло на поверку, что дело-то бросовое. Не сто́ит об него и рук марать,— сказал Патап Максимыч.

— Не выгодно? — спросила Марья Гавриловна.

— Мало, что не выгодно,— дело опасное... Теперь неохота и поминать про него,— молвил Патап Максимыч.

— Так вам денег теперь не требуется? — спросила Марья Гавриловна.

— Нет, Марья Гавриловна, не требуется,— отвечал Патап Максимыч.— Признаться, думаю сократить дела-то... И стар становлюсь, и утехи моей не стало... Параше с Груней после меня довольно останется... Будет чем отца помянуть... Зачем больше копить?.. Один тлен, суета...

— Вы дела кончаете, а я зачинать вздумала. Как вы посоветуете мне, Патап Максимыч? — сказала Марья Гавриловна.

— Что ж такое задумали вы? — спросил Патап Максимыч.

— Да видите ли: есть у меня капитал... лежит он бесплодно,— сказала Марья Гавриловна.— В торги думаю пуститься...—Что деньгам даром лежать?

— Дело доброе,— ответил Патап Максимыч.— По какой же части думаете вы дела повести?

— Об этом-то и хотела я с вами посоветоваться. Научите, наставьте на разум.

— Эх, матушка Марья Гавриловна... Какой я учитель теперь? — вздохнул Патап Максимыч.— У самого дело из рук валится.

— Полноте, Патап Максимыч!.. Ведь мы с вами не первый день знакомы. Не знаю разве, как у вас дела идут?..— говорила Марья Гавриловна.— Вот познакомилась я с этим Сергеем Андреичем. Он прямо говорит, что без вас бы ему непременно пропасть, а как вы его поучили, так дела у него как не надо лучше пошли...

— Сергей Андреич — иная статья,— молвил Патап Максимыч.— Сергей Андреич — мужчина,— сам при деле. А ваше дело, Марья Гавриловна, женское — как вам управиться?

— Возьму приказчика,— сказала Марья Гавриловна.

— Мудреное это дело,— возразил Патап Максимыч. Ноне верных-то людей мало что-то осталось — всяк норовит в хозяйский кошель лапу запустить.

— Авось найду хорошего,— молвила Марья Гавриловна.

— Может, на ваше счастье и выищется... Земля не клином сошлась,— сказал Патап Максимыч.

— Каким же делом посоветуете заняться мне? — спросила Марья Гавриловна.

— Коли найдете стоющего человека, заводите пароходы,— сказал Патап Максимыч.— По нынешнему времени пароходного дела нет прибыльней. И Сергею Андреевичу я тоже пароходами заняться советовал.

— И в самом деле!..— молвила Марья Гавриловна.— У брата тоже пароходы по Волге бегают — не нахвалится.

— Дело хорошее, сударыня, хорошее дело... Убытков не бойтесь. Я бы и сам пароходы завел, да куда уж мне теперь?.. Не гожусь я теперь ни на что...

Долго толковала Марья Гавриловна с Патапом Максимычем. Обещал он на первое время свести ее с кладчиками, приискать капитанов, лоцманов и водоливов, но указать человека, кому бы можно было поручить дела, отказался.

Марья Гавриловна не настаивала. Она уже решила приставить к делам Алексея.

Под конец беседы молвила она Патапу Максимычу:

— А насчет тех двадцати тысяч вы не хлопочите, чтобы к сроку отдать их... Слышала я, что деньги в получке будут у вас после Макарья — тогда и сочтемся. А к Казанской не хлопочите — срок-от помнится на Казанскую — смотрите же, Патап Максимыч, не хлопочите. Не то рассержусь, поссорюсь...

Патап Максимыч благодарил ее за отсрочку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другой либо на третий день по возвращении Марьи Гавриловны из Осиповки зашла к ней мать Манефа вечером посидеть да чайку попить. Про чудную Настину болезнь толковали, погоревали о покойнице и свели речь на Патапа Максимыча.

— Очень он убивается,— сказала Марья Гавриловна,— смотреть даже жалость. Ровно малое дитя плачет — разливается. Ничего, говорит, мне не надо теперь, никакое дело на ум нейдет...

— Что говорить! — молвила на то Манефа.— Как не тужить по этакой дочери!.. Сызмальства росла любимым детищем... Раскипятится, бывало, на что,— уйму нет на него, близко не подходи, в дому все хоронятся, дрожмя-дрожат, а она семилеткой еще была — подбежит к отцу, вскочит к нему на колени, да ручонками и зачнет у него на лбу морщины разглаживать. Поглядит на нее и ровно растает, смягчится, разговорчивый станет, веселый. И в дому все оживает, про гнев да про шум и помину нет... Любимая дочка, любимая!..— вздохнула Манефа.— Теперь кому его гнев утолять?..

— Добрый человек завсегда с огоньком,— заметила Марья Гавриловна.— А злобного в Патапе Максимыче нет ни капельки.

— Злобы точно что нет,— согласилась Манефа.— Зато своенравен и крут, а разум кичливый имеет и самомнительный. Забьет что в голову— клином не вышибешь. Весь в батюшку родителя, не тем будь помянут, царство ему небесное... Гордыня, сударыня — гордыня... За то и наказует господь...

— Не в примету мне, чтоб горделив аль заносчив он был,— молвила Марья Гавриловна.

— Где ж вам приметить, сударыня? — ответила Манефа.— Во всем-то кураже вы его не видали... Поглядеть бы вам, как сцепится он когда с человеком сильней да именитей его... Чем бы голову держать уклонно, а речь вести покорно, ровно коза кверху глядит... Станет фертом, ноги-то азом распялит!.. Что тут хорошего?..

— По моему рассужденью, матушка,— сказала на то Марья Гавриловна,— если человек гордится перед слабым да перед бедным — нехорошо, недобрый тот человек... А кто перед сильным да перед богатым высоко голову несет, добрая слава тому.

— Хорошо так судить вам, Марья Гавриловна, как делов у вас нет никаких...— ответила Манефа.— А у Патапа и торговля, и горянщина, суда на Волге и вдоволь наемного народу,— значит, начальство всегда может привязку ему сделать... Оттого и не след бы ему огры-

заться... Опять же в писании сказано: «Всяка душа власти повинуется»... Чего еще?.. За непокорство не хвалю его, за гордость проклятую, а то, что говорить,— человек добрый. Он ведь, сударыня,— если по правде говорить,— только страх на всех напускает, а сам-от вовсе не страшен, не грозен... Ну, а любит, чтоб боялись его... Как вздумает кого настращать, и не знай чего насулит, а потом ничего не сделает... Добро еще, пожалуй, сделает... Вот с начальством — тут уж другое дело...

— Не ладит? — спросила Марья Гавриловна.

— Всяко бывает,— ответила Манефа.— Теперь губернатору знаком, в чести у него, в милости... Малые-то начальники забижать и не смеют... Да ведь губернатор не вечен, смениться может, другой на его место сядет — каков-то еще будет?.. Опять же наше дело взять — обительское. В «губернии» [1] все знают, что Патапом скиты держатся, что он первая за нас заступа и по всем нашим делам коренной ходатай... Ну как за гордыню-то его да на все скиты холодком дунут? Куда пойдем?.. Теперь же где ни послышишь — строгости: скиты зорят, моленны печатают, старцев да стариц по дальним местам рассылают. Силен и славен был Иргиз, и с тем покончили. Лаврентьев порешен, в Стародубье [2] мало что осталось. И на заводах [3] и на Дону, везде утеснение. Здесь покаместь бог милует, а надолго ль, кто может сказать?.. Пожалуй, и нашему Керженцу близка череда... По теперешнему гонительному времени надо бы Патапу Максимычу со всеми ладить — большое ль начальство, малое ли — в черный день всякое сгодится... Ох, сударыня Марья Гавриловна, настали дни, писанием реченные: «Искупующе время, яко дни зли суть...» Тут не гордостью озлоблять, ублажать надо всякого, поклоняться всякому — были бы милостивы... А он?.. Говорить ему станешь — ругается, просить станешь — хохочет... Намедни, как перед масленой у него гостила я, Христом богом молила повеселить чем-нибудь исправника, был бы

---

[1] Губернский город.

[2] Иргизские скиты были в нынешнем Николаевском уезде Самарской губернии; Лаврентьев монастырь в Гомельском уезде — Могилевской, Стародубские слободы в Новозыбковском уезде Черниговской губернии.

[3] Демидовские заводы — на Урале.

до нас подобрее, а он, прости господи, ржет себе, ровно кобыла на овес.

— А слыхала я, матушка, Комарову скиту царская грамота дана, чтоб никогда не рушить его? — спросила Марья Гавриловна.— Говорят, такая грамота есть у Игнатьевых.

— Нет такой грамоты, сударыня,— ответила Манефа.— Посулили, да не дали.

— Отчего же так? — спросила Марья Гавриловна.

— А вот какое было дело,— начала Манефа рассказывать.— Без малого сто годов тому, когда еще царица Катерина землю держала, приходил в здешние места на Каменный Вражек старец Игнатий. Роду он был боярского, Потемкиных дворян, служил в полках, в походах бывал, с туркой воевал, с пруссаками, а как вышла дворянам вольность не носить государевой службы дò смерти, в отставку вышел и стал ради бога жить... Воспомянул он тогда роды своя, как в Никоновы гонительные времена деды его смольяне, отец Спиридоний да отец Ефрем, из роду Потемкиных, бегая церковных новин, укрылись в лесах ке́рженских и поставили обитель поблизости скита Ша́рпана... И доныне то место знать, и доселе зовется оно «Смольяны», потому что туда приходили на житье смольяне Потемкины и иных боярских родов и жили тут до Питиримова разоренья. Памятуя их, поревновал отец Игнатий по старой вере, иночество надел и в Комарове обитель завел... Спервоначалу та обитель мужскою была, по блаженной же кончине отца Игнатия старцы врозь разбрелись, а часовня да кельи Игнатьева строенья достались сроднице его, тоже дворянского рода,— Иринархой звали... С той поры и зачалась женская обитель Игнатьевых... Вживе еще был отец Игнатий, как сродник его, Потемкиных же роду, у царицы выслужился и стал надо всеми князьями и боярами первым российским боярином. Тем временем прилучилось батюшке отцу Игнатию в Петербурге за сбором быть. Отыскал он тамо́й[1] именитого сродника, побывал у него... Тот ему возрадовался и возлюбил старца божия... Много беседовал с ним про старую веру и про наши леса Ке́рженские. И говорил тот великий боярин отцу Игна-

[1] Там.

тию: «Склони ты мне, старче, тамошних староверов на новые места идти, которые места я у турка отбил. Житье, говорит, будет там льготное и спокойное. Землй, говорит, и всяких угодьев вдоволь дадут... Лет на двадцать ни податей не надо, ни рекрутчины. Каждому, говорит, староверу казны на проезд и обзаведенье дадут... Церкви себе стройте, монастыри заводите, попов, сколько хотите, держите и живите себе на всей своей воле... И будет, говорит, на те льготы вам от царицы выдана грамота, навеки нерушимая...» Такие милости великий боярин сулил... Батюшка отец Игнатий обещался ему здешний народ приговаривать на новы места идти, и великий боярин Потемкин с тем словом к царице возил его, и она матушка, с отцом Игнатием разговор держала, про здешнее положенье расспрашивала и к руке своей царской старца божия допустила. Воротясь на Ке́рженец, стал отец Игнатий здешний народ на новые места приговаривать... Охотников объявилось довольно, да спознали по скорости, что великий боярин Потемкин староверам ловушку подстроить хотел... Такие же речи у него со стародубскими отцами велись. Был в Стародубье тогда инок Никодим, через него то дело происходило. И тот Никодим под власть великороссийских архиереев подписался. Как спознали о том здешние христиане, про новые места и слышать не захотели... А тут по скорости боярин Потемкин помер — тем дело и разошлось... Так, видите ли, сударыня, была та грамота на одном посуле... Народу же, уверения ради, говорится, что лежит такая у Игнатьевых... А ее никогда не бывало.

— Зачем же народ в обмане держать? — резко взглянув на Манефу, спросила Марья Гавриловна.

— Крепче бы в истинной вере стояли,— спокойно ответила игуменья.— Бывает, сударыня, что церковны попы учнут мужикам говорить, а иной раз и сам архиерей приедет да скажет: «Ваша-де вера царю не угодна...» Подумайте, каково это слово!.. Легко ль его вынесть?.. А как думают мужики, что лежит у Игнатьевых государева грамота, веры-то у них тем словам и неймется... Повалятся архиерею в ноги да в голос и завопят: «Как родители жили, так и нас благословили — оставьте нас на прежнем положении...» А сами себе на уме: «Не обманешь, дескать, нас,— не искусишь лестчими словами,

знаем, что в старой вере ничего нет царю противного, на то у Игнатьевых и грамота есть...». И дело с концом... А мужикам внушено, чтоб они про ту грамоту зря не болтали, отымут, дескать... И теперь любого из них хоть повесь, хоть в землю закопай, умирать станет — про грамоту слова не выронит.

— Стало быть, деревенские-то усердны к скитам? — спросила Марья Гавриловна.

— Усердны! — с горькой усмешкой воскликнула Манефа.— Иуда Христа за сребреники продал, а наши мужики за ведро вина и Христа и веру продадут, а скиты на придачу дадут...

— Отчего ж они так крепко тайну держат? — спросила Марья Гавриловна.

— А им внушено, что в грамоте про ихние земли поминается, чтобы тем землям за ними быть веки вечные,— сказала Манефа.— По здешним местам ни у кого ведь крепостей на землю нет — народ все набеглый. Оттого и дорожат Игнатьевой грамотой...

— По-моему, неладно бы делать так, матушка,— сказала Марья Гавриловна.

— И ложь во спасенье бывает, сударыня,— перебила Манефа.— Народ темный, непостоянный,— нельзя без того.

Задумалась Марья Гавриловна.

— Вот теперь Оленевское дело подымается...— молвила Манефа.— Боюсь я того дела при нонешнем времени.

— Что за Оленевское дело, матушка?..— спросила Марья Гавриловна.

— А вот какое дело,— начала Манефа.— Лет пять либо шесть тому назад одну оленевскую старочку на Дону в острог посадили за то, что со сборной книгой ходила. А в книге было прописано: «Сбор-де тот на дом пресвятой богородицы честнаго и славнаго ее успения, в обители Нифонтовых, скита Оленева». Ну, известное дело, ходила та старочка безо всякого паспорта, по простоте... До Петербурга дело дошло, и решили там дознаться, что за обитель такая Нифонтова, по закону ль она ставлена, да потому ж дознаться и обо всех скитах Керженских... И то дело шестой год лежит в губернии, и от него беспокойства нам не было, а теперь, слышим,

оно подымается... Слышно еще, будто и насчет Шарпана вышел указ... Какой-то злодей, прости господи, послал доношение: в Шарпанском-де скиту Казанскую икону пресвятой богородицы особне чествуют, на ее-де праздники много в Шарпан народу сбирается старообрядцев и церковников. И на тех-де праздниках старицы Шарпанской обители поставляют кормы великие, а во время-де кормов читают народу про чудеса, от той иконы бываемые. И оттого-де многие от церкви отшатилися... Правда ли, нет ли, а слухи пошли, будто велено Казанскую из Шарпана взять... Сбудется такое дело — конец Керженцу... Престанет тогда наше житие пространное!..

— Отчего ж скитам настанет конец, коль из Шарпана возьмут икону Казанскую? — спросила Марья Гавриловна.

— Икона та, сударыня, чудотворная,— ответила Манефа.— Стояла она в комнате у царя Алексея Михайловича, когда еще он пребывал в благочестии... От него, великого государя, Соловецкой киновии она вкладом жалована... Когда же соловецкие отцы не восхотели Никоновых новин прияти и укрепились за отеческие законы и церковное предание, тогда в Соловках был инок схимник Арсений, старец чудного и высокого жития, крепкий ревнитель древлего благочестия. По вся нощи со слезами молился он перед той иконою, прося бога и пречистую богородицу, да избавит святую киновию от разоренья облежащих воев... Нощию же на вселенскую субботу всемирного христиан поминовения, пред неделею мясопустною, бысть тому старцу Арсению чудное видение... Изыде глас от иконы: «Гряди за мною, старче, ничто же сумняся и где аз стану — тамо создай обитель во имя мое, и, пока сия икона будет в той обители, древлее благочестие в оной стране процветать будет». И по сем гласе поднялась икона на небеса... В ту же нощь монах некий, Феоктист именем, поревновав Иуде Искариотскому, возвестил игемону, ратию святую обитель обложившему, что в стене монастырской есть пролаз... Царские воины по слову предателя вошли через тот пролаз в обитель и учинили в ней великое кровопролитие... Инока же схимника Арсения господь от напрасныя смерти соблюл... Когда ж воевода перевез старца Арсения с другими отцами на берег, тогда заступлением пресвятыя бо-

городицы избег он руки мучителевы и, пришед в лес, узрел Казанскую чудотворную икону по облакам ходящу... Пошел за нею старец, дивяся бывшему чудеси, а деревья перед ним расступаются, болота перед ним осушаются, через реки преходит Арсений яко посуху... И как древле израиль приведен бысть столпом небесным в землю обетованную, тако и старец Арсений тою святою иконою приведен бысть в леса Керженски, Чернораменские. На том месте, где опустилась икона на землю, поставил он обитель Шарпанскую... и та икона поныне в той обители находится. Пока тамо стоит, по тех пор, по гласу богородицы, наши скиты целы и невредимы... Возьмут икону из Шарпана — всем скитам наступит конец, и место свято запустеет.

— Бог милостив, матушка...— начала было Марья Гавриловна.

— Истину сказали, что бог милостив,— перебила ее Манефа.— Да мы-то, окаянные, не мало грешны... Сто́им ли того, чтоб он нас миловал?.. Смуты везде, споры, свары, озлобления! Христианское ль то дело?.. Хоть бы эту австрийскую квашню взять... Каков человек попал в епископы!.. Стяжатель, благодатью святого духа ровно горохом торгует!.. Да еще, в правду ли, нет ли, обносятся слухи, что в душегубстве повинен... За такие ль дела богу нас миловать?

— Ах, матушка, забыла я сказать вам,— спохватилась Марья Гавриловна,— Патап-то Максимыч сказывал, что тот епископ чуть ли в острог не попал... Красноярский скит знаете?

— Бывать там не бывала и отцов тамошних не ведаю, а про скит как не знать? — ответила Манефа.— Далек отселева — за Ветлугой, на Усте...

— На прошлой неделе тамошних всех забрали,— продолжала Марья Гавриловна.— На фальшивых, слышь, деньгах попались... Патап Максимыч так полагает, что епископу плохо придется, с красноярскими-де старцами взят его посланник... За какими-то делами в здешни леса его присылал... Стуколов какой-то.

Сверкнули очи Манефы, сдвинулись брови. Легкая дрожь по губам пробежала, и чуть заметная бледность на впалых щеках показалась. Поспешно опустила она на глаза креповую наметку.

Не примечая, как подействовало на игуменью упоминанье про Стуколова, Марья Гавриловна продолжала рассказывать о красноярской братии.

— Тот Стуколов где-то неподалеку от Красноярского скита искал обманное золото и в том обмане заодно был с епископом. Потому Патап Максимыч и думает, что епископ и по фальшивым деньгам не без участия... Сердитует очень на них... «Пускай бы, говорит, обоих по одному канату за Уральски бугры послали, пускай бы там настоящее государево золото, а не обманное копали...» А игумна Патап Максимыч жалеет и так полагает, что попал он безвинно.

Не ответила Манефа, хоть Марья Гавриловна приостановилась, выжидая ее отзыва.

— И благочестный, говорит про него Патап Максимыч, старец, и души доброй, и хозяин хороший,— продолжала Марья Гавриловна.— Должно быть, обманом под такое дело подвели его...

— Где же они теперь? — как бы из забытья очнувшись, спросила Манефа.

— В остроге, матушка,— ответила Марья Гавриловна.— Пятьдесят человек, слышь, прогнали... Большая переборка идет.

— Ох, господи!..— с тяжелым вздохом молвила игуменья.

И не смогла дольше сдерживать волненья: облокотилась на стол и закрыла ладонью глаза.

— Что с вами, матушка? — озабоченно спросила ее Марья Гавриловна.

Помолчала Манефа и промолвила взволнованным голосом:

— О брате вздумала... Патап на ум пришел... Знался он с отцом-то Михаилом, с тем красноярским игумном... Постом к нему в гости ездил... с тем... Ну, с тем самым человеком...

И, не договорив речи, смолкла Манефа.

— Со Стуколовым? — подсказала Марья Гавриловна.

— Опять же на Фоминой неделе Патап посылал с письмом к отцу Михаилу того детину... Как бишь его?.. забываю все...— говорила Манефа.

Марью Гавриловну теперь в краску бросило... у ней речь не вяжется, у ней слова̀ с языка нейдут.

— Вот что в приказчики-то взял к себе...— продолжала Манефа...— Еще к вам на Радуницу с письмом заходил... Алексеем, никак, зовут.

Ни слова Марья Гавриловна. Замолчала и Манефа.

— Ну как братнино-то письмо да в судейские руки попадет! — по малом времени начала горевать игуменья.— По такому делу всякий клочок в тюрьму волочет, а у приказных людей тогда и праздник, как богатого человека к ответу притянут... Как не притянуть им Патапа?.. Матеро̀й осетер не каждый день в ихний невод попадает... При его-то спеси, при его-то гордости!.. Да легче ему дочь, жену схоронить, легче самому живому в могилу лечь!.. Не пережить Патапу такой беды!..

— Не беспокойтесь, матушка,— утешала Манефу Марья Гавриловна.— При мне, как я в Осиповке была, то письмо в целости назад воротилось.

— Как так? — спросила обрадованная игуменья.

— Тот, что... этот приказчик-от... не доехал,— отвечала Марья Гавриловна, отворотясь от Манефы и глядя в окошко.— Дорогой проведал, что старцев забрали... Он и воротился.

— Слава тебе, господи!.. Благодарю создателя!..— набожно перекрестясь, молвила Манефа.— Эки дела-то!.. Эки дела!..— продолжала она, покачивая головой.— В обители, во святом месте, взамен молитвы да поста, чем вздумали заниматься!.. Себя топят и других в омут тянут... Всем теперь быть в ответе!.. Всем страдать!..

— Чем же все-то виноваты, матушка? — спросила удивленная речами игуменьи Марья Гавриловна.— Правый за виноватого не ответчик...

— Скитская беда не людская, сударыня... И без вины виноваты останемся,— сказала Манефа.— Давно на нас пасмурным оком глядят, давно обители наши вконец порешить задумали... Худой славы про скиты много напущено... В какой-нибудь захудалой обители человек без виду [1] попадется — про все скиты закричат, что беглыми полнехоньки... Согрешит негде девица, и выйдет дело наружу, ровно в набат про все скиты забьют: «Распут-

[1] Без паспорта.

ство там, разврат непотребный!..» Много напраслины на обители пущено!.. Много... А тут такое дело, как красноярское!.. Того и гляди на всех оно беду обрушит... И все-то одно к одному — и сборная книга оленевская, и шарпанская икона, и красноярское дело... Всех погубят, все скиты, все обители!..

— Да разберут же правду, матушка. Разве можно наказывать невиноватого? — возразила Марья Гавриловна.

— Можно!..— с жаром сказала Манефа.— По другим местам нельзя, в скитах можно... Давно бы нас разогнали, как иргизских, давно бы весь Керженец запустошили, если бы мы без бережи жили да не было бы у нас сильных благодетелей... Подай, господи, им доброго здравия и вечного души спасения!..

Замолчала на короткое время Манефа и опять начала:

— Велик и славен был Иргиз, не нашим Керженским обителям чета, а в чьих руках теперь?.. Давеча спросили вы про царицыну грамоту. Не бывало у нас такой грамоты, а там, на Иргизе, была... Царь Павел Петрович нарочно к иргизским отцам своего генерала присылал — Рунич был по прозванию, с милостивым словом его присылал, три тысячи рублев на монастырское строенье жаловал и грамоту за своей рукою отцу Прохору дал... А тот отец Прохор сам был велик человек — сам из царского рода... [1] Слыхали, чай?

— Слыхала, матушка, как не слыхать,— отозвалась Марья Гавриловна.

— А как дошло дело, не помогли Иргизу ни царская грамота, ни царская порода отца Прохора,— продолжа-

[1] Прохор, игумен Нижневоскресенского Иргизского монастыря, лицо весьма загадочное. Он пришел на Иргиз, будучи еще молодым человеком, в восьмидесятых годах прошлого столетия и умер в тридцатых нынешнего. Обладал огромным богатством, находился в близких и каких-то таинственных сношениях с некоторыми вельможами Екатерины, Павла и Александра I. К нему-то император Павел Петрович в 1797 году присылал Рунича. Про него между старообрядцами ходили слухи, будто он сын грузинского царя, другие называли его даже сыном императрицы Екатерины II. В самом же деле Прохор был сын богатого купца Калмыкова. Отношения к нему императора Павла объясняются тем, что Прохор ссужал его значительными суммами, когда Павел Петрович был еще великим князем.

ла Манефа.— Вживе был еще отец-от Прохор, как его строенье, Воскресенский монастырь, порушили; которых старцев в Сибирь, которых на Кавказ разослали, а монастырь отдали тем, что к никонианам преклонились [1]. Это Иргиз... А мы что̀ перед ним?.. Всё едино, что комары да малые мушицы. Вздумают порешить — многих разговоров с нами не поведут... И постоять-то здесь за нас некому... На Иргизе, когда монастыри отбирали, хоть народное собранье было, не хотел тогда народ часовен отдавать — водой на морозе из пожарных труб людей-то тогда разгоняли... А здесь что̀?.. Послушали б вы, сударыня, что соседушки наши любезные толкуют... Прошлым летом у Глафириных нову «стаю» рубили, так ронжински ребята да елфимовские смеются с галками-то [2]: «Строй, говорят, строй хорошенько — келейниц-то скоро разгонят, хоромы те нам достанутся...» Вот что у них на уме!.. Христианами зовутся, сами только и дышат обителями, без нашего хлеба-соли давно̀ бы с голоду перемерли, а вот какие слова говорят!.. Теперь лебезят, кланяются, а случись невзгода — пальцем не двинут, рта не разинут... Не то что скиты — Христа царя небесного за ведро вина продадут!..

— Ну уж это, матушка, кажется, вы на них напрасно,— заступилась Марья Гавриловна.

— Давно живу с ними, сударыня, лучше вас знаю их, лоботрясов,— с досадой прервала ее Манефа.— Из-за чего они древлего благочестия держатся?.. Спасения ради?.. Как же не так!.. Из-за выгоды, из-за одной только мирской, житейской выгоды... Надо правду говорить,— продолжала Манефа, понизив голос,— от людей утаишь, от бога не спрячешь — ины матери смолоду баловались с ребятами, грешили... Плоть, сударыня, сильна в молодые годы бывает... Слаб человек, не всякому дано плоть побороть... Ну, вот — старые-то дружки давно поженились, сѐмьями обзавелись, а с матерями ладов не рушат... Не в ту силу говорю, чтоб матери в старых грехах с ними пребывали... А ведь и под черной рясой и на старости лет молодая-то любовь помнится...

Смолкла на минуту игуменья и потом сдержанным голосом, отчеканивая каждое слово, продолжала:

---

[1] Единоверцам.

[2] В заволжских лесах местных плотников нет, они приходят из окрестностей Галича, отчего и зовутся «галками».

— И подати платят за них, и сыновей от солдатчины выкупают, и деньгами ссужают, и всем... Вот отчего деревенские к старой вере привержены... Не было б им от скитов выгоды, давно бы все до единого в никонианство своротили... Какая тут вера?.. Не о душе, об мошне своей радеют... Слабы ноне люди пошли, нет поборников, нет подвижников!.. Забыв бога, златому тельцу поклоняются!.. Горькие времена, сударыня, горькие!..

— Неужели в самом деле скитам конец наступает? — в сильном раздумье, после долгого молчанья, спросила Марья Гавриловна.

— Все к тому идет...— покачав головой, со вздохом ответила Манефа.

— Как же вы тогда, матушка?— озабоченно глядя на игуменью, спросила Марья Гавриловна.

— Признаться сказать, давненько я о том помышляю,— молвила Манефа.— Еще тогда, как на Иргизе зачали монастыри отбирать, решила я сама про себя, что рано ли, поздно ли, а такой же участи не миновать и нам. Ради того кой-чем загодя распорядилась, чтоб перемена врасплох не застала.

— Что ж вы сделали, матушка? — спросила Марья Гавриловна.

— А видите ли, дело в чем,— сказала Манефа,— и на Иргизе, и в Слободах, и в Лаврентьеве всех несогласных принять попов, великороссийскими архиереями благословенных, по своим местам разослали — на родину, значит. Кто где в ревизию записан, там и живи до́ смерти, по другим местам ездить не смей... Когда до наших скитов черед дойдет — с нами то же сделают... Потому и сама я в купчихи к нашему городку приписалась, и матерей, которы получше да полезнее, туда же в мещанки приписала... Когда Керженцу выйдет решенье... нашу обитель чуть не всю в один город пошлют. Там и настроим мы домов к одному месту... Может, позволят и здешне строенья туда перевезть... Часовни хоть не будет, а все же будем жить вкупе... Не станет нынешнего пространного жития, что же делать! Не так живи, как хочется, а как господь благословит... И не я одна так распорядилась, во многих обителях и в здешних, и в Оленевских, и в Улангерских то же сделают. Вкупе-то всем жить будет отраднее.

— А мне-то как быть тогда, матушка? — тревожно спросила Марья Гавриловна.

— Вам, сударыня, беспокоиться нечего, ваша статья иная...— сказала Манефа.— Не в обители живете, имени вашего в списках нету... путь вам чистый на все четыре стороны.

— А как меня в Москву вышлют да выезд оттоль запретят?.. Тогда что?.. Жить в Москве для меня смерти горчей — сами знаете,— говорила взволнованная Марья Гавриловна.

— Не сделают этого,— молвила Манефа.

— Как не сделают? — возразила Марья Гавриловна.—Про Иргиз поминали вы, а в Казани я знаю купчиху одну, Замошникова по̀ муже была. Овдовевши, что мое же дело, поехала она на Иргиз погостить. Там, в Покровском монастыре игуменья, матушка Надежда, коли слыхали, теткой доводилась ей...

— Знавала я матушку Надежду. Как не знать?— молвила Манефа.— Знакомы были, письмами обсылались. И племяненку-то ее знала...

— Году у тетки она не прогостила, как Иргизу вышло решенье,— продолжала Марья Гавриловна.— И переправили Замошникову в Казань и запретили ей из Казани отлучаться... А родом она не казанская, из Хвалыни была выдана... За казанским только замужем была, как я за московским... Ну как со мной то же сделают?.. В Москву как сошлют?.. Подумайте, матушка, каково мне будет тогда?..

Призадумалась Манефа.

— Да, и так может случиться,—сказала она.— Вам бы, сударыня, к нашему же городку в купечество записаться. Если б что и случилось,— вместе бы век дожили.. Схоронили бы вы меня, старуху...

— Капитал объявлять надо,— молвила Марья Гавриловна.

— Известно,— подтвердила Манефа.

— А капитал объявить, надо торговлю вести,— сказала Марья Гавриловна.

— Зачем? — возразила Манефа.— Наш городок махонький, а в нем боле сотни купцов наберется... А много ль, вы думаете, в самом-то деле из них торгует?.. Четверых не сыщешь, остальные столь великие торгов-

цы, что перед новым годом бьются, бьются, сердечные, по миру даже сбирают на гильдию. Кто в долги выходит, кто последню одежонку с плеч долой, только б на срок записаться.

— Зачем же это? — с удивленьем спросила Марья Гавриловна.— Оставались бы в мещанах, коли нет капитала.

— А от солдатчины-то ухорониться?..— ответила Манефа.— Рекрутски-то квитанции ноне ведь до́роги стали, да и мало их что-то. А как заплатил гильдию, так и не бойся ни бритого лба, ни красной шапки... Которы сродников много имеют,— в складчину гильдию-то выправляют. В одном-то капитале иной раз душ пятьдесят мужских записано: всего тут есть— и купецких сыновей, и купецких братьев, и купецких племянников, и купецких внуков. А коль скоро все из лет выйдут — тогда и гильдию больше не платят, в мещанах остаются... Этак-то не в пример дешевле квитанций обходится, особенно коли много сродства к одному капиталу приписано.

— Ну, меня-то пускай в солдаты не забреют,— усмехнулась Марья Гавриловна.— А коли мне капитал вносить, так уж надо в самом деле торговым делом заняться... Я же по третьей не запишусь.

— Вам надо по первой,— молвила Манефа.—Как же можно в третью с вашим капиталом?

— А в вашем городу́ по первой-то много ль приписано? — спросила Марья Гавриловна.

— По первой! — усмехнулась Манефа.— И по второй-то сроду никого не бывало. Какой наш город!.. Слава только, что город. Хуже деревни!..

— То-то и есть,— молвила Марья Гавриловна.— Не то что по первой, по второй если припишусь, толков не мало пойдет. А как делов-то не стану вести — на что ж это будет похоже?..

— Какими же вам, Марья Гавриловна, делами заниматься? — сказала на то Манефа.— Дело женское, непривычное... Какие вам дела?

— Да хоть бы на Волге пароходы завести?— подняв голову, с живостью молвила Марья Гавриловна.— Пароходное дело хвалят, у брата тоже бегают пароходы — и большую пользу он от них получает.

— Куда вам с пароходами, сударыня! — возразила Манефа.— И мужчине не всякому такое дело к руке приходится.

— Приказчика найду,— молвила Марья Гавриловна.

— Разве что приказчика,— сказала Манефа.— Только народ-от ноне каков стал!.. Совести нет ни в ком — как раз оберут.

— Эх, матушка, будто на свете уж и не стало хороших людей?.. Попрошу, поищу, авось честный навернется. Бог милостив!.. Патапа Максимыча попрошу. Вот на похоронах познакомилась я с Колышкиным Сергеем Андреичем. Патап же Максимыч ему пароходное дело устроил, а теперь подите-ка вы... По всей Волге гремит имя Колышкина.

— Слыхала про него,— отозвалась Манефа.— Дела у него точно что хорошо идут.

— Благословите-ка, матушка,— молвила Марья Гавриловна.

— На что? — спросила Манефа.

— Капитал объявлять, пароходы заводить, приказчика искать,— сказала Марья Гавриловна, весело глядя на Манефу.

— Суета! — сдержанным, но недовольным голосом молвила игуменья, однако, немного помолчав, прибавила: — Бог благословит на хорошее дело...

— Да ведь сами же вы, матушка, и гильдию платите и купчихой числитесь.

— Мое дело другое, сударыня. Ради христианского покоя это делаю, ради безмятежного жития. Поневоле так поступаю... А вы человек вольный, творите волю свою, якоже хощете... А я было так думала, что нам вместе жить, вместе и помереть... Больно уж привыкла я к вам.

— Что ж? И я возле вас в городу построюсь. Будем неразлучны,— сказала Марья Гавриловна.

— Разве что так,— ответила Манефа.— А лучше бы не дожить до того дня,— грустно прибавила она.— Как вспадет на ум, что раскатают нашу часовню по бревнышкам, разломают наши уютные келейки, сердце так и захолонёт... А быть беде, быть!.. Однакож засиделась я у вас, сударыня, пора и до кельи брести...

И, простившись с Марьей Гавриловной, тихими стопами побрела игуменья к своей «стае».

Из растворенных окон келарни слышались голоса: то московский посол комаровских белиц петь обучал. Завернула в келарню Манефа послушать их.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Василий Борисыч в Манефиной обители как сыр в масле катался. Умильный голосистый певун всем по нраву пришелся, всем угодить успел.

С матерью Манефой и с соборными старицами чуть не каждый день по нескольку часов беседовал он от писания или рассказывал про Белую Криницу, куда ездил в лучшую пору ее, при первом митрополите Амвросии. С матерью Аркадией водил длинные разговоры про уставну́ю службу на Рогожском кладбище и рассказывал ей, как справляется чин архиерейского служенья митрополитом. Мать Назарету утешал разговорами о племяннице ее Домнушке и о порядках, какие заведены в Антоновской палате, где она при старухах в читалках живет. С Таифой беседовал о хозяйственных распорядках; оказалось, что Василий Борисыч и по хозяйству был сведущ. Мать казначея наговориться не могла с таким хорошим гостем... А больше всего дружил он с матушкой Виринеей, выучил ее, как свежие ко̀чни капусты сберегать на зиму, как рябину в меду варить, как огурцы солить, чтоб вплоть до весны оставались зелеными. Раз до того заговорился с ней гораздый на все Василий Борисыч, что даже стал поучать матушку-келаря, как ветчину коптить. Мать Виринея плюнула на такие слова, обозвала московского посланника оболтусом и шибко на него прикрикнула: «Вздурился, что ль, батька? Разве в обители жрут скоромятину?» Это не помешало, однако, добрым отношениям Василия Борисыча к добродушной Виринее; возлюбила она его, как сына, не нарадуется, бывало, как завернет он к ней в келарню о разных разностях побеседовать... Про белиц и поминать нечего — души не чаяли они в Василье Борисыче, все до единой от речей и от песен его были без ума, и одна перед другой старались угодить, чем только могли, залетному соловью... Сам Ва-

силий Борисыч из девиц больше с певчими водился. Они и в разговорах поумней других были, и собой пригожее, и руки у них были не мозолистые, не закорузлые, как у рабочих белиц, а нежные, пышные, мягкие. Это с первых же дней скитского житья-бытья спознал Василий Борисыч. А пуще всего заглядывался он на смуглую, румяную, чернобровую Устинью Московку. Еще в Москве видал он ее у знакомых, где Устинья два лета жила в канонницах, «негасимую свечу» стояла... Там еще, где-то на Солодовке, с Устиньей он шашни завел, да не успел до конца добиться — дочитала она свечу и уехала в леса за Волгу...

По просьбе матушки Манефы начал Василий Борисыч оба клироса «демественному» пению обучать. Пропел с ними стихеры и воззвахи на все господские праздники, принялся за догматики; вдруг занятия его с девицами порасстроились, в Осиповку на похороны надо было им ехать. Покаместь они были там, Василий Борисыч успел побывать в Улангере и уговорить некоторых из тамошних стариц на прием владимирского архиепископа... Успел Василий Борисыч и попеть с улангерскими певицами, облюбовал и там одну девицу в Юдифиной обители — нежную, беленькую, маленькую ростом Домнушку, но и с ней, как с Устиньей в Москве, дела не успел до конца довести. Гостеприимная Манефина обитель больше всех полюбилась московскому посланнику. Думал недельку пожить в ней, да, заглядевшись на Устинью, решился оставаться, пока из обители вон его не вытурят.

В тот самый вечер, как мать Манефа сидела у Марьи Гавриловны и вела грустные речи о падении, грозящем скитам Керженским, Чернораменским, Василий Борисыч, помазав власы своя елеем, то есть, попросту говоря, деревянным маслом, надев легонький демикотоновый кафтанчик и расчесав реденькую бородку, петушком прилетел в келарню добродушной Виринеи. Завязался у них поучительный разговор о черепокожных, про которых во всех уставах поминается, что не токмо мирским, но и старцам со старицами разрешено их ядение по субботам и неделям святой великой четыредесятницы. Мать Виринея утверждала, что это об орехах говорится, а Василий Борисыч того мнения держался, что черепокожные —

морские плоды, и сослался на одну древлеписьменную книгу, где в самом деле такое объяснение нашлось.

— Так вот оно что,— с удивленьем покачивая головой, говорила мать Виринея, увидя в почитаемой за святую книге такие неудобь понимаемые речи.—Так вот оно что̀ — морские плоды!.. Что ж это за морские плоды такие?.. Научи ты меня, старуху, уму-разуму, ты ведь плавал, поди, по морям-то, когда в митрополию ездил... Она ведь, сказывают, за морем.

— Не за морем, матушка, а токмо по близости Черного моря, того самого, что в Прологах Евксинским понтом нарицается,— молвил Василий Борисыч.

— Помню, голубчик, помню,— сказала Виринея.— А видел ли ты его, касатик?

— Кого, матушка?

— А этот понт-от...— сказала Виринея.— Ведь это, стало-быть, тот, про который на троицкой утрени поют: «В понте покрыв Фараона» [1].

— То другой, матушка,— ответил Василий Борисыч.—Много ведь их, понтов-то, у господа,—прибавил он.

— Эка премудрость божия! — с умиленьем сказала Виринея, складывая на груди руки...— Чего-то, чего на свете нет!.. Так что̀ же, видел ты его, голубчик?.. Понт-от этот?..

— Довелось видеть, матушка, довелось, как в Одессе проездом был,— молвил Василий Борисыч.

— Что ж, родной, этот понт-море, поди, пространное и глубокое? — с любопытством продолжала расспросы свои мать Виринея.

— Пространное, матушка, пространное — краев не видать,— подтвердил Василий Борисыч.

— И глубокое? — спросила Виринея.

— Глубокое, матушка — дна не достать,— ответил Василий Борисыч.

— Как Волга, значит...—со вздохом молвила Виринея и облокотившись на стол, положила щеку на руку.

— Какая тут Волга! — усмехнулся Василий Борисыч.— Говорят тебе, дна не достать.

— Премудрости господней исполнена земля! — набожно молвила Виринея.—Так вот оно, море-то, какое...

---

[1] Так в дониконовских книгах. Ныне поется: *«Понтом покрыв».*

Пространное и глубокое, в нем же гадов несть числа,— глубоко вздохнув, добавила она словами псалтыря.

— Есть, матушка, и гады есть,—подтвердил Василий Борисыч.

— Какие же это плоды-то морские, сиречь черепокожные?.. Ты мне, родной, расскажи.. Научи, Христа ради... Видал ты их, касатик?.. Отведывал?.. Какие на вкус-то?.. Чудное, право, дело!..

— Морскими плодами, матушка, раковины зовутся, пауки морские да раки...— начал было Василий Борисыч.

— Полно ли тебе, окаянному!..— закричала Виринея, подняв кверху попавшуюся под руку скалку.— Дуру, что ли, неповитую нашел смеяться-то?.. А?.. Смотри ты у меня, лоботряс этакой!.. Я те благословлю по башке-то!..

Досада взяла Василия Борисыча.

— Ну, матушка, с тобой говорить, что солнышко в мешок ловить,— сказал он.— Как же ты этого понять не можешь!

— Статочное ли дело, чтоб святые отцы такую погань вкушали? — громче прежнего закричала Виринея.— И раков-то есть не подобает, потому что рак — водяной сверчок, а ты и пауков приплел... Эх, Васенька, Васенька! Умный ты человек, а ину пору таких забобонов нагнешь, что и слушать-то тебя грех.

Василий Борисыч плюнул даже с досады. Да, забывшись, плюнул-то на грех не в ту сторону. Взъелась на него Виринея.

— Что плюешься?.. Что?.. Окаянный ты этакой! — закричала она на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой...— Куда плюнул-то?.. В кого попал?.. Креста, что ль, на тебе нет?.. Коли вздумал плеваться, на леву сторону плюй — на врага, на диавола, а ты, гляди-ка, что!.. На ангела господня наплевал... Аль не знаешь, что ко всякому человеку ангел от бога приставлен, а от сатаны бес... Ангел на правом плече сидит, а бес на левом... Так ты и плюй налево, а направо плюнешь — в ангела угодишь... Эх ты, неразумный!.. А еще книги все знаешь, к митрополиту за миром ездил!.. Эх ты!..

— Так что ж, по-вашему, матушка, означают эти черепокожные, сиречь морские плоды? — спросил Василий Борисыч, стараясь замять разговор о плевке, учиненном не по правилам.

— Известно, орехи,— сухо ответила Виринея.

— Как же орехи-то на воде выросли? — спросил Василий Борисыч.

— Божиим повелением,— сказала Виринея.

— Ну, матушка, с тобой говорить, что воду решетом носить,— молвил с досадой Василий Борисыч.— Что в книге-то писано?.. «Морские плоды». Так ли?..

— С толку ты меня сбиваешь, вот что... И говорить с тобой не хочу,— перебила его мать Виринея и, плюнув на левую сторону, где бес сидит, побрела в боковушу.

Между тем как в келарне шел спор о черепокожных и о плевках, она наполнилась певицами, проведавшими, что учитель их сидит у Виринеи.

Троицын день наступал. Хотелось Василию Борисычу утешить гостеприимную Манефу добрым осмогласным пением, изрядным демеством за всеношной и за вечерней. Попа нет, на листу лежать не станут [1], зато в часовне такое будет пение, какое, может статься, и на Иргизе не часто слыхивали... За это Василий Борисыч брался, а он дела своего мастер, в грязь лицом себя не ударит...

Уже по нескольку раз пропел он с ученицами и воззвахи, и догматик праздника, и весь канон, и великий прокимен вечерни: «*Кто бог велий!*» Все как по маслу шло, и московский посол наперед радовался успеху, что должен был увенчать труды его... А баловницам певицам меж тем прискучило петь одно «божество», и, не слушая учителя, завели они троицкую псальму... Василий Борисыч поневоле пристал к ним, и вскоре звонкий голосок его покрыл всю певчую стаю... С увлеченьем пел он, не спуская глаз с разгоревшихся щек миловидной Устиньи Московки:

Источник духовный
Днесь радости полный,
Страны всего света, слышьте,
С апостолы приимите
Росу, росу благодати,
Росу благодати.

---

[1] За великой вечерней в Троицын день три молитвы, читаемые священником, старообрядцы слушают не стоя на коленях, как это делается в православных церквах, а лежа ниц, причем подкладывают под лицо цветы или березовые ветки. Это называется «лежать на листу».

Облак разделяше,
Языки рождаше,
Рыбарям огненная,
Евреям ужасная,
И всем врагам страшная,
И всем и всем врагам страшная.

Фленушка все время одаль сидела. Угрюмо взглядывала она на Василья Борисыча и казалась совершенно безучастною к пению. Не то унынье, не то забота туманила лицо ее. Нельзя было узнать теперь всегда игривую, всегда живую баловницу Манефы. Совесть ли докучала ей; над Настиной ли смертью она призадумалась; над советом ли матушки надеть иночество и прибрать к рукам всю обитель; томила ль ее досада, что вот и Троица на дворе, а казанского гостя Петра Степаныча Самоквасова все нет как нет?.. Не разгадаешь... И Марьюшка и Василий Борисыч не раз обращались к ней с шуточками, но Фленушка будто не слыхала речей их. Пасмурными взорами оглядывала она исподлобья певших белиц.

Вдруг, ни с того ни с сего, вскочила она с места, живым огнем сверкнули глаза ее, и, подскочив к Василью Борисычу, изо всей силы хлопнула его по плечу.

— Тошнехонько!.. Мирскую бы!.. Веселую, громкую! — вскрикнула она...

— Ох, искушение! — молвил Василий Борисыч, вздрогнув от полновесного удара.

— Новенькую какую-нибудь,— продолжала Фленушка, не снимая руки с плеча Василья Борисыча.— Тоску нагнали вы своим мычаньем. Слушать даже противно. Да ну же, Василий Борисыч, запевай развеселую!..

— Ох, искушение! — с глубоким вздохом, перебегая глазами по белицам, сказал Василий Борисыч.

— Да начинай же, говорят тебе! — топнув ногой, с досадой закричала на него Фленушка.— Скорей!

Откашлянулся Василий Борисыч и серебристым голосом завел тихонько скитскую песенку:

Не сама-то я, младешенька, во старочки пошла,
Где теперь всю невозможность я в веселости нашла...

Всем телом вздрогнула Фленушка. Бледность облила лицо ее.

— Не надо! — вскричала.— Что за песню выдумал петь!.. Ровно нá смех!.. Другую!.. Веселенькую! Да начинай же, Василий Борисыч!

— Какую же, Флена Васильевна? — разводя руками, молвил Василий Борисыч.— Право, не вздумаю вдруг... Разве про тирана? На Иргизе, в Покровском, девицы, бывало, певали ее...

И завел протяжную песню:

Ты, погибель мою строя,
Тем доволен ли, тиран,
Что, лишив меня покоя,
Совершил свой злой обман?

При звуках этой песни добродушная Виринея, забыв досаду на Василия Борисыча, выглянула из боковуши и, остановясь в дверях, пригорюнилась.

— Что ж это за тиран такой? — умильно и с горьким вздохом спросила она у Василья Борисыча, не заметившего ее входа.

— Враг, матушка, диавол,— ответил ей Василий Борисыч.— Кто ж, как не он, погибель-то нашу строит?

— Он, родимый ты мой Василий Борисыч, точно что он...— простодушно отвечала Виринея.— У него, окаянного, только и дела, чтоб людей на погибель приводить.

Белицы засмеялись. Мать Виринея накинулась на них:

— Чему зубы-то скалите? Коему ляду [1] обрадовались, непутные?.. Их доброму поучают, а они хохочут, бесстыжие, рта не покрываючи... Да уймешься ли ты, Устинья?.. Видно, только смехáм в Москве-то и выучилась... Уймись, говорю тебе — не то кочергу возьму... Ишь совести-то в вас сколько!.. Чем бы сердцем сокрушаться да душой умиляться, а им только смешки да праздные слова непутные!.. Ох, владычица, царица небесная!.. Какие ноне молодые-то люди пошли!.. Вольница такая, что не приведи господи!.. Пой, а ты Васенька, пой голубчик!

* * *

Не успел начать Василий Борисыч, как дверь отворилась и предстала Манефа. Все встали с мест и сот-

---

[1] Ляд — тунеядец, в некоторых местностях — нечистый дух, в верховьях Волги — хлыст, принадлежащий к ереси божьих людей.

ворили перед игуменьей обычные метания... Тишина в келарне водворилась глубокая... Только и слышны были жужжанье мух да ровные удары маятника.

— Ну что? Каково спеваете? — спросила Манефа.

— Изрядно, матушка, изрядно идет,— ответил Василий Борисыч.

— Что пели?

— Троицку службу, матушка,— степенно ответил Василий Борисыч.

— Спаси тя Христос за твое попечение,— молвила Манефа, слегка наклоняя голову перед Васильем Борисычем.— По правде сказать, наши девицы не больно горазды, не таковы, как на Иргизе бывали... аль у вас на Рогожском... Бывал ли ты, Василий Борисыч, на Иргизе у матушки Феофании — подай, господи ей царство небесное,— в Успенском монастыре?

— Как не бывать, матушка? Сколько раз! — ответил Василий Борисыч.

— Вот уж истинно ангелоподобное пение там было. Стоишь, бывало, за службой-то — всякую земную печаль отложишь, никакая житейская суета в ум не приходит... Да, велико дело церковное пение!.. Душу к богу подъемлет, сердце от злых помыслов очищает...

— Что ж, матушка, и вашего пения похаять нельзя — такого мало где услышишь,— сказал Василий Борисыч.

— Какое у нас пение,— молвила Манефа,— в лесах живем, по-лесному и поем.

— Это уж вы напрасно,— вступился Василий Борисыч.— Не в меру своих певиц умаляете!.. Голоса у них чистые, ноту держат твердо, опять же не гнусят, как во многих местах у наших христиан повелось...

— А ты, друг, не больно их захваливай,— перебила Манефа.— Окромя Марьюшки да разве вот еще Липы с Грушей [1], и крюки-то не больно горазды они разбирать. С голосу больше петь наладились, как господь дал... Ты, живучи в Москве-то, не научилась ли по ноте петь? — ласково обратилась она к смешливой Устинье.

— Когда было учиться-то мне, матушка? — стыдливо закрывая лицо передником, ответила пригожая ка-

[1] Липа — уменьшительное Олимпиады, Груша — Агриппины, или, по просторечию, Аграфены.

нонница.— Все дома да дома сидишь — на Рогожском-то всего только раз службу выстояла.

— Она понятлива, матушка, я ее обучу,— улыбнувшись на Устинью, молвил Василий Борисыч.

Зарделась Устинья пуще прежнего от речей московского посланника.

— Обучай их, Василий Борисыч, всех обучай, которы только тебе в дело годятся, уставь, пожалуйста, у меня в обители доброгласное и умильное пение... А то как поют? Кто в лес, кто по дрова.

— Очненно уж вы строги, матушка,— сказал Василий Борисыч.— Ваши девицы демество даже разумеют, не то что по другим местам... А вот, бог даст, доживем до праздника, так за троицкой службой услышите, каково они запоют.

— Троицкая служба трудная, Василий Борисыч,— молвила Манефа,— трудней ее во всем кругу [1] нет: и стихеры большие и канон двойной, опять же самогласных [2] довольно... Гляди, справишься ли ты, Марьюшка?

— Справится, матушка, беспременно справится,— ответил за головщицу Василий Борисыч.— И «седальны» [3] не говорком будут читаны,— все нараспев пропоем.

— Уж истинно сам господь принес тебя ко мне, Василий Борисыч,— довольным и благодушным голосом сказала Манефа.— Праздник великий — хочется поблаголепнее да посветлей его отпраздновать... Да вот еще что — пение-то пением, а убор часовни сам по себе... Кликните, девицы, матушку Аркадию да матушку Таифу — шли бы скорей в келарню сюда...

Сотворив поясной поклон перед игуменьей, Устинья чинно вышла из келарни, но только что спустилась с крыльца, так припустила бежать, что только пятки у ней засверкали.

Минут через пять вошла Аркадия, а следом за ней Таифа. Сотворя семипоклонный начал перед иконами и обычные метания перед игуменьей, поклонились они на

---

[1] Круг (церковный) — устав службы на весь год.

[2] Самогласен — церковная песнь, имеющая свой особый напев.

[3] Особые церковные песни за всенощными, во время пения которых позволяется сидеть.

все стороны и, смиренно поджав руки на груди, стали перед Манефой, ожидая ее приказаний.

— До святой пятидесятницы не долго, часовню надо прибрать по-доброму,— сказала игуменья.

— Все будет сделано, матушка,— с низким поклоном ответила Аркадия.— Как в прежни годы бывало, так и ноне устроим все.

— И полы, и лавки, и подоконники девицам вымыть чисто-на́чисто,— не слушая уставщицу, продолжала Манефа.— Дресвой бы мыли, да не ленились, скоблили бы хорошенько. Паникадилы да подсвечники мелом вычистить.

— К пасхе чищены, матушка,— заметила уставщица.

— Оклады на иконах как жар бы горели,— не останавливаясь, продолжала Манефа.— Березок нарубить побольше, да чтоб по-летошнему у тебя осины с рябиной в часовню не было натащено... Горькие древеса, не благословлены. В дом господень вносить их не подобает... березки по стенам и перед солеей расставить, пол свежей травой устлать, да чтоб в траве ради благоухания и зоря была, и мята, и кануфер... На солею и перед аналогием ковры постлать новые, большие... Выдай их, Таифушка... Да цветных бы пучков, с чем вечерню стоять, было навязано довольно, всем бы достало и своим и прихожим молельщикам, которые придут... В субботу перед всенощной девиц на всполье послать, цветков бы всяких нарвали, а которы цветы Марья Гавриловна пришлет, те к иконам... Местные образа кисеями убрать, лентами да цветами, что будут от Марьи Гавриловны... А тебе, мать Виринея, кормы изготовить большие: две бы яствы рыбных горячих было поставлено да две перемены холодных, пироги пеки пресные с яйцами да с зеленым луком, да лещиков зажарь, да оладьи были бы с медом, левашники с изюмом... А ты, мать Аркадия, попомни, во всех паникадилах новые свечи были бы вставлены, и перед местными и передо всеми... Вечор поглядела я у тебя — в часовне-то в заднем углу паутина космами висит,— чтоб сегодня же ее не было. Катерина твоя за часовней ходит плохо... Скажи ей, на поклоны при всех поставлю, только раз еще замечу... А ну-ка, Василий Борисыч, благо девицы в сборе — послушала бы я, как ты обучаешь их.. Спойте-ка «*Радуйся царице!*».

Василий Борисыч раскрыл минею цветную, оглянул ставших рядами певиц и запел с ними девятую песнь троицкого канона... Манефа была довольна.

— За такое пение мы тебе за вечерней хороший пучок цветной поднесем,— улыбаясь, молвила она Василью Борисычу.— Из самых редкостных цветков соберем, которы Марья Гавриловна нам пожалует...

— Пучок-от связать бы ему с банный веник,— со смехом вмешалась Фленушка.— Пусть бы его на каждый листок по слезинке положил.

— Прекрати,— строго сказала Манефа.— У Василья Борисыча не столь грехов, чтоб ему целый веник надо было оплакать [1].

— Верь ты ему! — с усмешкой сказала не унимавшаяся Фленушка.— На глазах преподобен, за глазами от греха не свободен.

— Замолчишь ли? — возвысила голос Манефа.— Что за бесстыдница! Не подосадуй, Василий Борисыч, на глупые девичьи речи — она ведь у меня шальная.

Василий Борисыч только улыбнулся.

— Искушение! — встряхнув головой, промолвил он потом и, вздохнув, завел с девицами догматик троицкой вечерни.

Заслушалась Манефа пения, просидела в келарне до самой вечерней трапезы. В урочный час Виринея с приспешницами ужину собрала, и Манефа сама сидеть за тра́пезой пожелала... Когда яствы были расставлены, все расселись по местам, а чередная канонница подошла к игуменье за благословением начать от Пролога чтение, Василий Борисыч сказал Манефе:

— Не благословите ли, матушка, заместо чтения спеть что-нибудь?

— Чего спеть? — спросила игуменья.

— Духовную пса́льму какую-нибудь,— ответил Василий Борисыч.

---

[1] У старообрядцев, а также и в среде приволжского простонародья держится поверье, что во время троицкой вечерни надо столько плакать о грехах своих, чтобы на каждый листочек, на каждый лепесток цветов, что держат в руках, капнуло хоть по одной слезинке. Эти слезы в скитах зовутся «росой благодати». Об этой-то «росе благодати», говорили, там и в троицкой пса́льме поется.

— Не водится, Василий Борисыч; за трапезой псальмы не поют,— заметила Манефа.

— Как не поют, матушка? — возразил Василий Борисыч.— Поют,— они ведь божественного смысла исполнены, пристойно петь их за трапезой.

— Сколь обитель наша стоит,— такого дела у нас не бывало,— сказала Манефа.— Да не бывало и по всему Керженцу.

— Про Иргиз-от, матушка, давеча вы поминали,— подхватил Василий Борисыч.— А там у отца Силуяна[1] в Верхнем Преображенском завсегда по большим праздникам за трапезой духовные псальмы, бывало, поют. На каждый праздник особые псальмы у него были положены. И в Лаврентьеве за трапезой псальмы распевали, в Стародубье и доныне поют... Сам не раз слыхал, певал даже с отцами...

— Право, не знаю как,— колебалась Манефа.— Да у меня девицы и псальм-то хороших не знают.

— А вот я их «Богородичну плачу» на днях обучил,— подхватил Василий Борисыч, —как пречистая богородица у креста стояла да плакала. Благословите-ка, матушка, пропеть...

Нечего было делать, уступила Манефа.

— Бог благословит, пойте во славу божию,— сказала она.

Василий Борисыч с Марьюшкой головщицей, с Устиньей, Липой и Грушей стали впереди столов. К ним подошла Фленушка, и началось пение:

Во святом было во граде,
Во Ерусалиме,
На позорном лобном месте
На горе Голгофе —
Обесславлен, обесчещен
Исус, сыне божий,
Весь в кровавых язвах,
На кресте бысть распят.
Тут стояла дева мати,
Плакала, рыдала,
Сокрушалась и терзалась
О любезном сыне:
«Ах ты, сын, моя надежда,

---

[1] Силуян — игумен Верхнего Преображенского монастыря в Иргизе, сдавший его единоверцам в 1842 году.

Исус сыне божий,
Где архангел, кой пророчил,
Что царем ты будешь?
Я теперь всего лишаюсь,
Я теперь бесчадна —
Бейся, сердце, сокрушайся.
Утроба, терзайся».
Со креста узрев, сын божий,
Плачущую мати,
Услыхав ее рыданья,
Тако проглаголал:
«Не рыдай, мене, о мати,
И отри ток слезный,
Веселися ты надеждой —
Я воскресну, царем буду
Над землей и небом...
Я тогда тебя прославлю;
И со славой вознесу тех,
Кто тя возвеличит!..»

Смолкли последние звуки «Богородична плача», этой русской самородной «Stabat mater», и в келарне, хоть там был не один десяток женщин, стало тихо, как в могиле. Только бой часового маятника нарушал гробовую тишину... Пение произвело на всех впечатление. Сидя за столами, келейницы умильно поглядывали на Василья Борисыча, многие отирали слезы... Сама мать Манефа была глубоко тронута.

— И откуда такую песню занес ты к нам, Василий Борисыч? —с умиленьем сказала она.— Слушаешь, не наслушаешься... Будь каменный, и у того душа жалостью растопится... Где, в каких местах научился ты?

— По разным обителям ту песнь поют, матушка...— скромно ответил Василий Борисыч.— И по домам благочестных христиан поют. Выучился я петь ее в Лаврентьеве, а слыхал и в Куренях и в Бело-Кринице. А изводу[1] она суздальского. Отоль, сказывают, из-под Суздаля, разнесли ее по обителям.

— Спасибо, друг, что научил девиц «Плачу богородичну»... Много духовных песен слыхала я, а столь сладостной, умильной, не слыхивала,— молвила Манефа.— Много ль у тебя таких песен, Василий Борисыч?

---

[1] Курени, или Куреневский — раскольничий скит в Юго-Западном крае. Извод — редакция, а также место происхождения или указание на место происхождения.

— Довольно-таки, матушка,— ответил он.— Сызмальства охоту имел к ним — кои на память выучил, кои списал на бумагу... Да вот искушение!.. тетрадку-то не захватил с собою... А много в ней таких песен.

— Жаль, друг, очень жаль, что нет с тобой той тетради..— молвила Манефа.— Которы на память-то знаешь, перескажи девицам — запишут они их да выучат... Марьюшка, слышишь, что говорю?

— Слушаю, матушка,— с низким поклоном отозвалась головщица.

* * *

Кончилась трапеза... Старицы и рабочие белицы разошлись по кельям, Манефа, присев у растворенного окна на лавку, посадила возле себя Василья Борисыча. Мать Таифа, мать Аркадия, мать Назарета, еще три инокини из соборных стариц да вся певчая стая стояли перед ними в глубоком молчанье, внимательно слушая беседу игуменьи с московским послом...

Про Иргиз говорили: знаком был он матери Манефе; до игуменства чуть не каждый год туда она ездила и гащивала в тамошних женских обителях по месяцу и дольше... Василий Борисыч также коротко знал Иргизские монастыри. Долго он рассуждал с Манефой о благолепии тамошних церквей, о стройном порядке службы, о знаменитых певцах отца Силуяна, о пространном и во всем преизобильном житии тамошних иноков и стариц.

— Как по падении благочестия в старом Риме Царьград вторым Римом стал, так и по падении благочестия во святой Афонской горе второй Афон на Иргизе явился,— говорил красноглаголивый Василий Борисыч.— Поистине царство иноков было... Жили они беспечально и во всем изобильно... Что земель от царей было им жаловано, что лугов, лесу, рыбных ловель и всякого другого угодья!.. Житье немцам в той стороне, а иргизским отцам и супротив немцев было привольней...

— А теперь на Иргизе что? — с горьким чувством молвила Манефа.— Не стало красоты церковной, запустели обители!.. Которы разорены, и знаку от них не осталось, которы отданы хромцам на обе плесне [1]!

[1] Так раскольники зовут единоверцев.

— Мерзость запустения, Данилом прореченная! — проговорил Василий Борисыч.

— За грехи наши, за грехи! — больше и больше оживляясь, говорила Манефа.— Исполнися фиал господней ярости!

— Последние времена! — пригорюнясь, вздохнула Таифа.

— Да,— сказала Манефа, величаво поднимая голову и пылким взором оглядывая предстоявших.— По всему видно, что близится скончание веков. А мы во грехах, как в тине зловонной, валяемся, заслепили очи, не видим, как пророчества сбываются... Дай-ка сюда Пролог, мать Таифа... Ищи ноемврия шестнадцатое.

Таифа поднесла к Манефе раскрытый Пролог... Указав казначее на строки, она велела их читать громогласно.

— «И рече преподобный Памва ученику своему,— нараспев стала Таифа читать,— се убо глаголю, чадо, яко приидут дние, внегда расказят иноцы книги, загладят отеческая жития и преподобных мужей предания, пишуще тропари и еллинская писания. Сего ради отцы реша: «Не пишите доброю грамотою, в пустыни живущие, словес на кожаных хартиях, хощет бо последний род загладити жития святых отец и писати по своему хотению».

— Разве не исполнилось? — задрожавшим от страстного волнения голосом спросила Манефа, пламенными очами обводя предстоявших.— Не сбылось разве пророчение преподобного?..

— Давно сбылось, матушка, еще во дни патриарха Никона,— отозвался Василий Борисыч.

— «Книгу Веру» возьми, читай двести четыредесять шестой лист,— сказала Манефа.

Таифа стала читать:

— «К сему же внидет в люди безверие и ненависть, реть, ротьба [1], пиянство и хищение изменят времена и закон, и беззаконнующий завет наведут с прелестию и осквернят священные применения всех оных святых древних действ, и устыдятся креста Христова на себе носити».

---

[1] Реть — ссора, вражда. Ротьба — клятва, а также заклятье, вроде «лопни мои глаза», «провалиться мне на сем месте» и пр.

— Разве не видим того? — поджигающим голосом вскликнула Манефа.

Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая друг друга:

— Изменили времена!.. Не от Адама годам счет ведут!

— Начало индикта с Семеня-дня на Васильев поворотили[1]. Времен изменение.

— Безблагодатные, новые законы пишут!.. Без патриаршего благословенья!

— Отметают градской закон Устиньяна-царя[2] и иных царей благочестивых!..

— Заместо креста и евангелья идольское зерцало в судах положили!

— А в том зерцале Петр-богоборец писан!

— Господа́ кресты с шей побросали!

— По купечеству даже крестоборство пошло!

— А все прелесть иноземная — еллинские басни!

— Немцы, все немцы бед на Руси натворили!.. Люторы!.. Кальвины!..

— Житья христианам от немцев не стало.

Распылались изуверством старицы. Злобой загорелись их очи, затрепетали губы, задрожали голоса... Одна, как лед, холодная, недвижно сидела Манефа.

— Читай в Кирилловой книге слово в неделю мясопустную,— сказала она Таифе.

Стала читать она:

— «Такожде святый Ипполит папа римский глаголет: «Сия заповедахом вам, да разумеете напоследок быти хотящая болезнь и молву и всех человек еже друг ко другу развращение, и церкви божии якоже простыя храмины будут... И развращения церковная всюду будут... Писания небрегоми будут...»

— Ниже читай: «Басни до конца»,— прервала Таифу мать Манефа.

— «Басни до конца во мнящихся христианех будут,— читала Таифа.— Тогда восстанут лжепроровцы и ложные

---

[1] Семень-день (Симеона Столпника) — 1-го сентября; Васильев день (Василия Великого) — 1-го января. Речь идет о введении январского года вместо прежнего сентябрьского.

[2] Юстиниан Великий — император византийский. Некоторые из законов его в Кормчей книге помещены под названием «градского» (то есть гражданского) закона.

апостоли, человецы тлетворницы, злотворцы, лжуще друг другу, прелюбодеи, хищницы, лихоимцы, заклинатели, клеветницы; пастырие якоже волцы будут, а священницы лжу возлюбят...»

— Софрон с Корягой! — с желчью вполголоса молвила Василью Борисычу Манефа.

Тот вздохнул и, пожимая плечами, тоже вполголоса молвил:

— Искушение!..

— «Иноцы и черноризцы мирская вожделеют»,— продолжала Таифа.

— Якоже нецыи от зде сущих,— прибавила Манефа, окидывая взорами предстоявших.

Старицы поникли головами. Белицы переглянулись.

— «О! горе, егда будет сие,— читала Таифа,— восплачутся тогда и церкви божии плачем велиим, зане ни приношения, ниже кадило совершится, ниже служба богоугодная; священные бо церкви, яко овощная хранилища будут, и честное тело и кровь Христова во днех онех не имать явитися, служба угаснет, чтение писания не услышится, но тьма будет на человецех».

— Прекрати,— повелела Манефа.

Смолкла Таифа и низко склонила голову. Несколько минут длилось общее молчанье, прерываемое глубокими вздохами стариц.

Встала с места Манефа, мрачно поглядев на келейниц, сказала:

— И тому по малом времени подобает быти.

— Подобает, матушка... Вскоре подобает,— глубоко вздохнув, промолвил и Василий Борисыч, вскинув, однако, исподтишка глазами на Устинью, у которой обильные слезы выступили от Таифина чтения и от речей игуменьи...

— Что делается?.. Какие дела совершаются?..— опираясь на посох, продолжала Манефа.— Оглянитесь... Иргиза нет, Лаврентьева нет, на Ветке пусто, в Стародубье мало что не порушено... Оскудение священного чина всюду настало — всюду душевный глад... Про Белу Криницу не поминай мне, Василий Борисыч... сумнительно... Мы одни остаемся, да у казаков еще покаместь держится вмале древлее благочестие... Но ведь казаки люди служилые — как им за веру стоять?..

— Стояли же за веру, матушка, и служилые,— робко ввернула слово Аркадия, слывшая за великую начетчицу.

— Когда?..— резко спросила ее Манефа, окинув строгим взглядом.

— А стрельцы-то, матушка?.. Благочестивая рать небреемая!..— смиренно промолвила уставщица, сложив у груди руки, задрожавшие от грозного взгляда игуменьи.

— Пустого не мели,— отрезала Манефа.— За веру стоять стрельцы и в помышленье не держали.. Велел Яким патриарх угостить их на погребе, и пропили они древлее благочестие... Что пустое городить?.. Служилым людям, хоть и казаков взять,— не до веры. Ихнее дело — царская служба, а вера — дело духовное — особь статья... Истинная вера монастырями да скитами держится, сиречь духовным чином... Оскудеет священный чин, престанет иноческое житие — тогда и вере конец... Нами стоит древлее благочестие... А много ль нас остается?.. Подумайте-ка об этом!

— Зачем. матушка, ропотом бога гневить? — молвил Василий Борисыч.— Живете вы, слава богу, в здешних лесах, тихо, безмятежно, никакого касательства до вас нет...

— Не ропщу, Василий Борисыч,— сдержанно ответила Манефа.— К тому говорю, что пророчества сбываются, скончание веков приближается... Блажен бдяй!.. Вот что... А что сказал про наше житие, так поверь ты мне, Василий Борисыч, обителям нашим не долго стоять... Близится конец!.. Скоро не останется кивотов спасения... В мале времени не будет в наших лесах хранилищ благочестия... И тогда не закоснит господь положить конец временам и летам...

Замолчала Манефа... Никто ни слова ей в ответ... Матери крестились и шептали молитвы.

Минуты через три мать Виринея, отирая обильно выступившие на глазах ее слезы, обратилась к игуменье:

— Намедни, как ты хворала, матушка, ронжински ребята ко мне в келарню старчика приводили. В Поломских лесах, сказывал, спасался, да лес-от вырубать зачали, так он в иное место пробирался... И сказывал тот старчик, что твое же слово: по скорости-де скончание веку будет, антихрист-де давно уж народился, а под Мос-

квой, в Гуслицах, и господни свидетели уж с полгода ходят — Илья пророк с Енохом праведным.

— Пустяков не плети, Виринеюшка,— перебила ее Манефа.— Знать бы тебе горшки да плошки, а пустяков не городить... Какие там Илья с Енохом объявились?.. Чего им в Гуслицах делать?.. Фальшивы деньги, что ли?

— Старчик по всему видно, матушка, жития высокого и дар разумения, в пустыни живучи, снискал... Пустого слова не скажет,— зачала было смущенная словами игуменьи Виринея, но Манефа опять перебила ее.

— Тебе бы того старца напоить, накормить и всем упокоить,— сказала она,— пустых речей с ним не заводить... Да, друг,— немного помолчав, сказала Манефа, обращаясь к Василию Борисычу,— недолго, недолго пожить нам в обителях!.. Запустеет свято место!..

— Полноте, матушка,— молвил Василий Борисыч.— Не сейчас же вдруг. Господь милостив — на ваш век потерпит.

— Не знаешь ты, Василий Борисыч, здешних обстоятельств, потому так и говоришь,— сказала Манефа.— В иное время порасскажу, а теперь время идти на спокой... Ишь как стемнело, ровно осенью... Прощайте, матери!.. Прощайте, девицы!

И, слегка наклонив голову, пошла из келарни. Фленушка да Марьюшка вели ее под руки. Разошлись по кельям и матери и белицы. Только Устинья Московка в Виринеиной боковушке что-то замешкалась и вышла последнею изо всех белиц и стариц.

* * *

Когда все разошлись, Василий Борисыч несколько минут дружелюбно побеседовал с Виринеей про гуслицких Илию с Енохом и за великую тайну сказал ей, что, отъезжая из Москвы, сам то же слышал на Рогожском от матери Пульхерии... Этим Виринея была очень утешена... Значит, ее правда, не Манефина, значит, не ложное слово сказал ей старчик, приведенный ронжинскими ребятами... Распрощался, наконец, и Василий Борисыч с Виринеей. Последний вышел он из келарни.

На дворе стояла такая темень, что по кельям хоть огни вздувай. После продолжительного зноя по́д вечер

потянуло прохладой с мокрого угла [1], и скоро все небо застлалось тучами... Хоть не много дней оставалось до Петра Солноворота [2], хотя и сходились уж вечерняя заря с утренней, однакож такая темнота настала, что хоть в осеннюю ночь... Тишь была невозмутимая, лишь вдали в заколосившемся хлебе трещали кузнечики да по́ лесу раздавались изредка глухие звуки бо́тал [3]. Дождем еще не кропило, но сильно ма́рило [4], душный воздух полон был тепла и благовония. По сторонам часто вспыхивали зарницы...

А в ту пору молодежи не спалось... Душная, неспокойная дремота, разымчивая нега всех одолевала. Яр-Хмель по́ людям ходил.

А ходил еще в ту пору по Манефиной обители конюх Дементий. Выпустив лошадей в лес на ночное, проходил он в свою работницкую избу ближним путем — через обитель мимо часовни. Идет возле высокой паперти, слышит под нею страстный шепот и чьи-то млеющие речи... Остановился Дементий и облизнулся... Один голос знакомым ему показался. Прислушался конюх, плюнул и тихими, неслышными шагами пошел в свое место.

— Ай да московский певун! — проворчал он сквозь зубы...

Не доходя конного двора, Дементий остановился. Постоял, постоял и, повернув в сторону, спешными шагами пошел к крайней кельенке сиротского ряда... А жила в той кельенке молодая бабенка, тетка Семениха... А была та Семениха ни девка, ни вдова, ни мужняя жена,— мирской человек — солдатка.

Ходит Ярило по людям, палит страстью, туманит головы. А ноченька выдалась темная, тихая, теплая, душистая... Много жалует такие ночи развеселый Яр-Хмель молодец!

---

[1] Мокрым углом зовут северо-западную часть небосклона, откуда большей частью приносятся дожди.

[2] Июня 12-го.

[3] Бо́тало — глухой звонок, привешиваемый лошадям и коровам на шею, когда пускают их в ночное по лесам. За Волгой пастухов нет, скот пасется один, по раменям, для того и привязывают ему бо́тала. Каждый хозяин знает звук своего бо́тала и по этому звуку скоро отыскивает беспастушную свою скотину.

[4] Ма́рит — стоит духота, обыкновенно бывающая после долгого зноя, перед грозой.

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весенние гулянки по селам и деревням зачинаются с качелей святой недели и с радуницких хороводов. Они тянутся вплоть до Петрова розговенья. На тех гулянках водят хороводы обрядные, поют песни заветные — то останки старинных праздников, что справляли наши предки во славу своих развеселых богов.

По чистому всполью, по зеленым рощам, по берегам речек, всю весну молодежь празднует веселому Яр-Хмелю, богу сердечных утех и любовной сласти... То-то веселья, то-то забав!.. Милованью да затейным играм конца нет...

До солнечного всхода раздаются звонкие песни и топот удалых плясок на тех праздниках... Кроме дней обрядных, лишь только выдастся ясный тихий вечер, молодежь, забыв у́сталь дневной работы, не помышляя о завтрашнем труде, резво бежит веселой гурьбой на урочное место и до́ свету водит там хороводы, громко припевая, как «Вокруг города Царева ходил-гулял царев сын королев», как «В Арзамасе на украсе собиралися молодушки в един круг», как «Ехал пан от князя пьян» и как «Селезень по реченьке сплавливал, свои сизые крылышки складывал»... Слышатся в тех песнях помины про Дунай-реку, про тихий Дон, про глубокие омуты днепровские, про широкое раздолье Волги-матушки, про московскую реку Сомородину... Лебеди белые, соколы ясные, вольная птица журинька, кусты ракитовые, мурава зеленая, цветы лазоревые, духи малиновые, мосты калиновые,— одни за другими вспоминаются в тех величавых, сановитых песнях, что могли вылиться только из души русского человека на его безграничных, раздольных о́т моря до̀ моря раскинувшихся равнинах.

Не успели оглянуться после Радуницы, как реки в берега вошли и наступило пролетье... Еще день-два ми-

новало, и прикатил теплый Микула с кормом [1]. Где хлеба довольно в закромах уцелело, там к Микулину дню брагу варят, медà ставят, братчину-микульщину справляют, но таких мест немного. Вешнему Микуле за чарой вина больше празднуют.

В лесах на севере в тот день первый оратай русской земли вспоминался, любимый сын Матери Сырой Земли, богатырь, крестьянством излюбленный, Микула Селянинович, с его сошкой дорогà чёрна дерева, с его гужиками шелкòвыми, с омешиком [2] серебряным, с присóшками крàсна золота.

Микулу больше всего смерд [3] чествовал... Ему, поильцу, ему, милостивому кормильцу, и честнее и чаще справлял он праздники... Ему в почесть бывали пиры-столованья на брачинах-микульщинах [4].

В день Микулы с кормом, после пиров-столований у богатых мужиков, заволжски ребята с лошадьми всю ночь в поле празднуют... Тогда-то в ночной тишине раздаются громкие микульские песни... Ими приветствуют наступающий день именин Матери Сырой Земли.

Микула свет, с милостью
Приходи к нам, с радостью,
С великою благостью!
Держимся за сошку,
За кривую ножку...
Мать Сыра Земля добра,
Уроди нам хлеба,
Лошадушкам овсеца,
Коровушкам травки!..

---

[1] 9 мая, когда поля совсем покрываются травой — кормом для скота.

[2] Омежь — сошник, лемех — часть сохи. Присòшек то же, что полица — железная лопаточка у сохи, служащая для отвалу земли.

[3] Крестьянин, земледелец.

[4] Как почитанье Грома Гремучего, при введении христианства перенесли у нас на почитанье Ильи Громовника, а почитанье Волóса, скотьего бога,— на святого Власия, так и чествованье оратая Микулы Селяниновича перевели на христианского святого — Николая Чудотворца. Оттого-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, заимствован был русскими у латинян, чтобы приурочить его к празднику Матери Сырой Земли, что любит «Микулу и род его». Празднество Микуле совпадало с именинами Матери-Земли. И до сих пор два народных праздника рядом сходятся: первый день «Микулы с кормом» (9 мая), другой день (10 мая) «именины Матери Сырой Земли».

Минул праздник Микулы, минули именины Матери Сырой Земли, с первым сбором целебных зелий и с зилотовыми хороводами [1]. Глядь, честно́й Семик на дворе — завиванье венков, заду́шные поминки. В тот день по́д вечер, одни, без молодцев, сбираются девушки. Надев зеленые венки на̀ головы, уходят они с песнями на всполье и там под ракитовым кустом стряпают «сборну яичницу», припевая семицкие песни. Завив венки, целуются через них и «кумятся» при звонких веселых песнях:

Покумимся, кума, покумимся,
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дид Ладо! Честному Семику.
Ой Дид Ладо! Березке моей,
Еще кумушке да голубушке!
Покумимся,
Покумимся,
Не сваряса, не браняса!
Ой Дид Ладо! Березка моя!

Тут же и «кукушку крестят». Для того, нагнув две молодые березки, связывают верхушки их платками, полотенцами или лентами и вешают на них два креста-тельника [2]. Под березками расстилают платки, кладут на них сделанную из кукушкиных слезок [3] птичку, и, надев на нее крест, попарно девушка с девушкой ходят друг другу навстречу вокруг березок, припевая:

Ты, кукушка ряба,
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушка,
Покумимся, голубушка,
Чтобы жить нам, не браниться,
Чтоб друг с дружкой не свариться.

С тех пор семицкие кумушки живут душа в душу целых три дня, вплоть до троицы. Случается, однако, что долгий язычок и до этого короткого срока остужает семицкое кумовство... Недаром говорится пословица: «Кукушку кстили, да языка не прикусили».

А чрез день от честно́го Семика — «Клеча̀льна суббота»... В тот день рубят березки, в домах и по улицам

---

[1] Зилотовы хороводы справляются в день, когда «Земля именинница», 10 мая. В тот день церковь празднует апостолу Симону Зилоту. Оттого хороводы и зовутся зилотовыми.

[2] Тельник — крест, носимый на шее.

[3] Растение Orchis maculata.

их расставляют ради троицы, а вечером после всенощной молодежь ходит к рекам и озерам русалок гонять. Всю семицку неделю, что слывет в народе «зелеными святками», шаловливые водяницы рыщут по полям, катаются по зеленой ржи, качаются на деревьях, залучая неосторожных путников, чтоб защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство дедушки Водяного. Всю троицкую ночь с березками в руках молодые парни и девушки резво и весело, с громким смехом, с радостными кликами бегают по полям, гоняя русалок, а на солнечном всходе все вместе купаются в водах, уже безопасных от ухищрений лукавых водяниц... На троицу у молодежи хороводы, на троицу развиванье семицких венков, пусканье их на воду и гаданье на них... А у степенных женщин и старушек на тот день свои заботы — идут они на кладбища и цветными пучками, что держали в руках за вечерней, прочищают они глазыньки родителям[1].

И так день за день, неделя за неделей, вплоть до Петрова дня... Что ни день, то веселье, что ни вечер, то «гулянка» с песнями, с играми, с хороводами и гаданьями... Развеселое время!..

* * *

В скитах гулянкам места нет... То бесовские коби, твердят старицы белицам, от бога они отводят, к бесам же на пагубу приводят. То сатанино замышленье, враг божий тем позорам людей научил, да погубит их в вечной муке, в геенне огненной... Имели скиты влияние на окрестные деревни — и там водят хороводы не так часто, не так обрядно и не так весело, как в других местах России. Молоды ребята больше играют в городки[2], а девушки с молодицами сидят перед ними на завалинах домов и редко-редко сберутся вместе за околицу песенок попеть да походить в хороводах вялой, неспешной поступью... Зато другие за Волгой забавы есть: катанья в ботниках[3] по вешним разливам с песнями, а часто и с ружейной пальбой, веселые гулянки по лесам и вечерние

---

[1] Пучками цветов или березками обметают они могилы. Это и называется «прочищать глаза у родителей».

[2] Городки, иначе чушки, рюхи — игра. Ставят ряд чурок и сбивают их издали палками.

[3] Маленькая лодка, выдолбленная из одного дерева.

посидки на берегах речек... Опричь того, есть еще особый род сходбищ молодежи, только заволжским лесам и свойственный.

В лесах Ке́рженских, Чернораменских скиты стоят издавна, почти с самого начала церковного русского раскола. Одни еще по смерти своих основателей обезлюдели; другие уничтожены во время «Питиримова разоренья»[1]. На местах запустелых скитов остались гробницы старцев и стариц. Некоторые из них почитаются святыми. К этим-то гробницам и сходятся летом в известные дни на поклоненье. Матери-келейницы служат там «каноны за единоумершего» и поставляют приходящим богомольцам привезенную с собой тра́пезу. Оттого охотников до богомолий на гробницах всегда бывает довольно. Под полами приносят они и штофы с вином, и балалайки, и гудки, и гармоники. Только что кончится трапеза, вблизи гробницы на какой-нибудь поляне иль в перелеске гульба зачинается, и при этой гульбе как ни бьются, как ни хлопочут матери-келейницы, а какая-нибудь полногрудая белица уж непременно сбежит к деревенским парня́м на звуки тульской гармоники.

Такие сборища бывают на могиле старца Арсения, пришедшего из Соловков вслед за шедшей по облакам Ша̀рпанской иконой богородицы, на могиле старца Ефрема из рода смоленских дворян Потемкиных; на пепле Варлаама, огнем сожженного; на гробницах многоучительной матушки Голиндухи, матери Маргариты одинцовской, отца Никандрия, пустынника Илии, добрым подвигом подвизавшейся матери Фотинии, прозорливой старицы Феклы; а также на урочище «Смольянах», где лежит двенадцать гранитных необделанных камней над двенадцатью попами, не восхотевшими Никоновых новин прияти[2]. Но самое главное, самое многолюдное

---

[1] Питирим — архиепископ нижегородский (1719—1738), известный своими действиями против раскола в заволжских лесах.

[2] Гробница Арсения находится в лесу, недалеко от уничтоженного в 1853 году Ша̀рпанского скита, близ деревни Ларионова. Могила Ефрема Потемкина — в тех же местах, близ деревни Зименок. Место, где сгорел Варлаам, показывают в Поло́мском лесу, вблизи скитов Ула̀нгера и Фундрикова. Могилу Голиндухи, современницы Софонтия и противницы Онуфрия (в последних годах XVII и в начале XVIII столетий), указывают в лесу, между скитами Комаровым и Улангером. Мать Маргарита одинцовская схо-

сборище бывает в духов день на могиле известного в истории раскола старца Софонтия. Его гробница в лесу неподалеку от деревни Деянова.

Мать Манефа была очень довольна троицкой службой, отправленной в ее часовне. От согласного пения обученных Васильем Борисычем певиц пришла она в такое умиление, что не знала, как и благодарить московского посла. Осталась довольна и убранством часовни, в чем Василий Борисыч также принимал участие. Он расставлял вкруг аналогия цветы, присланные от Марьи Гавриловны, он украшал иконы, он густыми рядами расставлял березки вдоль часовенных стен... Как было удержаться московскому певуну от таких хлопот, когда тут были все пригожие белицы, весь правый клирос Марьюшкин, а в том числе и полногрудая, румяная смуглянка Устинья Московка?..

— Уж как же я вам благодарна[1], Василий Борисыч,— говорила Манефа, сидя после службы с московским посланником за чайным столом.— Истинно утешил, друг... Точно будто я на Иргизе стояла!.. Ангелоподобное пение! Изрядное осмогласие!.. Дай тебе, господи, доброго здоровья и души спасения, что обучил ты девиц моих столь красному пению... Уж так я много довольна тобой, Василий Борисыч, уж так много довольна, что рассказать тебе не умею.

— Таких певиц, какие у вас, матушка, подобраны,— обучать дело не мудрое,— с скромным и ласкающим выраженьем в лице ответил Василий Борисыч.— Хороши певицы в Оленеве, а до ваших далеко им...

— Вы это только одни приятные для нас слова говорить хотите, а сами вовсе не то думаете,— с лукавой усмешкой вступилась Фленушка.— Куда нашим деви-

---

ронена близ бывшего скита Одинцовского, в лесу, недалеко от деревни Астафьевой; отец Никандрий — неподалеку от села Пафнутова и деревни Песочной. Пустынник Илия и мать Фекла — в лесу, близ Фундрикова скита; мать Фотиния — в лесу, неподалеку от гробницы Голиндухиной. «Смольяны» — место скита, основанного дворянами, выходцами: из Смоленска Потемкиными, из Москвы Салтыковым, из Пошехонья Токмачевым и другими, находятся в лесу, близ Ша́рпана и деревни Малого Зиновьева. Все эти места в Семеновском уезде Нижегородской губернии.

[1] В лесах за Волгой говорят: «благодарен вами», вместо «благодарю вас» и т. п.

цам до Анны Сергевны, либо до Олимпиады, али до Груни келарной в Анфисиной обители!

— И те певицы хорошие — охаять нельзя,— молвил Василий Борисыч, обращаясь к Манефе.— Зато в певчей стае Анфисиных нет такой согласности, как у вас, матушка.

— Кланяйся, Марьюшка, благодари учителя,— засмеялась Фленушка вошедшей на ту пору головщице.— Тебе честь приписывают, твоему клиросу.

Марья головщица быстро взглянула на Василья Борисыча, едва заметно пересмехнулась с Фленушкой и потупила глаза как ни в чем не бывало.

— Да, надо благодарить учителя, беспременно надо,— говорила Манефа.— Ты бы вот, Фленушка, бисерну лестовку вынизала Василью-то Борисычу, а ты бы, Марьюшка, подручник ему шерстями да синелью вышила, а тебе бы, Устинья, поясок ему выткать хорошенький.

— Ох!.. Искушение!.. Напрасно это вы, матушка,— молвил Василий Борисыч.

— За труды, друг, за труды,— сказала Манефа.— Без того нельзя. У нас в лесах не водится, чтоб добрых людей оставлять без благодарности. Уж это как ты себе хочешь, а поминок от учениц прими, не побрезгуй их малым приношением... Эх, как бы ты у меня, Василий Борисыч, всех бы девиц перепробовал, да которы из них будут способны, ту бы хорошенько и обучил. Вот уж истинно благодеяние ты бы нашей обители сделал!.. Ну, да спасибо и за то, что над этими потрудился. Узрим плоды трудов твоих, на̀век останемся благодарны.

— Какие ж труды мои, матушка? — с смиренной улыбкой говорил на то Василий Борисыч.— Никаких мне трудов тут не было. Самому приятно было... Не за что мне подарков приносить.

— Со своим уставом в чужой монастырь, Василий Борисыч, не ходят,— отвечала Манефа.— Со вторника за работу, девицы.

— Искушение! — проговорил Василий Борисыч и молча допил простывшую перед ним чашку чая.

— А ты уж, Василий Борисыч, хоть сердись на меня, хоть не сердись, а я тебя из обители скоро не выпущу,— после недолгого молчания сказала Манефа.— По тому делу, по которому послан ты, обсылалась я с матерями,

и по той обсылке на Петров день будет у нас собрание. Окроме здешних матерей, Оленевски ко мне приедут, из Улангера тоже, из Шарпана, из других скитов кое-кто. Из Городца обещали быть и с Гор...[1]. Мы пособоруем, а ты при нас побудь — дело-то тебе и будет виднее. На чем положим, с тем в Москву тебя и отпустим.

— Право, не знаю, матушка, что и сказать вам на это,— ответил Василий Борисыч.— Больно бы пора уж мне в Москву-то. Там тоже на Петров день собрание думали делать... Поди, чать заждались меня... Шутка ли! Больше десяти недель, как из дому выехал.

— Да что у тебя дома-то?.. Малы дети, что ли, плачут? Отчего не погостить?.. Не попусту живешь... Поживи, потрудись, умирения ради покоя христианского,— сказала Манефа.

— Ох, искушение,— со вздохом проговорил Василий Борисыч.— Боюсь, матушка, гнева бы на себя не навести... И то на вознесенье от Петра Спиридоныча письмо получил — выговаривает и много журит, что долго замешкался... В Москве, отписывает, много дела есть... Сами посудите,— могу ли я?

— Завтра же напишу Петру Спиридонычу,— перебила Манефа.— И к Гусевым напишу, и к матушке Пульхерии. Ихнего гнева бояться тебе нечего — весь на себя сниму.

— Искушение!..— со вздохом молвил Василий Борисыч.— Опасаюсь, матушка, вот как перед истинным Христом, опасаюсь.

— Ин вот что сделаем,— сказала Манефа,— отпишу я Петру Спиридонычу, оставил бы он тебя в скитах до конца собраний и ответил бы мне беспременно с первой же почтой... Каков ответ получим, таково и сотворим. Велит ехать — часу не задержу, остаться велит — оставайся... Ладно ли так-то будет?

— Нечего делать,— пожав плечами, ответил Василий Борисыч и будто случайно кинул задорный взор на Устинью Московку. А у той во время разговора московского посла с игуменьей лицо не раз багрецом подергивало. Чтобы скрыть смущенье, то и дело наклонялась она над скамьей, поставленной у перегородки, и мешкотно поправляла съехавшие с места полавошники.

---

[1] То есть с правого берега Волги.

— А тем временем мы работы для подаренья Василью Борисычу кончим,— молвила Фленушка.

— А вы на то не надейтесь, работайте без лени да без волокиты,— молвила Манефа.— Не долго спите, не долго лежите, вставайте поране, ложитесь попозже, дело и станет спориться. На ваши работы долгого времени не требуется, недели в полторы можете все исправить, коли лениться не станете... Переходи ты, Устинья, в келью ко мне, у Фленушки в горницах будете вместе работать, а спать тебе в светелке над стряпущей... Чать, не забоишься одна?.. Не то Минодоре велю ложиться с тобой.

Радостью глазки у Василья Борисыча сверкнули. Та светелка рядом была с задней кельей, куда его поместили. Чуть-чуть было он вслух не брякнул своего: «искушенье!»... А Устинья застенчиво поднесла к губам конец передника и тихо промолвила:

— Чего ж, матушка, бояться во святой обители?

— Скажи матери Ларисе — указала я быть тебе при мне,— сказала Манефа.— Сегодня же перебирайся.

До земли поклонилась Устинья Московка игуменье. Честь великая, всякой белице завидная — у игуменьи под крылышком жить.

— А я бы, матушка, если благословите, сегодня же под вечерок в путь бы снарядился! — молвил Василий Борисыч.

— Куда бог несет? — спросила Манефа.

— Имею усердие отцу Софонтию поклониться,— ответил Василий Борисыч.— Завтра, сказывают, на его гробнице поминовение будет, так мне бы оченно желательно там побывать.

— Доброе дело, Василий Борисыч, доброе дело,— одобряла московского посланника Манефа.— Побывай на гробнице, помяни отца Софонтия, помолись у честных мощей его... Великий был радетель древлего благочестия!.. От уст его богоданная благодать яко светолучная заря на Ке́рженце и по всему християнству воссияла, и́з рода в род славна̀ память его!.. Читывал ли ты житие-то отца Софонтия?

— Не приводилось, матушка,— ответил Василий Борисыч.— Очень оно редкостно... Сколько книг ни прочел, сколько «сборников» да «цветников» на веку своем ни видал, ни в одном Софонтиева жития не попадалось.

— *Сказание о житии и жизни преподобного отца нашего Софонтия и отчасти чудес его* точно что редкостно; мало где найдется его,— молвила Манефа.— Ты послушай-ка, вот я расскажу тебе про него, про нашего ке́рженского угодника, про скитского молитвенника преподобного и богоносного отца нашего Софонтия... Был священноиноком в Соловецкой киновии, крещение имел старое, до патриарха Никона, хиротонию же новую, от новгородского Питирима... Пришел отец Софонтий в здешние страны и поставил невеликий скиток неподалеку от Деянова починка, в лесу. Первый он был в здешних лесах священник новой хиротонии... С него и началось «бегствующее» от великороссийской церкви священство... А до пришествия Софонтиева на Керженец, на Смольянах, у бояр Потемкиных да у Салтыкова, жил черный поп Дионисий Шуйский, пребывая в великом подвизе, да Трифилий иерей, пришедый из Вологды, да черный поп Сергий из Ярославля... И те отцы старого рукоположенья соборне прияли отца Софонтия... И жил отец Софонтий в здешних лесах немалое время, право правяще слово истины... Церковные обычаи утвердил, смущения и бури на церковь божию, от Онуфрия воздвигнутые, утишил, увещающе возмутителей и приводяще им во свидетельство соборные правила... Подвиги же его духовные и труды телеснии кто исповесть?.. И по многих подвизех течение сверши — ко господу отыде... И честны́е мощи его нетленны и целокупны во благоухании святыни почивают... Великие исцеления подают с верою к ним притекающим... И в том все христиане в наших лесах уверены довольно.

— Сказывали, матушка, про отца Софонтия, что людей он жигал. Правда ли это? — спросил Василий Борисыч.

Нахмурилась Манефа, взглянув на совопросника.

— Не нам судить о том,— строго сказала она.— Нам ли испытывать дела отец преподобных?.. Это с того больше взяли, что отец Софонтий священноинока Варлаама с братиею благословил в келии сгорети... А смутьяны Онуфриева скита в вину ему то поставили, на Ветку жалобны грамоты о том писали, а с Ветки отца Софонтия корили, обличить же не обличили... А хотя бы и вправду людей он жигал?.. Блажен извол о господе!..

Это нынешним слабым людям, прелестию мира смущенным, стало на удивление, а прежним ревнителям древлего благочестия было за всеобдержный обычай... Оттого-то теперешни люди не токмо дивуются, но хулят даже сожжение грешныя плоти небесного ради царствия... Крепости прежней не стало, по бозе ревности нет — оттого и хулят... Не читал разве, что огненное страдание угашает силу огня геенского?..

— Читать-то читал, матушка,— потупясь, ответил Василий Борисыч.— Как не читать?.. А что ж это вы про отца Варлаама помянули? — спросил он Манефу, видимо, желая отклонить разговор на другое...— Про него я что-то не слыхивал.

— Из здешних же отцов был, из керженских,— сказала Манефа.— Жил в пустынной келье с тремя учениками... В Поло́мском лесу недалеко от Улангера, на речке на Ко́зленце, келья у него была. До сих пор благочестивые люди туда сходятся поклониться святому пеплу Христа ради сожженных... Пришел Варлаам в здешние леса из Соли-Галицкой, а в Соли-Галицкой был он до того приходским попом в никонианской церкви. Познав же истину, покинул тамошний град и паству свою, хотя пустыню лобызати и в предании святоотеческом пребыть... Принят же был от отца Софонтия вторым чином, пострижения иноческого от руки его сподобился и, живя безысходно в келии, все священные действа над приходящими совершал. Много душевным гладом томимых, много спасения жаждущих в пустыню к нему притекало, он же, исправляя[1] их, причащал старым запасом[2], что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Книг же имея довольно, отовсюду собираше правоверных на книгоучение, утверждая их в древлем благоверии. Уведали о том мирские галицкие начальники и послали ратных людей со всеоружием и огненным боем изыскать отца Варлаама и учеников его... И более шести недель ходили ратные люди по лесам и болотам, ищучи жительства преподобного. Он же, божественным покровом прикровен, избежа рук мучителевых... Тогда изыде Варлаам из пустыни и прииде к отцу Софонтию совета ради, что́ сотворити при таковом тесном обстоянии... И

[1] Исповедуя.
[2] Запасные дары.

много беседоваху преподобные отцы от святого писания и всю нощь пребыли в молитвах и псалмопениях. И благословил пречестный отец Софонтий того пустынножителя Варлаама огненною смертию живот свой скончати, аще приидут к нему ратные люди, лести же их отнюдь не послушати... Тако поучал Варлаама блаженный Софонтий златоструйныма своима усты: «Не бойся, отче Варлааме, сего временного огня, помышляй же о том, како бы вечного избежати... Малое время в земном пламени потерпети, вечного же царствия достигнути!.. Недолго страдати — аки оком мигнуть, так душа из тела выступит... Егда же вступишь во огнь, самого Христа узришь и ангельские силы с ним. Емлют они, ангелы, души из телес горящих и приносят их к самому Христу, царю небесному, а он, свет, их благословляет и силу им божественную подает... Чего бояться огня?.. Гряди с мучениками во блаженный чин, со апостолы в полк, со святители в лик!..» И тако довольно поучи Варлаама и благослови его идти в пустынную келию на сожжение... На утрие же ратные люди обретоша келию и восхотеша яти отца Варлаама со ученики его... Они же, замкнув келию, зажглися... И ужаснулись ратные, видя такое дерзновение... Лестию пытали самовольных Христовых мучеников из запаленной келии вызвать, обещая учинить их во всем свободны... Они же не смутишася... Аки отроцы вавилонстии в пещи горящей, тако и они в келии зажженной стояли и среди пламени и жупела псалом воспевали: «Изведи из темницы душу мою,— мене ждут праведницы!..» И тако сгорели телесами... Души же блаженных страстотерпцев, аки злато в горниле очищенное, ангелы божии взяху и в небеса ко Христу царю понесли. Господь благослови жертву сию чисту и непорочну.

— Невдалеке от Улангера то место, говорите вы, матушка? — погодя немного, спросил Василий Борисыч.

— Лесной тропой вряд ли пять верст наберется,— ответила Манефа.— В том же лесу учительной матери Голиндухи гробница. И к ней богомольцев много приходит.

— Знать, то место, где сожглися? — спросил Василий Борисыч.

— Признаку теперь не осталось, ведь больше полуто-

раста годов после того прошло! — ответила Манефа.— Малая полянка в лесу, старый голубец[1] на ней стоит, а возле четыре высоких креста... Вот и все... От жилья удалено, место пусто, чему там быть?.. Лет восемьдесят или больше тому еще находили угольки от сожженной Варлаамовой кельи. А ныне и того нет — все разобрано правоверными... По обителям те Варлаамовы угли сохраняются... И у нас в обители есть таковые угольки... Воду с них болящим даем, и по вере пиющих целения бывают.

— Дивные у вас, матушка, места по лесам,— с умиленьем молвил Василий Борисыч.— Ваши пустыни, яко книги, проповедуют силу божию, явленную во святых его угодниках.

— Дивен бог во святых его!..— набожно сказала Манефа, опуская очи.— Люди мы, Василий Борисыч, простые, живем не ради славы, а того только испытуем, како бы вечное спасение восхитити. Потому бумаге и чернилам повести о наших преподобных не предаем... Токмо в памяти, яко в книге, златом начертанной, храним добропобедные подвиги их... Поживи с нами, испытай пустынные наши места — возвестят они тебе славу божию, в преподобных отцах явленную... Много святопочитаемых мест по лесам Керженским и Чернораменским... Яко крин, процветала пустыня наша, много в ней благодати было явлено... А теперь всему приходит конец!..— с тяжелым вздохом прибавила Манефа и поникла головой.

Все молчали.

— Благословите же, матушка,— перервал молчание Василий Борисыч.— После бы трапезы отправился я к отцу Софонтию — утреню там ведь с солнечным всходом зачинают... Надо поспеть...

— Поспеешь, друг, поспеешь,— сказала Манефа.— Нешто я тебя пеша пущу?.. Обвечереет, велю подводу сготовить, к свету-то доедешь — ночи теперь светлые!.. На Ларионово поезжай, прямиком... Дорога блага, зато недалеко... Пяднадцать верст, больше не наберется.

— Из вашего послушания, матушка, выдти не мо-

[1] Могильный памятник, состоящий из деревянного сруба с кровлей на два ската и с крестом на ее средине. Прежде в лесных сторонах ставили их и на кладбищах; теперь они запрещены.

гу,— ответил Василий Борисыч.— Может, из обительских кто поедет? — спросил он.

— Как не поехать?.. Поедут,— молвила Манефа.— Завтра увидишь, как у нас память отца Софонтия справляют: сначала утреню соборне поем, потом часы правим и канон за единоумершего... А после соборного канона особные зачнут петь по очереди от каждой обители, из которой приедут старицы... Прежде сама я каждый год к отцу Софонтию езжала, ноне не могу, опять боюсь слечь... Аркадию пошлю, уставщицу, у нее же сродственники в Деянове есть, оно и кстати. И тебе с нею будет где пристать... Успокоишься там после службы-то... Служба будет долгая и ранняя.

— И нас бы, матушка, с Марьюшкой да с Устиньей пустила,— молвила Фленушка, обращаясь к Манефе.

— Без себя не пущу... Бед натворите,— строго ответила Манефа.

— Никаких бед не натворим,— подхватила Фленушка.— Как только отпоем канон, прямо в Деяново.

— И не поминай,— сказала Манефа.— Тут, Василий Борисыч, немало греха и суеты бывает,— прибавила она, обращаясь к московскому гостю.— С раннего утра на гробницу деревенских много найдет, из городу тоже наедут, всего ведь только пять верст до́ городу-то... Игрища пойдут, песни, сопели, гудки... Из ружей стрельбу зачнут... А что под вечер творится — о том не леть и глаголати.

— Да ведь мы бы с матушкой Аркадией...— завела было опять Фленушка.

— Углядеть ей за вами!.. Как же!..— возразила Манефа.— Устиньюшка!

Из-за перегородки выглянула Устинья Московка.

— Молви Дементью, подводы готовил бы к отцу Софонтию ехать,— стала приказывать Манефа.— Гнедка с соловенькой в мою кибитку, сам бы Дементий вез — Василий Борисыч в той кибитке с Аркадией поедет. А сивую с буланой в Никанорину повозку заложить... Править Меркулу — а кому в той повозке сидеть, после скажу... Аркадии накажи, перед солнечным заходом зашла ко мне бы... Виринеюшке молви, канун бы сготовила да путную трапезу человек на десяток... Матери Таифе скажи — поминок сготовила бы деяновскому срод-

нику Аркадии, обночуют, может статься, у него. Мучки пшеничной полмешка припасла бы, овса четверть да соленой рыбы сколько придется, пряников да орехов ребятишкам, хозяйке новину́... Да чтоб Аркадия ладану взять не забыла да свеч. А кацею́ брала бы из стареньких, нову-то не поломать бы дорогой... Бутыль взяла бы побольше на̀ воду из кладезя, а того бы лучше бочонок недержанный — бутыль-то разбиться может дорогой... Прикажи, чтоб должным порядком все было... ступай.

Сотворив перед игуменьей метания, вышла Устинья Московка.

— А воротишься от Софонтия,— молвила Манефа Василью Борисычу,— на пепел отца Варлаама съезди да заодно уж и к матери Голиндухе. Сборища там бывают невеликие, соблазнов от мирских человек не увидишь — место прикровенное.

В это время отворилась дверь и вошла в келью казначея Таифа. Положив уставной семипоклонный нача̀л и сотворив метания, подала она игуменье письмо и сказала:

— Конон Елфимовский привез. В город ездил, там ему Осмушников Семен Иваныч отдал.

Молча распечатала Манефа письмо, посмотрела в него и молвила:

— От Дрябиных из Питера.

— От Дрябиных? — спросил Василий Борисыч.— Вы с ними тоже в знакомстве, матушка?

— Благодетели, — ответила Манефа. — Дрябины давно нашей обители знаемы, еще ихни родители с покойницей матушкой Екатериной знакомство водили. Когда нашим старицам в Питере случается бывать, завсегда пристают у Никиты Васильича.

— Ведь они с Громовыми были первыми затейщиками австрийства,— сказал Василий Борисыч.

— Знаю,— ответила Манефа.— Они же ведь и в сродстве меж собой. Дочка Никиты Васильича, Акулина Никитишна, за Громова выдана.

— Так точно,— подтвердил Василий Борисыч.

— По родству у них и дела̀ за едино,— сказала Манефа.— Нам не то дорого, что Громовы с Дрябиными да с вашими москвичами епископство устрояли, а то, что к знатным вельможам вхожи и, какие бы по старообряд-

ству дела ни были, все до капельки знают... Самим Громовым писать про те дела невозможно, опаску держат, так они все через Дрябиных... Поди, и тут о чем-нибудь извещают... Читай-ка, Фленушка.

Манефа подала ей письмо, и та начала:

— «Пречестной матушке Манефе о еже во Христе с сестрами землекасательное поклонение. При сем просим покорнейше вашу святыню не оставить нас своими молитвами ко господу, да еже управити путь наш ко спасению и некосно поминати о здравии Никиты, Анны, Илии, Георгия, Александры и Акилины и сродников их, а родителей наших по имеющемуся у вас помяннику безпереводно. Гостила у нас на святой пасхе старица Милитина из ваших местов, из Фундрикова скита, а сама родом она валдайская. И сказывала нам матушка Милитина, что вам, пречестная матушка Манефа, тяжкая болезнь приключилася, но, господу помогающу, исцеление получили. И мы со всеми нашими домашними и знаемыми много тому порадовались и благодарили господа, оздравевшего столь пресветло сияющую во благочестии нашу матушку, крепкую молитвенницу о душах наших. При сем, матушка, с превеликим прискорбием возвещаем вам, что известный вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и напастях, хотящих на все ваши жительства восстати. И та опасность не малая, а отвратить ее ничем не предвидится. Велено по самой скорости шо шле лтикы послать, чтоб их ониласи и шель памоц разобрать и которы но мешифиц не приписаны, тех бы шоп шылсак...» [1]

— Подай,— перервала Манефа.— Сама разберу... О господи, владыко многомилостивый! — промолвила

[1] Это так называемая «тарабарская грамота», бывшая в употреблении еще в XVII веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой, теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. Пишут согласные буквы русской азбуки в таком порядке:

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н,

щ, ш, ч, ц, х, ф, т, с, р, п

и употребляют *б* вместо *щ*, *щ* вместо *б* и т. д. По этой тайнописи в письме к Манефе было написано: «Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать и весь народ разобрать, и которы по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать». Кроме этой, самой употребительной тайнописи, у старообрядцев есть еще несколько других.

она с глубоким вздохом, поднимая глаза на иконы.— Разумеешь, друг, тайнописание? — обратилась она к Василию Борисычу.

— Маленько разумею, матушка,— ответил он.

— Понял? — спросила Манефа.

— Понял.

— Чем бы вот с Софронами-то вожжаться — тут бы руку-то помощи Москва подала,— с жаром сказала Манефа.— Да куда ей! — примолвила она с горькой усмешкой,— Исполнились над вашей Москвой словеса пророческие: «Уты, утолсте, ушире и забы бога создавшего»... Соберешься к Софонтию — зайди ко мне, Василий Борисыч.

Встала Манефа, и матери и белицы все одна по другой в глубоком молчаньи вышли из кельи. Осталась с игуменьей Фленушка.

Последнею вышла Устинья. За ней петушком Василий Борисыч. Настиг он румяную красотку на завороте у чуланов и щипнул ее сзади.

— Ох!.. чтоб тебя!..— чуть не вскрикнула Устинья.

В ту самую пору вышла из боковой кельи Марьюшка.

Вздохнув, Василий Борисыч промолвил вполголоса:

— Искушение!..

Затем приосанился и тихо догматик запел:

— «Всеми-и-ирную славу, от человек прозябшую...»

* * *

Проводя московского посланника, Манефа принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных. Грозны были петербургские вести.

Извещал Дрябин, что в комитете министров решено дело о взятой на Дону сборной Оленевской книжке. Велено переписать все обители Оленевского скита и узнать, давно ли стоят они, не построены ли после воспрещенья заводить новые скиты, и те, что окажутся недозволенными, уничтожить... Писал Дрябин, что дошло до Петербурга о Шарпанской иконе, и о том, что тамошни старицы многих церковников в старую веру обратили... Навели справку в прежних делах, нашли, что Шарпанский скит лет пятнадцать перед тем сгорел дотла, а это было после воспрещенья заводить новые скиты. Потому и хотят послать из Петербурга доверенных лиц разу-

знать о том доподлинно, и если Шарпан ставлен без дозволенья, запечатать его, а икону, оглашаемую чудотворной, взять... Уповательно, прибавлял Дрябин, что и по всем другим скитам Керженским и Чернораменским такая же переборка пойдет, дошло-де до петербургских властей, что много у вас живет беглых и беспаспортных... Громовы, писал в заключение Дрябин, неотступно просили, кого нужно, хоть на время отвести невзгоду от Керженца... Два обеда ради того делали, за каждым обедом человек по двадцати генералов кормили, да на даче у себя Громовы великий праздник для них делали. Всем честили, всем ублажали, однако ж ни в чем успеть не могли — потому что вышел сильный приказ впредь староверам потачки не давать и держать их в строгости... О красноярском деле ни слова — не дошли еще, видно, вести о нем до Питера.

Призадумалась Манефа. Сбывались ее предчувствия... Засуча рукава и закинув руки за̀ спину, молча ходила она ровными, но быстрыми шагами взад и вперед по келье... В глубоком молчаньи сидела у окна Фленушка и глаз не сводила с игуменьи.

— Почтову бумагу достань,— сказала Манефа.— Со слов писать будешь... Здесь садись... Устинья!

Фленушка вышла за бумагой, Устинья явилась в дверях.

— Никого ко мне не пускать ни по коему делу. Недосужно, мол,— сказала ей Манефа...

Низко поклонясь, Устинья спряталась в свою боковушу.

Через минуту она опять выглянула и спросила:

— Обедать не собрать ли?.. В келарне давно уж тра́пе́зуют.

— Не до еды,— резко ответила ей Манефа.— Ступай в свое место, не докучай...

Минуты через две Фленушка сидела уж за письмами. Ходя по келье, Манефа сказывала ей, что писать.

Первое письмо писали в город к тамошнему купцу Строинскому, поверенному по делам Манефы.

«Ради господа, благодетель Полуехт Семеныч,— писала Фленушка,— похлопочи купчие бы крепости на дома совершить как возможно скорее. Крайний дом к соляным анбарам купи на мое имя, рядом с ним — на Флёнуш-

ку; остальные три дома на Аркадию, на Таифу да на Виринею. Хоть и дорожиться зачнут Кожевниковы, давай, что запросят, денег не жалей — остались бы только за нами места. За строеньем тоже не гонись — захотят свозить на иное место, пущай их свозят. Отпиши сколь можно скорее, сколько денег потребуется — с кем-нибудь из матерей пришлю. Покучься в суде Алексею Семенычу; дело бы поскорее обделал, дай ему четвертную да еще посули, а я крупчатки ему, опричь того, мешка два пошлю, да икру мне хорошую из Хвалыни прислали, так и ей поделюсь, только бы по скорости дело обладил. Да нет ли еще поблизости от Кожевниковых продажного местечка али дома большого для Марьи Гавриловны. Хочет по вашему городу в купечество приписаться и торги заводить...»

Кончив письмо к Строинскому, Манефа другое стала сказывать — к Патапу Максимычу. Извещала брата о грозящих скитам напастях и о том, что на всякий случай она в городе место под келью покупает... Умоляла брата поскорее съездить в «губернию» и там хорошенько да повернее узнать, не пришли ли насчет скитов из Петербурга указы и не ждут ли оттуда больших чиновников по скитским делам. «А хоша,— прибавляла Манефа,— и не совсем еще я от болезни оправилась, однако ж, хоть через великую силу, а на сорочины по Настеньке приеду, и тогда обо всем прочем с тобою посоветую».

В Москву писаны были письма к Петру Спиридонычу, к Гусевым и на Рогожское, к матери Пульхерии. Извещая обо всем, что писали Дрябины, и о том, какое дело вышло в Красноярском скиту, Манефа просила их в случае неблагополучия принять на некое время обительскую святыню, чтоб во время переборки ее не лишиться. «Посылаю я к вам в Москву и до Питера казначею нашу матушку Таифу, а с нею расположилась отправить к вам на похранение четыре иконы высоких строгоновских писем, да икону Одигитрии богородицы царских изографов, да три креста с мощами, да книг харатейных и старопечатных десятка три либо четыре. А увидясь с матушкой Августой, ша́рпанской игуменьей, посоветую ей и Казанскую богородицу к вам же на Москву отправить, доколь не утишится воздвигаемая на наше убожество презельная буря озлоблений и напа-

стей. А то, оборони господи, лишиться можем столь бесценного сокровища, преизобильно верующим подающего исцеления». Насчет епископа Софрония писала, что, удостоверясь в его стяжаниях и иных недостойных поступках, совершенно его отчуждились и попов его ставленья отнюдь не принимает, а о владимирском архиепископе будет на Петров день собрание, и со всех скитов съедутся к ней. Что на том собрании уложат, о том не преминет она тотчас же в Москву отписать. Уведомляла и о Василье Борисыче, благодарила за присылку столь дорогого человека и просила не погневаться, если задержит его на Керженце до окончания совещаний о новом архиепископе и о грозящих скитам обстоятельствах.

За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка... Все сплошь было писано тарабарской грамотой. Благодаря за неоставление, Манефа умоляла Дрябиных и Громовых постараться отвратить находящую на их пустынное жительство грозную бурю, уведомляла о красноярском деле и о скором собрании стариц изо всех обителей на совещание о владимирском архиепископе и о том, что делать, если придут строгие о скитах указы.

Кроме того, были писаны письма во все скиты к игуменьям главных обителей, чтоб на Петров день непременно в Комаров к Манефе съезжались. Будет, дескать, объявление о деле гораздо поважней владимирского архиепископства.

* * *

День к вечеру склонялся, измучилась Фленушка писавши, а Манефа, не чувствуя устали, бодро ходила взад и вперед по келье, сказывая, что писать. Твердая, неутомимая сила воли виднелась и в сверкающих глазах ее, и в разгоревшихся ланитах, и в крепко сжатых губах. Глядя на нее, трудно было поверить, чтоб эта старица не дольше шести недель назад лежала в тяжкой смертной болезни и одной ногой во гробу стояла.

Когда Фленушка кончила письма, Манефа внимательно их перечитала и в конце каждого сделала своей рукой приписку. Потом запечатала все и тогда только, как Фленушка надписала на каждом, к кому и куда письмо посылается, заговорила с ней Манефа, садясь у стола на скамейке:

— Потрудились мы с тобой, Фленушка, ради праздника. Заморила я тебя. Кому Троицын день, а нам с тобой сочельник... Подь-ка, голубка, потрапе́зуй да скажи Устинье, кликнула бы скорее Таифу.

— Я было хотела просить тебя, матушка,— молвила Фленушка, не трогаясь с места.

— Что тебе надо, моя ластушка? — мягким голосом ласково спросила ее Манефа.

— Отпусти к Софонтию,— умильно взглянув на нее, молвила Фленушка.

— Сказано «не пущу», значит, не о чем и толковать,— нахмурясь, сказала Манефа.

— Каждый год езжали...— потупясь, вполголоса проговорила Фленушка.

— Со мной,— перебила Манефа.— Так и я, бывало, жду не дождусь, кончилась бы служба, да скорей бы с поляны долой... Все глаза, бывало, прогляжу за вами... А матери Аркадии как усмотреть?

Ни словечка не ответила Фленушка. Подошла к столу, отобрала письма к матерям и спросила:

— С Аркадией пошлешь?.. К Софонтию со всех обителей матери съедутся... Зараз бы всем можно было раздать... А с работниками посылать — когда развезут?

— Правда твоя,— молвила Манефа.— Так будет лучше... Не хотелось бы только с Аркадией отправлять. В разговорах лишнего много от своего ума наплетет.

— А надо еще и на словах с матерями говорить? — спросила Фленушка.

— Без того нельзя,— ответила Манефа.

— А про то, что Дрябины пишут, не всем же, чай, матерям сполна сказывать? — продолжала Фленушка.

— До поры до времени можно ль всем про то говорить? — молвила Манефа.— Попробуй-ка Евникее Прудовской сказать, в тот же день всему свету разблаговестит. Хлопот после не оберешься.

— А матушке Августе Шарпанской, думаю, надо сказать,— продолжала Фленушка.— Из Оленева матушке Маргарите тоже, я думаю, надо; матушке Фелицате тоже... А еще кому?

— Да больше-то, пожалуй, и некому,— молвила Манефа.— До Петрова дня все дело беспременно надо втайне держать, чтоб успеть в городу́ места подешевле

купить. А то, пожалуй, при совершении-то купчей сделают препятствие либо задержку какую. Да и Кожевниковы, как узнают, что готовится нам из обителей выгонка, такую цену заломят, что только ахнешь... Не суметь этого Аркадии, не суметь! Очень уж она невоздержна на язык... Опять же у Евникеи в Прудах Аркадьины сродницы живут — хоть наказывай ей, хоть не наказывай, не утерпит — до капельки все расскажет им, а те Евникее. А Евникее сказать — все едино, что на базаре с барабаном в народ объявить...

— Разве матушку Таифу пошлешь? — сказала Фленушка.

— То-то и есть, что нельзя,— молвила Манефа.— В Москву Таифе надо ехать да в Питер... Завтра же ей отправляться.

— Кого же, коли не Таифу?

— Ума не приложу,— ответила Манефа.— Вот вертись тут одна, как знаешь: обитель большая, а доведется нужное дело, опричь Таифы, и послать некого.

— Пошли меня, матушка... Все управлю,— подхватила Фленушка.

— С ума сошла?.. По тебе ль такое дело? — подняв голову и пристально взглянув на Фленушку, молвила Манефа.

— Попробуй — увидишь,— сказала Фленушка, глядя в упор на Манефу.

— Полно пустяки городить,— проговорила Манефа.— Статочно ли дело тебя посылать?

— Вольно тебе, матушка, думать, что до сих пор я только одними пустяками занимаюсь,— сдержанно и степенно заговорила Фленушка.— Ведь мне уж двадцать пятый в доходе. Из молодых вышла, мало ли, много ли — своего ума накопила... А кому твои дела больше меня известны?.. Таифа и та меньше знает... Иное дело сама от Таифы таишь, а мне сказываешь... А бывало ль, чтоб я проговорилась когда, чтоб из-за моего болтанья неприятность какая вышла тебе?

— Да к чему ты все это говорищь мне? — спрашивала Манефа.

— А к тому говорю, чтоб к Софонтию меня ты послала. Аркадия свое дело будет управлять, а я с мате-

рями что надо переговорю,— решительным голосом сказала Фленушка.

— Набаламутишь,— молвила Манефа.

— Да что я за баламутница в самом деле? — резко ответила Фленушка.— Что в своей обители иной раз посмеюсь, иной раз песню мирскую спою?.. Так это, матушка, дома делается, при своих, не у чужих людей на глазах... Вспомнить бы тебе про себя, как в самой-то тебе молодая кровь еще бродила.

— Замолчи!..— остановила Манефа Фленушку.— С чего ты взяла такие речи мне говорить?.. А?..

— Стары матери мне сказывали, что была ты у отца с матерью дитя любимое, балованное, что до иночества была ты развеселая — что на уме у тебя только песни да игры бывали... Видно, и я в тебя, матушка,— усмехнувшись, сказала Фленушка.

— Какие матери тебе сказывали?.. Которые?..— взволнованным голосом спросила Манефа.

— Покойница Платонида говаривала,— ответила Фленушка.

— Нешто помнишь ее? — с испугом спросила Манефа и тяжело перевела дыхание.

— Как же не помнить? Как теперь на нее гляжу,— отвечала Фленушка.— Ведь я уж семилеткой была, как она побывшилась.

— Что ж Платонида тебе сказывала?.. Что?.. Говори... все, все говори,— дрожащим от волнения голосом говорила Манефа, опуская на глаза камилавку и закрывая все лицо креповой наметкой.

— Мало ли что... Всего не упомнишь,— ответила Фленушка.— Добрые советы давала: «Почитай, говорила, матушку Манефу, как родную мать свою».

— Что-о-о?..— вскрикнула Манефа, но тотчас же сдержала порыв встревоженного сердца. Обдернув наметку, она склонила голову.

— «Почитай, говорила, ее, как мать родную,— повторила Фленушка.— Тебе, говорила она, во всем свете никого нет ближе матушки Манефы...» Вот что говорила мне Платонида.

— А еще? — глухо прошептала Манефа.

— Не помню,— ответила Фленушка.

Смолкла Манефа, а Фленушка все еще стояла перед

ней и молча общипывала листья со стоявшей в углу троицкой березки. Минут с пять длилось молчанье.

— Обедать ступай,— сказала Манефа.

— Не хочется,— обиженным голосом ответила Фленушка, продолжая ощипывать березку.

Взглянула на Фленушку Манефа, а у ней слезы по щекам бегут.

— Устинья! — крикнула игуменья.

Устинья вошла и стала перед нею.

— Кликни Таифу,— молвила ей Манефа, а когда Устинья вышла, обратилась к Фленушке и сказала:

— Сбирайся к Софонтию.

Фленушка промолчала. Нескорой поступью подошла к столу, взяла письма и спросила:

— Раздать?

— Раздай,— ответила Манефа.

— Марье с Устиньей сбираться?

— Хорошо,— молвила Манефа и с нетерпеньем махнула рукой.

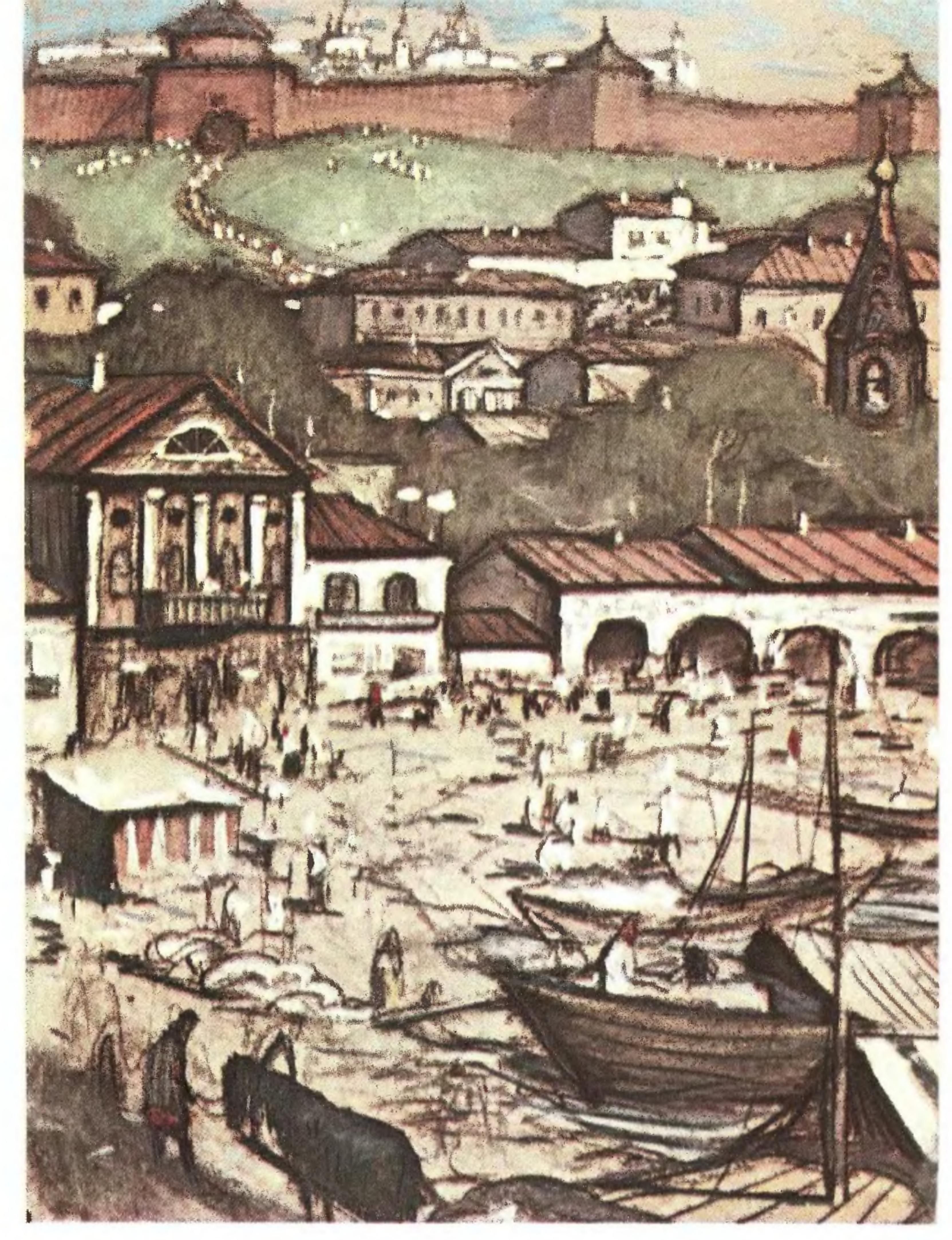
Тихими шагами пошла Фленушка в боковушку. Там у окна сидела грустная, угрюмая Марьюшка. С тоски да со скуки щелкала она каленые орехи.

— Турись, турись, Марюха!.. Наспех сряжайся!.. К Софонтию!.. — попрыгивая перед ней, кричала Фленушка.

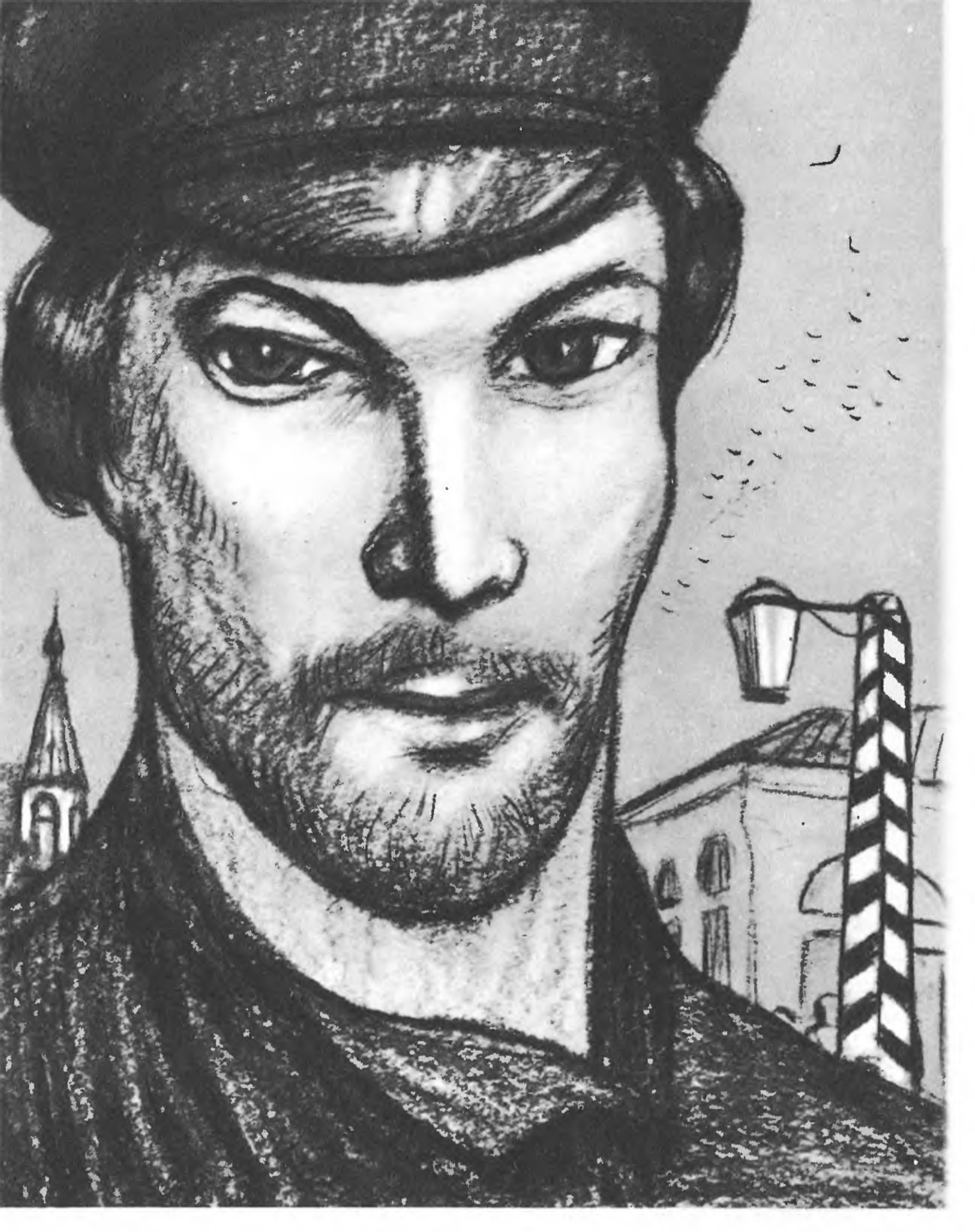
— Взбесилась, что ли?.. Аль совсем с ума своротила? — привередливо ответила головщица и с досадой отвернулась от подруги.

— Попадья взбесилась — не я,— захохотала Фленушка, и хоть голодна была для праздника, а пустилась в пляс перед Марьюшкой, прищелкивая пальцами и припевая:

Как у нашего попа
Староверского
Взбесилася попадья,
Вовсе стюшилася!..
Староверский поп
Был до девок добр —
Нету денег ни гроша,
Зато ряса хороша.
Он и рясу скидает,
Красным девкам отдает.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава III.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава III.

— Да отвяжешься ли ты?.. Господи, как надоела!..— плаксиво вскликнула головщица, оттолкнув Фленушку, в порыве причуд вздумавшую ерошить ей голову...

— Не верещи!.. Толком говорю!.. К Софонтию едем,— топнув ногой, крикнула Фленушка.— Вот письма к матерям... Со мной посылает.

Пересмотрела Марьюшка письма и уверилась, что в самом деле велено Фленушке ехать к Софонтию.

— С кем поедешь? — спросила она.

— С тобою да с Устиньей,— ответила Фленушка.— Аркадия поедет, Васеньку прихватим, он нам песенку дорогой споет.

— За Васенькой давеча я кое-что приметила,— молвила Марьюшка.

— Чего ты приметила? — спросила Фленушка.

— С Устиньей заигрывает,— сказала головщица.

— А тебе завидно?

— Ну его к бесу, чернорылого! — воскликнула Марьюшка.— Нужно мне этакого!.. Захочу, в тысячу раз лучше твоего Васьки найду.

— А ты, девка, больно-то не зарывайся,— молвила Фленушка.— Чем тебе Василий Борисыч неказист?.. Совсем как есть молодчик — ростом не вышел, зато голосом взял.

— Лёгко ли дело! — перебила головщица.— Ножки как лутошки, ходит приседает, ровно редьку сажает.

— С тобою говорить надо поевши, а у меня сегодня, кроме чая, маковой росинки во рту не бывало,— сказала Фленушка.— Принеси-ка чего-нибудь, а я меж тем в дорогу стану сбираться.

* * *

Неподалеку от деревни Деянова, в стороне от большой дороги, стоят два деревянных креста, каждый сажени по полторы вышиной. От этих крестов в глубь леса идет узенькая тропинка. Конного езду тут нет.

Пройдя без малого версту по этой тропе, встретится поляна, поросшая лесными травами. Середи ее ветхий, полусгнивший голубец с тесовой крышей на два ската. Скат, обращенный к северу, от старости почти сплошь порос серо-зеленым ягелем [1]. Под нижним венцом голуб-

[1] Ягель — лишай, растение, близкое ко мхам, Lichen pulmonaris.

ца́ много ям, нарытых руками богомольцев, бравших песок ради целения от недугов. Рядом с го̀лубцем возвышаются саженные старые деревянные кресты, а меж ними вросла в землю невысокая часовенка; в ней на полке несколько облинявших образов. В стороне неглубокий колодезь. Вода его тоже слывет в народе целебной. Больше нет ничего на поляне. Лишь крапива напоминает, что когда-то тут было жилье.

Это гробница Софонтия.

Пусто теперь место, где, укрываясь под сенью дремучего леса, когда-то стояла невеликая, но по всему Керженцу, по всему старообрядству славная обитель соловецкого выходца Софонтия... Зимой всю поляну снегом заносит; из сугробов не видать ни гробницы, ни часовенки, только верхушки крестов немного заметны... Летом ходят сюда на поклонение отцу Софонтию, но редко... Большие сборища бывают только на духов день... Разоренная Питиримом часовня Софонтьева скита ставлена была во имя этого праздника, и, по скитскому обычаю, ежегодно на этот праздник сбирались к Софонтию прихожие богомольцы, для них поставлялись у него столы с великими кормами и чинились великие учреждения [1]. В память того праздника и тех кормов до сих пор ежегодно на духов день сбирается сюда окрестный и дальний народ.

Запустело место, где жил отец Софонтий, куда сходились на соборы не только отцы с Керженца и со всего Чернораменья, но даже из дальних мест, из самой зарубежной Ветки. Запустело место, откуда выходили рьяные проповедники «древлего благочестия» в Прикамские леса, на Уральские бугры и в дальнюю Сибирь... «Кержаками» доныне в тех местах старообрядцев зовут, в память того, что зашли они туда с Керженца, из скитов Софонтьева согласия.

Запустело место, где Софонтий боролся с соседними онуфрианами, чтившими за свято богоборные письма Аввакума о пресвятой троице. Запустело место, где Софонтий отстоял самостоятельность Керженца, не покоряясь зарубежной Ветке... Процвела во дни Софонтия пустыня, им насажденная, и не дожил он до грозного дня, когда по повелению Питирима капитан Ржевский послал

[1] Угощение.

из Нижнего рассыльщиков по бревнам разнести и часовни и кельи обительские...

Тогда-то совершилось «падение Керженца». Семьдесят семь скитов было разорено рассыльщиками. Голова Александра дьякона скатилась под топором палача в Нижнем-Новгороде, несколько старцев сожжено на кострах возле села Пафнутова. И сорок тысяч старообрядцев, не считая женщин, бежало из Керженских лесов за литовский рубеж в подданство короля польского.

Все то было и былью поросло.

* * *

Еще утренняя заря не разгоралась, еще солнышко из-за края небосклона не выглядывало, как на большой дороге у Софонтьевых крестов одна за другой зачали становиться широкие уёмистые скитские повозки, запряженные раскормленными донельзя лошадьми и нагруженные пудовыми пуховиками и толстыми матерями.

Это был первый летний сбор келейниц на одном месте... чинны и степенны были их встречи. По-заученному клали они друг перед другом низкие поклоны, медленно ликовались и невозмутимо спрашивали одна другую «о спасении». Разговоры велись не долгие, все спешили пешком к гробнице Софонтия.

Там по всем полкам часовенки наехавшие матери расставили ярко горевшие золоченые иконы, украшенные жемчугами и самоцветными камнями, понавешали под ними бархатные, парчовые и атласные пелены, расставили подсвечники и зажгли в них не одну сотню свеч. Гробницу также покрыли пеленáми. Клубы дыма от росного ладана наполняли часовню и голубыми струями вились из нее по свежему утреннему воздуху... Началась служба... Громкое пение нескольких десятков съехавшихся изо всех обителей певиц оглашало пустынное место... Уже совсем обутрело, и отправляемая на гробнице служба подходила к концу, когда толпы народа в праздничных нарядах стали мало-помалу сходиться на поляну. Ситцевые и кумачные рубахи деревенских парней и разноцветные сарафаны молодиц и девушек смешались с черными рясами келейниц... Пестрая толпа вскоре сделалась еще разнообразней. Пришли горожане. Все приходившие молились у гробницы, брали песочку, иные от-

ламывали кусочки гнилушек от го̀лубца, а потом шли умываться к целительному кладезю, по преданью, ископанному руками самого Софонтия.

Скитские матери только что кончили службу, загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам... Когда пришла на поляну праздничная толпа, и часовня и гробница имели уже обычный свой вид. На поляне скоро стало тесно. Народ разбрелся по лесу.

Сжавшись в кучку, матери держались в сторонке. Рассевшись в тени меж деревьев, поминали они преподобного отца Софонтия привезенными из обителей яствами и приглашали знакомых разделить с ними трапезу. Отказов не было, и вскоре больше полутораста человек, разделясь на отдельные кучки, в строгом молчаньи ели и пили во славу божию и на помин души отца Софонтия... Деревенские парни и горожане обступили келейниц и, взглядывая на молодых старочек и на пригоженьких белиц, отпускали им разные шуточки.

А вот в стороне от гробницы городской торгаш раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и другими «гостинцами»... С другой стороны Софонтьевой поляны появился такой же стол и такой же парусинный шатер с вареной печенкой, со студенью и другими закусками, с расписными жбанами ядреного квасу и с мягкими, с обоих концов востроносыми сайками, печенными на соломе... Рядом юркий целовальник из елатомцев, в красной александрийской рубахе и плисовых штанах, поскрипывая новыми сапогами, расставлял на своем прилавке полштофы и косушки, бутылки с пивом и медом... Веселый говор сменил только что стихшие заупокойные стихеры. Где-то в лесу послышалась гармоника, забренчала балалайка. Кто-то залился громкой залихватской песнью, к нему пристали десятки мужских и женских голосов. Раздался выстрел из мушкетона, другой, третий... Матери подобру-поздорову долой с Софонтьевой поляны, где народное гульбище стало разыгрываться нараспашку.

Вплоть до позднего вечера продолжался широкий разгул поклонников Софонтия. Хороводов не было, зато песни не умолкали, а выстрелы из ружей и мушкетонов становились чаще и чаще... По̀ лесу забродили парочки...

То в одном, то в другом месте слышались и шелест раздвигаемых ветвей, и хруст валежника, и девичьи вскрикивания, и звонкий веселый хохот... Так кончились Софонтьевы помины.

* * *

Выйдя из лесу на большую дорогу, разложили келейницы свой скарб по повозкам и одна за другою пошли пешком в Деяново. Тут недалеко, всего версты полторы. У каждой матери были в той деревне свои знакомые, с раннего утра ожидавшие Софонтьевых поклонниц. В каждом доме хозяйки, рук не покладаючи, варили рыбные похлебки, пекли пироги и оладьи, стряпали яичницы, пшѐнники, да лапше́нники, пше́нницы, да лапшѐнницы, кисели черничные, кисели малиновые, кисели брусничные и другие яствы праздничного крестьянского обеда... За эти трапезы келейницы щедро расплачивались разными припасами, а иногда и деньгами.

Вот одни за другими и́дут матери, окруженные белицами. Идут, а сами то и дело по сторонам оглядываются, не улизнула ли которая белица в лесную опушку грибы сбирать, не подвернулся ли к которой деревенский парень, не завел ли с ней греховодных разговоров. Еще на Софонтьевой поляне только что покончили службу, старицы покрыли свое «иночество»[1] широкими черными платками. Но, несмотря на такое «скрытие иночества» под шерстяным платком, всякий узнавал скитницу по ее поступи и по всему наружному виду.

Вот впереди других идет сухопарая невысокого роста старушка с умным лицом и добродушным взором живых голубых глаз. Опираясь на посох, идет она не скоро, но споро, твердой, легкой поступью и оставляет за собой ряды дородных скитниц. Бодрую старицу сопровождают четыре инокини, такие ж, как и она, постные, такие ж степенные. Молодых с ними не было, да очень молодых в их скиту и не держали... То была шарпанская игуменья, мать Августа, с сестрами. Обогнав ряды келейниц, подошла к ней Фленушка.

— Там на многолюдстве, в большом собраньи, не посмела я доложить вам, матушка Августа, про одно дель-

[1] Так называется весь головной убор старообрядских инокинь: камилавка, наметка и апостольник.

це,— сказала она.— Матушка Манефа нарочито послала меня сюда поговорить с вами.

— Говори, что наказано,— молвила Августа строго, но с кроткой на устах улыбкой.

— Пройдемтесь сторонкой,— сказала Фленушка.

— Аль по тайности что? — равнодушно спросила мать Августа.

— По тайности,— ответила Фленушка.

И обе перешли на другую сторону широкой столбовой дороги.

— Эку жару господь посылает,— молвила Августа, переходя дорогу.— До полдён еще далеко, а гляди-ка, на солнышке-то как припекает... По старым приметам, яровым бы надо хорошо уродиться... Дай-ка, господи, благое совершение!.. Ну, что же, красавица, какие у тебя до меня тайности? — спросила она Фленушку, когда остались они одаль от других келейниц.

— Письмецо матушка Манефа до вас прислала и на речах кой о чем приказала,— молвила Фленушка, отдавая письмо.

— Не матушкина рука,— взглянув на письмо, сказала Августа и спрятала его под апостольник.

— Не совсем еще оправилась она после болезни-то,— ответила Фленушка.— Самой писать еще невмоготу... Я с ее слов написала.

— Ты писала? — кротко спросила мать Августа, вскинув глазами на Фленушку.

— С матушкиных слов,— ответила Фленушка.— На конце и ее руки приписка есть. Поглядите.

— Погляжу,— молвила Августа.— Какие ж тайности ты мне скажешь?

— Да насчет того, что тут писано... Матушка велела вам на словах объяснить...

— Что ж такое? — спросила Августа.

— Зовет к себе на Петров день,— сказала Фленушка.— Собранье будет у нас в обители. Изо всех скитов съедутся матери.

— По какому это делу?

— Из Москвы насчет епископа прислали посланника...

— Не приемлем,— отрезала Августа.— Из-за этого не стоит стары кости трясти... Не буду.

— Софронию отвержену быть,— продолжала Фленушка.

— Не наше дело,— сказала Августа.

— Нового архиепископа думают поставить — владимирского,— продолжала-таки свое Фленушка.

— Не приемлем,— еще раз отрезала Августа и хотела идти через дорогу к своим старицам.

— Да еще про скит ваш писано, матушка, и мне больше про это поговорить наказано,— молвила Фленушка.

— Что ж такое?— бесстрастно спросила Августа.

— Из Питера письма получены,— сказала Фленушка.— Казанскую у вас хотят отобрать... Насчет вашего скита велено разузнать: не после ли пожара он ставлен...

— Слышала,— равнодушно отозвалась мать Августа.

— На этот счет и велено мне с вами переговорить,— молвила Фленушка.— Дело общее, всем бы надо вместе обсудить его, как и что делать.

— Судить-то нечего,— молвила Августа.

— Как беду отвести, где искать помощи, заступников...— говорила Фленушка.

— Есть у нас и помощь и заступа,— сказала мать Августа.— Других искать не станем.

— Где же ваша заступа? — спросила Фленушка.

— У царицы небесной,— твердо ответила Августа.— Покаместь она, матушка, убогого дома нашего не оставила, какую еще нам искать заступницу?.. Не на помощь человеческую, на нее надежду возлагаем... Скажи, красавица, матушке Манефе: не погневалась бы, не посердитовала на нас, убогих, а не поеду я к ней на собрание.

— Посоветовались бы, матушка,— молвила Фленушка.

— Нечего мне советоваться, не об чем,— прервала ее Августа.— Одна у меня советница, одна и защитница — царица небесная Казанска богородица... Отринуть ее да пойти на совет человеческий — как же я возмогу?.. Она, матушка,— стена наша необоримая, она крепкая наша заступница и во всех бедах скорая помощница. Нет, красавица, не поеду я на ваше собрание.

— А как отнимут у вас икону-то? Тогда что загово-

рите? — резко сказала Фленушка, сбрасывая напущенную на себя скромность.

— Не попустит владычица,— молвила Августа и, низко поклонясь Фленушке, пошла к своим старицам.

— Матушка,— сказала, догоняя ее, Фленушка.— Попомните, что на Петров день у нас праздник в часовне. В прежни годы, бывало, вы к нам на Петров день, мы к вам на Казанскую.

— Благодарим покорно,— с поклоном ответила мать Августа.— Коли жива да здорова буду, не премину побывать, а уж насчет собрания не погневалась бы матушка Манефа. Наше дело сторона.

И пошла к своим.

Фленушка подошла к оленевским. Высокая, смуглая старица со строгим и умным выраженьем в лице шла рядом с малорослою, толстою инокиней, на каждом шагу задыхавшейся от жары и непривычной прогулки пешком. То были оленевские игуменьи: Маргарита и Фелицата, во всем с Манефой единомысленные. Фленушка передала им письма еще на Софонтьевой поляне и там обо всем нужном переговорила.

— Ну, что сказала мать Августа? — спросила Маргарита у Фленушки, когда та подошла к ней.

— На празднике быть обещалась, а на собрание не хочет идти,— ответила Фленушка.

— Ее дело, как знает,— с досадой молвила Фелицата.— Об епископе, конечно, советоваться ей нечего.

— Не приемлет, так и разговору нет. А насчет скита ихнего что сказала? — спросила Маргарита у Фленушки.

— Надеюсь, говорит, на владычицу. Она у меня, говорит, и советница и заступница, других не желаю,— ответила Фленушка.

— Экая гордыня-то, экая гордыня!..— вскрикнула Фелицата.— Чем бы сообща дело обсудить да потом владычицу в Москву свезти аль в другое надежное место припрятать, она — поди-ка что — умнее всех хочет быть.

— Ну, господь с ней, как знает, так пущай и распоряжается. Не наше дело, Фелицатушка,— успокоивала Маргарита приятельницу.

— Как не наше дело? — горячилась Фелицата.— Как не наше дело? Сама знаешь, что будет, коли отберут

из Шарпана владычицу. Тут всех скитов дело касается, не одного Шарпана... Нет — этого нельзя!.. На собраньи надо эту гордячку под власть подтянуть, чтобы общего совета слушалась. Так нельзя!..

— А чем ты ее под власть-то подтянешь? — спросила Маргарита.— Не захочет слушать — чем приневолишь?

— Как по общему согласью решим, так должна будет послушать,— сказала Фелицата.

— А плевать ей на общее-то наше согласие,— с усмешкой молвила Маргарита.— Кому пойдешь на нее жалобиться?

— В Москву напишем,— сказала Фелицата.

— А что ей Москва-то? — продолжала Маргарита.— Шарпански и без того ее знать не хотят. Не нам с тобой они чета, Фелицатушка: за сборами не ездят, канонниц по домам не рассылают, никому не угождают, а всех богаче живут.

В это время скитницы подошли к деревне и стали расходиться по знакомым. Тут Фленушка успела раздать все привезенные письма.

Оленевские с Манефиными в одном дому пристали. Обед, предложенный радушным хозяином, продолжался долго. Конца не было пшенникам да лапшенникам, пшенницам да лапшенницам.

Совсем смерклось, когда старицы велели работникам лошадей запрягать. Оленевские игуменьи уехали, а мать Аркадия долго еще оставалась у гостеприимного сродника... Искали Василья Борисыча... Кто его знает — куда запропастился... Устинью тоже не вдруг сыскать могли. Сказывала, к улангерским матерям повидаться ходила. Всю дорогу ворчала на нее мать Аркадия. Устинья хохотала, а Василий Борисыч то и дело восклицал:

— Ох, искушение!..

ГЛАВА ВТОРАЯ

И весна и лето выдались в том году хорошие. Каждый день с утра до̀ вечера яркое солнце горячо нагревало землю, но засухи не было... А не было засухи оттого, что ночи по три на неделе перед утренней зарей небо тучками обкладывалось и частым, крупным, обильным дождем кропило засеянные поля. Такая была благодать, что

старые люди, помнившие Пугача и чуму московскую, не знавали такого доброго года. Двумя неделями раньше обыкновенного шли полевые работы: яровой сев кончили до Егорья, льны посеяли и огурцы посадили дня через два после Николы. Про холодные сиверы, про медвяные росы и градобои слухо̀в даже не было.

Не нарадуются православные, любуясь на пышные всходы сочной озими, на яркую зелень поднимавшейся яри. О том только и молят, о том только и просят господа — даровал бы он хлебу совершение, засухой бы не пожег, дождями бы не залил, градом бы не побил надежду крестьянскую.

Каждому радостно, каждому весело на зеленые поля глядеть; но всех радостней, всех отраднее любоваться на них крестьянину деревни Поромовой Трифону Михайлычу Лохматому. Тридцати недель не прошло с той поры, как злые люди его обездолили, четырех месяцев не минуло, как, разоренный пожаром и покражами, скрепя сердце, благословлял он сыновей идти из теплого гнезда родительского на трудовой хлеб под чужими кровлями... И вот, благодаря создателю, во всем хозяйстве успел он справиться. И новую токарню сладил, лучше прежней, и лошадок купил, и хорошей одежой обзавелся, и покраденное дочернее приданое стал помаленьку заменять новокупленным.

«Уж спасибо ж тебе, Алексеюшка! — думает сам про себя Трифон Лохматый, любуясь всходами на надельной полосе своей.— Разумом и досужеством сумел ты полюбиться богатому тысячнику и по скорости поставил на ноги хозяйство наше разоренное... Благослови тебя господи благостным благословением!.. Дай тебе господи от сынов своих вдвое видеть утешения супротив того, сколь ты утешил меня на старости лет!»

Только и думы у Трифона, только и речей с женой, что про большего сына Алексеюшку. Фекле Абрамовне ину пору за обиду даже становилось, отчего не часто поминает отец про ее любимчика Саввушку, что пошел ложкарить в Хвостиково. «Чего еще взять-то с него? — с горьким вздохом говорит сама с собой Фекла Абрамовна.— Паренек не совсем на возрасте, а к святой неделе тоже десять целковых в дом принес».

Раскидывает Трифон Лохматый умом-разумом: «От-

чего это Алексей до такой меры стал угоден спесивому, своеобычному Чапурину?» До сей поры у Трифона никаких дел с Патапом Максимычем не бывало, и видал-то его раз-другой мельком только издали, но от людей знал по наслуху, что хоть он и справедлив, до рабочих людей хоть и милостив, однако ж никого из них до близости с собой не допущает... «Да как и допускать? — продолжает раздумывать Трифон Михайлович.—Водится он с купцами первостатейными, с людьми чиновными, к самому губернатору вхож — в вёрсту ль ему мелкую сошку к себе приближать? Пущай у сына руки золотые, пущай всем знаемо, что другого такого токаря за Волгой нет и не бывало,— да ведь пòтом и руками у белорукого богача в честь не войдешь. Из себя приглядён — так не девка Патап-от Максимыч, не стать ему зариться на красоту молодецкую».

Другое еще темяшится в голове Трифона Лохматого. Четыре месяца пожил Алексей в Осиповке, а совсем стал другой — узнать нельзя. Бывало, в праздничный день на деревне только и слышно его, песню ли спеть, в хороводы ли с девками, в городки ли с ребятами, Алексей везде из первых... А теперь при́дя о пасхе к отцу на побывку, ровно иночество на себя наложил: от игры, от веселья сторонится, хмурый ходит да думчивый. Попытать бы сына, расспросить, отчего стало ему невесело, да не отцовское то дело, не родителю сыну поминать про качели да хороводы и про всякую мирскую суету. Как-то к слову пришлось — жене Трифон наказал, будто мимоходом, шутки ради, с сыном речь повести, зачем-де от потех сторонится, отчего с девками на прежнюю стать не заигрывает. И Фекла не добилась толку от Алексея. Сестры от себя принимались у него кой-что выведывать, про чапуринских девиц пытались речь заводить — только цыкнул на них Алексей. Саввушка, по материну наказу, тоже речь начинал — ни слова ему брат не ответил.

Чужим глядел Алексей в дому родительском. Как малое дитя, радовалась Фекла Абрамовна, что и кулич-то ее стряпни удался к светлому празднику, и пасха-то вышла сладкая да рассыпчатая, и яйца-то на славу окрасились. Все домашние разделяли радость хозяйкину; один Алексей не взглянул на стряпню матери и, сидя за обедом, не похвалил ни жирных щей со свежиной, ни студе-

ни с хреном, ни жареного поросенка с белым, как молоко, мясом и с поджаристой кожицей. Горько показалось это старушке, слезы у ней на глазах даже выступили... Для великого-то дня, для праздника-то, которому по божественной песни всяка тварь радуется!.. Но сдержала слезы Абрамовна, пересилила горе обидное, не нарушила радости праздника. «Что ж! — тихонько поворчала сама с собой,— привык к сладкой еде купеческой, навадился сидеть за столами богатыми — невкусна ему кажется хлеб-соль родительская». Но вечером в задней горнице, где ставлена была у Лохматого небольшая моленная, справив уставные поклоны и прочитав положенные молитвы, долго и тоскливо смотрела огорченная мать на лик пречистой богородицы. Раздумывая о сыне, не слыхала она, не чуяла, как слезы ручьем потекли по впалым щекам ее.

«Отрезанный ломоть!» — вспало на ум Абрамовне. И, постояв малое время перед иконами, стала она класть поклон за поклоном о здравии и спасении раба божия Алексея.

И сам Алексей сознавал, что он отрезанный ломоть от родной семьи. Еще с той поры, как только стал входить в возраст, любил он тешить себя игрой мыслей, по целым, бывало, часам задумывался над вещами несбыточными, над делами несодеянными. Бывало, стоя за токарным станком, либо крася олифой горянщину, представляет он себя то сильным, могучим богатырем, то царем небывалого царства, а чаще всего богачом: у него полны сусеки серебра да золота, у него бочки жемчугов и камней многоценных в кладовой стоят. Расходятся, бывало, мысли, разгуляются, как вода вешняя, не зная удержу, и не один час проработает Алексей, не помня себя, времени не замечая, чужих речей не слыша... Но неясны и несвязны были тогда его думы о богатом житье-бытье. Не бывал он еще нигде, кроме своего Поромова да окольных деревушек, не видал, как люди в довольстве да в богатстве живут, как достатками великими красят жизнь свою привольную... Попал в дом тысячника, увидел, как люди в чести да в холе живут, узнал, как богачи деньгами ворочают... Тогда смутные думы стали ясней и понятнее...

И сотворил Алексей в душе своей кумира... И покло-

нился он тельцу златому... Только теперь у него и думы, только и гаданья, каким бы ни на есть способом разбогатеть поскорее и всю жизнь до гробовой доски проводить в веселье, в изобилии и в людском почете.

И тесна и грязна показалась ему изба родительская, мелка́ денноночная забота отца с матерью о скромном хозяйстве, глупы речи неотесанных деревенских товарищей, неприглядны лица красных девушек... Отрезанный ломоть!..

Когда Патап Максимыч объявил Алексею, что не станет дольше держать его, крепко парень призадумался. Все случилось так быстро, так для него неожиданно. Решенье огорченного Чапурина застало Алексея врасплох... Куда деваться?.. Домой идти — силы нет... Не ужиться ему под одной кровлей со стариками,— воли, простору, богатой жизни ищет душа молодецкая... Трудом богатство нажить?.. А сколько годов на это надобно?.. Марья Гавриловна?.. Но Алексею хоть и думалось, а как-то все еще не верилось, чтоб она за крестьянского сына пошла.

* * *

Недели полторы после Настиных похорон приехал к Патапу Максимычу из Городца удельный крестьянин Григорий Филиппов. Запершись в задней горнице, добрый час толковал с ним горемычный тысячник. Кончив разговоры, повел он приезжего по токарням, по красильням, по всему своему заведению.

Затем наказал Пантелею, скликнул бы он рабочих.

— Алексея Трифонова доводится мне в Красну Рамень послать,— объявил Патап Максимыч стоявшей без шапок толпе работников.— Оттоль ему надо еще кой-куда съездить. Потому с нонешнего дня за работами будет смотреть Григорий Филиппыч... Слушаться его!.. Почитать во всем... У него на руках и расчеты заработков.

— Слушаем, батюшка Патап Максимыч! — в голос отозвались токари и красильщики, искоса поглядывая на нового приказчика.

Понурив голову, неспешными шагами пошел Патап Максимыч домой. Мимоходом велел Пантелею Алексея к нему позвать да пару саврасых вяток в тележку на железных осях заложить. А сиденье в тележке наказал по-

крыть персидским ковром, на котором сам выезжал в дальню дорогу.

Вошел Алексей в хозяйскую боковушу, положил богу уставные поклоны, низко поклонился стоявшему у окна хозяину.

— Новый приказчик поряжон,— сухо, не глядя на Алексея, сказал Патап Максимыч.

Молчал Алексей, склонив голову.

— Пора тебе. Ступай с богом,— молвил угрюмо Чапурин.

— Слушаю,— едва слышно ответил Алексей.

— Для видимости... спервоначалу ехать тебе в Красну Рамень — на мельницы,— сказал Патап Максимыч, глядя в окошко.— Оттоль в город. Дела там нет тебе никакого... Для видимости, значит, только там побывай... Для одного отводу... А из городу путь тебе чистый на все четыре стороны... Всем, кого встретишь, одно говори — нашел, дескать, место не в пример лучше чапуринского... Так всем и сказывай... Слышишь?

— Патап Максимыч...— начал было Алексей.

— А ты молчи да слушай, что люди старей тебя говорят,— перебил Патап Максимыч.— Перво-наперво обещанье держи, единым словом не смей никому заикнуться... Слышишь?

— Слушаю, Патап Максимыч,— полушепотом сказал Алексей.

— Смалчивать будешь — не вспокаешься... По гроб жизни тебя не оставлю,— продолжал Патап Максимыч.— Не то что девичьей глупостью где похвалиться, болтнешь чуть что ненароком — не уйдешь от меня. Помни это, заруби себе на носу...

— Буду помнить, Патап Максимыч,— отозвался Алексей глухим, едва слышным голосом.

— То-то. Не мели того, что осталось на памяти,— молвил Патап Максимыч.— А родителю скажи: деньгами он мне ни копейки не должен... Что ни забрано, все тобой заслужено... Бог даст, выпадет случай — сам повидаюсь, то же скажу... На празднике-то гостивши, не сказал ли чего отцу с матерью?

— Никому ничего я не говаривал,— упалым голосом отвечал Алексей.

— И не говори!.. Оборони тебя господи, если кому

проговориться смеешь,— строго сказал Патап Максимыч, оборотясь лицом к Алексею.— Это тебе на разживу,— прибавил он, подавая пачку ассигнаций, завернутую в розовую чайную бумагу.— Не злом провожаю... Господь велел добром за зло платить... Получай!

— Патап Максимыч! — воскликнул было Алексей, не принимая подарка.

— Чего еще? — грозно закричал на него Чапурин, сверкнув глазами.

— Тяжелы ваши милости! — едва переводя дух, проговорил Алексей.

— Молчать! — громче прежнего крикнул Патап Максимыч.— Смеет еще разговаривать... Бери!

Не протянул руки Алексей.

— Да бери же, босопляс ты этакой!.. Бери, коли дают,— топнув ногой, крикнул на него Патап Максимыч.— Ломаться, что ли, передо мной вздумал? Чваниться?.. Так я те задам!.. Бери, не́путь [1] этакой!..

Дрожмя дрожали руки у Алексея, когда принимал он подарок от Патапа Максимыча. Хоть корыстен был, а эти деньги ровно калено железо ожгли его.

Ни слова не говоря, до земли поклонился он Патапу Максимычу.

— Для че валяешься? — строго молвил ему Патап Максимыч, оборачиваясь к окну.— Только богу да родителям в ноги следует кланяться — больше никому.

Встал Алексей и замолчал, потупя очи.

— Нужда придет — письмо пиши: помогу,— говорил Патап Максимыч, глядя в окно.— А сам глаз не смей показывать... есть ли место на примете?

— Никакого нет,— ответил Алексей.

— В Комарове побывай. Марья Гавриловна Масляникова, что живет у сестры в обители, вздумала торги заводить, пароход покупает. Толкнись к ней — баба добрая... Без приказчика ей нельзя... Скажи: от Патапа, мол, Максимыча прислан.

Вздрогнул Алексей от речей Чапурина. И слышится, да не верится.

«Как же это так? — думает он.— Отчего же она сама не сказала мне?»

---

[1] Непутный человек, иногда бес.

— Ну, с богом...— после долгого молчанья сказал Патап Максимыч, продолжая глядеть в окно.— Отправляйся.

— Патап Максимыч!..— упалым голосом начал было Алексей.

— Нечего тут!.. Коли сказано «с богом», так берись за скобку да шасть за косяк...— угрюмо сказал Патап Максимыч, не отворачиваясь от окна.— Пару саврасых с тележкой дарю. На них поезжай...

— Прости ты меня, ради господа...— зарыдал Алексей, падая к ногам Патапа Максимыча.

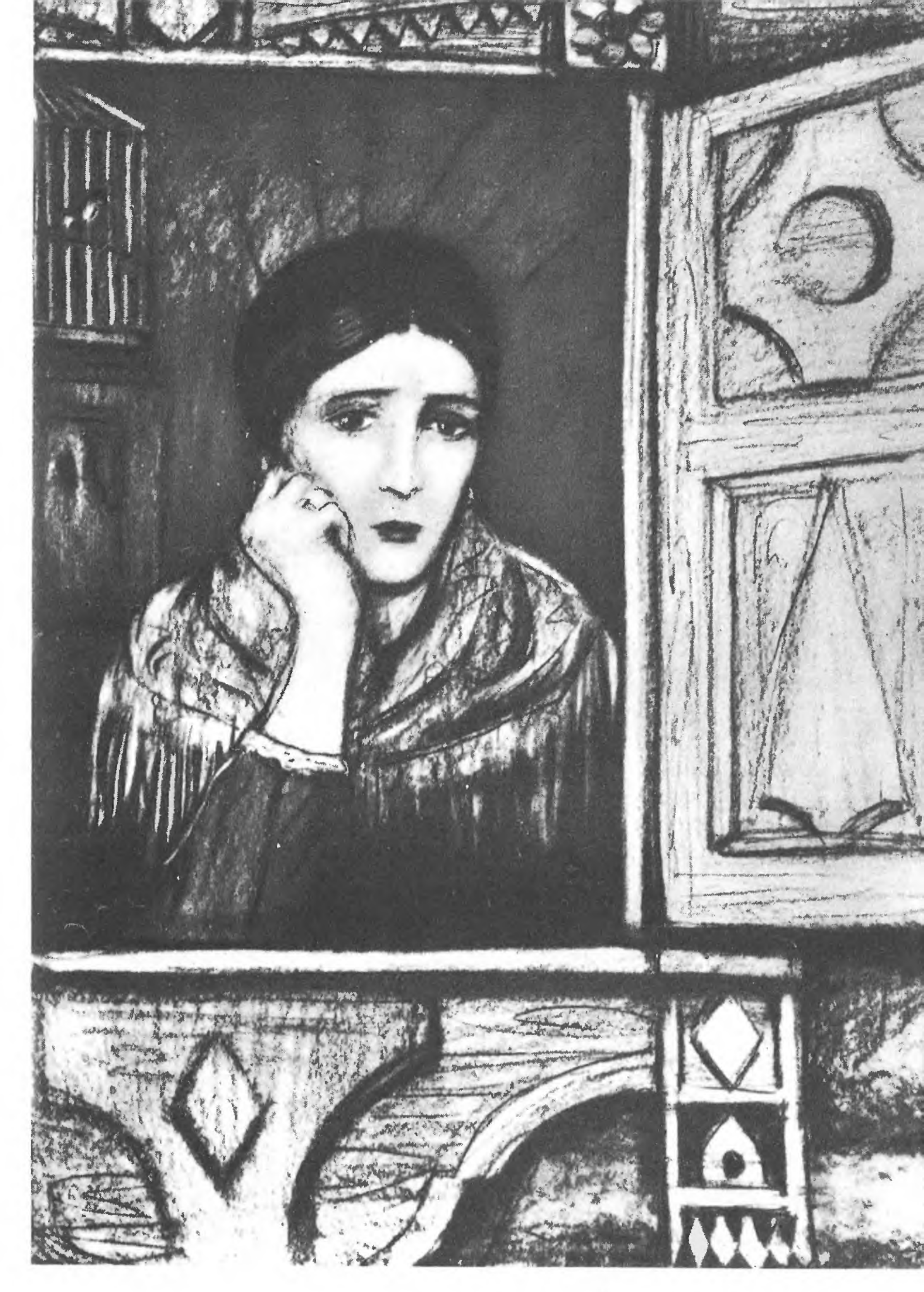
— В шею, что ли, толкать? — закричал тот.— Убирайся, покуда цел!

Грустно поднялся Алексей и неспешными шагами вышел из горницы. И тут не обернулся Патап Максимыч.

Но долго по уходе Алексея глядел он в окно. Очей не сводя, мрачно смотрел, как тот сряжался в дорогу, как прощался с Пантелеем и с работниками, как, помолившись богу на три стороны, низко поклонился покидаемому дому, а выехав за околицу, сдержал саврасок, вылез из тележки, еще раз помолился, еще раз поклонился деревне... Вот тихо рысцой запылил он по излучистой дорожке, что пролегала меж ярко-зеленых полос озими. Вот и скрылся в темном перелеске... Улеглась и пыль, взбитая звонкими копытами дареных лошадок, а Патап Максимыч все стоит у окна, все глядит на перелесок.

Пусто и безлюдно показалось ему в доме, когда воротился он с погоста, похоронив Настю... еще пустей, еще безлюдней показалось ему теперь, по отъезде Алексея... Широкими шагами ходит Патап Максимыч взад и вперед по горнице. Громко стучат каблуки его по крашеному полу, дрожит и звенит в шкапах серебряная и фарфоровая посуда... Тяжкие думы объяли Чапурина... Не выходит из мыслей дочь-покойница, не сходит и обидчик с ума... Рад бы радешенек из мыслей вон его, да крепко засел в голове — ничем оттуда его не выбьешь, не выживешь... Все гребтится Патапу Максимычу: куда-то он денется, каково-то будет ему в чужих людях жить.

«Эх, грому на тя нет! — бранится сам про себя Патап Максимыч.— Малого времени подождать не мог!.. Что теперь наделал, пустая голова?.. И себе навредил, и ее погубил, и меня обездолил... Ежа бы те за пазуху!»



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава XII.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава XII.

* * *

Опустилось солнышко за черную полосу темного леса; воротились мужики домой с полевой работы, торопились они засветло отужинать — после Николина дня грешно в избах огонь вздувать. Трифон Лохматый, сидя на лавке возле двери, разболокался [1], Фекла с дочерьми ставила на стол ужину... Вдруг к воротам подкатила пара саврасок.

Выглянула Фекла в окно, всплеснула руками. Бросив столешник, что держала в руках, накрывая стол для ужины, кинулась вон из избы с радостным криком:

— Алексеюшка!

— Кони-то знатные какие, надо быть хозяйские,— нараспев проговорила Параня, высунувшись до половины из середнего подъемного окна.

— Опять по делам, видно, послан,— проворчал разувавшийся Трифон.

Скрипнули ворота. Алексей въехал на двор и, не заходя в избу, хотел распрягать своих вяток, но мать была уже возле него. Горячо обнимает его, а сама заливается, плачет. Вся семья высыпала на крыльцо встречать дорогого нежданного гостя.

— Куда бог несет? — спросил Трифон у сына, когда тот перездоровался со всеми.

— Да по разным местам, батюшка,— отвечал Алексей.— Теперь покуда в Красну Рамень на мельницы... оттоль и сам не знаю куда.

— Как так? — удивился Трифон.— Едешь в путь, а куда тот путь, сам не ведаешь.

— На мельницах от хозяина приказ получу... А там, может, и на все лето уеду... На Низ, может, сплыву,— отвечал Алексей, привязывая саврасок обротями к заду тележки.

Фекла всхлипнула.

— Приводится тебе, дитятко, спознавать чужу дальню сторону,— на голос причитанья завела было она, но Трифон унял жену.

— Заверещала, ничего не видя! — крикнул он.— Не в саван кутают, не во гроб кладут... Дело хорошее — дальня сторона уму-разуму учит... Опять же Алёхе от

[1] Раздевался.

хозяйских посылов отрекаться не стать... На край света пошлют, и туда поезжай.

— Чужбина-то ведь больно непотачлива,— горько молвила, утирая слезы, Абрамовна.

Не ответил Трифон старухе.

— Есть ли овес-от в запасе? — обратился он к сыну.— Не то возьми из клети, задай лошадкам, да пойдем ужинать. Знатные кони! — примолвил старик, поглаживая саврасок.— Небось дорого плачены.

Не сказал Алексей, что дорогие лошадки подарены ему Патапом Максимычем.

Хоть заботная Фекла и яичницу-глазунью ради сынка состряпала, хоть и кринку цельного молока на стол поставила, будничная трапеза родительская не по вкусу пришлась Алексею. Ел не в охоту, и тем опять прикручинил родную мать. Еще раз вздохнула Фекла Абрамовна, вспомнив, что сердечный ее Алешенька стал совсем отрезанным от семьи ломтем.

Ужин в молчании прошел. По старому завету за трапезой говорить не водится... Грех... И когда встали из-за стола и богу кресты положили, когда Фекла с дочерьми со стола принялись сбирать, обратился Трифон Лохматый к сыну с расспросами.

— Долго ль у нас погостишь? — спросил он.

— Дело у меня, батюшка, спешное,— несмело и тихо ответил Алексей.— Заутре выехать надо.

Сроду впервые сказал перед отцом он неправду. Оттого и голос дрогнул немножко.

— Коли дело наспех, засиживаться нечего. С богом,— отозвался Трифон.

— Одну только ноченьку и проночуешь,— плаксиво обратилась Фекла Абрамовна к сыну.— И наглядеться-то не дашь на себя!

Не ответил Алексей матери.

— Что у вас там в Осиповке-то приключилось? — перебил Трифон Абрамовну, садясь на лавку и обращаясь к сыну.— Беда, говорят, стряслась над Чапуриными? Дочку схоронили?

— Схоронили,— глухо ответил Алексей.

— Девица, сказывают, была хорошая,— вступилась Фекла...— Из себя такая, слышь, приглядная, и разумом,

говорят, вышла. Мало, слышь, таких девиц на свете бывает.

Ни полслова на то Алексей. Сидит молча супротив отца, опустив на грудь голову...

— Тоскует, поди, Патап-от Максимыч? — спросил старик.

— Тоскует,— сквозь зубы промолвил Алексей, не поднимая головы.

— Как не тосковать? Как не тосковать? — вздыхая, подхватила Фекла Абрамовна.— До всякого доведись!.. Что корове теля, что свинье порося, что отцу с матерью рожоно дитя — все едино... Мать-то, поди, как убивается.

— Тоскует и мать,— подтвердил Алексей.

— Что же такое случилось с ней? — спросила Фекла Абрамовна.— Много всякого здесь плетут. Всех вестей не переслушаешь.

— Доподлинно не знаю,— ответил Алексей.— Дома меня в ту пору не было, на Ветлугу посылан был. Воротился в самы похороны.

— Силом, слышь, замуж сердечную выдать хотели... За купца за какого-то за приезжего,— продолжала Фекла Абрамовна.— А она, слышь, с горя-то да с печали зельем себя опоила, не к ночи будь сказано.

— Ничего такого не было,— ответил Алексей, подняв голову.— Ни за кого выдавать ее не думали, а чтоб сама над собой что сделала — так это пустое вранье.

— Маль ль чего не плетут ваши бабьи языки,— строго промолвил жене Трифон Лохматый.— Не слыша слышат, не видя видят, а вестей напустят, смотницы, что ни конному, ни пешему их не нагнать, ни царским указом их не поворотить... Пуговицы вам бы на губы-то пришить... Нечего тут!.. Спать ступайте, не мешайте нам про дело толковать.

Поворчав немного под нос, Фекла вышла из избы с дочерьми. Остался Трифон с сыном с глазу на глаз.

— Зачем на Ветлугу-то посылали? — спросил Трифон.— Аль и там дела у Чапурина?

— И там были дела,— неохотно сквозь зубы процедил Алексей.

— По мочалу аль по лубу?

— И по мочалу и по лубу,— молвил Алексей, смущаясь от новой лжи, отцу сказанной. Никогда ему даже на

ум не вспадало говорить отцу неправду или что скрывать от родителей... А теперь вот дошло до чего — что ни слово, то ложь!.. Жутко стало Алексею.

— Аль притомился? — спросил у сына Трифон.— Ишь глаза-то у тебя как слипаются.

— И то приустал,— молвил Алексей.— Целу ноченьку глаз не смыкал.

— Что так?

— Да с вечеру счета с хозяином сводили,— отвечал Алексей.— А там кой-чем распорядиться надобность была. Встал с солнышком — новому приказчику заведенье сдавать.

— Как новому приказчику? — быстро спросил удивленный Трифон.

— Заместо меня другого взял Патап Максимыч. Григорья Филиппова не слыхал ли? Удельный из-под Городца откуда-то.

— А тебя как же? — тревожно спросил отец.

— Меня-то, кажись, по посылкам больше хочет,— смутясь пуще прежнего, сказал Алексей.

— По посылкам! — медленно проговорил Трифон и задумался.— Что же, как рядились вы с ним? Погодно аль по каждой посылке особь?

— Патап Максимыч не обидит,— ответил Алексей.

— Знаю, что не обидит,— заметил Трифон,— а все бы лучше договориться. Знаешь пословицу: «Уговор крепче денег»... Однако ж прежню-то ряду сполна за тобой оставил аль по новому как?

— Больше положил,— отвечал Алексей.

— Сколько?

— Два ста на серебро выдал вперед до осени, до Покрова, значит. Это на одни харчи... А коль на Низ поплыву, еще выслать обещал,— продолжал Алексей.— По осени полный расчет будет, когда, значит, возворочусь... Опять же у меня деньги его на руках.

— Где ляжешь? На повети? Али в чулане? — спросил Трифон.

— Да я бы в тележке, возле лошадок соснул. На воле-то по теперешнему времени легче,— ответил Алексей.

— В тележке так в тележке... Как знаешь,— согласился Трифон.— А деньги мне подай... На ночь-то схороню, не то всяко может случиться.

Алексей подал пачку, что на прощанье подарил ему Патап Максимыч.

Старик молча пересчитал деньги.

— Тысяча! Хозяйских, значит, тут восемьсот. Так ли? — сказал он сыну.

— Так точно,— ответил Алексей.

— Хозяйски деньги завсегда надо особь держать,— молвил Трифон.— Никогда своих денег с чужими не мешай — с толку можешь сбиться. Вот так,— прибавил он, отсчитав восемьсот рублей и завернув их в особую бумажку.— Деньги не малые — по нашему деревенскому счету, по старине то есть, две тысячи восемьсот... Да... Ну, а это твои? — спросил он, указывая на восемь четвертных.

— Мои, батюшка,— проговорил Алексей.

И зажгло, защемило в то время у Алексея сердце. Пришло ему на ум, что ровно бы крадет он у отца восемьсот рублей.

— Много ль в дом-то оставишь? — спросил Трифон.

— Сколько велишь, батюшка, столько и оставлю. Я твой и вся власть надо мною твоя. В угоду будет, и все возьми — противиться не могу,— покорно отвечал Алексей.

— Без тебя знаю, что все могу взять,— сухо ответил Трифон.— Про то говорю: много ль тебе на прожиток до новой получки потребуется. Сколько потребуется, столько и бери, остальные в дом...

— Да с меня, батюшка, было бы за глаза и пятидесяти целковых,— отвечал Алексей, чувствуя сильное волненье на сердце.

— Ладно,— молвил Трифон.— Пятьдесят так пятьдесят... Полтораста целковых, значит, в дом?

— Так точно, батюшка,— подтвердил Алексей.— Да вот еще что наказывал Патап Максимыч тебе объявить. Скажи, говорит, родителю, что деньгами он мне ни копейки не должен. Что, говорит, ни было вперед забрано — все, говорит, с костей долой.

— Полно ты? — с радостным удивленьем, вскакивая с лавки, вскликнул Трифон.

— Право слово, батюшка. Так и сказал — ни единой копейки родитель твой мне не должен.

Трифон обратился к божнице и положил иконам три

земных поклона. Потом, сев на прежнее место, сказал Алексею:

— За такие великие милости должон ты, Алексеюшка, Патапа Максимыча словно отца родного всю жизнь твою почитать. Весь век по гроб жизни твоей моли за него творца небесного.. Экие милости!.. Экие щедроты неслыханные!.. И чем, я дивлюсь, Алексеюшка, заслужил ты у него?.. Весь свет обойди — про такие милости нигде не услышишь... Подумай: шутка ли — двести рублев на пасху подарил, теперь больше семисот долгу простил — ведь это почитай цела тысяча... Дай ему, господи, доброго здоровья и души спасения!.. Экой человек-от!.. Экой человек!.. Почитай же его, Алексеюшка, почитай своего благодетеля. За добро добром платить надобно. Служи ему честно, верой и правдой... Пошли ему, господи, всякого добра... Утешь, успокой его, царица небесная, во нонешни слезовые дни родительской печали его!..

И, поднявшись с лавки, опять обратился Трифон к святому углу, опять положил три земных поклона за благодетеля своего Патапа Максимыча.

— Так из этих денег уж брать ли мне теперь? — с довольной улыбкой сказал Трифон, показывая на лежавшие особо восемь двадцатипятирублевых бумажек.

— Вся воля твоя, батюшка,— отозвался Алексей.— Я уж сказал тебе: хочешь, так все возьми.

— Чепухи не мели, когда отец про дело с тобой рассуждает,— строго сказал ему Трифон Михайлыч.— Не обидеть желаю, долг родительский справляю... Потому пустых слов не должон ты говорить... Постой, сам я смекну, сколько денег тебе надо... До Покрова семнадцать недель: десять недель — семьдесят дён, да в семи неделях без одного пятьдесят. Значит, всего-на́-все сто двадцать дён без одного. По целковому в день на харчи и на все тебе с залишком хватит. Значит, восемьдесят целковых в дом. До Покрова считаю, не до новой получки... Понял?..

И, отложив восемьдесят рублей, Трифон спрятал все деньги в скрыню и запер ее в сундуке.

— Ну, Алексеюшка,— радостно сказал старик.— На эти восемьдесят целковых девкам приданое справим, тогда у нас в дому все по-прежнему станет, ровно бы злодеи нас и не забижали. А всё, парень, твоим трудом да

разумом... Спасибо, родной, что помог отцу поправиться... Бог и добрые люди тебя за то не оставят, а от меня, старика, вот какая тебе речь пойдет. За то, что тебя я выростил, за то, что вспоил-вскормил тебя, на ноги поставил тебя, ты мне сполна заплатил... В расчете, значит, с тобой,— прибавил старик, улыбаясь и гладя рукой сыновние кудри.

— Ведь я твой, батюшка, и все твое,— завел было прежнюю песню Алексей, но отец перебил его:

— А ты молчи да слушай, что отец говорит. На родителя больше ты не работник, копейки с тебя в дом не надо. Свою деньгу наживай, на свой домок копи, Алексеюшка... Таковы твои годы пришли, что пора и закон принять... Прежде было думал я из нашей деревни девку взять за тебя. И на примете, признаться, была, да вижу теперь, что здешние девки не пара тебе... Ищи судьбы на стороне, а мое родительское благословение завсегда с тобой.

— Батюшка, на другое хочу я твоего благословенья просить,— после долгого молчанья робко повел новую речь Алексей.— Живучи у Патапа Максимыча, торговое дело вызнал я, слава богу, до точности. Счеты ль вести, другое ли что — не хуже другого могу...

— Так что же? — спросил Трифон.

— Поеду теперича я на Волгу, а там на Низ, может статься, сплыву,— продолжал Алексей.— Может подходящее местечко выпасть, повыгоднее, чем у Патапа Максимыча... Благослови, батюшка, на такое место идти, коль такое найдется.

Нахмурился Трифон.

— Неладное, сынок, затеваешь,— строго сказал он.— Нет тебе на это моего благословенья. Какие ты милости от Патапа Максимыча видел?.. Сколь он добр до тебя и милостив!.. А чем ты ему заплатить вздумал?.. Покинуть его, иного места тайком искать?.. И думать не моги! Кто добра не помнит, бог того забудет.

— Не стал бы я, батюшка, говорить о том, когда б сам Патап Максимыч не советовал мне на стороне хорошего места искать.

— Что ж это такое? Разве ему ты неугоден стал?.. Ненадобен?.. Говори прямо, прогнал, что ли? — резко спросил Трифон у сына.

— Когда бы прогнал, денег бы не дал, долгов не скостил бы[1],— в сильном смущеньи отвечал отцу Алексей.— Сам видел, батюшка, какую сумму препоручил он мне.

«Ума не приложу»,— раздумывал старик Лохматый.

— А если, говорил Патап Максимыч, свое дело вздумаешь зачинать,— продолжал Алексей,— от себя, значит, торговлю заведешь, письмо ко мне, говорит, пиши, на почин ссужу деньгами, сколько ни потребуется.

— В разум не возьму, что за человек этот Патап Максимыч,— молвил Трифон.— Ровно ты, парень, корнями обвел его... Не родня ты ему, не сват, не брат... За что же он так радеет о тебе... Что тут за притча такая?

Промолчал Алексей.

— Коли так, бог тебя благослови,— помолчавши немалое время, сказал Трифон.— Ищи хорошего места. По какой же части ты думаешь?

— Пароходы хвалят теперь, батюшка,— ответил Алексей.— На пароходы думаю поступить... Если б теперича мне приказчиком пароходным определиться — жалованье дадут хорошее, опять же награды каждый год большие... По времени можно и свой пароходишко сколотить...

— Широко, брат, шагаешь — штанов не разорви,— молвил старый Трифон.— Пароход-от завести — не один, поди, десяток тысяч надо иметь про запас. Больно уж высокò ты задумал!..

— Патап Максимыч не оставит,— молвил Алексей.

— Нет, это уж больно жирно будет. Это уж совсем дело несбыточное,— сказал Трифон.— Как возможно, чтобы хоть и Патап Максимыч такими великими деньгами ссудил тебя!.. Не золотые же горы у него!.. Стать ли швырять ему тысячами?.. Этак как раз прошвыряешься... А ты вздоров-то да пустых мыслей в голову не забирай, несодеянными думами ума не разблажай, веди дело толком... На пароходы, так на пароходы рядись, а всего бы лучше, когда б Патап Максимыч по своему великодушию небольшим капитальцем тебя не оставил, да

---

[1] Скостил — сложил с костей долой (на счетах), то же, что похерил, уничтожил, сквитал.

ты бы в городу́ торговлишку какую ни на есть завел... Такое дело не в пример бы надежнее было.

— По времени и за торговлю можно будет приняться... не вдруг. Обглядеться надо наперед,— молвил Алексей.

— Вестимо дело, надо оглядеться,— согласился Трифон.— Твое дело еще темное, свету только что в деревне и видел... на чужой стороне поищи разума, поучись вкруг добрых людей, а там что̀ бог велит. Когда рожь, тогда и мера.

— Так искать, батюшка, на пароходе местечка-то? Патап Максимыч на пароходы больше советуют,— сказал Алексей отцу, выходя с отцом вон из избы.

— Ищи, коли Патап Максимыч советует. Худу не научит,— решил Трифон.

Целу ночь напролет сомкнуть глаз не мог Алексей. Сказанная отцу неправда паче меры возмутила еще не заглохшую совесть его. Но как же было правду говорить!.. Как нарушить данное Патапу Максимычу обещанье? Ведь он прямо наказывал: «Не смей говорить отцу с матерью». Во всем признаться — от Патапа погибель принять...

Путаются у Алексея мысли, ровно в огневице лежит... И Настина внезапная смерть, и предсмертные мольбы ее о своем погубителе, и милости оскорбленного Патапа Максимыча, и коварство лукавой Марьи Гавриловны, что не хотела ему про место сказать, и поверивший обманным речам отец, и темная неизвестность будущего — все это вереницей одно за другим проносится в распаленной голове Алексея и нестерпимыми муками, как тяжелыми камнями, гнетет встревоженную душу его...

На другой день, пообедавши, в путь снарядился. Простины были черствые... Только Фекла Абрамовна прослезилась, благословляя сына на разлуку. Сестры были неприветны; старик сдержан, суров даже несколько.

Решили, если выйдет Алексею хорошее место в дальней стороне, приезжал бы домой проститься, да кстати и паспорт года на два выправил.

Недолго, кажется, прогостил Алексей в дому родительском — суток не ми́нуло, а неприветно что-то стало

после отъезда его. Старик Трифон и в токарню не пошел, хоть была у него срочная работа. Спозаранок завалился в чулане, и долго слышны были порывистые, тяжкие вздохи его... Фекла Абрамовна в моленной заперлась... Параня с сестрой в огород ушли гряды полоть, и там меж ними ни обычного смеху, ни звонких песен, ни деревенских пересудов... Ровно замерло все в доме Трифона Лохматого.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Справивши дела Патапа Максимыча в Красной Рамени, поехал Алексей в губернский город. С малолетства живучи в родных лесах безвыездно, не видавши ничего, кроме болот да малых деревушек своего околотка, диву дался он, когда перед глазами его вдруг раскинулись и высокие крутые горы, и красавец город, и синее широкое раздолье матушки Волги.

Стояло ясное утро, когда он, приближаясь к городу, погонял приуставших саврасок. День был воскресный и базарный, оттого народу в праздничных одеждах и шло и ехало в город видимо-невидимо... Кто спешил поторговать, кто шел погулять, а кто и оба дела зараз сделать. Слыхал Алексей, что перевоз через Волгу под городом не совсем исправен, что паромов иной раз не хватает, оттого и обгонял он вереницу возов, тяжело нагруженных разною крестьянской кладью и медленно подвигавшихся по песчаной дороге, проложенной середь широкой зеленой поймы. На счастье подъехал он к берегу как раз в то время, как вернувшиеся с нагорной стороны перевозчики стали принимать на паром «свежих людей»... Зачем так суетился, зачем хлопотал Алексей, зачем перебранивался с перевозчиками и давал им лишнюю полтину, лишь бы скорей переехать, сам того не ведал. Ровно в чаду каком был. Ровно толкало его вон из родного затишья заволжских лесов, ровно тянул его к себе невидимыми руками этот шумный и многолюдный город-красавец, величаво раскинувшийся по высокому нагорному берегу Волги.

Город блистал редкой красотой. Его вид поразил бы и не такого лесника-домоседа, как токарь Алексей. На ту пору в воздухе стояла тишь невозмутимая, и могучая

река зеркалом лежала в широком лоне своем. Местами солнечные лучи огненно-золотистой рябью подергивали синие струи и круги, расходившиеся оттуда, где белоперый мартын успевал подхватить себе на завтрак серебристую плотвицу[1]. И над этой широкой водной равниной великанами встают и торжественно сияют высокие горы, крытые густолиственными садами, ярко-зеленым дерном выровненных откосов и белокаменными стенами древнего Кремля, что смелыми уступами слетает с кручи до самого речного берега. Слегка тронутые солнцем громады домов, церкви и башни гордо смотрят с высоты на тысячи разнообразных судов от крохотного ботника до полуверстных коноводок и барж, густо столпившихся у городских пристаней и по всему плёсу[2].

Огнем горят золоченые церковные главы, кресты, зеркальные стекла дворца и длинного ряда высоких домов, что струной вытянулись по венцу горы. Под ними из темной листвы набережных садов сверкают красноватые, битые дорожки, прихотливо сбегающие вниз по утесам. И над всей этой красотой высокò, в глубокой лазури, царем поднимается утреннее солнце.

Ударили в соборный колокол — густой малиновый[3] гул его разлился по необъятному пространству... Еще удар... Еще — и разом на все лады и стрòи зазвонили с пятидесяти городских колоколен. В окольных селах нагорных и заволжских дружно подхватили соборный благовест, и зычный гул понесся по высоким горам, по крутым откосам, по съездам, по широкой водной равнине, по неоглядной пойме лугового берега. На набережной, вплотную усеянной народом, на лодках и баржах все сняли шапки и крестились широким крестом, взирая на венчавшую чудные горы соборную церковь.

Паром причалил. Тут вконец отуманило Алексея. Сроду не вспадало ему в голову, чтоб могло быть где-нибудь такое многолюдство, чтобы мог кипеть такой не-

---

[1] Мартыном, или мартышкой, на средней Волге зовут птицу-рыболова, чайку. Плотвица — небольшая рыбка, Cyprinus idus.

[2] Плёс, или плесо,— колено реки между двух изгибов, также часть ее от одного изгиба до другого, видимая с одного места часть реки.

[3] Малиновым зовут приятный, стройный звон колоколов или колокольчиков.

смолкаемый шум, такая толкотня и бестолочь. Оглушающий говор рабочего люда, толпами сновавшего по набережной и спиравшегося местами в огромные кучи, крики ломовых извозчиков, сбитенщиков, пирожников и баб-перекупок, резкие звуки перевозимого и разгружаемого железа, уханье крючников, вытаскивавших из барж разную кладь, песни загулявших бурлаков, резкие свистки пароходов — весь этот содом в тупик поставил не бывалого во многолюдных городах парня. Оглядевшись, стал он расспрашивать встречного и поперечного, как бы проехать ему на постоялый двор. Но, заметя в Алексее новичка, одни несли ему всякий вздор, какой только лез в их похмельную голову, другие звали в кабак, поздравить с приездом, третьи ни с того ни с сего до упаду хохотали над неловким деревенским парнем, угощая его доморощенными шутками, не всегда безобидными, которыми под веселый час да на людях любит русский человек угостить новичка. У баб спросил Алексей про постоялый двор — а те хватают его за кафтан и норовят всучить ему студени с хреном, либо вареных рубцов, либо отслужившие срок солдатские штаны и затасканную кацавейку; другие, что помоложе, улыбаются масленой улыбкой и, подмигивая, зовут в харчевню для праздника повеселиться. Подвернулись и лошадиные барышники, один, видимо, цыган, другой забубенный барин в военном сюртуке с сиплым голосом, должно быть, спившийся с кругу поручик, и двое мещан-кулаков в красных рубахах и синих поддевках. Не слушая Алексея, что кони его не продажные, они смотрят им в зубы, гладят, подхлыстывают, мнут бока, оглядывают копыта и зовут парня в трактир покончить дело, которого тот и начинать не думал. То и дело ощупывая тайник [1] и оглядывая своих вяток, насилу отделался Алексей от незваных покупщиков, и то лишь с помощью пригрозившего им городового. Пуще отца родного возрадовался Алексей знакомому мужичку, что великим постом ряжён был Патапом Максимычем по последнему пути свезти остаток горянщины на Городецкую пристань.

— Дядя Елистрат!.. Земляк!..— крикнул он ему, не

[1] Тайник — бумажник с деньгами.

выпуская из рук повода коренной савраски.— Яви божескую милость — подь сюда.

Медленным шагом подошел к нему дядя Елистрат и спервоначалу не признал Алексея.

— Меня, что ль, кликал, мо́лодец? — спросил он.

— Аль не узнал меня, дядя Елистрат? — заискивающим голосом заговорил Алексей.— Ведь ты постом посуду возил из Осиповки? Чапуринскую, Патапа Максимыча?

— Мы-ста возили. Да ты кто ж такой будешь? — спросил Елистрат.

— А приказчик-от ихний, Алексей-от Трифонов. Помнишь?.. Аль запамятовал?

— И впрямь дело, ты! — молвил Елистрат.— Ну, паря, подобрел же ты и прикраснел. В жизнь бы не узнать... как есть купец-молодец.

— Какой купец! — отозвался Алексей.— Далеко еще до купцов-то.

— Всякие, молодец, бывают купцы,— засмеялся дядя Елистрат.— По здешним местам есть таки купцы, что продают одни рубцы, да сено с хреном, да еще суконны пироги с навозом... Ты не из таковских... Первостатейным глядишь.

Стоявшие кругом громко захохотали. Дядя Елистрат как собака на них накинулся. Человек бывалый и к тому ж не робкого десятка.

— Чего галдеть-то, дуй вас горой!.. Коему лешему возрадовались? — задорно крикнул он, засучивая на всякий случай правый рукав.— Земляки сошлись промеж себя покалякать, а вы — лопнуть бы вам — в чужое дело поганое свое рыло суете!.. О!.. Рябую б собаку вам на дуван...[1] Провалиться бы вам, чертям этаким!.. Подступись только кто — рыло на̀ сторону!..

Смекнули шутники, что дядя Елистрат — человек опытный. Подобру-поздорову один за другим в сторонку.

— Научи ты меня Христа ради, земляк, как мне отселева до постоялого двора добраться? В городу́ отродясь не бывал, ничего-то не знаю, никого-то знакомых нет — очутился ровно в лесу незнаемом,— умолял Алексей дядю Елистрата.

---

[1] Дуван — дележ добычи.

— На постоялый тебе? — сказал дядя Елистрат, ухватясь рукою за край Алексеевой тележки.— А ты вот бери отселева прямо... Все прямо, вдоль по набережной... Переулок там увидишь налево, налево и ступай. Там улица будет, на улице базар; ты ее мимо... Слышь?.. Мимо базара под самую, значит, гору, тут тебе всякий мальчишка постоялый двор укажет. А не то поедем заодно, я те и путь укажу и все, что тебе надобно, мигом устрою.

И, не дождавшись ответа, взобрался дядя Елистрат на тележку и развалился на персидском ковре, покрывавшем сиденье.

— Пошел! — крикнул он присевшему сбоку облучка Алексею.— Прямо пошел!.. Эй, вы, калина с малиной, красна смородина!

Запрыгала тележка по булыжной мостовой, вдоль и вкось изрытой промоинами и рытвинами, и вскоре земляки добрались до постоялого двора. Не мог отказаться Алексей от докучного дяди Елистрата, не рад был, что и связался с ним. Хоть ни на пристани, ни на базаре ничего он не покупал, ничего и не продал, однако дядя Елистрат счел нужным сорвать с Алексея магарыч, спрыснуть, значит, счастливый приезд его в город. Делать нечего, должен был Алексей угощать земляка, указавшего путь-дорогу к постоялому двору. Чутьем ли пронюхал, по другому ль чему смекнул дядя Елистрат, что чапуринский приказчик при деньгах, и повел он его не в кабак, не в белу харчевню, а в стоявшую поблизости богатую гостиницу, куда его в смуром кафтане едва-едва пропустили.

В глазах зарябило у Алексея, робость какая-то на него напала, когда, взобравшись по широкой лестнице, вошел он с дядей Елистратом в просторные, светлые комнаты гостиницы, по случаю праздника и базарного дня переполненные торговым людом. Горницы Патапа Максимыча, бывшие до тех пор Алексею за диковину, в сравненьи с этими показались темными клевухàми. Покои двухсаженной вышины, оклеенные пестрыми, хоть и сильно загрязненными обоями, бронзовые люстры с подвесными хрусталями, зеркала хоть и тускловатые, но возвышавшиеся чуть не до потолка, триповые, хотя и закопченные занавеси на окнах, золоченые карнизы, расписной потолок,— все это непривычному Алексею ка-

залось такою роскошью, таким богатством, что в его голове тотчас же сверкнула мысль: «Эх, поладить бы мне тогда с покойницей Настей, повести бы дело не как у нас с нею сталось, в таких бы точно хоромах я жил...» Все дивом казалось Алексею: и огромный буфетный шкап у входа, со множеством полок, уставленных бутылками и хрустальными графинами с разноцветными водками, и блестящие медные тазы по сажени в поперечнике, наполненные кусками льду и трепетавшими еще стерлядями, и множество столиков, покрытых грязноватыми и вечно мокрыми салфетками, вкруг которых чинно восседали за чаем степенные «гости», одетые наполовину в сюртуки, наполовину в разные сибирки, кафтанчики, чапаны и поддевки. Дивуется небывалый новичок низким поклонам, что ему, человеку заезжему, незнакомому, отвешивают стоящие за буфетом дородные приказчики и сам сановитый хозяин с дорогими перстнями на пальцах и с золотой медалью на застегнутой наглухо бархатной жилетке. Дивится пестрой толпе бойких, разбитных половых, что в белых миткалёвых рубахах кучкой стоят у большого стола середь комнаты и, зорко оглядывая «гостей», расправляют свои бороды или помахивают концами перекинутых через плеча полотенец. При входе Алексея с дядей Елистратом они засуетились, и один, ровно оторвавшись от кучки товарищей, немилосердно передергивая плечами и размахивая руками, подвел «новых гостей» к порожнему столику, разостлал перед ними чистую салфетку и, подпершись о бок локотком, шепеляво спросил, наклоняя русую голову:

— Чем потчевать прикажете?

— Перво-наперво сбери ты нам, молодѐц, четыре пары чаю, да смотри у меня, чтобы чай был самолучший — цветочный... Графинчик поставь,— примолвил дядя Елистрат.

— Какой в угодность вашей милости будет? Рябиновой? Листовки? Померанцевой? Аль, может быть, всероссийского произведения желаете?

Дядя Елистрат пожелал всероссийского произведения, и минуты через три ловкий любимовец[1], ровно

[1] В трактирах приволжских городов и в обеих столицах половыми служат преимущественно уроженцы Любимского уезда Ярославской губернии.

с цепи сорвавшись, летел уж к своим гостям. Одной рукой подняв выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, в другой нес он маленький подносик с графинчиком очищенной и двумя объемистыми рюмками. Ловко бросив подносы один за другим на столик, отошел он к среднему столу и там, подбоченясь фертом, стал пристально разглядывать Алексея с Елистратом.

Алексей в гостиницу пошел неохотно. Если бы дядя Елистрат чуть не силком затащил его, ни за что бы на свете не переступил он порога ее. С раннего детства наслушался он от отца с матерью и от степенных мужиков своей деревни, что все эти трактиры и харчевни заведены молодым людям на пагубу, что там с утра дò ночи идет безобразное пьянство и буйный разгул, что там всякого, кто ни войдет туда, тотчас обокрадут и обопьют, а иной раз и отколотят ни зà что ни прò что, а так, здорово живешь. Старухи келейницы, жившие в доме у его родителей для обученья ребятишек грамоте, называли трактиры корчемницами, по действу диаволю поставленными от слуг антихриста ради уловления душ христианских. Вообще посещение таких заведений Алексей почитал делом позорным, и неспокойно было у него нà сердце, когда уселся он с дядей Елистратом за отведенный услужливым половым столик. Но вот окидывает он глазами — сидят все люди почтенные, ведут речи степенные, гнилого слова не сходит с их языка: о торговых делах говорят, о ценах на перевозку кладей, о волжских мелях и перекатах. Неподалеку двое, сидя за селянкой, ладят дело о пòставке пшена из Сызрани до Рыбной; один собеседник богатый судохозяин, другой кладчик десятков тысяч четвертей зернового хлеба. С другого бока сидит за чаем старик с двумя помоложе, разговор идет у них об òтправке к Калужской пристани только что купленной им на пермских ладьях соли. Там идет речь о Телячьем Броде и Харчевинском перекате [1], там о ценах на харчи в верховых городах, там о починке поломанной встречным пароходом коноводки, а там еще подальше расспрашивают какого-то армянина, много ль в Астрахани чихирю заготовлено для отправки к Макарью. Разговоры все деловые, путные. Прислушиваясь к ним,

[1] Большие мели на Волге.

Алексей смотрит бодрее, на душе у него становится спокойней, пожалуй, хоть и спасибо сказать дяде Елистрату, что привел его в такое место, где умные люди бывают, где многому хорошему можно научиться.

Покончили лесовики с чаем; графинчик всероссийского целиком остался за дядей Елистратом. Здоров был на питье — каким сел, таким и встал: хоть в одном бы глазе.

— А что, земляк, не перекусить ли нам чего по малости? — спросил он Алексея, вздумав сладко поесть да хорошенько выпить на даровщинку.

— По мне, пожалуй,— согласился Алексей.— Теперь же время обедать.

Дядя Елистрат постучал ложечкой о полоскательную чашку, и, оторвавшись от середнего стола, лётом подбежал половой.

— Сбери-ка, молодѐц, к сторонке посуду-то,— сказал ему дядя Елистрат,— да вели обрядить нам московскую селянку, да чтоб было поперчистей да покислей. Капусты-то не жалели бы.

— С какой рыбкой селяночку вашей милости потребуется? — с умильной улыбкой, шепеляво, тоненьким голоском спросил любимовец.

— Известно с какой!..— с важностью ответил дядя Елистрат.— Со стерлядью да со свежей осетриной... Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая — слышишь?.. А для верности подь-ко сюда, земляк,— сказал он, обращаясь к Алексею,— выберем сами стерлядку-то, да пометим ее, чтоб эти собачьи дети надуть нас не вздумали.

И, подойдя к медному тазу с рыбой, выбрал добрую стерлядь вершков одиннадцати и пометил рыбу, ударив ее раза два ножом по голове, да кстати пырнул и в бок острием.

— Так-то вернее будет,— примолвил дядя Елистрат.— Теперь не могут подменить — разом могу подлог приметить. Здесь ведь народец-то ой-ой! — прибавил он, наклоняясь к Алексею.— Небывалого, вот хоть тебя, к примеру, взять, оплетут как пить дадут — мигнуть не успеешь. Им ведь только лясы точить да людей морочить. Любого возьми — из плута скроён, мошенником подбит!.. Народ отпетый!..

— Напрасно, ваше степенство, обижать так изволи-

те,— ловко помахивая салфеткой и лукаво усмехаясь, вступился любимовец.— Мы не из таковских. Опять же хозяин этого очень не любит, требует, чтобы все было с настоящей, значит, верностью... За всякое время во всем готовы гостя уважить со всяким нашим почтением. На том стоим-с!..

— Знаем мы вашего брата, знаем!..— отшучивался дядя Елистрат.— Из Любима города сам-от будешь?

— Так точно-с, любимовские,— задорно тряхнув кудрями, с лукавой ужимкой ответил половой.

— Значит — «не учи козу, сама стянет с возу, а рука пречиста все причистит» [1]. Так, что ли, молодец? — продолжал свои шутки дядя Елистрат.

— А сами-то из каких мест будете? — развязно и с презрительной отчасти усмешкой спросил половой.

— Мы, брат, из хорошей стороны — из-за Волги,— ответил Елистрат.

— Значит — «заволжска кокура, бурлацкая ложка, теплый валеный товар»... Еще что вашей милости потребуется? — ввернул в ответ любимовец, подбоченясь и еще задорней тряхнув светло-русыми, настоящими ярославскими кудрями.

— Ах ты, бабий сын, речистый какой пострел! — весело молвил дядя Елистрат, хлопнув по плечу любимовца.— Щей подай, друг ты мой сердечный, да смотри в оба, чтобы щи-то были из самолучшей говядины... Подовые пироги ко щам — с лучком, с мачком, с перечком... Понимаешь?.. Сами бы в рот лезли... Слышишь?.. У них знатные щи варят — язык проглотишь,— продолжал дядя Елистрат, обращаясь к Алексею.— Еще-то чего пожуем, земляк?

— По мне все едино, заказывай, коли начал,— ответил Алексей.

— Гуся разве с капустой?.. А коль охота, так и жареного поросенка с кашей мигом спроворят. Здесь, брат, окромя́ птичьего молока, все есть, что душе твоей ни захочется... Так али нет говорю, молодец? — прибавил он половому, снова хлопнув его по плечу дружески, изо всей мочи.

— Все будет в самой скорой готовности, что вашей милости ни потребуется,— бойко подхватил любимовец,

[1] Шуточная поговорка про любимовцев.

отстороняясь однако от назойливых ласк наянливого дяди Елистрата.

— Разве еще селянку заказать? Из почек? — спросил Алексея знакомый с трактирными кушаньями дядя Елистрат.

— Пожалуй,— равнодушно ответил Алексей.

— Валяй! — крикнул Елистрат половому.— Да чтоб у меня все живой рукой поспело — тотчас!.. Стрижена девка косы б не успела заплесть!.. Вот как!..

— Значит: щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирогов подовых, да гуся с капустой, да поросенка жареного,— скороговоркой перебирал половой, считая по пальцам.— Из сладкого чего вашей милости потребуется?

— Девки, что ль, к тебе есть-то пришли?—захохотал дядя Елистрат.— Сладким вздумал потчевать!.. Эх ты, голова с мозгом!.. А еще любимовец-невыдавец!.. Заместо девичья-то кушанья мадерцы нам бутылочку поставь, а рюмки-то подай «хозяйские»: пошире да поглубже. Проворь же, а ты, разлюбезный молодец, проворь поскорее.

Алексею обед понравился, пришлась по вкусу и мадера ярославского произведения изо всякой всячины знаменитых виноделов братьев Соболевых[1]. Но как ни голоден, как ни охоч был дядя Елистрат до чужих обедов, всего заказанного одолеть не смог. Гусь остался почти нетронутым. Дядя Елистрат по горло сыт, но глаза еще голодны, и потому, нимало сумняся, вынул из-за пазухи синий бумажный платок и, завязав в него гуся, сунул в карман — полакомиться сладким кусом на сон грядущий.

Половые пересмехнулись.

— Кармашки-то не извольте засалить,— сказал один из них, по-видимому, на́больший, опираясь на середний стол закинутыми назад руками.

— Не крадено беру, пла̀ченное... Что зубы-то скалишь?.. Аль самому захотелось?, — огрызнулся на него дядя Елистрат, запуская в карман и остатки поросенка.

---

[1] В разных городах из русского чихиря делают иностранные вина в огромном количестве. Особенно замечательны были такие производства братьев Соболевых в Ярославле, Зызыкина и Терликова в городе Кашине.

— Мы не собачьей породы — объедками нашего брата не удивишь,— презрительно отозвался на́больший и ровным медленным шагом отошел в сторону.

— Ерихоны, дуй вас горой!.. Перекосило б вас с угла на угол,— бранился дядя Елистрат, кладя в карманы оставшиеся куски белого и пеклеванного хлеба и пару соленых огурцов...— Ну, земляк,— обратился он к Алексею, потягиваясь и распуская опояску,— за̀ хлеб, за́ соль, за щи спляшем, за пироги песенку споем!.. Пора, значит, всхрапнуть маленько. Стало брюхо что гора, дай бог добресть до двора.

Алексей не отвечал. В самую ту минуту из соседней комнаты разлились стройные звуки органа, только что привезенного из Москвы и что-то очень дорого стоившего... Орган был на редкость... Чтобы послушать его, нередко в ту гостиницу езжали такого даже сорта люди, что высидеть час-другой середь черного народу считают за бог весть какое бесчестье. Сама губернаторша, как дошли до нее слухи о «дивном оркестрионе», возгорела желанием насладиться его звуками и по этому случаю пригласила к себе на вечер чуть не полгорода. Оказалось, однако, что, несмотря на все старания полицеймейстера и городского головы, музыкальное диво в губернаторский дом перевезти было невозможно. Тогда было отдано приказанье хозяину в такой-то день в гостиницу никого не пускать, комнаты накурить парижскими духами, прибрать подальше со столов мокрые салфетки, сготовить уху из аршинных стерлядей, разварить трехпудового осетра, припасти икры белужьей, икры стерляжьей, икры прямо из осетра, самых лучших донских балыков, пригласить клубного повара для приготовления самых тонких блюд из хозяйских, разумеется, припасов и заморозить дюжины четыре не кашинского и не архиерейского , а настоящего шампанского. Насчет плодов не велено беспокоиться: губернский предводитель из своих подгородных теплиц обещался пожертвовать и персики, и сливы, и абрикосы, и что-то еще в этом роде. Хозяин гостиницы, разумеется, остался в накладе, зато удостоился че-

[1] Архиерейским называли в прежнее время шипучее вино, приготовляемое наподобие шампанского из астраханского и кизлярского чихиря в нанимаемых виноторговцами Макарьевской ярмарки погребах архиерейского дома в Нижнем Новгороде.

сти принимать у себя «самолучшую публику», что ее ни было в городе, и с сердечным умилением, ровно ко святым мощам, благоговейно приложиться толстыми губами к мяконькой, крошечной, благоуханной ручке ее превосходительства. Хоть не раз после такого счастия чесал он там, где в часы невзгоды любит чесать себя русский человек, однако был услажден не только целованием ручки у губернаторши, но и размашистыми ласками полицеймейстера. Полковник, похлопав купчину по плечу, с шутливой речью и юркой развязностью гвардейского штаб-офицера, ткнул его пальцем в объемистый живот и обещался на днях же заехать к нему на дом поиграть в трынку и посоветоваться насчет предстоявшего выбора в городские головы. В заключение полицеймейстер объявил, что добровольного пожертвования на детский приют с хозяина гостиницы в нынешнем году не потребуется и не пришлют ему от губернаторши толстой пачки билетов на концерт в пользу дамского благотворительного общества. Обрадованный купец, кланяясь в пояс, благодарил за такие великие милости. Угощение бояр и закрытие на целый день гостиницы сполна окупались обещанными льготами, избавляя от пожертвований, ежегодно делаемых российским купечеством добровольно, то есть наступя на горло.

Ровными, согласными волнами льются величавые звуки «Жизни за царя». Непривычному, неразвитому слуху непонятна вся прелесть художественной музыки, недоступно наслаждение потрясающими чувства и возвышающими дух созвучиями; но вечно юная, вечно прекрасная музыка Глинки обаятельно действует на русского человека, стой он на высоте развития или живи полудикарем в каком-нибудь безвестном захолустье. Будь он самый грубый, животный человек, но если в душе его не замерло народное чувство, если в нем не перестало биться русское сердце, звуки Глинки навеют на него тихий восторг и на думные очи вызовут даже невольную сладкую слезу, и эту слезу, как заветное сокровище, не покажет он ни другу-приятелю, ни отцу с матерью, а разве той одной, к кому стремятся добрые помыслы любящей души... В этих звуках так много заветного, так много святого скрыто для русского человека. Слышатся в них и глухой, перекатный шум родных лесов, и тихий

всплеск родных волн, и веселые звуки весенних хороводов, и последний замирающий лепет родителя, дающего детям предсмертное благословенье, и сладкий шепот впервые любимой девушки, и нежный голос матери, когда, бывало, погруженная в думу о судьбе своего младенца, заведет она тихую, унылую песенку над безмятежной его колыбелью... И тут же, рядом с заунывною, веками выстраданною песней, вдруг грянет громогласное, торжественное, к самому небу парящее величанье русской хлеб-соли и белого царя православного.

Не алая заря по́ небу разгорается, не тихая роса на сыру-землю опускается — горит, пылает лицо, белое, молодецкое, сверкает на очах слеза незваная.

И взгрустнулось от той музыки Алексею... Настеньку вспомянул, красоту ее неописанную, речи ее тихие, любовные, ласки ее нежные, судьбу ее вспомнил горькую... Хоть бы в Волгу головой, так в ту же пору.

Облокотясь на стол, закрыл он глаза ладонью, а дядя Елистрат, постукивая пальцами по столу, исподтишка взглядывал на земляка и лукаво усмехался.

— Захмелел,— молвил он.— Пойдем-ка, Алексей Трифоныч... Пора на боковую... Так-то не в пример лучше — теперича это будет тебе пользительно.

На этих словах кончилась музыка. Алексей ровно ото сна очнулся... Размашисто тряхнул он кудрями и, ни словом, ни взглядом не ответив дяде Елистрату, спешной походкой направился к буфету, бросил хозяину гостиницы бумажку и, не считая сдачи, побежал вон из гостиницы.

* * *

Дён через пять огляделся Алексей в городе и маленько привык к тамошней жизни. До смерти надоел ему охочий до чужих обедов дядя Елистрат, но Алексей скоро отделался от его наянливости. Сказал земляку, что едет домой, а сам с постоялого двора перебрался в самую ту гостиницу, где обедал в день приезда и где впервые отроду услыхал чудные звуки органа, вызвавшие слезовую память о Насте и беззаветной любви ее,— звуки, заставившие его помимо воли заглянуть в глубину души своей и устыдиться черноты ее и грязи.

Но такое доброе настроение скоро миновало. Куда ни пойдет Алексей, где ни вздумает прислушаться к людским толкам, везде одни и те же речи: деньги, барыши, выгодные сделки. Всяк хвалится прибылью, пуще смертного греха боится убыли, а неправедной наживы ни един человек в грех не ставит.

Вот сидит Алексей за чаем на том самом месте, где намедни обедал с дядей Елистратом. Орган играет попрежнему, но звуки его летят мимо ушей Алексеевых, досаждают даже ему, мешая прислушиваться к чужим разговорам. А разговоры заманчивые, толкуют про пользу да выгоды, про то рассказывают, как люди в немногие годы наживаются. Про откупа говорят, про золотые промыслы, про казенные подряды, про займы и ловкие банкротства, даже про разбои и перевод поддельных бумажек. И никто из собеседников не порицает людей, разжившихся грехом да неправдой, всяк дивится ловкости их, находчивости, уменью деньгу сколотить да концы схоронить...

Слышит один день такие разговоры, слышит другой — и пуще прежнего забродили у него в голове думы о богатстве, привольной жизни и людском почете со всех сторон... Но как достичь такого богатства?.. Как добыть его скоро, сейчас же?.. Откупа, золотые прииски, казенны подряды не с руки Алексею: ими начинать, надо большие деньги иметь в руках. Отчего бы, пожалуй, и банкротом не объявиться, нахвативши побольше займов, да какой же дурак незнакомому человеку поверит хоть самые малые деньги?.. Насчет разбоев и «краснорок» [1] страшно. Был еще Алексей малым ребенком, как однажды двое пьянчуг мужиков из их деревни вздумали при безденежье ради выпивки на счет проезжавшей с ярмарки дьяконицы поживиться... И через год с небольшим привезли под караулом в Поромово обоих воров да плечистого, краснолицего мужика, в красной рубахе, с зверским лицом. И как же крошил он мясо на спинах пьянчуг... Поминать даже страшно!.. Не забыл Алексей и лязга кандалов на Стуколове и на всей честной красноярской братии... Нет, страшно!.. Мимо!.. Мимо!..

---

[1] Фальшивые кредитные билеты.

Но что же делать, за что приняться?.. Не жить же в городе без толку, тратя деньги попустому?..

Опять и опять вспоминает Алексей слова Патапа Максимыча про Марью Гавриловну... «Вздумала торги заводить, вздумала пароходы покупать — приказчика ищет». Тогда смутили его эти слова, не выходили они и теперь из памяти. Отчего ж Марья Гавриловна сама не сказала про то, когда встретилась с ним в светлице Настиной?.. Брату в Казань писать обещалась, не найдется ли у него подходящего места, а про свои намеренья хоть бы заикнулась. Значит, другой есть у ней на примете... Отчего же так испугалась она, когда Алексей вошел в светлицу, отчего зарделась и глаза опустила, а потом так порывисто вздыхала, так умильно улыбалась, так любовно на него глядела?.. Видно, это только баловство одно было — дай, мол, потешусь над парнем, пущай забирает себе невесть чего в голову.

Так порешил Алексей: «В Комаров не ездить, Марью Гавриловну из мыслей вон...» Ну ее! Пропадай она со всем лукавством своим.

Каждый вечер до пóлночи бродил Алексей взад и вперед по своему «номеру». Об одном думы раскидывает — как бы разбогатеть поскорей, достичь житья-бытья привольного. «Эх, как бы эта гора была да золотая,— думал он сам про себя, глядя на кручу [1], поднимавшуюся перед его окнами,— раскопал бы ее своими руками, вынул бы из земли несметное богатство, зажил бы всем на славу и удивленье!.. Поклонился б мне тогда народ православный, а я бы житием своим утешался, построил бы каменны палаты, с утра дó ночи у меня пиры бы пировали, честь мою и богатство прославляли!..» Эх! мало ли чего не придумает бедный человек, жаждущий довольства и привольной жизни!..

И на пристани, и в гостинице, и на хлебной бирже прислушивается Алексей, не зайдет ли речь про какое местечко. Кой у кого даже выспрашивал, но все понапрасну. Сказывали про места, да не такие, какого хотелось ему. Да и на те с ветру людей не брали, больше все по знакомству либо за известной порукой. А его ни едина душа во всем городý не знает, ровно за тридевять земель от родной стороны он заехал. Нет доброхотов —

[1] Отвесная, стоймя стоящая гора.

всяк за себя, и не то что чужанина, земляка — и того всяк норовит под свой ноготь гнуть.

Не с кем словом перекинуться, не с кем по душе побеседовать — народ все черствый, недобрый, неприветный. У каждого только и думы, что своя выгода... Тяжело приходилось горемычному Алексею.

И вспомнил он рассказы келейниц, учивших его грамоте, про этот город, про эти каменные стены и про заклятье, святым мужем на них наложённое. Еще в ту́ пору, как русская земля была под татарами, ради народного умиренья проходил в орду басурманскую святитель Христов Алексий, митрополит московский. Проходил чудотворец свой путь не во славе, не в почести, не в своем святительском величии, а в смиренном образе бедного страннего человека... Подошел святитель к городу, перевозчики его не приняли перевезти через реку не восхотели, видя, что с такого убогого человека взять им нечего, и невидимо мирским очам на речные струи быстрые распростер чудотворец свою мантию. И на той мантии переплыл на другую сторону. А там на берегу бабы белье моют; попросил у них свят муж милостинки, они его вальками избили до крови... Подошел свят муж к горе набережной, в небеси гром возгремел, и пала на ту гору молонья палючая, и из той горы водный источник струю пустил светлую. У того родника чудотворного укрухом черствого хлеба святитель потрапезовал, богоданною водицей увлажил пересохшие уста свои. И прозвалась та гора «Гремячею», и тот источник до сего дня из нее течет... Хоть и видели злые люди божье знамение, но и тут свята мужа не могли познать, не честью согнали его со источника, и много над ним в безумии своем глумилися. Искал святитель ночлега, ночь ночевать, ходил от дому к дому — нигде его не приняли. И тогда возмутилась святая душа,— воззрев на каменные стены кремлевские, таково заклятье изрек: «Город каменный — люди железные!»

«И до сих пор, видно, здесь люди железные,— бродило в уме Алексеевом.— Дивно ль, что мне, человеку страннему, захожему, не видать от них ни привета, ни милости, не услышать слова ласкового, когда Христова святителя встретили они злобой и бесчестием?» И взгрустнулось ему по родным лесам, встосковалась душа

по тихой жизни за Волгою. Уныл и пуст показался ему шумный, многолюдный город.

— Какими это судьбами? Давно ль в наших палестинах? — широко́ разводя руками, вскрикнул Сергей Андреевич Колышкин, завидя Алексея на набережной.

— Друга́ неделя пошла,— снимая картуз, ответил ему Алексей.

— Что ж ты, парень, до сей поры ко мне не заглянешь? Ах ты, лоботряс этакой!.. Ну что крёстный?.. Здоров ли?.. Перестает ли тосковать помаленьку?.. Аль все по-прежнему?

— Давно уж не видал я его,— ответил Алексей.— Четверта неделя, как выехал я из Осиповки.

— Где ж побывал?

— Да в Красну Рамень хозяин посылал на мельницы, оттоль вот сюда приехал.

— Из Красной-то Рамени крупчатку, что ль, куда ставите?— спросил Колышкин.

— Нешто́,— подтвердил Алексей.

— По-моему, не надо бы торопиться — выждать бы хорошей цены,— заметил Сергей Андреич.— Теперь на муку цены шибко пошли по́д гору, ставят чуть не в убыток... В Казани, слышь, чересчур много намололи... Там, брат, паровые мельницы заводить теперь стали... Вот бы Патапу-то Максимычу в Красной Рамени́ паровую поставить. Не в пример бы спорей дело-то у него пошло. Полтиной бы на рубль больше в карман приходилось.

— Известно,— согласился Алексей.

— Говорил я ему намедни,— продолжал Колышкин,— да в печалях мои слова мимо ушей он пустил.

Помолчал Алексей.

— Однако покаместь прощай,— молвил Сергей Андреич, хлопнув по плечу Алексея.— У меня сегодня пароход отваливает... Некогда... Заходи ко мне — покалякаем. Дом-от мой знаешь?

— Нет, не знаю,— отвечал Алексей.

— А у Ильи пророка. Вон в полугоре-то церковь видишь: золочена глава,—говорил Сергей Андреич, указывая рукой на старинную одноглавую церковь.— Поднимись в гору-то, спроси дом Колышкина — всякий укажет. На правой стороне, каменный двухэтажный... На углу.

— Слушаю, Сергей Андреич, беспременно побываю,— отвечал Алексей, кланяясь Колышкину.

Сергей Андреич пошел было дальше по набережной, но шагах в пятнадцати от Алексея встретил полного, краснолицего, не старого еще человека, пышущего здоровьем и довольством. Одет он был в свежий, как с иголочки, летний наряд из желтоватой бумажной ткани, на голове у него была широкополая соломенная шляпа, на шее белоснежная косынка. Борода тщательно выбрита, зато отпущены длинные русые шелковистые бакенбарды. Встретя его, Колышкин остановился.

Слушает Алексей разговор их... Ни слова не может понять. Говорили по-английски.

«Надо быть, не русский,— подумал Алексей.— Вот, подумаешь, совсем чужой человек к нам заехал, а матушка русска земля до усов его кормит... А кровному своему ни места, ни дела!.. Ишь, каково спесиво на людей он посматривает... Ишь, как перед нехристем народ шапки-то ломит!.. Эх ты, Русь православная! Заморянину — родная мать, своим детушкам — злая мачеха!..»

И в досаде, тихими стопами, опустя голову, побрел он в гостиницу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другой день, только что отпели вечерню, пошел Алексей искать дом Сергея Андреича. Отыскать его было нетрудно. Только что поднялся он к Ильинской церкви и у первого встречного спросил про дом Колышкина, ему тотчас его указали. Дом большой, каменный, в два яруса, с зеркальными стеклами в окнах, густо уставленных цветами, с резными дубовыми дверями подъезда. Сквозь высокую чугунную решетку, заменявшую забор, виднелся широкий чистый двор с ярко-зеленым дерном, убитыми толченым кирпичом дорожками и небольшим водометом. Среди двора важно расхаживала красивая птица, распустив широкий хвост, блестевший на солнце золотыми и зелеными переливчатыми перьями. Сроду не видавший павлинов, как чуду, дивился, глядя на него, Алексей. Дивуется, а сам на хоромы Сергея Андреича взглядывает да заветную думу свою думает: «Разжиться бы вволю, точь-в-точь такие палаты построил бы!»

Несмелыми шагами, озираясь на́ стороны, взошел Алексей на крыльцо колышкинского дома, взялся за дверную ручку — хвать, ан дверь на запоре... Как быть?.. Спросить некого — на дворе, кроме павлина, ни единой души. Заглянул за́ угол дома, а там такое же крыльцо, такая же дверь, и тоже запертая. В окошко бы по-деревенскому стукнуть — высоко́, не достанешь... «Крепко же в городу́ живут,— подумал Алексей,— видно, здесь людям не верь да запирай покрепче дверь, не то мигом обчистят». И, долго не думавши, по лесному обычаю стал изо всей силы дубасить в дверь кулаками, крича в истошный голос:

— Эй вы, крещеные!.. Отомкните хоромы-то!

Дверь отворилась, в ней показался здоровенный человек, бритый, в немецком платье, у картуза околыш обшит золотым галуном... Сробел Алексей. «Должно быть, чиновный,— подумал он,— пожалуй, больше станового. Ишь ты, шапка-то какая!... Золотом обшита!.. Большого, надо быть, чину!..»

— Взбесился, что ли, ты? — накинулся здоровяк на Алексея.— Чего в дверь-то колотишь!.. Не видишь разве колокольчика?

Понять не может Алексей, про какой колокольчик он толкует ему.

— Не взыщите Христа ради, ваше благородие,— испуганным голосом сказал Алексей, снимая шапку и отвешивая низкие поклоны.— Наше дело деревенское. Мне и теперь не в примету, где тот колокольчик висит...

— Вот колокольчик, в него звонить следует,— внушительно указывая на ручку, сказал человек с галуном.

Все-таки не может понять его слов Алексей. «Какой же это колокольчик?» — думает он, глядя на повешенную у́ двери бронзовую ручку.

— Кого тебе? — спросил его здоровяк.

— Да вечор Сергей Андреич к себе наказывал побывать... Колышкин Сергей Андреич,— отвечал Алексей.— Домом-то не опознался ли я, ваше благородие?— прибавил он, униженно кланяясь.— А постучался, вот те Христос, безо всякого умыслу, единственно по своей крестьянской простоте... Люди мы, значит, небывалые, городских порядков не знаем...

— Здесь Сергей Андреич живет,— помягче прежнего ответил картуз с галуном.— Как про тебя доложить?

— Алексей, мол, Трифонов зашел... Из-за Волги, дескать... Что у Чапурина, у Патапа Максимыча, в приказчиках жил,— все еще несмелым голосом, стоя без шапки и переминаясь с ноги на ногу, отвечал Алексей.

— Пойдемте,— еще мягче молвил тот и повел Алексея в хоромы.

Глазам не верил Алексей, проходя через комнаты Колышкина... Во сне никогда не видывал он такого убранства. Беломраморные стены ровно зеркала стоят,— глядись в них и охорашивайся... Пол — тоже зеркало, ступить страшно, как на льду поскользнешься, того гляди... Цветы цветут, каких вздумать нельзя... В коврах ноги, ровно в сыпучем песке, грузнут... Так прекрасно, так хорошо, что хоть в царстве небесном так в ту же бы пору.

Вошел Алексей в комнату, где хозяин сидел с тем самым англичанином, что встретился ему накануне на пристани. Сидят, развалясь, на широком диване, сами сигары курят.

— Здорово, Алексей Трофимыч... Али Трифоныч?.. Как, бишь, тебя? — ласково протягивая Лохматому жилистую руку, радушно встретил его Сергей Андреич.— Садись — гость будешь. Да ты к нам прилаживайся... Сюда на диван... Места хватит... Авось не подеремся!..

Не смел Алексей сесть на диван, крытый бархатом, но с приветливой улыбкой взял Колышкин его за руку и, подтащив к дивану, чуть не силком посадил его промеж себя и англичанина.

— Так как же тебя звать-позывать?.. Трифоныч аль Трофимыч будешь? — спрашивал Колышкин все еще торопевшего Алексея.

— Трифонов,— отвечал тот.

— Познакомьтесь,— молвил Сергей Андреич англичанину.— Помните друга моего, благодетеля, Патапа Максимыча Чапурина, из-за Волги?

Англичанин молча кивнул головой, не выпуская изо рта сигары.

— Это его приказчик Алексей Трифоныч,— продолжал Колышкин.— А это,— сказал он, обращаясь к Алек-

сею,— господин Кноп, директор то есть, по-вашему говоря,— нáбольший по здешнему пароходному обществу. Восемь пароходов у него под началом бегает... Андрей Иванычем по-русски зовем его.

— Рад вашему знакомству,— привстав с места и подавая Алексею руку, отчетливо и довольно чисто по-русски сказал Андрей Иваныч.

— Чем же дорогого гостя мне потчевать? Ведь этим треклятым зельем поганиться с нами не станешь? — молвил Сергей Андреич, показывая на ящик с сигарами.— Чайком разве побáловаться?.. Не даром же нас, нижегородов, водохлебами зовут... Эй! — крикнул он, хлопнув три раза в ладоши.

Дверь неслышно растворилась, и вошел тот самый человек, что показался Алексею чином больше станового.

— Чаю вели подать,— приказал ему Колышкин и, обращаясь к Кнопу, сказал:

— Вот намедни вы спрашивали меня, Андрей Иваныч, про «старую веру». Хоть я сам старовером родился, да из отцовского дома еще малым ребенком взят. Оттого и не знаю ничего, ничего почти и не помню. Есть охота, так вот Алексея Трифоныча спросите, человек он книжный, коренной старовер, к тому же из-за Волги, из тех самых лесов Керженских, где теперь старая вера вот уж двести лет крепче, чем по другим местам, держится.

— А! — обрадовался Андрей Иваныч.— Очень буду обязан вам, господин Трифоныч, если вы преподадите мне о русской старой вере.

— Ты, голубчик Алексей Трифоныч, Андрея Иваныча не опасайся,— внушительно сказал Колышкин.— Не к допросу тебя приводит. Сору из избы он не вынесет. Это он так, из одного любопытства. Охотник, видишь ты, до всего этакого: любит расспрашивать, как у нас на Руси народ живет... Если он и в книжку с твоих слов записывать станет, не сумневайся... Это он для себя только, из одного, значит, любопытства... Сказывай ему, что знаешь, будь с Андрей Иванычем душа нараспашку, сердце на ладонке...

— Мне что же-с? — смешался было Алексей.— Отчего ж не сказать, что знаю. Кажись, худого в том ничего не предвидится. Не знаю только, что будет угодно спрашивать ихней милости. Хоть я и грамотен, да не

начетчик какой, от божественного писания говорить не могу.

— Будьте столь до́бры, господин Трифоныч, преподавать мне, какая заключается разность вашей старой веры от государственной церкви?

И русскими словами говорит Андрей Иваныч, а не понять Алексею. С недоуменьем взглянул он на Колышкина.

— Андрею Иванычу хочется узнать, в чем состоит старая вера, чем она рознится от нашей, от никонианства, говоря по-вашему? — пояснял Сергей Андреич.— Чем она, значит, отлична от нашей?

— Да, то есть какие существуют правила вашей русской старой веры? Из чего состоят сии правила? — подтвердил Андрей Иваныч.

— Значит, то есть на чем наша стара вера держится, в чем то есть она состоит...— догадался, наконец, Алексей.— Известно, в чем: перво-наперво в два пёрста молиться, второе дело — в церкву не ходить, третье — табаку не курить и не нюхать... Чего бишь еще?.. Да... бороды, значит, не скоблить, усов не подстригать... В немецком платье тоже ходить не годится... Ну, да насчет этого по нынешнему времени много из нашего сословия ба́ловаться зачали, особливо женский пол.

— О! любезный мой господин Трифоныч,— с едва заметным нетерпением перебил его англичанин.— Вы мне сказываете обряды, но я желаю знать правила вашей русской старой веры... Правила... Понимаете?

— Правила! Как не понимать!.. Это понимать завсегда можем!..— невпопад догадался Алексей.— У мирских правила не полагаются... Это у старцев только да у стариц... У монахов, чтобы понятнее вам доложить, да у монахинь. Так и зовется у них «келейное правило». Нашему брату его, пожалуй, и не снесть... Великим постом земных поклонов сот по восьми на день этого правила закатывают, а на Марьино стоянье [1] — так без малого целу тысячу. У нас ведь по старой-то вере келейни-

---

[1] Марьино стояние, или стояние Марии Египетской, бывает вечером в четверг на пятой неделе великого поста. Тогда читается великий канон св. Андрея Критского, и во время его у старообрядцев и единоверцев полагается 952 земных поклона.

цы — ой-ой! как здóровы на молитву-то. И на сот пять поклонов отломает по лестовке и глазом даже не поморщится.

— Это вы, господин Трифоныч, также сказываете обряды старой веры,— толковал свое англичанин,— а я желаю знать правила веры, то есть ее кáноны.

— А! Значит, насчет «правильных кáнонов»,—бойко подхватил Алексей.— Накануне больших праздников да накануне воскресеньев после вечерен они бывают. Только и правильных канóнов в миру не полагается — по кельям читают их да в Городецкой часовне.

— Кáноны, я вам говорю, господин Трифоныч, кáноны,— с невозмутимым спокойствием добивался от Алексея толкового ответа любознательный британец.— Какие суть кáноны русской старой веры, я желаю от вас узнать... Кàноны... Понимаете вы меня?

— Канóны! Как не понимать!..— ответил Алексей.— Мало ли их у нас, канóнов-то... Сразу-то всех и келейница не всякая вспомнит... На каждый праздник свой канóн полагается, на рождество ли Христово, на троицу ли, на успленье ли — всякому празднику свой... А то есть еще канóн за единоумершего, канон за творящих милостыню... Да мало ли их... Все-то канóны разве одна матушка Манефа по нашим местам знает, и то навряд... Куда такую пропасть на памяти держать!.. Пс книгам их читают...

Тут уж ровно ничего не понял Андрей Иваныч. Глядит на Алексея во все глаза, а сам не знает, что и спрашивать... Колышкин молчит, покуривая сигару, и слегка улыбается.

— В русской старой вере многие секты есть? — еще раз попробовал спросить у Алексея Андрей Иваныч, видя, что о правилах и кáнонах толку от него не добиться.

— Это так точно,— отвечал Алексей.— Много их, всяких этих сект, значит... Вот хоть бы наши места взять: первая у нас вера по беглому священству, значит, по Городецкой часовне, покрещеванцы тоже бывают, есть по спасову согласию, поморские... Да мало ли всех!.. Не сосчитаешь... Ведь и пословица есть такая: «Что мужик— то вера, что баба — то устав».

— Какая заключается разница сих вер? — настойчиво спрашивал Андрей Иваныч.

— А такая и разница, что не едят вместе да не молятся... Значит, не сообщаются ни в ястии, ни в питии, и на молитву вместе не сходятся, молятся, значит, каждый со своими. В том вся и разница,— сказал Алексей.

— Между вашими верами споры бывают? — продолжал расспрашивать англичанин.

— Для че спорить?— отозвался Алексей.— Чего нам делить-то? Споры да ссоры — неладное дело. В миру да в ладу не в пример согласнее жить. Зачем споры? Значит, кто в чем родился, тот того и держись. Вот и вся недолга. Да и спорить-то не из чего? Язык только чесать, толку ведь никакого из того не выйдет — баловство одно, а больше ничего. Для че спорить?

— Для того, чтоб убедить противника, чтоб он свою веру оставил и к вам превратился,— внушительно сказал Андрей Иваныч.

— Есть из чего хлопотать! — с усмешкой отозвался Алексей.— Да это, по нашему разуменью, самое нестоющее дело... Одно слово — плюнуть. Каждый человек должен родительску веру по гроб жизни сдержать. В чем, значит, родился, того и держись. Как родители, значит, жили, так и нас благословили... Потому и надо жить по родительскому благословению. Вера-то ведь не штаны. Штаны износятся, так на новы сменишь, а веру как менять?.. Нельзя!

Едва заметно Андрей Иваныч улыбнулся.

— Ой! Алексей Трифоныч! — захохотал между тем Колышкин, откидываясь взад на диване.— Уморишь ты меня, пострел этакой, со смеху!.. Ишь к чему веру-то применил!.. Ну, парень, заноза же ты, как я посмотрю!.. Услыхали б тебя келейные матери — ух! задали бы трезвону!.. Право!.. Ах, озорник ты этакой!.. Ха-ха-ха!.. Вера не штаны!.. Ха-ха-ха!..

Колышкин так и катался со смеху... Громкий хохот его гудел по высоким хоромам. Андрей Иваныч с едва заметным удивлением посматривал на Сергея Андреича.

— Неправду разве говорю? — быстро вскинув глазами на Сергея Андреича, молвил Алексей.— Если б я таперича, например, своему богу не верен был, разве бы

кто мог поверить мне хоть на один грош?.. Сами бы вы, Сергей Андреич, из первых не поверили...

— Следовательно, из русской старой веры никто никогда в другие секты не переходит? — спросил еще Алексея Андрей Иваныч.

— Всякого народа на свете есть,— ответил Алексей.— Может статься, иной и переходит. Так ведь что ж это и за народ?.. Самый, значит, последний... Вся цена тому человеку пятак, да и тот ломаный.

— Удивительный народ! — обратился британец к Сергею Андреичу, вставая с дивана и взяв соломенную свою шляпу.

Так ничего насчет старой веры и не добился он от Алексея. Поговорив еще немного с Сергеем Андреичем насчет каких-то кладей, Андрей Иваныч ушел, ласково простясь с «господином Трифонычем» и высказав сожаление, что он не совсем правильно изъясняется по-русски, отчего, вероятно, и понять вопросы его Алексею было затруднительно.

— Ну что ж ты поделываешь, Алексей Трифоныч? — спросил Колышкин, садясь возле Алексея по уходе Андрея Иваныча.

— Да как вам сказать, Сергей Андреич,— потупляясь, ответил Алексей.— Без дела, можно сказать, безо всякого... Сиднем сижу... И концов тому сиденью не вижу.

— Как это так?

— Заехал я сюда, Сергей Андреич, по своему делу. Счастье попытать хочется... Местечко по приказчичьей части ищу,— сказал Алексей.

— Отошел разве от Патапа-то Максимыча? — сухо спросил его Колышкин.

— Отошел-с,— вскинув бровями, ответил Алексей.

Слегка нахмурился Сергей Андреич и с видом досады быстро взглянул на Алексея. Тот сразу догадался, что нехорошее про него подумал Колышкин, и продолжал:

— Не то чтоб по какому неудовольствию али противности отошел я, Сергей Андреич, а единственно, можно сказать, по той причине, что самому Патапу Максимычу так вздумалось. «Ты, говорит, человек молодой, нечего, говорит, тебе киснуть в наших лесах, выплывай,

говорит, на большую воду, ищи себе место лучше... А я, говорит, тебя ни в чем не оставлю. Если, говорит, торговлю какую вздумаешь завести, пиши — я, говорит, тебе всякое вспоможение капиталом, значит, сделаю...»

— Не врешь ли? — пристально взглянув прямо в глаза Алексею, молвил Колышкин.— Ты, парень, сказывай мне, как попу на духу, ни в чем не таись... Может статься, пригожусь... Сам бы, пожалуй, к хорошему месту тотчас же тебя я пристроил, потому что вижу — голова ты с мозгом, никакое дело из рук у тебя не валится, это я от самого Патапа Максимыча не один раз слыхал,— только сам посуди, умная голова, могу ли я для тебя это сделать, коли у вас что-нибудь вышло с Патапом Максимычем? Крестному остуды сделать не захочу... Ни за что на свете.

— Ничего промеж нас не выходило, Сергей Андреич, никакого то есть художества по моей поверенности не было. Хоть самого Патапа Максимыча извольте спросить — и он то же скажет,— отвечал на те речи Алексей, избегая зорко смотревших на него испытующих глаз Сергея Андреича.

— Признаться сказать, понять не могу, как это вздумалось Патапу Максимычу отпустить тебя, когда он столько дорожил тобой,— ходя взад и вперед по комнате, говорил Сергей Андреич.— Великим постом заезжал он ко мне не на долгое время,— помнишь, как он на Ветлуге с теми плутами ездил. В ту пору он тобой нахвалиться не мог... Так говорил: «С этим человеком по гроб жизни своей не расстанусь». Как же у вас после того на вон-тараты пошло?.. Скажи по правде, не накуролесил ли ты чего?

Смутился немножко Алексей и промолчал. Опять нахмурил брови Сергей Андреич.

— Если там у вас какая бедушка стряслась, наперед тебе сказываю — не помощник я тебе и не заступник,— продолжал он.— Супротив Патапа Максимыча ни в каком разе я не пойду... А место есть. Хорошее место. И жалованья достаточно и всего прочего, да не в том главное дело, а вот в чем: прослужишь ты на этом месте год, и, если по твоему усердию и уменью в том году довольно прибыли будет, опричь жалованья, тебе пай дадут... Еще больше прибыли — другой пай... А кроме то-

го, кредит открыт, если б свое дело задумал. Только наперед говорю — не списавшись с Патапом Максимычем, того места я тебе не предоставлю. Как он присоветует, так и делу быть... Хочешь, сегодня же нарочного пошлю в Осиповку?

— Сделайте такое ваше одолжение, Сергей Андреич,— ответил Алексей, низко кланяясь.— А где, осмелюсь спросить, такое местечко находится?

— Не больно далече отсюда,— сказал Сергей Андреич.— У меня на пароходах. Возьму тебя, Алексей Трифоныч, со всяким моим удовольствием, если только Патап Максимыч отпишет, что расстался с тобой добрым порядком. А без его решенья принять тебя на службу мне нельзя... Сам знаешь, он ведь мне заместо отца... Вот и попрошу я по этому делу его родительского благословенья, навеки нерушимого,— добродушно подсмеялся Колышкин.

Стали говорить об условиях. Видит Алексей, что место в самом деле хорошо. Разбогатеть сразу нельзя, а в люди выйти можно. Особенно паи его соблазняли. До тех пор, что значат паи, он не слыхивал.

— Ты где пристал? — прощаясь с Алексеем, спросил Колышкин.

— У Бубнова в номерах, в гостинице,— ответил Алексей.

— Знаю,— молвил Сергей Андреич,— так мы вот как сделаем, Алексей Трифоныч: воротится нарочный и по письму Патапа Максимыча взять тебя будет можно, спосылаю я за тобой. А если что не так, пришлю сказать, что места у меня нет. Понял?

— Понимаю, Сергей Андреич,— отозвался Алексей и отправился в гостиницу.

* * *

На другой день пошел Алексей по набережной. Надобности не было никакой, но до того залегла у него тоска на сердце, до того завладела им тревога душевная, полная боязни, опасенья и горестных вспоминаний, что не сиделось ему в одиночестве, а поминутно тянуло на многолюдство... К полудню время близилось, на пристани кипело сильное движенье: одни пароходы пристава-

ли, другие в путь снаряжались. Резкий, раздирающий уши свист паровиков, звяканье якорных цепей и громкие, разноголосные и разноязычные крики людей на миг не умолкали. И река и набережная полны были оглушающего гула разнородных звуков, ясных и несвязных. Облокотясь на перила, стоял Алексей, безучастно глядя на реку и заворачивавшие по ней пароходы, на незнакомые лица приезжавших и отъезжавших, на груды товаров, загромождавших палубы, на суету рабочих, опускавших якорья и захлестывавших причальные концы [1] за столбики, поставленные на дощатых мостках, устроенных для подхода к судам. Рядом с ним, облокотясь на надолбы и навалившись широкой грудью на поручни перил и от нечего делать поплевывая в воду, стояло несколько незнакомых ему людей, судя по одеже, торговцев средней руки. Лениво перекидывались они отрывистыми словами и делали замечания, большей частью ругательные, насчет того или другого парохода. Слушал Алексей речи их, но не внимал им.

Пароходы меж тем один за другим причаливали. Других на это утро не ждали... Но вот вдали за широкой песчаной отмелью, из-за угла выдавшейся в реку и стоящей красно-бурой стеною горы, задымился еще пароход. Алексеевы соседи тотчас на него вза́рились.

— Еще бежит,— молвил молодой парень, приглядываясь вдаль и защищая ладонью глаза от солнечного света.

— И впрямь еще пароход,— отозвался стоявший плечо о плечо с Алексеем пожилой человек в широком синем сюртуке и в мягкой валеной шляпе.— Что запоздал? Аль закусывал на Телячьем Броду? [2]

— Закусил песком на Телячьем, да, видно, еще отдохнуть вздумал в Собачьей Дыре [3],— подхватил со стороны какой-то чернорабочий в пропитанной дегтем и салом рубахе, с расстегнутым воротом и с коричневой от загара грудью.

---

[1] Тонкий канат, которым причаливают суда к пристани.

[2] Мель, известная под названием Телячьего Брода.

[3] Собачья Дыра — местность на Волге, находящаяся неподалеку от Телячьего Брода, тоже неблагоприятная для судоходства.

— Чьему бы это быть? — молвил пожилой человек в валеной шляпе, пристально глядя на вышедший в середину плеса буксирный пароход, тянувший огромную баржу, заваленную чуть не до самой райны[1] высокими белыми бунтами какой-то, надо быть, легковесной клади.

— Молявинский,— подхватил молодой парень.— Бела труба с красным перехватом[2]. Надо быть, «Воевода».

— «Воевода» вечор пробежал,— заметил стоявший одаль торговец.

— Так «Соболю» надо быть,— сказал пожилой купец в синем сюртуке.— Так и есть — «Соболь»,— прибавил он, вглядываясь в приближавшийся пароход.— Бунты большие — хлопок, значит. Из Самары бежит.

— Скоренько же выбежал,— заметил молодой парень.— Мы из Самары отваливали, он только что грузиться зачинал.

— Ходкий пароход. Изо всех молявинских первый ходок,— сказал пожилой купец, стоявший рядом с Алексеем.

— Чтой-то вздумалось Молявиным продать такое сокровище? — вставил стоявший óдаль широкоплечий торговец в широком пальто оливкового цвета, с толстой суковатой можжевеловой палкой-козьмодемьянкой[3].

— Разве продали? — спросил у него Алексеев сосед.

— Продали... Как же. На прошлой неделе за пятьдесят тысяч продали. И денежки чистоганом получили, без рассрочек.— ответил тот.— Теперь «Соболь» последний раз от Молявиных бежит... Как разгрузится — к новой хозяйке поступит. Сдавать его здесь будут.

— Кому продан-то? — спросил Алексеев сосед, снимая валеную шляпу и пестрым бумажным платком отирая пот, обильно выступивший на лысой лоснящейся голове его.

---

[1] Рáйна — иначе рея — поперечное дерево на мачте, к нему привязывается нижний край паруса.

[2] На Волге у пароходов одного хозяина или одной компании дымогарные трубы окрашиваются условными красками. Оттого издали можно узнать, кому принадлежит пароход.

[3] Лучшие можжевеловые палки делаются около города Козьмодемьянска и зовутся козьмодемьянками.

— В Казани продавали,— ответил торговец с можжевеловой палкой, подходя ближе к Алексееву соседу.— Про Залетова Антипа Гаврилыча не слыхали ль?

— Знаем маленько Антипу Гаврилыча,— сказал Алексеев сосед.— С покойными родителями хлеб-соль важивали.

— Сестра ихняя «Соболь»-от купила. Масляникова Марья Гавриловна,— молвил торговец с палкой.

Ровно оттолкнуло от перил Алексея. Изумленно взглянул он на торговца. То был немолодых лет и степенной наружности, с здоровым румянцем в лице и полуседыми кудрявыми волосами.

— Вправду Марья Гавриловна «Соболя» купила? — спросил его Алексей.

— Врать, что ли, я тебе стану? — сурово отозвался румяный торговец, едва взглянув на Алексея.— Коли говорю «купила» — значит, купила. Пустых речей болтать не люблю...— И, обратясь к Алексееву соседу, сказал: — На той неделе в четверг Молявин Василий Игнатьич в Казани находился. При мне у маклера с Залетовым был... При мне и условие писано. Антип-от Гаврилыч, значит, по сестриной доверенности.

— Та-ак,— протянул купец в валеной шляпе.— Та-ак-с. И деньги, значит, чистоганом?

— Двадцать тысяч тут же вручил, не говоря худого слова,— ответил торговец.— Задатку, значит. Достальные здесь после сдачи договорился получить чистоганом враз. Так и условие писано — на семидневный срок.

— Кто ж принимать-то здесь будет? Не самой же Масляниковой. Ее дело бабье, ничего в этом разе понимать она не может,— заметила валеная шляпа.

— Уж этого я доложить не могу,— ответил румяный торговец.— Поминал в ту пору Антип Гаврилыч Молявину: сестра-де хотела приказчика выслать, а другое дело: не знаю, как они распорядятся. Да ведь и то надо сказать — принять пароход по описи не больно хитрое дело. Опять же Молявины с Залетовым никак сродни приходятся — свояки, что ли...

— Свояки, на родных сестрах женились,— подтвердил кто-то из толпы.

— Так «Соболь»-от теперича, значит, масляниковский. Вот оно что! — промолвил купец в валеной шля-

пе.— Знатный пароход!.. Знатный!.. Таких по Волге не много. Давно ли плавает?

— Всего три воды [1], четверта пошла.

Меж тем «Соболь» величаво выбежал к пристани. Медленно описав широкий круг перед набережной, поворотил он корму против течения и бросил якорья. Бывшие на пароходе пассажиры торопливо стали сходить на́ берег и рассыпались по набережной. Палуба немного очистилась, и Алексей, взойдя на нее, спросил одного из рабочих, где ихний капитан. Тот указал ему на молодого человека, по-видимому из татинцовских лоцмано́в [2], в широком коричневом пальто, из-под которого выглядывали вздетая навыпуск рубашка красной александрийки и смазанные конопляным маслом кимряцкие личны́е сапоги по колена [3].

— Почтенный! Чьих хозяев ваш пароход? — обратился к нему Алексей.

— Братьев Молявиных,— отрывисто ответил капитан.

— Продали, слышь, его Молявины-то?

— Ну, продали так продали. Тебе до того какое дело? — с недовольной ужимкой сказал капитан.

— Кому продали-то? — спросил еще Алексей.

— Масляниковой купчихе. Разгрузимся, сдавать станем,— отходя от Алексея, отозвался капитан.

— Самой сдавать-то?

— Куда ей самой! Не бабье дело,— с самодовольной улыбкой ответил капитан.— Приказчик должо̀н от нее приехать. Семь ден будем ждать его, неделю, значит, а потом неустойка пойдет... Да тебе что?

— Нет, я так...— проговорил Алексей, снял картуз, поклонился капитану и спешным шагом сошел на̀ берег.

«Теперь все дело как на ладони,— думал он, крупными шагами идя вдоль набережной.— Тешилась, значит, ведьма треклятая, одурачить меня думала... Коли б

---

[1] То есть три года.

[2] Татинец — село на Волге близ устья Керженца. Лучшие волжские лоцмана̀ большею частью из крестьян этого села.

[3] Так называемые личны́е сапоги, употребляемые преимущественно простонародьем, шьются большей частью в селе Кимрах, находящемся на Волге, в Тверской губернии. Личные сапоги шьются мездрою внутрь, а той стороной, где была шерсть,— вверх. Они смазываются маслом или дегтем.

в самом деле на мыслях у нее в те поры про меня было, не стала бы у брата места сулить, сказала бы, что сама задумала пароход покупать... А я-то дурак, ровно ошалел тогда!.. Вся теперь надежда на Сергея Андреича».

И закипела злость в душе Алексеевой. Злость на Марью Гавриловну, так недавно еще царившую над его думами, над его помыслами. Но, злобясь на коварную вдову, только вспомнит про очи ее соколиные, про брови ее соболиные, про высокую грудь лебединую, про стан высокий да стройный, что твоя сосенка, так и осыплет его мурашками, трепетно забьется горячее сердце, замрет,— и незваные слезы на глаза запросятся.

Перестал Алексей с того часу слоняться по набережной. Глаза бы его не глядели на проклятого «Соболя». Не видать бы ему парохода Марьи Гавриловны!..

Через три дня воротился нарочный, посланный Колышкиным. Сергей Андреич послал за Алексеем. Тот не замедлил.

Теперь уж знал он, как звонят в колокольчик. Человек с галуном на картузе встретил его не по-прежнему. Заискивал он в Алексее, старался угодить ему, говорил почтительно. Добрым знàком счел Алексей такое обращенье колышкинской прислуги. Должно быть, добрый ответ получен от Патапа Максимыча.

— Здравствуй, Алексей Трифоныч! Все ль подобру-поздорову? — весело и радушно встретил его Сергей Андреич.— Ну, брат,— продолжал он, садясь к письменному столу рядом с Алексеем,— ума приложить не могу, что такое крестный творит. Полезного человека прочь от себя, а на место его принимает в дом самопервейшую по здешним местам бестию!.. Знаю я Григорья Филиппова! В Сибири б ему место, а не в чéстном дому. Не рехнулся ли с печали-то Патап Максимыч? Ведь этот Гришка трех хозяев на своем веку обворовал, к четвертому теперь подъезжает... Непременно надо писать крестному — остерегся бы, поопасился... И какой плут всучил ему такое сокровище!.. Досада даже берет... Завтра же буду писать.

— На мой-то счет, Сергей Андреич, какой ответ получен? — спросил Алексей.

— На твой счет? — с доброй улыбкой отозвался Колышкин.— На твой счет, Алексей Трифоныч, крестный

такой ответ написал, что не всякий отец про сына родного такой напишет. Да вот письмо. Читай сам, а я сейчас ворочусь, надо приказанье в конторе отдать.

И, подав Алексею письмо, вышел из комнаты.

Читает Алексей знакомые, крупные, полууставные почти буквы. Патап Максимыч ровно перед ним стоит... Как наяву видит он его душевными очами.

«А что пишешь ты насчет Алексея Лохматого, что просится к тебе на место, и ты его прими безо всякого сумленья. Недолго у меня жил, а много себя показал, и я бы, кажись, во́ веки веков с ним не расстался. Теперь на его месте Григорий Филиппыч, что у Зарубиных в приказчиках жил. Человек бывалый, знающий, а дня не проходит, чтоб не поминал я Алексеюшку. Яви божескую милость, Сергей Андреич, устрой парня как можно в наилучшем виде — сам после спасибо мне скажешь. Христом богом прошу тебя, любезный мой крестничек, держи ты его в приближении, не как других служащих. А я отвечаю тебе за Алексея Лохматого всем моим капиталом. Сколько мне доверяешь, столь и ему поверь. Христом богом прошу полюби Алексеюшку и всячески жалуй его — поверь богу, он тебе заслужит. Прежде было думал я предоставить ему место у Марьи Гавриловны Масляниковой, котору ты у меня в Осиповке видел. Она у Молявиных пароход купила, «Соболь» прозывается, восемьдесят сил, буксирный, плавал всего только три воды, строен в Со̀ромове у Бенардаки [1]. Окромя того, думает Марья Гавриловна и другие торги заводить. Капитал у нее значительный после мужа достался. Нарочно спрашивал я письмом Марью Гавриловну, не пожелает ли к тому делу приставить известного мне надежного человека, за такого, что я бы ручаться готов со всяким моим удовольствием: да тут вышла неудача. Ответила Марья Гавриловна, что такой человек у нее готов... После того полагал я в Самару писать да в Хвалынь к приятелям,— слышал, что у них на пароходах есть места, а вышло, что у тебя к тому времени очистилось место. Сделай милость, любезный друг мой Сергей Андреич, успокой ты меня, старика, устрой Алексея сколь можно лучше. Какую милость к нему явишь, те милости твои я к себе причту. По-

---

[1] Пароходный завод близ Нижнего, на Волге, возле дер. Со́ромовой.

ложи ты ему жалованье хорошее, и харчи и содержание хорошее дай, не как другим прочим, яви такую милость. А буде случится Алексею какая надобность, дай ему, пожалуйста, денег, сколько ему нужно, и тотчас ко мне отпиши, заплачу немедля со всяким моим удовольствием...»

Инда руки опустились у Алексея, как дочитал он письмо Патапа Максимыча. «Что за человек, что за милостивец! — думает он.— И впрямь не всякий отец об сыне так печется, как он обо мне... И это после того... после такой обиды!..»

И вдруг он дрогнул. По-прежнему неведомый тайный голос шептал ему: «От сего человека погибель твоя!».

В то время воротился из конторы Сергей Андреич.

— Прочитал? — спросил он Алексея.

— Прочитал,— в смущенье ответил Алексей, отдавая письмо.

— Как полюбил-то он тебя, просто на удивленье!— сказал Колышкин.— Уж мне то вспало на ум, не прочит ли за тебя он дочку.

Зарделся Алексей, едва мог проговорить:

— Помилуйте, Сергей Андреич! Да разве это возможно?

— У него все возможно. Таков уж норов у крестного,— сказал Сергей Андреич.— Что в голову залезло, клином не выбьешь... Конечно, по достаткам его, особенно же теперь, как одна дочь осталась, любой первостатейный готов за сына ее посватать, да крестному это все наплевать. Забрело на мысли — шабаш. Право, не в зятья ли он тебя прочит? — прибавил Колышкин с радушным смехом, хлопнув рукой по плечу Алексея.

— Как это возможно? — говорил тот.

— Смотри, чтоб не вышло по-моему,— усмехнувшись, продолжал Сергей Андреич.— Не то как же это рассудить? Сам в человеке души не чает, дорожит им, хлопочет ровно о сыне, а от себя на сторону пускает... Вот, дескать, я его на годок из дому-то спущу, сплетен бы каких насчет девки не вышло, а там и оженю... Право, не так ли?.. Да ты сам просился от него?

— Сам,— глухо промолвил Алексей.

— Что ж тебе вздумалось? — спросил Сергей Андреич.— Ведь тебе не житье было — масленица. Чем не понравилось?

— Что ж, Сергей Андреич,— смущенным голосом промолвил Алексей.— Известное дело: рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.

Пристально посмотрел на него Колышкин, сморщил немного брови и прошелся раза два-три по комнате.

— Ну так должность твоя вот какая будет,— начал он, продолжая ходить по комнате и от времени до времени взглядывая на Алексея.

Подробно объяснил он, в чем будут состоять Алексеевы обязанности. Жалованья положил столько же, сколько получал он у Патапа Максимыча. На харчи особо, на квартиру, на разъезды тоже особую плату назначил. Всякий новичок в торговом деле от таких выгодных условий запрыгал бы с радости; Алексей поблагодарил, как водится, но в душе остался недоволен. Не того хотелось ему... Богатства скорей да людского почета!.. Богатства!.. Сейчас же!.. Вынь да положь — хоть по щучьему веленью, как в сказке сказывают...

Кончили тем, что через неделю, когда придет из Астрахани колышкинский пароход «Успех», разгрузится и возьмет свежую кладь до Рыбинска, Алексей поедет на нем при клади и тем временем ознакомится с пароходным делом. Затем было обещано ему место капитана на другом пароходе Колышкина.

Сергей Андреич спросил у него паспорт. Алексей вынул из кармана и подал.

— Ну, брат, этот паспорт нам не с руки,— взглянув на него, сказал Колышкин.— Трехмесячный, и сроку только две недели остается. Тебе надо годовой хоть выправить, а еще того лучше года на три.

— Слушаю, Сергей Андреич,— отвечал Алексей.

— Медлить некогда, сегодня ж отправляйся домой и торопись с паспортом. Годовой надо будет в казначействе брать, в уездный город, значит, ехать, в удельном-то приказе, пожалуй, не выдадут. Похлопочи, чтоб скорее... Денег не жалей: где придется колеса подмазать — подмажь, только поскорее ворочайся. Через десять дён надо тебе беспременно здесь быть — пароход не ждет... Денег на дорогу не надо ль?

— Нет,— отозвался Алексей.— Благодарю покорно, деньги найдутся... Так я сегодня же отправлюсь.

— С богом. Увидишь Патапа Максимыча, поклонись ему да молви про Гришку Филиппова — не больно бы ему доверялся. Сергей Андреич, мол, говорит, что это плут преестественный...

По̀д вечер, переправясь через Волгу, поскакал Алексей на своих саврасках в Поромово.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С поля на́ поле от деревни Поромовой, возле самого болота Долгого, на маленьком пригорке стоит село Песочное. Опричь поповских домов, в том селе всего семь дворов, да о̀даль от них большой дом городской постройки. Обшит он тесом, выкрашен желтой охрой; крыша на четыре ската, окна растворчатые, крыльцо на самой середке. Саженях в пятнадцати от того дома другой такой же, только поменьше. Заборы решетчатые; дворы некрытые. Тотчас видно, что строенье казенное: почтовая станция, либо волостное правленье, а не то пересыльный этап. И в самом деле в большом доме помещался удельный приказ, а в том, что поменьше,— училище, небогатое, впрочем, учениками.

В головах песоченского приказа сидел Михайло Васильич Скорняков, тот самый, что на именинах Аксиньи Захаровны втянулся было в затеянное Стуколовым ветлужское дело. Жил он верстах в десяти от Песочного, в приказ приезжал только по самым важным делам. Всем заправлял писарь, молодой парень из удельных же крестьян. Обыкновенно должность писаря в удельных приказах справлялась мелкими чиновниками; крестьяне редко на нее попадали. Одним из таких был Карп Алексеич Морковкин, писарь песоченского удельного приказа.

Родом он был из-за Волги, но какого села, какой деревни, один господь ведает.

Повыше Балахны, на высоких глинистых горах Кирилловых да на горе Оползне, вытянувшись вдоль левого берега Волги, стоит село Городец. Кругом его много слобод и деревушек. Они с Городцом воедино слились. Исстари там ребятишек много подкидывают. Из подкидышей целой губернии половина на долю Городца приходится. Хоть поется в бурлацкой песне:

В Городце на горе
По три девки на дворе,—

но нельзя думать, чтобы всех этих подкидышей приносили городецкие красавицы. Мудрено и то подумать, чтоб келейницам керженским, чернораменским обязан был Городец таким множеством найденышей. Иная тому причина: издавна повелось верст из-за сотни и больше свозить в то село незаконных детей. Случалось, что бедные крепостные законных детей в Городце подкидывали, чтобы вольными они выросли.

Найденыша обыкновенно несли в удельный приказ, а там сдавали на воспитанье желающему принять ребенка. Очередь даже велась меж крестьянами; воспитанье подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великою радостью, из-за них даже свары и ссоры бывали — и тому взять хочется и другому охота. Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасте они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут «захребетниками» [1].

В один летний день нашли подкидыша не в урочном месте — в овраге. Благо, что у игравших в лапту ребятишек мяч туда залетел. Спустившись в овраг, нашли они там маленького захребетника... Пришли десятские из приказа, ребенка взяли, окрестили, и как найден был он 26-го мая, то и нарекли его Карпом, по имени святого того дня. Во рту раба божия Карпа соску с жеваной морковью нашли — оттого прозвали его Морковкиным.

Время стояло глухое. Больше половины городецких хозяев в Верх на расшивах ушло либо уплыло на сплав с горянщиной. К тому ж незадолго перед тем пол-Городца выгорело, и не нашлось в самом селе Карпушке приемных родителей. Подвернулся староста с десятским из деревни Поромовой. Малым делом потолковали они меж себя и выпросили у городчан Карпушку себе в «захребетники». Вспало на ум поромовским: рекрутов по теперешним временам требуют часто — вспоим, вскормим целым миром найденыша; как вырастет он, да загудит над

---

[1] Захребетниками в былое время звали еще людей, купленных крестьянами на имя своего помещика. Они исправляли за своих хозяев барщину и работали на них.

землей царский колокол [1], тотчас сдадим его в рекруты. С таким добрым намереньем и свез староста Карпа Морковкина в деревню Поромову. Того старосту звали Алексеем, оттого поромскому мирскому захребетнику вышло полное прозвище: Карп Алексеев Морковкин.

Семибатькин сын, семиматерное детище росло себе да росло в деревне Поромовой... Годы шли; оглянуться не успели, мальчишка уж в разум начал входить... В сиротстве жить — только слезы лить... Будь Карпушка одного хозяина захребетником, не плохое бы житье было ему: поили б, кормили его, как сына родного, привязались бы к нему назва́нные отец с матерью, как к детищу рожоному. Зачастую в русском простонародье бывает, что приемыш зауряд с родным сыном идет, наследство даже с ним равное по смерти богоданных родителей получает. Но Карпушка был захребетником целой деревни, оттого и выпало ему на долю горькое горе — слезовая доля.

— Христос с ним — пущай растет,— говаривали мужики поромовские,— в годы войдет, в солдаты пойдет — плакать по нем будет некому.

И крепко-накрепко наказывали бабам поберегать парнишку, приглядеть иной раз, чтобы грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли... Тогда беда непоправимая — за́дором пропадут хлеб-соль и мирское о сироте попечение — нельзя будет в рекруты сдать.

И быть бы Карпушке солдатушкой, шагать бы по белу свету с ранцем за плечами, без алтына в кармане, всю бы жизнь чиститься не вычиститься, учиться не выучиться, но на сиротскую долю иная судьба выпала... Сбылось на мирском захребетнике вековечное слово: «Сирый да вдовый плачут, а за сирым да вдовым сам бог стоит».

Выходил от начальства строгий-престрогий указ: отдавать с каждой волости по стольку-то человек в «грамоту». Сельских школ тогда еще не было, оттого и велено было ребятишек в губернский город везти. Там заводилось первое в ту пору удельное училище.

По селам бабы воют, по дере́вням голосят; по всем по дво́рам ребятишки ревут, ровно во всяком дому по покойнику. Каждой матери боязно, не отняли б у нее сынишка любимого в ученье заглазное. Замучат там болез-

---

[1] То есть объявлен будет рекрутский набор.

ного, заморят на чужой стороне, всего-то натерпится, со всяким-то горем спознается!.. Не ученье страшно — страшна чуждедальня сторона непотачливая, житье-бытье под казенной кровлею, кусок хлеба не матерью печенный, щи не в родительской печи сваренные.

В Поромове бабы не выли, мужики не задумывались — у них мирской захребетник рос. Чего еще ждать Карпушкина возраста? Кто еще знает его, может, искалечится, либо с голоду повадится по чужим клетям ходить да под суд угодит... Тогда миру изъян, в солдаты таких не бреют... Лучше до греха теперь же за мир в ученье его отдать: жив останется, и ученый наших рук не минует... Мир в барышах еще будет: без хлопот тогда примут Карпушку в рекруты, потому что начальство грамотным не в пример приятнее лбы забривает... то еще льстило мужикам поромовским, что, отдавши Карпушку в училище, справят они повинность за целую волость Песоченскую... И тут барыши: коль не деньгами, так подводами другие деревни Карпушкину сдачу заверстают... Хлеб-соль, на мирского захребетника потраченный таким побытом, в деревню воротится, еще прибыток кой-какой миру при расчете окажется... Так судили-рядили мужики деревни Поромовой, и все двенадцать дворов в один голос решили сдать Карпушку в училище — пусть его учится да мучится, а родные ребятки на печке лежат.

И свезли в губернский город мирского захребетника и сдали его, куда следовало. Стал Карпушка учиться — грамота парнишке далась, ученье на лад пошло. Да так оно на лад пошло, что через год какой-нибудь стал Морковкин что ни на есть первым учеником: без запинки читает по-церковному и по-гражданскому, пишет, ровно бисер нижет, на счетах кладет и на бумаге всякие числа высчитывает — одно слово, стал с неба звезды хватать. Пали про то вести в деревню Поромову, и бабы решили, что Карпушке надо быть роду боярского, оттого и даются ему науки боярские — значит, так уж это у него от рождения, кровь, значит, такая в нем. И проведывали и наведывались, от кого бы Карпушке на свет божий родиться — мекали на дворянского заседателя, на винного пристава, не обошли и протопопа, но дела решить не могли. Две кумы на́век из-за Карпушки тогда перессорились: одна крестилась и божилась, что он боярского от-

родья, а другая образ со стены тащила, что ихний захребетник непременно роду поповского. Спорили бабы, спорили, да на́ людях друг про дружку и ну подноготную всю выкладывать. А затем уж известно — повойники долой да в косы.

Годы идут, Карпушка учится да учится. Однажды песоченский удельный голова (не Михайло Васильевич, а другой, что до него в головах сидел), воротясь из города, так говорил на волостном сходе, при всем честном народе:

— Будучи в городу́, по приказу господина управляющего, сидел я в училище: пытали там ребят, кто чему обучался. Такое собранье тут было, что ни вздумать ни взгадать: архиерей с архимандритом, губернатор с высокими чинами, барыни разряженные,— посмотреть, так дорого дашь!.. И читали там, вычитывали, каково каждый паренек обучается, а которы ребята отучились, тем аттестаты раздавали на большой бумаге за красной печатью, за подписом самого господина управляющего. И наш Карп Алексеев Морковкин, мирской захребетник деревни Поромовой, такой же аттестат принял из рук самого господина губернатора. А выдан Морковкину тот похвальный аттестат за то, что во всех тамошних науках он произошел да, окроме того, малевать, собачий сын, навострился. Господин управляющий малеванье его мне показывал: «Вот, говорит, это вашего песоченского!..» Голу девку с самострелом да с собакой намалевал [1]: стоит ровно вживе—глядеть даже зазорно. И ту девку в Питер послали — в департамент, потому, значит, что оченно хорошо потрафил. А после того, как я на дому у господина управляющего был, изволил его высокородие такой приказ мне сказать: Карпа Морковкина на родину отпущаем — было б ему от вас всякое устроенье, а как родных у него нет — в зятья не пожелает ли кто?.. А покамест, говорит, пущай его в приказе живет — писарю помогает. Так вот, православные, не пожелает ли кто Карпа Морковкина в зятья к себе? Парню двадцать с годом, от начальства взыскан, наукам обучен, по малом времени сюда его вышлют. Так не пожелает ли кто?

Никто не пожелал принять в зятья захребетника. То еще на уме у всех было: живучи столько лет в казен-

[1] Диана.

ном училище, Карпушка совсем обмирщился, своротил, значит, в церковники, попал в великороссийскую. Как же взять такого в се́мью, неуклонно в древлем благочестии пребывающую?.. Пришлось Морковкину проживать при удельном приказе.

Науке обучился, а от крестьянства отстал. Казенный грамотей — не пахарь, соха с приказным пером в ладу не живут, борона Карпушке не к руке, пахать тоже уменья нет, мастерства никакого не знает... Выйдя раз на жнитво за девками погоняться, пожать было вздумал, так мизинец чуть не прочь отхватил. На что сенокос — по работе само последнее дело — и тут Карпушка не годится. Гадают мужики: «Хоть и грамотен, а опричь что в солдаты, никуда не годится,— такая уж, видно, судьба ему». «И в самом деле, православные,— решил голова,— не голых же девок ему малевать, сдадим за мир в рекруты — пущай служит богу и великому государю: ученые люди царю надобны — пожертвуем царскому величеству своим мирским захребетником...»

Новый управляющий на ту пору в удельну контору поступил. А был он не такого сорта, как прежний. Прежний-от под старость подходил, а все ветрогоном жил, все бы ему в городу́ с барынями, а по деревням с девками вожжаться. Тем барыням, что из себя попригляднее были, из удельных магазинов весь хлеб роздал, а друзей-приятелей деньгами из мирских сумм снабжал. Мужиков подначальных не знал, да и знать не хотел. Был начальник задорный — мужики и на судьбище к нему не ходили, потому что одно пустое дело из того выходило. «Ты ему р е з о н т [1], а он тя в рыло»,— говаривали мужики.

Новый управляющий не из таковских был: понимал мужика вдоль и поперек, всяко крестьянско дело и деревенские обычаи ведал, ровно сам в крестьянской избе родился. Объезжая приказы, увидал он в Песочном Морковкина, поговорил с ним, заставил ведомость какую-то составить, бумагу написать и похвалил. Видя, что Морковкин бобыль, и слыша, что мужики норовят его в солдаты отдать, управляющий велел ему в контору явиться. Там Карпушка пробыл года с четыре, в приказ-

[1] Французское raison, попавшее из помещичьих хором в крестьянские избы.

ных делах наторел, и все ему стало с руки: просьбу ль написать, дело ль в котору надо сторону своротить,— на всякое художество собаку съел. Открылось в Песоченском приказе место писаря. Карпушку туда.

И стал Карпушка не Карпушка, а Карп Алексеич. Удельного голову в руки забрал, старшин зá бороды стал потряхивать. У него вся волость: ходи как линь по дну, а воду замутить не моги.

Разжился Карп Алексеич, ровно купец городской: раз по пяти на дню чай пивал, простым вином брезговал, давай ему кизлярки да на закуску зернистой икры с калачом. Не то что становой, сам исправник у Карпа Алексеича гащивал, но из крестьян хорошие люди знать его не хотели. Голова Михайло Васильич поневоле в добрых ладах с Морковкиным жил, но крепко тяготился, когда писарь наезжал к нему в дом погостить-побеседовать. Патап Максимыч к каждому празднику посылал ему барашка в бумажке: нельзя — сам удельный, но дружбы с Морковкиным не заводил и к себе в дом ногой его не пускал. И рядовому крестьянству и тысячникам всем равно насолел Карп Алексеич...

Не дай бог свинье рога, а мужику барство. Нелегко крестьянам начальство бритое, не в пример тяжелей — бородатое. То больше обидно стало песоченскому обществу, что не наезжий писарь аль не чиновник какой над ними властвует, а свое отродье, тот самый Карпушка, что недавно в Поромовой с поросятами в грязи валялся.

А каково было старикам поромовским, вскормившим Карпушку в мирских захребетниках?.. Каково было им без шапок на морозе стоять перед Карпом Алексеичем, кланяться ему до сырой земли, просить да молить, чтоб над ними помилосердовал?

«Знать бы да ведать,— меж собой говорили они,— не сдавать бы в науку овражного найденыша!.. Кормить бы, поить его, окаянного, что свинью на убой, до самых тех пор, как пришлось бы сдавать его в рекруты. Не ломался б над нами теперь, не нес бы высòко поганой головы своей. Отогрели змею за пазухой! А все бабы! Они в ту пору завыли невесть с чего...»

И доставались бабам колотухи здоровенные... Доставались и тем, что в те поры, как сдавали Карпушку в ученье, и бабами еще не были. Не разбирать же стать,

когда мужичьему кулаку расходиться вздумается. Пущай бабье меж собой разбираются: котора из них правая, котора виноватая.

Наехавши писарем, не замедлил Карп Алексеич побывать в деревне Поромовой. Поромовские — известно: и «Голубчик ты наш!», и «Родной-то ты воскормленник наш!», и «Вот какого бог привел выкормить!» Тот ему дядей, другой сватом называется. В прежнее время Карпушку хворостиной со двора, а теперь — «Желанный ты наш, разлюбезненький». Сватьев не оберется, свояков не огребется, а женского кумовства до Москвы не перевешаешь. Но, невзирая на ласки поромовцев, не по-родственному обошелся Морковкин со своими поильцами-кормильцами.

Помнил он ребячество, помнил, как изо дня в день держали его впроголодь, а водили в обносках, что от ветхости с плеч родных детей сваливались, помнил он щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, боже сохрани ответить тем же,— драчуны разревутся, нажалуются, и мирского захребетника за ушко да на солнышко, да выпорют еще вдобавок без милосердия. Не бывало в Поромове мужика, который бы хоть раз в неделю не нарвал вихров захребетнику. А пуще всего бабы памятны были Карпу Алексеичу: то и дело колотили они парнишку и за дело и без дела. Да все зря, чем ни попало: скалкой так скалкой, ухватом так ухватом, а не то и поленом, коли под руку угодило.

Попил, поел, погостил у поромовских Карп Алексеич, да вместо спасиба з̀а хлеб з́а соль, назавтра велел мужикам с поклоном в приказ приходить.

— По гривне с души,— сказал он.— По иным деревням у меня пятак положо̀н, а вы люди свои: с вас и гривна не обидна. Надо бы побольше, да уж так и быть, хлеб-соль вашу поминаючи, больше гривны на первый раз не приму.

Делать нечего — писарь велик человек, все у него в руках, а руки на то и привешены, чтобы посулы да подносы от людей принимать. Поклонились гривной с души воскормленнику... Что делать? Поневоле к полю, коли лесу нет... Взял деньги Морковкин — не поморщился да, издеваясь, примолвил старосте:

— Не даю потачки своим, чтоб страху задать чужим,

Гривной с души поромовские от бед и обид не избыли. К мужикам по другим деревням Карп Алексеич не в пример был милостивей: огласки тоже перед начальством побаивался, оттого и брал с них, как следует. А своим спуску не давал: в Поромовой у него бывало всяко лыко в строку.

Жаловаться в конторе пробовали — вышло хуже.

А жаловаться по мирскому решенью ходил Трифон Михайлыч Лохматый. Правду сказать, он не то чтоб настоящим ходоком от миру был, чтоб нарочно в город посылали его с жалобой, на это он ни за что бы в свете не пошел. Было у него на ту пору свое дело в городе, так уж кстати было и просьбу снести. Управляющий жалобу выслушал, очень на писаря прогневался и послал доверенного чиновника по всем деревням Песоченской волости разведать, вправду ль на него Лохматый жаловался. Чиновник тот человек был ловкий, слыл добросовестным и бескорыстным, а исподтишка любил лапку в чужой карман запустить... До мужиков неповаден был и злобен, даром что Доброхотовым прозывался. Коли знает, бывало, что начальство про дела его сведать может,— за правду горой, и мужика в обиду не даст; а коль можно втихомолку попользоваться — на руку охулки не положит. А пуще всего брал языком. Кто по другим ведомствам служит, все у него воры да мошенники, один он свят человек. Ловко начальство надувал и веру к себе получил от него большую, что ни скажет, бывало, Доброхотов управляющему, так тому делу и быть. С Морковкиным спознался, когда тот еще в конторе служил. Приехав в Песочное, три дня и три ночи угощался он у писаря: день сам-друг чайничают, ночь в две пары с солдатками бражничают. После трех ден гульбы стал Доброхотов мужиков созывать да про писаря Морковкина расспрашивать. Всех деревень крестьяне сказали, что оченно им довольны, никаких обид от него не видали. Недовольных только и нашлось, что двенадцать хозяев деревни Поромовой. А как им поверить, коли тысячи других в полной мере одобряют писаря. Управляющий добрый нагоняй задал поромовским. Больше всех досталось Лохматому. Тем дело и покончилось.

Карп Алексеич узнал от приятеля, кто на него челобитчиком был. Только что уехал Доброхотов, злобно за-

кусил он губу и, не таясь стоявших поблизости людей, громко вымолвил:

— Помни ты это, Трифон Лохматый, а я про тебя не забуду.

Но Трифон Лохматый по правде жил да по истине, придраться к нему было мудрено. Как ни хитрил, какие ямы писарь под ним ни подкапывал, подцепить никак не мог. Еще пуще оттого зло разобрало Морковкина.

— Ладно же,— говорит,— ладно, не отвертишься ты у меня, Трифон Лохматый... Дойму не мытьем, так катаньем!..

И с того часа положил на него вражду и лютую злобу.

* * *

Хоть велик человек был Карп Алексеич, хоть вели́ки стали достатки его, но не хватало ему по деревенскому свычаю-обычаю настоящей силы-важности, потому что человек был молодой, да к тому ж неженатый. Известно, что семейному всегда ото всех больше почету, особенно если ему над другими начальство дано...

Пора бы и Морковкину семьей заводиться, да жениться-то по окольности не на ком: крестьянскую девку взять не хочется, купецкая дочь не пойдет за мирского захребетника, на солдатке жениться зазорно, на мещанке накладно, на поповне спаси господи и помилуй!.. А недобро жить одному: одна головня и в поле гаснет, а две положи — закуря́тся. Нельзя Карпу Алексеичу век свой холостым переколачиваться, беспременно надо ему помощницу: ведь холостому помогай боже, а женатому хозяйка поможет... Да и что за жизнь неженатому?.. Одному и у каши не́споро, одному и топиться скучно идти. Во своем одиночестве завелся Морковкин кумушками, и было их у него вдоволь, но что ни толкуй, дело то греховное, зазорное... не в пример лучше совершить закон по божьей заповеди.

Стосковался безродный, безженный Карп Алексеев сын. Теплы в приказе хоромы казенные, дров на них не жалеют, топят на деньги мирские. Есть-пить Морковкину слава те господи,— иным дворянам только по великим праздникам поесть так приходится: рому, кизлярки, всяких водок от челобитных приносов хоть полы подмы-

вай, чаю-сахару хоть коням заместо овса засыпай, других всяких запасов ни счету, ни меры нет... Да с кем греться теплом, с кем над сладким кусом порадоваться, с кем распивать даровые напитки приносные?.. «Эх,— чаще да чаще стал подумывать сам с собой Карп Алексеевич,— кого бы одеть в шелки-бархаты, кого б изукрасить дорогими нарядами, кого б в люди показать: глядите, мол, православные, какова красавица за меня выдана, каково краснó она у меня изукрашена!.. Сторонись, сиволапые! Зарься, гляди, честнóй народ, каково убранство на моей на хозяюшке!»

Как у старого дó смерти душа не вынута, так у молода до свадьбы сердце не запечатано, оттого повсюду Морковкин искал-поискивал ответного сердца девичья. Весной ли, бывало, как девки за околицей зачнут хороводы водить да песни играть, по осени ль как на супрядках они собираются, о Пасхе ли на качелях, о святках ли на и́грищах, о масленой на ледяных горах, что ставились ребятами по крутым спускам, прямо над прорубями,— Карп Алексеич тут как тут... Но сиротство-одиночество на роду ему было писано. С па́рнями девки заигрывают: кого в затылок кулаком, кого ладонью вдоль спины изо всей мочи, кому жбан квасу нà голову, коли вздумает девичьи разговоры под окнами подслушивать,— Карпу Алексеичу ни привета, ни ответа: молча поклонятся писарю девки низким поклоном, сами не улы́бнутся писарю и тотчас и в сторону. Как с великим человеком шутки шутить! Пожалуй, прогневается... И на супрядках место ему не у гòлбца, где деревенски ребята стоят, а место поповское — в переднем, почетном углу под иконами. И речи ведут к нему не шутливые, говорят слова все покорные, потчуют Карпа Алексеича на девичьих су́прядках, ровно попа на поминах родительских. К хороводу подойдет, парни прочь идут, а девкам без них скучно, и ругают они писаря ругательски, но сторожась, втихомолку: «Принес-де леший Карпушку-захребетника!» Прозвище горького детства осталось за ним; при нем никто бы не посмел того слова вымолвить, но заглазно все величали его мирским захребетником да овражным найденышем. Как ни старался он угождать девкам в хороводах и на су́прядках, какого ни приносил им угощения — не помогали гостинцы: не льнули девки к писарю, зáдаром

только харчился он... На что поповичи, и тем девки были доступнее, чем бесталанному Карпу Алексеичу.

Беда, горе великое на людях жить одинокому, но та беда еще полбеды. Вот горе неизбывное, вот беда непоправимая, как откинешься от добрых людей, да отчаливши от берега, к другому не причалишь! Хуже каторги такая жизнь! Такова довелась она Карпу Алексеичу.

А меж тем старики да молодые люди женатые, глядя на писаря в беседах девичьих, то и дело над ним издеваются. «Вишь какого,— судят промеж себя,— даровали нам начальника: ему бы возле подола сидеть, а не земски дела вершать. И девки-то плохи у нас, непутные: подпалили бы когда на супрядках захребетнику бороду, осрамили б его, окаянного... Да и парни-то не лучше девчонок: намяли б ему хорошенько бока-то, как идет темной ночью домой с девичьих су́прядок. Право слово, так».

Одна девка посмелей была. То Паранька поромовская, большая дочь Трифона Михайлыча. Не таковская уродилась, чтобы трусить кого, девка бывалая, самому исправнику не дует в ус. Такая с начальством была смелая, такая бойкая, что по всему околотку звали ее «губернаторшей». Стала Паранька ради смеху с Карпушкой заигрывать, не то чтоб любовно, а лишь бы на́ смех поднять его. Подруги корить да стыдить девку зачали:

— Срамница ты этакая!.. С кем заигрывать вздумала!.. От парней рыло воротишь, а к мироеду на шею мечешься... Эх, ты!.. А еще губернаторша!

— Да ведь я так, девы, ради одного смеху,— оправдывалась Паранька Лохматая.

— То-то для смеху!..— бранили ее девки.— Намедни захребетник зачал с тобой говорить, а у тебя и глаза запрыгали, и в горле перехватило, и голос стал ровно надтреснутый... Смотри, Паранька, не осрамись... То попомни, что коль у вас с писарем до греха дойдет, тебе одна дорога в кельи идти... То разумей. что девку, мирским захребетником обцелованную, не то что хороший парень, последний кабацкий пропойца за себя не возьмет... Да и от нас подальше убирайся тогда. Не водиться девицам с Карпушкиной полюбовницей... Помни это, Паранька, помни, не забывай...

— Ну вас туто! Стану я взаправду думать о писаре!..— крикнет да захохочет, бывало, девкам в ответ Па-

ранька Лохматая.— Да по мне, Карпушка хоть на ноже торчи... ишь чем попрекать меня вздумали!

— То-то, губернаторша, смотри! — говорили девки, веря словам ее. В голову никому придти не могло, чтоб, опричь солдаток, вздумал кто гулять с мирским захребетником.

А Паранька меж тем с писарем заигрывала да заигрывала... И стало ей приходить в голову: «А ведь не плохое дело в писарихи попасть. Пила б я тогда чай до отвалу, самоваров по семи на день! Ела бы пряники да коврижки городецкие, сколь душа примет. Ежедень бы ходила в ситцевых сарафанах, а по праздникам в шелки бы наряжалась!.. Рубашки-то были бы у меня миткалевые, а передники, каких и на скитских белицах нет».

Зачал и Карп Алексеич на Параньку глаза распущать, одинокому человеку ласковое девичье слово всегда душу воротит вверх дном. Но жениться на Параньке и на мысли ему не вспадало... То на уме Карп Алексеич держал: «Сплету лапоть без кочедыка, возьму девку без попа, в жены не годится — в кумушки бредет». И повел свое дело...

Стали девки замечать, что дело не на смех у них становится. Говорят Параньке:

— Что ты, дура отятая?.. Куда ты с бешеной головой своей лезешь?.. Надует тебя захребетник, как пить даст!.. Даром только ославишься!..

А «губернаторша» как цыкнет им на ответ, да одной подруге еще примолвила:

— Не тебя стригут, так ты и молчи.

Дошли слухи до родителей. Не верил отец, чтоб писарь с Паранькой венцом порешил, но поверила тому Фекла Абрамовна.

Проведав про дочкины проказы, старый Трифон указал ей на плеть, а писарю при случае обещался виски поправить.

— Да я,— говорит,— скорей детище свое в куль да в воду, чем за мирского захребетника замуж отдам!.. В нашем роду бесчестных людей не бывало, нам с Карпушкой родниться не стать.

Заглянул однова Трифон в овин,— писарь с Паранькой обнимаются. Схватил старик цеп, да и ну молотить.

После того у писаря три дня и три ночи голова болела, а на правую ногу три недели прихрамывал... Паранька в люди не казалась: под глазами синяки, а что на спине, то рубашкой крыто — не видать... Не сказал Трифон Фекле Абрамовне, отчего у дочери синяки на лице появились, не поведала и Паранька матери, отчего у ней спинушку всю разломило... Ничего-то не знала, не ведала добродушная Фекла Абрамовна.

«Постой же ты у меня,— кряхтя и охая, думал Карп Алексеич.— Все припомню, все: и жалобы твои и побои!.. Узнаешь меня, косматая борода!.. Дай только на ноги подняться!..»

Да справившись, выбрал ночку потемнее и пошел сам один в деревню Поромову, прямо к лохматовской токарне. Стояла она на речке, в поле, от деревни одаль. Осень была сухая. Подобрался захребетник к токарне, запалил охапку сушеной лучины, да и сунул ее со склянкой скипидара через окно в груду стружек. Разом занялась токарня... Не переводя духу, во все лопатки пустился бежать Карп Алексеич домой, через поле, через кочки, через болота... А было то дело накануне постного праздника воздвиженья креста господня.

На Покров у Лохматого лошадей угнали, на Казанскую в клети все до нитки обворовали. Тут Карп Алексеич был неповинен. В том разве вина его состояла, что перед тем незадолго двух воров в приказ приводили, и писарь, как водится, обругав их, примолвил десятскому:

— Вот дураки-то!.. К кому забрались!.. Как куры во щи и попали... Это не Трифон Лохматый, у того и кóни не в призоре, да и в клеть хоть на тройке въезжай.

Воры были удельные, обокрали удельного. Удельный приказ, не доводя дела до суда, распорядился по-домашнему: воров выпорол и отпустил... И вспомянули воры слово писарево, и очистили догола старика Лохматого.

Спалив токарню, сам же писарь, как ни в чем не бывало, подговаривал Трифона подать становому объявление. «Как зачнется следствие,— думал он,— запутаю Лохматого бумагами, так оплету, что овина да жалоб и на том свете не забудет». Спознал Морковкин, что Трифон не хочет судиться, что ему мужики спасибо за то говорят.

«Деньгами спутать!..» — подумал он и шепнул своей сударушке:

— Молви, лебедка, матери: пущай, мол, тятька-то на нову токарню денег у меня перехватит. Для тебя, моя разлапушка, рад я радехонек жизнью решиться, не то чтобы деньгами твоему родителю помочь... Деньги что?.. плевое дело; а мне как вам не пособить?.. Поговори матери-то, Паранюшка... И сам бы снес я, сколько надо, Трифону Михайлычу, да знаешь, что меня он не жалует... Молви, а ты молви матери-то, она у вас добрая, а я от всего своего усердия.

— Поговорю, Карпушенька, беспременно поговорю...— отвечала на те речи Параныка.— И спасибо ж тебе, соколик мой!.. А и что это у нас за тятенька! Не родитель детям, а злой лиходей... Ровно я ему не родная дочь, ровно я ему наемная работница!.. Не жалеет он меня ни наско́лько! И за что это он не взлюбил тебя?

— Не кручинься, моя ягодка, не горюй, яблочко наливчатое,— отвечал Морковкин, обнимая свою разлапушку.— Бог милостив: будет праздник и на нашей улице... А Трифона Михайлыча, нужды нет, что меня не жалует, уважить я завсегда готов... Что ни есть нажитого, все, до последней копейки, рад ему отдать... Так и скажи Фекле Абрамовне.

— Скажу, соколик мой, беспременно скажу,— страстно отвечала Паранька, ласкаясь к писарю.— Только уж не знаю, как тятька-то...

— А что?

— Загубил он мою молодость!..— утирая рукавом слезы, зарыдала Паранька.— Не дает воли сердечушку, не велит любиться с желанным моим!..

— Да ведь любимся же, Паранюшка,—утешал ее захребетник.— Не гневи бога, не кори отца.

— Любиться-то мы любимся, голубчик мой,— сказала Паранька,— да все ж под страхом, под боязнью. А мне вольной любви хочется! Передо всеми бы людьми добрыми не зазорно было обнять тебя, не украдкой бы говорить с тобой речи любовные, не краснеть да не зариться со стыда перед подругами...

— Бог милостив, Паранюшка, придет час воли божией,— говорил Карп Алексеич.— А матери ты поговори, про что я наказывал.

— Ох ты, добрый мой!.. Ох ты, радошный! — полными белыми руками обвивая шею писаря и жарко целуя его, говорила Параня.— Тятька зло тебе мыслит, а ты ему добром хочешь платить... Какой же ты славный, Карпушенька!

И жарко целовала Параня полюбовника, и сладко миловáла его, и крупные слезинки, что жемчужинки, выкатáлись из ясных очей ее.

А пóд вечер все рассказала матери: про гульбу свою с Морковкиным, про надежду писарихой быть, жить-поживать в холе, в почете, в великом богачестве... И про то рассказала Фекле Абрамовне, что в овине приключилось по осени, и про то молвила, что сулит Морковкин денег на токарню дать и на все на прочее, сколько понадобится... Фекла Абрамовна разревелась-расплакалась, не нашла слов на похвалу Карпу Алексеичу и долго и строптиво ворчала на своего старого... Потому-то и пыталась она подъехать к сожителю со словами советными, попросил бы он денег у писаря, но не принял Трифон советов жениных, не восхотел поклониться мирскому захребетнику: послал Алексея к Патапу Максимычу, Саввушку ложкарить в Хвостиково.

За великую досаду стало это Морковкину: «Уж как ты там себе не вывертывай,— говорил он сам про себя,— а доеду я тебя, Трифон Михайлович, попомню овин да жалобы!» А сударушке иное расписывал:

— Бога не боится родитель твой — в чужи люди сыновей послал! Саввушку-то жалко мне оченно — паренек-от еще не выровнялся, пожалуй, и силенки у него не хватит на работу подряженную. Много, пожалуй, придется и побой принять, коль попадется к хозяину немилостивому. Чем сыновей-то в кабалу отдавать, у меня бы денег позаймовал. Не потерпит ему господь за обиды родным сыновьям.

Паранька плакала, передавала писаревы слова матери и чуть не каждый божий день приводила ее в слезы разговорами о тяжелой работе в чужих людях Алексея да Саввушки.

— Не говори ты, Паранюшка, не надрывай моего сердечушка! — тосковала и рыдала Фекла Абрамовна, слушая речи дочерние.— Сама знаю я, девонька, какова чужедальня сторонушка: горем она сеяна, слезами полú-

вана, тоскою покрывана, печалью горожена,— причитала она, сидя на лавке и качаясь станом взад и вперед.

Когда пали слухи, что Алексей у Патапа Максимыча хорошо пристроился, что осиповский тысячник премного его жалует, сделал даже своим приказчиком, мирской захребетник задумался. Слышит от людей, что Трифон Лохматый нову токарню выстроил, лошадей купил и всем прочим по хозяйству справляется. Раза по два на неделе бегает к нему Паранька, говорит, что деньги на расходы Алексей приносил... Разобрало зло писаря пуще прежнего.

Говорит удельному голове Михайле Васильичу:

— Давно мне хотелось сказать вам насчет Алексея Лохматого, что живет у Чапурина в Осиповке.

— Что ж такое? — спросил у него Михайло Васильич.

— У отца у его токарню по осени спалили, а потом обокрали беднягу.

— Знаю,— отвечал голова.— Кругом разорили. А хозяин исправный был!

— Тепереча, Михайло Васильич,— продолжал Морковкин,— Трифон Лохматый нову токарню ставит, не в пример лучше прежней, и пару коней купил — лошади доброезжие, не малых денег стоят, опять же из пожитков, что было покрадено, живой рукой справляет.

— Что же? Слава богу, что пособляет доброму человеку справляться,— молвил на те речи Михайло Васильич.

— Все это на плохой конец четырех сот целковых стоит,— сказал Морковкин.

— Стоит. Как по нынешним ценам не стоить! — подтвердил голова.

— А у Лохматого больших денег никогда не важивалось,— продолжал писарь.— Которы и были, те покрадены. Откуда ж взялись они? Не с неба ж свалились, не клад же дался ему.

— Известно,— поддакнул Михайло Васильич.

— Я доподлинно от самых верных людей узнал,— продолжал Карп Алексеич,— что деньги большой сын приносит из Осиповки... Живет у Чапурина без году неделя, когда ему такие деньги заработать?.. Тут, надо быть, другое что есть.

— Что ж такое?

— Да не стянул ли он деньги-то? — сказал писарь.— Не мешало бы хорошенько приструнить его... Чтобы после не было каких неприятностей.

— Не может быть того, чтоб Трифонов сын воровскими делами стал заниматься,— молвил Михайло Васильич.— Я у Патапа Максимыча намедни на хозяйкиных именинах гостил. Хорошие люди все собрались... Тогда впервые и видел я Алексея Лохматого. С нами обедал и ужинал. В приближенье его Патап Максимыч держит и доверье к нему имеет большое. Потому и не может того быть, чтоб Алексей Лохматый на такие дела пошел. А впрочем, повижусь на днях с Патапом Максимычем, спрошу у него...

Не того хотелось Карпу Алексеичу. Думалось ему уговорить Михайлу Васильича отписать в удельну контору о сдаче Лохматого в рекруты за порочное поведение.

Прошло сколько-то времени,— говорит голова Морковкину: виделся-де он с Патапом Максимычем, и Патап-де Максимыч ему сказывал, что он деньги давал взаймы Трифону Лохматому, а коль понадобится, говорит, так и вдвое и втрое дам ему, а сыном его Алексеем так доволен Патап Максимыч, как больше нельзя... «А вот это на его же, Алексея Лохматого, счет»,— примолвил Михайло Васильич, вынимая из кармана рекрутску квитанцию.

Остолбенел мирской захребетник — не то ему чаялось... А меж тем голова велел записать, где следует, квитанцию, что идет она за семью Лохматого и что теперь та семья от рекрутства свободна...

Ту квитанцию голова получил от Патапа Максимыча.

О Святой под качелями Паранька шепнула возлюбленному, что брат вместо красного яичка много денег принес. Теми словами она любовника своего прикручинила. Чуть не задохся со злости Карп Алексеич.

«Рано ли, поздно ли, попадешься ты мне! — думал он.— Погоди, гусь лапчатый, не отморозить бы тебе красны ноженьки! Быть тебе, сорванцу, под красной шапкой,— такое дельце состряпаю, что не поможет тебе и рекрутска квитанция».

Злоба к отцу перешла на сына. Чуть ли еще не сильнее была.

А Параньκа, только что наступила весна, то и дело в Песочное.

Приелась девка Карпу Алексеичу, иной красоты захотелось... Воззрился на меньшую дочь Лохматого, Натальюшку.

Однажды, когда на горячие милованья голубки Паранюшки неохотно отвечал соколик Карпушенька, девка навзрыд разрыдалася и стала укорять полюбовника, что он вконец загубил жизнь ее горегорькую, объявила, что стала не праздная.

Безответно осталось сердце захребетника. «Чтобы черт тебя побрал и с отродьем твоим!..» — подумал он и хмарою тучей нахмурился.

— Хочешь не хочешь, голубчик Карпушенька, а надо скорее дело венцом порешить,— умоляла писаря Прасковья Трифоновна.

— Знаю,— грозно отвечал захребетник.— Да как же статься тому? Старик-от согласья не даст.

— Уходом, Карпушенька,— подхватила Параньκа.— Тебе же с руки: великороссийская под боком, поп Сушила приятель тебе — свенчает как раз.

— Так-то оно так,— промычал под нос себе Карп Алексеич и крепко задумался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Петра солноворота [1] — конец весны, начало лету. Своротило солнышко на́ зиму, красно лето на жары пошло. Останные посевы гречихи покончены, на самых запоздалых капустниках рассада посажена, на последнюю рассадину горшок опрокинут, дикарь [2] навален и белый плат разостлан с приговорами: «Уродись ты, капуста, гола́, горшком, туга камешком, бела полотняным платком».

По утренней росе, в одних рубахах, опоясавшись шерстяными опоясками, досужие хозяйки ходят, бродят по

[1] Июня 12-го.

[2] Гранитный камень. В лесах за Волгой немало таких гранитных валунов.

огородам. Зорко высматривают они, не зажелтел ли где в приземистой огуречной травке золотистый новичок — перве́нький цветочек. И только что завидит которая желанного гостя, тотчас красную нитку из опояски вон, и с молитвой царю Константину и матери Олене наклоняется над грядкой и тою ниткой перевязывает выглянувший на свет божий цветочек, а сама заговóр шепнет: «Как густо мой пояс вязался, так бы густо вязались мои огурцы, не было б меж них пустоцвету!..»

В деревнях, что подальше в захолустьях, на Тиховы дни иное старинное действо справляют. О ту пору сорные травы меж сеянной и саженной огородины разрастаются, пора девичьей работы подходит — гряды полоть. Но перед тем по старому завету надо «гряды обегать». Собираются красны девицы гурьбою и в глухую полно́чь обега́ют гряды веселой вереницей. А сами все до единой в чем мать на свет родила. От того обега́нья ни червь на гряды не нападет, ни лютые медвяные росы, ни солнышком овощи не припечет, ни дождиком их не зальет.

Не уставлено урочного дня грядному обега́нью — никому не узнать, в какую ночь станут деви́цы свое действо справлять. Не скажут они ни брату, ни снохе, ни малым ребятам, ни родителям. И без того немало забот, чтоб девичье действо обошлось без помехи, чтоб не было ему какого ни на есть порушенья. Но в каком тайном совете дело свое деви́цы не держат, парни, лукавый их знает как, беспременно узнают — и ночью, как действо зачнется, они тут как тут. Еще с вечера в ко́пани по заго́родью пострелы запрячутся, либо залягут в крапиву — жги-пали, окаянная, только б глазком взглянуть на красоту девичью, как ее господь бог без покрова созда́л... Хоть действо бывает и полночью, да на Тиховы дни заря с зарей сходятся, какой горячий молодецкий взор в те белые ночи не разглядит голеньких красоточек?.. А потом, как сойдутся на всполье хороводы водить, либо песни играть, иной бахвал захохочет, да еще зазорную речь поведет: «У тебя, скажет, Степанида Марковна. возле спины-то сбоку родинка»... И сгорит со стыда Степанида Марковна, обзовет недобрым словом бесстыжего, а тому. что с гуся вода: стоит ухмыляется да при всем честном народе еще брякнет, пожалуй, во

все горло: «Сам своими глазами видел — хошь образ со стены!.. Вот и Егорку спроси, да и Ванька с Петряйкой солгать не дадут — и они тоже видели...» Батюшки светы!.. Снял долой с плеч головушку!.. Совсем осрамил! А что с охальником сделаешь?

Стали замолкать соловьи, стали стихать и другие голосистые пташки. Не слыхать больше звонкого, переливистого их щебетанья. Иные певуны с иными песнями сменили их: только что закатится солнышко, в озимях перепела затюкают, в дымящемся белым туманом болоте дергач [1] закричит, да на разные лады заведут любовные песни лягушки... Полетела пчела — божья угодница — на расцветшие луга и поляны, за о́бножью [2]. Отколь ни возьмись комариная сила, и напал на скотину овод; по лугам и перелескам во все стороны заметалась скотина, забегала, задрав хвосты, ровно бешеная. Межипарье [3] приспело, вывезли мужики на паровые поля, сколько у кого накопилось, навозу, двойчатыми железными вилами бабы по всей полосе раскидали его, чтоб лежал ровненько — уродил хлеба полненько... Конец первой страде [4]. Не за горами и вторая; а вторая страда горше первой. Известно дело: на перву страду выльешь поту жбан, на втору полный чан. Травы налились, зацвели, раздушились... Недалеко косовица — зеленый покос, не за горами и жнитво, озимая пахота, сев. Выволакивают мужики заброшенные по задворкам после яровой пахоты сохи и косули, вынимают из клетей серпы да косы. Тут не без хлопот; косы надо наклепать, серпыназубрить, брусницы [5] варом облить да песком усыпать. Брусницу сладить — дело неважное, и подросток сможет,

---

[1] Болотная птица Rallus crex, иначе коростель.

[2] Обножь, иначе взяток, коло́шки, поноска, поно́с — добыча, которую пчела собирает за один вылет.

[3] Межипарье — пора между весенними и летними полевыми работами от конца посевов до начала сенокоса.

[4] *Страда* — рабочее время в полях. Первая, или малая, страда бывает весною (пахота и сев ярового поля). Она гораздо легче второй, или большой, страды, бывающей в июле и августе. Тут и сенокос, и жнитво, и пахота, и засев озимых полей.

[5] *Брусница*, или *брусовец*,— дощечка, в виде маленькой лопаты, облитая варом (сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного дерева смола, очищенная и сгущенная варкой, а потом посыпанная песком, который крепко пристает к вару). Брусница употребляется для точенья кос и горбуш.

но клепка кос и зубренье серпов не всякому зипуну к рукаву подойдет. Тут нужны сметка в голове да провор в руке; без уменья колоти молотком по заклепкам сколько хочешь, одна пустая маята выйдет, пожалуй, еще порча...

Но вот стук-бряк по улице косами да серпами. С конца деревни до другого веселые крики несутся...

— А!.. Старый знакомый!.. Масляно рыло!.. Краснобайный язык!.. Добро пожаловать, милости просим!

Это булыня [1]. Вот идет он возле подводы, а сам подпрыгивает, косами да серпами побрякивает, затейными прибаутками народ смешит. У него на возу и косы-литовки, и косы-горбуши [2], и серпы немецкие, а захочешь, так найдутся и топоры из самого Пучежа... Брякнет булыня косой ó косу, звякнет серпом о серп — не успеешь богородицу прочитать, цела деревня от мала до велика кругом воза стоит. Краснобай от клепки кос, от зубренья серпов мужиков отговаривает — берите, мол, новые, не в пример дешевле обойдутся. И денег добрый человек не берет — по осени, говорит, приеду, бабы льном заплатят, хошь мыканым, хошь немыканым, хошь изгрёбным [3], как им в ту пору будет сподручнее. Мне ведь, говорит, все едино, что сланéц, что моченéц, что плаýн, что долгунéц [5] — всякий Демид в мой кошель угодит.

И в тот же день во всяком дому появляются новые серпы и новые косы. Летошных нет, на придачу булыне пошли. А по осени «масляно рыло» возьмет свое. День-

---

[1] Бродячий по деревням скупщик, преимущественно льна, всегда большой руки плут и балясник. Оттого ему и прозвище «масляно рыло, краснобайный язык». Лен скупает булыня по осени и зимой, а летом торгует косами и серпами. Он большей частью отдает их в долг, что крестьянам на руку, оттого что лето у них — пора не денежная. Осенью, забирая лен, булыня охулки на руку не кладет — процентов двести придется ему за отдачу в долг серпов и кос.

[2] Литовка — русская большая коса, с прямым косьем (рукояткой). Горбуша — малая коса, с коротким и кривым косьем.

[3] Изгрёбной лен, или просто изгребь, — грубые льняные волокна, остающиеся от вычески отмятого и отрепанного щеткою льна. Из него делают рядно — самый грубый холст, идущий на мешки, на покрышки возов и т. п.

[5] Лен сланèц — первый сбор волокна, моченèц — второй, плаýн — волокно короткое, мягкое и тонкое, долгунéц — длинные, но жесткие волокна.

гами гроша не получит, зато льном да пряжей туго-натуго нагрузит воза, да еще в каждой деревне его отцом-благодетелем назовут, да не то что хлеб-соль — пшенники, лапшенники, пшенницы, лапшенницы на стол ему поставят... Появятся и оладьи, и пряженцы, и курочка с насести, и косушка вина ради почести булыни и знакомства с ним напредки́.

А лет через десять, глядишь, тот булыня в купцы выписался, фабрику завел, каменный дом себе склал. А лесным бабам заво́лжанкам того и невдомек, что булынинот дом из ихнего льна строен, ихней новиной [1] покрыт, ихними тальками [2] огорожен.

Межипарье — развеселая пора деревенской молодежи; веселей той поры во все лето нет. Работы мало, что ни вечер, то на всполье хороводы, либо песни, либо лясы, балясы да смехи́ на улице у завалин... А тут, глядишь, и земляника в мураве заалела, и черника вызрела, и тройчатая костяника,— пошел и сизый гонобобель [3]. Вслед за ягодами из земли грибы полезли, ровно прет их оттуда чем-нибудь. Первым явился щеголек масляник на низеньком корешке в широкой бурой шляпке с желтоватым подбоем [4], а за ним из летошной полусгнившей листвы полезли долгоногие березовики и сине-алые сыроежки, одним крайком стали высовываться и белые грибы. Радуются девки грибкам-первачка́м, промеж себя уговор держат, как бы целой деревней по грибы идти, как бы нажарить их в темном перелеске, самим досыта наесться и парней накормить, коли придут на грибовные девичьи гулянки. Придти бы только долговязым!.. Вволю бы

---

[1] Кусок холста в тридцать аршин.

[2] Т а л ь к а — моток ниток, состоящий из 20 пасем, а пасьма — из 15 чисменок, в чисменке четыре нитки (крутом), каждая по четыре аршина. Таким образом, в тальке 4 800 аршин пряжи. Такой счет ведется в Нижегородском и Костромском Заволжье, в Вятской губернии и вообще на севере. По другим местам другой счет пряжи ведут; около Москвы, например, в Калужской и в Тульской губерниях, в тальке считают 20 пасем, каждая из 10 чисменок в четыре нитки, то есть 3 200 аршин в тальке.

[3] К о с т я н и к а, или к а м е н к а — Rubus saxatilis, у нее всегда по три ягодки вместе. Г о н о б о б е л ь, по другим местам голубица, пьяница, дурила ягода — Vaccinium uliginosum.

[4] М а с л я н и к — Boletus lateus, самый ранний гриб, кроме сморчков (Morchella), которые крестьянами за грибы не считаются и в пищу не употребляются.

девки над ними натешились, до́ крови нарвали бы уши пострелам на нову новинку [1]. Для того больше грибовны девичьи гулянки и затеваются... Маслом надо да сметаной раздобыться, благо Пасха была поздняя — грибы наперед всех святых уродились [2], значит, не грешно первачков на новинку и скоромных поесть. Но матери ворчливы, не то что масла, кислого молока у них не выпросишь; дрожат хозяйки надо всяким молочным скопом в летнюю пору. Ну. да ради грибовных гулянок авось и поп во грех не поставит, если та аль другая красотка с погреба у матери кое-что и спроворит. Уговорились девки; с раннего утра в каждой избе хлопотливо снуют они вкруг матерей у печей, помогая стряпать наспех — скорей бы отобедать да в лес с кузовками... Рассыпались девки по лесу, хрустят под их ногами сухие прутья, хлещут древесные сучья и ветки, раздвигаемые руками деревенских красавиц. Клики не смолкают, ауканьям конца нет, стоном стоят по́ лесу звонкие голоса. Пришли и парни. Они без плетюх, без туесо́в — их дело не грибы сбирать, а красным девкам помогать. Только что в лес — хохот, взвизги. Верны́ девки старому завету: с кем зимой на супрядках, с тем летом на грибках да на ягодках. А все парочками. Понабрав грибов, парни огни развели, девки в глиняных плошках принялись грибы жарить. Ложек парни не захватили, девки кормят каждая своего со своей ложки. А кормя, норовят, чтоб парень, ошпарив язык, глаза выпучил и слова не мог бы промолвить. А тут ложкой его по лбу да за уши драть, не забыл бы новой новинки.. Что смеху тут, что веселья!.. А по́д вечер каждый с зазнобушкой в кустики... И тут чуткому уху доводится слышать, как звонко да смачно деревенская молодежь целуется... Ох, грибы-грибочки! темные лесочки!.. Кто вас позабудет, кто про вас не вспомнит?

Жила-была в лесах бабушка Маланья, древняя старуха. Сколько от роду годов, люди не знали, сама позабыла... Языком чуть ворочает, а попу каждый год кается, что давным-давненько, во дни младые, в годы золотые, когда щеки были а́лы, а очи звездисты, пошла она

---

[1] Известный старинный обычай — драть за уши всякого, кто первый раз в этом году ест новинку: первые ягоды, первые грибы, овощи и пр.

[2] С воскресенья всех святых начинается Петров пост.

в лес по грибочки, да нашла девичью беду непоправную... «Бабушка,—говорит ей поп,— много раз ты в этом каялася: прощена ты господом от веку до веку».— «Батюшка,— отвечает старушка,— как же мне, грешнице, хоть еще разок не покаяться? Сладкое ведь сладко и вспомнить».

Эх, грибы-грибочки, темные лесочки!.. Кто вас смолоду не забывал, кто на старости не вспоминал?.. Человек человечьим живет, пока душа из тела не вынута.

* * *

Лишь за три часа до полуночи спряталось солнышко в черной полосе темного леса. Вплоть до полу́ночи и за̀ полночь светлынь на́ небе стояла — то белою ночью заря с зарей сходились. Трифон Лохматый с Феклой Абрамовной чем бог послал потрапезовали, но только вдвоем, ровно новобрачные: сыновья в людях, дочери по грибы ушли, с полдён в лесу застряли.

Поворчал на девок Трифон, но не больно серчал... Нечего думой про девок раскидывать, не медведь их заел, не волк зарезал — придут, воротятся. Одно гребтело Лохматому: так ли, не так ли, а Карпушке быть в лесу. «Уж коли дело на то пошло,— думает он про Параньку,— так пусть бы с кем хотела, только б не с мироедом...» Подумал так Трифон Михайлыч, махнул рукой и спать собра̀лся.

Брякнули бубенчики на улице, заржали кони у ворот Лохматого. Подкатила ко двору пара лихих саврасок Алексеевых.

— Алексеюшка! — радостно вскрикнула Фекла Абрамовна и, семеня старыми ногами, бросилась отворять дорогому гостю воро́та.

— Где был-побывал? Откудова бог несет? — спрашивал Трифон Лохматый, здороваясь с сыном.

— В городу был, батюшка, места искал,— ответил Алексей.

— Что же? — спросил отец.

— Доброе местечко мне выпало,— сказал Алексей,— приехал твое благословенье принять.

— Что ж за место такое? — с любопытством спрашивал у сына Трифон.

— Хорошее местечко, батюшка,— отвечал Алексей.— Только надо трехгодовой пачпорт выправить.

— Для че долгой такой?

— В дальни места приведется отъехать,— молвил Алексей.— На долгое время...

— В дальнюю сторонушку!.. На три-то годика!..— всплеснув руками, зарыдала Фекла Абрамовна и, поникши головой, тяжело опустилась на скамейку.— Покидаешь ты нас, дитятко!.. Покидаешь отца с матерью!.. Покидаешь родиму́ сторонушку!..

— Завыла! — сурово молвил Трифон Михайлыч.— Убирайся, не мешай про дела разговаривать.

Утирая рукавом слезы и едва сдерживая рыданья, побрела Абрамовна в заднюю горницу вылить материнскую скорбь перед святыми иконами. Отец с сыном остались один на̀ один.

— Какое ж то место? — спросил Алексея Трифон Лохматый.

— У Колышкина место, батюшка, у Сергея Андреича,— отвечал Алексей.— Приятель Патапу Максимычу будет... Пароходы у него по Волге бегают... На одном пароходе мне место сулит — всем заправлять, чтоб, значит, все было на моем отчете.

— По силам ли будет тебе такое дело? — молвил Трифон.

— Сладим, батюшка,— молодецки тряхнув кудрями, ответил отцу Алексей.— Хитрость не великая, приглядывался я на пристани довольно.

— Мелей на Волге много, перекатов, а ты человек не бывалый. Долго ль тут до греха?..— заметил отец.

— То лоцманово дело, батюшка,— сказал Алексей.— Ему знать мели-перекаты, мое дело за порядком смотреть да все оберегать, кладь ли, людей ли... Опять же хозяйские деньги на руки, за нагрузкой смотреть, за выгрузкой.

— То-то смотри! Коим грехом не оплошай,— молвил Трифон.

— Бог милостив, батюшка, управимся,— с уверенностью сказал Алексей.

— На три года, говоришь, пачпорт? — спросил Трифон Михайлыч.

— Так точно, батюшка.

— А скоро ль надобно?

— Да через неделю беспременно надо на пароход поспеть. К тому времени с Низу он выбежит: приму кладь, да тем же часом в Рыбную.

— Ой, Алексеюшка, в неделю с пачпортом тебе не управиться. Задержки не вышло бы какой,— сказал Трифон Михайлыч.

— Какая же задержка? — спросил Алексей.— Подати уплочены, на очереди не состою, ни в чем худом не замечен... Чего еще?

— Не подати, не очередь, не худое что, другое может задержать тебя,— сказал Трифон.— Аль забыл, кто делами-то в приказе ворочает?

— Как забыть? — усмехнувшись, ответил Алексей.

— То-то и есть,— молвил Трифон.— Изо всей волости нашу деревню пуще всех он не жалует. А из пороховских боле всего злобы у него на меня...

— Да что ж он сделает? — горячо заговорил Алексей.— Разве может он не дать пачпорта?.. Не об двух головах!.. И над ним тоже начальство есть!

— Эх, молодо-зелено! — сказал сыну Трифон Лохматый.— Не разумеешь разве, что может он проволочить недели три, четыре?.. Вот про что говорю.

— Так я в город,— подхватил Алексей.— В казначействе выправлю.

— Так тебе и выдали!.. Держи карман!.. Казначей без удельного приказа не даст! — сказал Трифон Лохматый.— Нет, парень, без Карпушки тебе не обойтись... В его руках!..

Озадачили Алексея отцовы речи. Руки опустил и нос повесил.

— Как же быть-то? — спросил он отца упалым голосом.

— А вот как,— сказал Трифон.— Утре пораньше поезжай ты к Патапу Максимычу, покланяйся ему хорошенько, чтоб удельному голове словечко закинул, чтоб голова беспременно велел Карпушке бумагу для казначея тебе выдать. А в приказе пачпорта не бери... Карпушка такую статью, пожалуй, влепит, что в первом же городу́ в острог угодишь... На такие дела его взять!

К Патапу Максимычу!.. В Осиповку!.. Легко молвить, мудрено сделать... Заказан путь, не велено на гла-

за показываться. Сказать про то родителю нельзя, смолчать тоже нельзя... Что же делать?.. Опять, видно, грех на грех накладывать, опять обманные речи отцу говорить... Что же?.. Теперь уж не так боязно — попривык.

— Ладно,— пробормотал Алексей,— съезжу. А все-таки наперед к Морковкину попытаюсь,— прибавил он.

— Попытайся, пожалуй,— молвил Трифон.— Только помяни мое слово, без Патапа Максимыча тебе не обойтись.

— Увидим,— сказал Алексей, решаясь в случае неудачи ехать не в Осиповку, а прямо к голове. Благо по ветлужскому делу человек знакомый.

— Смотри только, Алексеюшка, с Карпушкой-то не больно зарывайся! — молвил Трифон.— У него ведь всяко лыко в строку. Чуть обмолвишься, разом к ответу... А ведь он рад-радехонек всех нас в ложке воды утопить... Памятлив, собака!

— Что Паранька-то? — после недолгого молчанья спросил Алексей.

— Гуляет,— насупив брови, сквозь зубы процедил Трифон, а сам, поднявшись с лавки и отодвинув оконницу, высунул на волю седую свою голову.

— Ни слуху, ни гулу, ни шороху,— молвил, отходя от окошка.— Кочетàм полнóчь пора опевать, а их нет да нет... И пес их знает, куда до сих пор занесло непутных!..

— Гулянки, что ль, какие? — спросил Алексей.

— По грибы пошли,— молвил Трифон.— Как только отобедали, со всей деревни девки взбузыкались. А нашим как отстать?.. Умчались, подымя хвосты... А Карпушка беспременно уж там... Караулит, леший его задери...

— Не посмеет,— слегка тряхнув кудрями, молвил Алексей.— Не дадут ребята спуску, коли сунется на игрище.

— Да он игрищà-то и в глаза не увидит,— сказал Трифон Михайлыч.— Лес-от велик, места найдется... Да что лес!.. На что им лес!.. Паранька в Песочно повадилась бегать... Совсем девка с похвей сбилась... Ославилась хуже последней солдатки!.. На честнóй родительский дом позор накинула — ворота ведь дегтем мазали, Алексеюшка!.. После этого кàк Параньке замуж идти?.. Ни честью, ни уходом никто не возьмет. И Наталье-то по

милости ее терпеть приходится... Уж чего не приняла от меня Паранька, уж как не учил ее!.. Печки одной на ней не бывало!.. А ей и горюшка нет, отлежится, отдышится, да опять за свои дела. Потеряла девка совесть, забыла, какой у человека и стыд бывает!.. Ох-охо́-хохо̀!..

И жжет и рвет у Алексея сердце. Злоба его разбирает, не на Карпушку, на сестру. Не жаль ему сестры, самого себя жаль... «Бог даст в люди выду,— думает он,— вздумаю жену из хорошего дома брать, а тут скажут — сестра у него гулящая!.. Срам, позор!.. Сбыть бы куда ее, запереть бы в четырех стенах!..»

— В кельи ее, батюшка! — молвил он.— Черна ряса все покрывает.

— И то думаю,— ответил Трифон Михайлыч.— Только ведь ноне и по келейницам эта слабость пошла. В такой бы скит ее, где бы на̀крепко хвост-от пришили... А где такого взять?

— В Шарпане, сказывают, строго келейниц-то держат,— заметил Алексей.

— В Шарпане точно будет построже. И черной работы больше, дурить-то некогда... Да примет ли еще мать Августа наше чадушко? Вот что...— сказал Трифон.

— Попытай...— молвил Алексей.

— И то надо будет,— отозвался Трифон.— То маленько обидно, что работницей в дому меньше станет: много еще Паранька родительского хлеба не отработала. Хоть бы годок, другой еще пожила. Мать-то хилеть зачала, недомогает... Твое дело отделенное, Савелью до хозяйки долга песня, а без бабы какое хозяйство в дому!.. На старости лет останешься, пожалуй, один, как перст— без уходу, без обиходу.

— Бог милостив, батюшка; Наталья останется,— утешал отца Алексей.

— И на нее плоха, парень, надежда,— вздохнул Трифон.— Глядя на сестру, туда же смотрит.

— В Шарпан Параньку, в Шарпан, батюшка...— настаивал Алексей.

— Эка память-то у меня стала! — хватился Трифон.— Про скиты заговорили, только тут вспомянул... Из Комарова была присылка к тебе... Купчиха там московская проживает...

Алой зарницей вспыхнуло лицо Алексея, огнем сверкнули черные очи... Духу перевести не может.

— В пятницу от Манефиных работник на субботний базар в Городец проезжал, с ним Масляникова купчиха, что в Комарове живет,— наказывала тебе побывать у нее — место-де какое-то вышло,— продолжал Трифон, не замечая смущения сына.

Вдруг послышались на улице веселый шум и звонкий смех... Затренькала балалайка, задребезжала гармоника, бойко затянул «запевало», вторя ему пристали «голоса̀»: один заливался, другой на концах выносил... Им подхватили «подголоски», и звучной, плавной волной полилась расстанная песня возвращавшейся с «грибовной гулянки» молодежи [1]:

Веселая голова,
Не ходи мимо сада,
Дороженьки не тори,
Худой славы не клади.

Пробудились на печах от уличной песни старые старухи, торопливо крестились спросонок и творили молитву. Ворчали отцы, кипятились матери. Одна за другой отодвигались в избах оконницы и высовывались из них заспанные головы хозяек в одних повойниках. Голосистые матери резкою бранью осыпали далеко за̀ полночь загулявшихся дочерей. Парни хохотали и громче прежнего пели:

Мил дорожку проторил,
Худу славу наложил,
Отцу с матерью бесчестье,
Роду-племени покор.

Не сразу угомонилась и разбрелась по дворам молодежь. Долго бренчала балалайка, долго на один нескончаемый лад наигрывала песню гармоника. По избам

---

[1] Русская песня начинается запевалой, самым голосистым песенником изо всех. Он, как говорится, «затягивает» и ведет песню, то есть держит голос, лад и меру. Запевало — обыкновенный высокий тенор; к нему пристают два «голоса»: один тенор, другой «выносит», то есть заканчивает каждый стих песни в одиночку. Подголосками называются остальные песенники. Расстанная песня (по иным местам разводная) — та, что поют перед расходом по домам. Таких песен много, все веселые.

слышались брань матерей и визгливые крики девок, смиряемых родителями. Наконец, все стихло, и сонное царство настало в деревне Поромовой.

Паранька одна воротилась. Кошкой крадучись, неслышными стопами пробралась она пó мосту[1] к чулану, где у нее с сестрой постель стояла. Как на грех скрипнула половица. Трифон услыхал и крикнул дочь.

Ни жива ни мертва переступила порог Паранька.

— Наталья где? — грозно спросил ее отец.

— Дома, надо быть...— дрожа со страха, ответила она.

— Кликни ее сюда,— молвил Трифон.

Паранька ни с места.

— Да я не знаю... Она, видно, отстала...

И, еще ничего не видя, заревела.

— Я те задам: «отстала»! — зарычал старик и, схватив с полицы плеть, стал учить дочку уму-разуму.

Выскочила Фекла Абрамовна... Плач, крики, вопли!.. Опершись о стол рукою, молча, недвижно стоял Алексей... Ничего он не видел, ничего не слышал — одно на уме: «Марья Гавриловна зовет».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поднявшись с постели только ко второму уповодку[2], Карп Алексеич Морковкин, в бухарском стеганом и густо засаленном халате, доканчивал в своей горнице другой самовар, нимало не заботясь, что в приказе с раннего утра ждет его до десятка крестьян. Покончив с

---

[1] Мостом называют большие холодные сени между переднею и заднею избами, в иных местах — только пол в этих сенях.

[2] В деревнях простой народ часов не знает, считает время по «уповодкам». Уповодок — собственно время работы за один прием: от еды до еды, от роздыха до роздыха. Зимой во дню три уповодка, летом четыре. Первый летний уповодок от всхода солнца и перекуски (ломоть хлеба), до завтрака (то есть с четырех или пяти часов до восьми часов утра); второй — от завтрака до обеда (с восьми часов утра до полудня); третий — от обеда до «пáуженки» (еда между обедом и ужином), то есть от полудня до трех или четырех часов пополудни; четвертый от пауженки до солнечного заката и ужина, то есть до восьми или девяти часов. За Волгой и вообще в лесах на севере завтракают с восходом солнца, обедают в девять часов утра, в полдень полудничают, в три или четыре часа бывает паужина, на закате солнца ужин.

чаем, принялся писарь за штофик кизлярки да за печеные яйца с тертым калачом на отрубях, известным под названьем «муромского». И калач, и яйца, и кизлярка, разумеется, были не покупные: за стыд считал мирской захребетник покупать что-нибудь из съестного. По его рассужденью, как поп от алтаря, так писарь от приказа должен быть сыт.

Позавтракал Карп Алексеич и лениво поднялся с места, хотел идти принимать от мужиков приносы и краем уха слушать ихние просьбы... Вдруг с шумом и бряканьем бубенчиков подкатила к крыльцу тележка. Выглянул писарь в окно, увидел Алексея.

Стал середь горницы Карп Алексеич. «Алешку Лохматого дьявол принес,— подумал он.— Наташка не проболталась ли?.. Иль каким барином!.. На Чапуринских!.. Ну, да ведь я не больно испужался: чуть что — десятских, да в темную...»

Храбрится, а у самого поджилки трясутся, мурашками спину так и осыпает, только что вспомнит про здоровенный кулак и непомерную силу Алексея.

«Повременю, скоро не выйду... Пущай пождет — прохладится... Пусть его помнит, что писарь — начальство».

И опять принялся за кизлярку да за муромской калач с печеными яйцами. Напусти, дескать, господи, смелости!

Добрые полчаса прошли... Наконец, мимо кланявшихся чуть не до земли мужиков прошел Карп Алексеич в «присутствие» и там развалился на креслах головы.

— Пускать мужиков поодиночке,— приказал он ставшему у двери десятскому.

Десятский впустил Алексея.

— Черед соблюдать! — крикнул писарь.— Другие ждут спозаранок, этот последним явился.

— Да мне бы всего на пару слов,— зачал было Алексей.

— Черед наблюдать! — пуще прежнего крикнул десятскому Карп Алексеич.

Алексей вышел.

Надивиться не могут мужики, отчего это писарь никого не обрывает, каждого нужду выслушивает терпеливо, ласково переспрашивает, толкует даже о делах по-

сторонних. А это все было делано ради того, чтоб Алексею подольше дожидаться. Знай, дескать, что я тебе начальство, чувствуй это.

Наконец, все мужики были отпущены, но писарь все-таки не вдруг допустил до себя Алексея. Больно уж хотелось ему поломаться. Взял какие-то бумаги, глядит в них, перелистывает, дело, дескать, делаю, мешать мне теперь никто не моги, а ты, друг любезный, постой, подожди, переминайся с ноги на̀ ногу... И то у Морковкина на уме было: не вышло б передряги за то, что накануне сманил он к себе Наталью с грибовной гулянки... Сидит, ломает голову — какая б нужда Алешку в приказ привела.

Настал час воли писаря, допустили Алексея в присутствие. Перед тем как позвать его, Морковкин встал с кресел и, оборотясь спиной к дверям, стал читать предписания удельного начальства, в рамках за стеклом по стенам развешанные. Не оглядываясь на Алексея, писарь сердито спросил:

— Зачем?

— За пачпортом.

— За каким?

— За трехгодовым. Трехгодовой пачпорт мне нужен, потому что, отъезжая, значит, по пароходной части в разные города и селения Российской империи...— начал было Алексей, но писарь прервал его словом:

— Нельзя!

— А отчего бы это нельзя? — подбоченясь и выставя правую ногу вперед, задорно спросил Алексей.

Не оглядываясь, писарь ответил:

— Бланок таких в приказе нет... Писать не на чем... Недель шесть подожди,— к ярманке вышлют.

— Могу из казначейства выправить... Бумагу бы только мне,— твердым голосом молвил Алексей.

— Нет тебе бумаги.

— А почему б это? — шагнув вперед, спросил Алексей.

— Рекрутский набор будет зимой,— прошипел, не оглядываясь, Морковкин.

— Что мне набор? — молвил Алексей.— За меня квитанция есть.

— А подати?

— Заплóчены, а надо, так еще за три года вперед внесу.

— Ишь тысячник какой! — с злобной усмешкой сказал писарь.— За три года вперед!.. Да откуда у тебя такие деньги?

— Это уж мое дело... Мне бумагу в казначейство надо. Вот что... — молвил Алексей.

— Сказано — нельзя,— возвысив голос, проговорил писарь.— Справки надо собрать, впрямь ли квитанция представлена, подати уплочены ли, под судом не состоишь ли, к следствию какому не прикосновен ли, взысканий на тебя не поступило ли, жалоб, долговых претензий... Этого сделать скоро нельзя.

— А много на то времени потребуется? — спросил Алексей.

— Месяца два, либо три, не то и больше,— ответил Карп Алексеич.

Стиснув зубы и хмуря брови, еще шагнул Алексей. Хотел завернуть крепкое словцо Морковкину, но сдержал порыв, опомнился и молвил:

— Счастливо оставаться.

Быстрыми шагами пошел вон из приказа.

Так и не видал лица стоявшего спиной к дверям Морковкина. А тот и по уходе Алексея долго еще разглядывал висевшее на стене предписание.

* * *

Прямо из приказа покатил Алексей в Клюкинó, к удельному голове Скорнякову. Приехав в ту пору, как, восстав от послеобеденного сна, Михайло Васильич с хозяюшкой своей Ариной Васильевной и с детками засел за ведерный самовар чайком побàловаться, душеньку распарить.

Скорняков был не из последних тысячников по Заволжью. Хоть далеко было ему до Патапа Максимыча, однако ж достатки имел хорошие и жил в полном изобилье и довольстве.

Дом у него стоял большой, пятистенный, о двух ярусах, с боковушами и светлицами; убран не так богато, как Чапуринский, однако ж походил на городской купеческий дом средней руки. В передней горнице стояла

русская печь, но была отделена филенчатой перегородкой, доходившей до потолка и обитой, как и стены, недорогими обоями. Лавок в тех горницах вдоль стен не было; стояли диван и кресла карельской березы, обитые черной волосянкой, плетеные стулья и два ломберные стола, крытые бумажными салфетками с вытканными изображениями города Ярославля. Возле огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненной иконами в золоченых ризах, булавками приколоты были к обоям картины московской работы. Они изображали райских птиц Сирина, Алконаста и Гамаюна, беса, изувешанного тыквами, перед Макарием Египетским, Иоанна Новгородского, едущего на бесе верхом в Иерусалим к заутрене, и бесов, пляшущих с преподобным Исакием. Ни одна картина духовного содержания для народа без дьявола у нас не обходится — хоть маленький бесенок, хоть в уголке где-нибудь, а непременно сидит на каждой картине. По другим стенам скорняковского дома красовались картины мирские — хозрев Мирза, взятие Анапы, похождения Малек Аделя. Над ними висели клетки с жирными перепелами. Охотник был до перепелов Михайло Васильич, любил пронзительные их крики и не обращал вниманья на ворчанье Арины Васильевны, уверявшей встречного и поперечного, что от этих окаянных пичуг ни днем, ни ночью покоя нет. Каждый год, только наступят Петровки, Михайло Васильич каждый день раза по три ходит на поля поглядеть, не носится ль над озимью тенетник, не толчется ли над нею мошка — хорош ли, значит, будет улов перепелиный. Хоть не больно пристало к важному, сановитому виду Михайлы Васильича, к заиндевевшим кудрям его и почетной должности, но целые ночи, бывало, пролеживал он в озимях, приманивая дудочкой любимых пташек под раскинутые сети. Нефедов день[1] для Скорнякова был самым большим праздником в году, чуть ли не больше самого светлого воскресенья. Какая ни случись в тот день погода, какие ни будь дела в приказе, непременно пролежит он в поле с солнечного заката до раннего утра, поднимая перепелов на дудочки.

[1] Июня 20-го, Мефодия Патарского — праздник перепелятников.

Радушно встретил Михайло Васильич Алексея. Не видал он его с тех самых пор, как в его боковушке, в нижнем жилье дома Патапа Максимыча, судили-рядили они про золото на Ветлуге. Был Михайло Васильич в Осиповке на похоронах Насти, но тогда, кроме Колышкина и Марьи Гавриловны, ни с кем из гостей Алексей не видался. Знал Скорняков и про то, что опять куда-то уехал Алексей из Осиповки, что в дому у Патапа Максимыча больше жить он не будет и что все это вышло не от каких-либо худых дел его, а от того, что Патап Максимыч, будучи им очень доволен и радея о нем как о сыне, что-то такое больно хорошее на стороне для него замышляет... Не за много дён ездил Скорняков в Осиповку, и Патап Максимыч Христом богом просил его не оставить Алексея, если ему, как удельному крестьянину, до него какая ни на есть нужда доведется.

— Добро пожаловать!.. Милости просим!..— радушно проговорил Михайло Васильич Алексею, когда тот, помолившись иконам, кланялся ему, Арине Васильевне и всему семейству.— Значит, добрый человек — прямо к чаю!..— промолвил голова.— Зла, значит, не мыслит.

— Какие ж у меня могут быть злые мысли?.. Помилуйте, ваше степенство,— сказал Алексей.

— Да это я так. К слову молвится,— смеялся Михайло Васильич.— Садись-ка, гостем будешь.

Рад Алексей и ласковой встрече и доброму привету. Присел к столу, принялся за чай с двуносыми сайками, печенными на соломе.

— Ну что?.. Дела как?.. Много ли золота накопал на Ветлуге? — добродушно смеясь, спросил у него Михайло Васильич.

— Самим, ваше степенство, известно, какое оно золото вышло,— улыбнувшись, сказал Алексей.

— Знаю, парень, знаю... Патап Максимыч все до тонкости мне рассказывал,— молвил Михайло Васильич.— А ты умно тогда сделал, что оглобли-то поворотил. Не ровен час, голубчик, попал бы в скит, и тебе бы тогда, пожалуй, да и нам с тобой на калачи досталось... Ты смотри про это дело никому не сказывай... Покаместь суд не кончился, нишкни да помалчивай.

— Помилуйте, ваше степенство, возможно ль про

такие дела без пути разговаривать? Слава богу — не махонькой, могу понимать,— ответил Алексей.

— То-то, поберегайся. Береженого и бог бережет,— заметил Скорняков.— Эко, подумаешь, дело-то,— продолжал он.— Каким ведь преподобным тот проходимец прикинулся... Помнишь, про Иерусалим-от как рассказывал — хоть в книгу пиши... Как есть свят муж — только пеленой обтереть, да и в рай пустить!.. А на поверку вышло, что борода-то у него апостольская, да усок-от дьявольский... Много, сказывают, народу они запутали... У нас из волости двоих в острог запрятали, тот же Стуколов оговорил... Вот те и преподобные!.. Вот те и святые отцы, шут бы их пóбрал! Давно ль Патапа Максимыча видел?

— Давненько, ваше степенство. Чуть не с месяц времени будет,—ответил Алексей.—Отхожу ведь я от него.

— Сказывал он, сказывал,— молвил Михайло Васильич.— Возлюбил же он тебя, парень!.. Уж так возлюбил, что просто всем на удивленье... Ты теперь в Осиповку, что ли?.. Послезавтра и я туда же всем домом. Сорочины по Настасье Патаповне будут...

— Не угодить мне туда,— потупив глаза, отвечал Алексей.— Спешное дельце есть, ваше степенство. Я до вашей милости,— продолжал он, встав со стула и низко кланяясь.

— Что ж? Получай с богом,— перебил Михайло Васильич.— Рекрутской очереди ведь нет за тобой?

— Нет.

— Подати уплочены?

— Сполна уплочены, ваше степенство. А понадобится, готов хоть за год, хоть за два, хоть за три вперед внести,— сказал Алексей.

— Так явись в приказ,— молвил Михайло Васильич.

— Был я в приказе-то, ваше степенство, писарь не выдает.

— Отчего? — быстро вскинув глазами, спросил голова.

— Какие-то находит препятствия. Говорит: «Взысканий на тебя нет ли, да не под судом ли, али не под следствием ли каким».

— Гм! — промычал Михайло Васильич.— А взыскания-то есть?

— Никаких нет, ваше степенство, да никогда и не бывало,— отвечал Алексей.— А насчет того, чтобы к суду, тоже ничего не знаю... Не проведал ли разве Карп Алексеич, что я тогда по вашему приказу на Ветлугу ездил?.. А как теперича тут дело завязалось, так не на этот ли он счет намекает...

— Гм! — опять промычал Михайло Васильич и притом почесал в затылке.

— Теперь, говорит, в приказе трехгодовых бланок нет...— продолжал с лукавой покорностью Алексей.— Об удостоверенье кучился Карпу Алексеичу, сам было думал в город съездить, чтоб пачпорт в казначействе выправить — и того не дает. Раньше, говорит, трех месяцев не получишь.

— Так что же?

— Да мне долго ждать никак невозможно, ваше степенство, на той неделе надо беспременно на пароходе в Рыбинск бежать... К сроку не поспею — места лишиться могу... Явите божескую милость, ваше степенство, прикажите выдать удостоверение, я бы тем же часом в город за пачпортом...— с низкими поклонами просил Алексей Михайлу Васильича.

Ловко попал он, кинув словцо, что не на поездку ли к отцу Михаилу намекал ему писарь... Призадумался Михаил Васильич... Забота о самом себе побуждала его скорей спровадить в дальние места Алексея, чтобы он где-нибудь поблизости не проболтался, не накликал бы беды на всех затевавших тогда копать золото на Ветлуге. Хоть большой беды, пожалуй, тут и не вышло бы, а все же бы под суд упрятали... А суд людям не на радость дан... Будь чист, как стекло, будь светел, как солнце праведное, а ступил в суд ногой, полезай в мошну рукой: судейский карман, что утиный зоб — и корму не разбирает и сытости не знает... Да то еще не беда, что на деньгу пошла; вот беда, коль судья холодным ветерком на тебя дунет... Он ведь что плотник: что захочет, то и вырубит, а закон у него, что дышло — куда захочет, туда и поворотит!

«Как ни быть, а Лохматого в дальни места надобно сбыть,— думал Михайло Васильич.— Какие б заминки писарь ни делал, пущу. Покаместь дело идет, лучше, как подальше будет от нас».

— Выдам бумагу,— сказал он Алексею.— По ней в городе пачпорт тотчас выправишь. Только, парень, надо обождать маленько.

— А много ли ждать-то, ваше степенство? — смиренно спросил Алексей.

— Да не ближе недели,— сказал голова.

— Нельзя ль поскорей, ваше степенство? Этак мне на пароход не попасть, места лишиться могу,— просил Алексей.

— Экой ты прыткой какой! — молвил Михайло Васильич.— Тебе бы вынь да положь, все бы на скорую ручку — комком да в кучку... Эдак, брат, не водится... Сам считай: послезавтра надо на сорочины, Патап Максимыч раньше трех дён не отпустит, вот тебе с нонешним да с завтрашним днем пять дён, а тут воскресенье — приказ, значит, на запоре, это шесть дён, в понедельник нефедов день, тут уж, брат, совсем невозможно.

— Отчего же так, ваше степенство, осмелюсь спросить? — робко спросил Алексей.

— А слышь, птички-то распевают!.. Слышь, как потюкивают! — сказал Михайло Васильич, любуясь на оглушавших Алексея перепелов.— Это, брат, не то, что у Патапа Максимыча заморские канарейки — от тех писк только один... Это птица расейская, значит, наша кровная... Слышь, горло-то как дерет!.. Послушать любо-дорого сердцу!.. В понедельник ихний праздник — нефедов день!.. Всю ночь в озимя́х пролежу, днем завалюсь отдыхать... Нет, про понедельник нечего и поминать... Во вторник приходи... через неделю, значит.

— Завтра нельзя ли, ваше степенство? — с низким поклоном умолял Алексей.

— Завтра, брат, тоже никак невозможно, потому что завтра весь день стану отдыхать,— сказал Михайло Васильич.— Давеча перед обедом по́ полю я ходил — тенетнику над озимью видимо-невидимо, и мошка толчется,— улов будет богатый... Нет, завтра нельзя... Разве записку снесешь к Карпу Алексеичу, чтоб, значит, беспременно выдал тебе бумагу.

— Да разве может он без вашей подписи выдать? И казначей без вашей руки не поверит,— молвил Алексей.

— И то правда,— согласился голова,— без нашей,

значит, подписи поверить казначею никак невозможно... Тенетнику-то давеча что летало!..— задумался он.— Опять же мошка!.. Такого дня во все лето не бывало! Нет уж, как ни верти, придется до той недели обождать,— решительно сказал Алексею.— И рад бы раде-хонек... Со всяким бы моим удовольствием, да сам видишь, какое дело подошло...

— Нечего делать,— вздохнул Алексей.— Не судьба, видно, получить то место, надобно оставаться дома.

— Зачем, зачем? — тревожно перебил его Михайло Васильич.— Нет, Алексеюшко, ты поезжай, поезжай, друг любезный, беспременно поезжай... Что́ тебе дома-то киснуть?.. Чужая сторона и ума в голове и денег в кармане прибавит.

— Справедливы ваши речи, Михайло Васильич,— сказал Алексей.— Сам теперь знаю про то... Много ли, кажется, поездил — только в город, да еще тогда по вашему приказу к отцу Михаилу, а и тут можно сказать, что глаза раскрыл.

— То-то и есть,— молвил Михайло Васильич.— Нет, как можно тебе оставаться?.. Поезжай, беспременно поезжай.

— На пароход-от не угожу, ваше степенство... Через неделю ему отваливать,— сказал Алексей и, немного помолчав, стал перед святыми иконами уставные поклоны творить.

— Прощенья просим, ваше степенство. Счастливо оставаться,— вымолвил он и, низко поклонясь Михайле Васильичу, пошел вон из горницы.

Пока Алексей справлял семипоклонный нача́л, голова раздумывал: «Оставаться ему не годится... Узнает Морковкин про Ветлугу, разом его приплетет... А этот на следствии покажет, что я посылал... Съездить, видно, завтра в приказ да выдать бумагу-то? А тенетник-от!.. А мошки-то!.. Приспичило же пострела в такое нужное время!..»

— Погоди, погоди,— громко сказал голова Алексею, когда тот взялся за дверную скобу.— Так уж и быть, ради милого дружка и сережка из ушка! Ради Патапа Максимыча по-твоему сделаю, завтра поутру побывай в приказе — приеду, обделаю... А уж это я тебе скажу все едино, что ты у меня от сердца кусок отрываешь... Те-

нетнику-то что, мошки-то!.. Улов-то на заре какой будет!..

На другой день рано поутру Алексей был уж в приказе, Михайло Васильич раньше его приехал туда... Не утерпел голова, залег-таки в озими и, до солнечного всхода накрыв без одного сорок перепелов, повез их не домой, а в приказ. Надивиться не мог Карп Алексеич, увидав, что вслед за начальством десятские тащат в приказ пять больших корзин, укрытых сетями, с прыгавшими там перепелами. Еще больше удивился он, когда Михайло Васильич настойчиво приказал ему писать в казначейство бумагу о выдаче трехгодового паспорта Алексею. Долго спорил Морковкин, но голова крепко стал на своем. Когда же Карп Алексеич наотрез отказался писать ту бумагу, Михайло Васильич позвал приказного мальчика, велел ему написать удостоверенье, подписал и своими руками казенную печать приложил.

Когда Алексей явился в приказ, дело было уж сделано и бумага ему тотчас же выдана. Ступай, значит, на все четыре стороны.

— Ишь, раскозырялся!..— злясь и лютуя, ворчал Морковкин, стоя на крыльце, когда удельный голова поехал в одну, а Лохматый в другую сторону.— Ишь, раскозырялся, посконная борода!.. Постой-погоди ты у меня!.. Я те нос-от утру!.. Станешь у меня своевольничать, будешь делать не по-моему!.. Слетишь с места, мошенник ты эдакой, слетишь!..

И, воротясь в свою горницу, усердно принялся за кизлярку, раскидывая умом, как бы насолить голове.

И придумал послать в удельную контору донос на Михайла Васильича.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Все други-приятели съехались к Патапу Максимычу на Настины сорочины. Приехал кум Иван Григорьич с Груней и с детками, приехал Михайло Васильич с Ариной Васильевной, кое-кто из Городца, кое-кто из городу. Из Комарова на пяти тройках жирных келейных лошадей матери и белицы прикатили. Сама матушка Манефа пожаловала, очень желательно было ей помянуть

племянницу — не привел господь в землю ее опустить, так хоть в сорочины над ее могилкой поминальную службу справить. А чтоб справить ту службу благолепнее, захватила она с собой уставщи́цу мать Аркадию да соборных стариц, мать Назарету да мать Ларису, и Марьюшку головщицу со всем правым клиросом... Фленушку тоже привезла и новую келейницу свою Устинью Московку... Прихватила и гостя обительского Василья Борисыча. Много звал Патап Максимыч на поминки Марью Гавриловну — не поехала — пуще да пуще в ту пору ей нездоровилось.

Без мала за неделю привезли в Осиповку Дарью Никитишну поминальны столы уряжать. Приходилось теперь знаменитой заволжской поварихе иное дело обделывать, не то, что было на именинах, и не то, что было на похоронах. Не ждали к Патапу Максимычу ни Снежковых, ни других гостей; которым бы надо было городские столы уряжать, уставлять их яствами затейными, дорогими напитками заморскими; нужно теперь Никитишне учредить трапезу по старине, как от дедов, от прадедов поминальные тризны справлять заповедано. А время такое подошло, что мирским надо стряпать рыбное, а келейным сухоядение. Шли Петровки — голодный пост... Никитишна лицом себя в грязь не ударила — столы на славу учредила. Ста два окрестных крестьян на поминки сошлось, для них еще с вечера на улице столы были поставлены.

И для крестьян, и для почетных гостей кутьи наварили, блинов напекли, киселя наготовили... Кутья на всех одна была, из пшена сорочинского с изюмом да с сахаром; блины в семи печах пеклись, чтобы всем достались горяченькие: в почетны столы пекли на ореховом масле, в уличные — на маковом, мирским с икрой да со снетками, скитским с луком да с солеными груздями. Кисели готовила Никитишна разные: почетным гостям — пшеничные с миндальным молоком, на улицу — овсяные с медово́й сыто́й. Стерляжья уха на красный стол сварилась жирная, янтарная; тертые растегаи вышли диковинные... Опричь того, сготовила Никитишна ботвинье борщевое с донским балыком да со свежей осетриной, двухаршинные сочные кулебяки, пироги подовые с моло́ками да с вязигой, пироги долгие с тельным из щуки,

пироги вислые с семгой да с гречневой кашей, судаки под лимоны, белужью тёшку с хреном да с огурцами, окуней в рассоле, жареных лещей с карасями, оладьи с медом, левашники с малиновым вареньем... А келейницам похлебка была из тебеки[1] со свежими грибами, борщ с ушками, вареники с капустой, тертый горох, каравай с груздями, пироги с зеленым луком, да хворосты и оладьи, дыни в патоке и много другой постной яствы.

Ранним утром, еще летнее солнце в полдерево стояло, все пошли-поехали на кладбище. А там Настина могилка свежим изумрудным дерном покрыта и цветики на ней алеют. А кругом земля выровнена, утоптана, белоснежным речным песком усыпана. Первыми на кладбище пришли Матренушка с канонницей Евпраксеей, принесли они кутью, кацею с горячими углями да восковые свечи.

И видели они, что возле Настиной могилки, понурив голову и роняя слезы, сидит дядя Никифор. То был уж не вечно пьяный, буйный, оборванный Микешка Волк, но тихий, молчаливый горюн, каждый божий день молившийся и плакавший над племянницыной могилой. Исхудал он, пожелтел, голову седина пробивать стала, но глаза у него были не прежние мутные — умом, тоской, благодушьем светились. Когда вкруг могилы стали набираться званые и незваные поминальщики, тихо отошел он в сторонку.

Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив семипоклонный нача́л и поклонясь до земли перед могилой, Манефа надела соборную мантию, выпрямилась во весь рост и при общем молчаньи величаво проговорила:

— За молитв святых отец наших, господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас.

И запели «канон за единоумершую». Далеко по свежему утреннему воздуху разносились стройные голоса певчей стаи, налаженной Васильем Борисычем и управляемой Марьей головщицей. Тишь стояла невозмутимая; дым ладана прямым столбом вился кверху, пламя на свечах не колебалось. Ни говором людей, ни шумом деревьев не нарушалось заунывное пенье, лишь порой

[1] Тыква.

всхлипывала Аксинья Захаровна, да звонко заливались жаворонки в сияющем поднебесье.

Патап Максимыч все время стоял возле Манефы, поникнув головою. Раза два левым рукавом отер он слезу... Все глядели на украшенную цветами могилу, никто не взглядывал по сторонам; только Василий Борисыч жадно и страстно впился глазами в стоявшую возле матери Парашу и, вполголоса подпевая: Надгробное рыдание творяще и поюще песнь ангельскую[1]. «Ох, искушение,— думал сам про себя.— Эка девица-то сдобная да матерая!.. Грудь-то копна копной!..» Инда губы зачесались у посла московского, так бы взял да и расцеловал в пух и прах Прасковью Патаповну!.. Отвел глаза — Устинья Московка, сдвинув брови, палючие искры мечет из гневных очей.

— Искушение! — прошептал Василий Борисыч, вздохнул и громко подтянул аллилуию.

По отпусте, приникнув лицом к дочерниной могиле, зарыдала Аксинья Захаровна; завела было голосом и Параша, да как-то не вышло у ней причитанья, она и замолкла... Приехавшая без зова на поминки знаменитая плачея Устинья Клещиха с двумя вопленницами завела поминальный плач, пока поминальщики ели кутью на могиле.

Уж ты слышишь ли, мое милое дитятко,
Моя белая лебедушка?
Уж ты видишь ли из могилушки
Свою матушку родную?
Дождалась ты меня, горегорькую,
Собралась я к тебе в гости скорешенько,
Не на конях я к тебе приехала,—
Прибежала на своих резвых ноженьках,
Мои скорые ноженьки не тянутся,
Белы рученьки не вздымаются,
Очи ясные не глядят на белый свет!..
И мне нету ласкового словечушка,
И мне нету теплого заветерья!
Не ясен день без красного солнышка,
Не весело жить без милой доченьки!..
Что сумнилася моя головушка,
Что сумнилася-сокрушилася?
С кем раздумать мне думу крепкую,
С кем размыкать мне горе горькое,

[1] Так поется эта заупокойная песнь по дониконовскому переводу.

От кого услышать слово ласковое?
О том голова моя посумнилася,
Посумнилася, победная, сокрушилася,
Что шатаюсь я на свете, победна головушка,
Середь добрых людей, как травинушка,
Как травинушка-сиротинушка.
Что же спишь ты, моя белая лебедушка,
Что же спишь ты, не просыпаешься?
Сокрепила ты свое сердечушко
Крепче каменя горючего,
И нигде-то я тебя, голубушку, не увижу,
Голосочка твоего звонкого не услышу!

Пропели вопленницы плачи, раздала Никитишна нищей братии «задушные поминки» [1], и стали с кладбища расходиться. Долго стоял Патап Максимыч над дочерней могилой, грустно качая головой, не слыша и не видя подходивших к нему. Пошел домой из последних. Один, одаль других, не надевая шапки и грустно поникнув серебристой головою, шел он тихими стопами.

Последним на кладбище остался Никифор. Подошел он к Настиной могиле, стал перед ней на колена, склонил голову на землю. Стали слышны глухие, перерывчатые его рыданья.

— Святая душенька, молись за меня за грешника!— говорил он, целуя могилу и орошая ее горючими слезами.

Встал и медленными шагами пошел к речке, что протекала возле погоста. Зачерпнул ведра, принес к могиле и полил зеленый дерн и любимые покойницей алые цветики, пышно распустившие теперь нежные, пахучие свои головки на ее могилке... Опять сходил на речку, принес вёдра белоснежного, кремнистого песку берего̀вого и, посыпав им кругом могилы, тихо побрел задами в деревню.

Где твои буйные крики, где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань?.. Тише воды, ниже травы стал Никифор... Памятуя Настю, принял он смиренье, возложил на себя кротость и стал другим человеком.

Совсем обутрело, когда воротились с кладбища в деревню. Работники, деревенские мужики, бабы, девки и подростки гурьбой привалили к уличным столам и сует-

[1] Милостыня, раздаваемая по рукам на кладбище или у ворот дома, где справляют поминки.

ливо, но без шума, безо всяких разговоров, заняли места́ в ожиданьи чары зелена вина, кутьи, блинов, киселя и иного поминального брашна. Мать Аркадия, две старицы и плачея Устинья Клещиха выносили четыре большие блюда и стали разносить на них кутью по народу. Каждый чинно брал ложку, крестился и поминал покойницу сладкою кутьею. Искусная в писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала поучать людей, что такое кутья означает.

— Кутья благоверная — святым воня́ благоуханная,— истово говорила она,— святии бо не пиют, не едят, токмо вонею и благоуханием сыти суть. Благочестно, со́ страхом вкушайте сию святыню, поминая новопреставленную рабу божию девицу Анастасию. Добре держит святая церковь в четыредесятый день по преставлению кутию поставляти и над нею память по усопших творити. Того ради уставлено в сороковой день память о мертвом творити, что в сей день душа, прейдя мытарства злых миродержателей, воздушных мытареначальников, истязателей же и обличителей земных дел ея, святыми ангелами ко престолу господню приводима бывает. И тогда или оправдана бывает и освободится от сонмов нечистых духов, или же осуждена и заключена в оковы, и во́зьмется демонами, да не узрит славы божией. Сие есть первый суд, предварение страшного суда Христова. Помолитесь же, православные, о душе новопреставленной девицы Анастасии, да упразднится прегрешений ея рукописание, да простятся грехи ея вольные и невольные и да внидет она в радость господа своего. Аминь.

С умиленьем слушал народ красноглаголивую келейницу. Старушки всхлипывали, другие только вздыхали, все стояли безмолвно. Только беспокойный народ — ребятишки, держась ручонками за матерние подолы, пересмеивались меж собой во время проповеди, иные даже перебранивались, но вскоре унимались под невидимыми миру родительскими кулаками.

Вином обносить стали. Обносили старик Пантелей да новый приказчик Григорий Филиппыч. Они ж непьющих баб и девок ренским потчевали. Вынесли постные блины со снетками. Принялся за них народ со крестом да с молитвой, с пожеланьем покойнице небесного царства. Подали щи с головизной, на вторую перемену ста-

вили свекольник с коренной рыбой, а на третью — пироги с гречневой кашей и соминой, да смачную ячную кашу с маковым маслом, в конце стола овсяный кисель с сытой медовой. А вином, как всегда водилось у Патапа Максимыча, обносили по трижды, а пиво и сыченая брага в деревянных жбанах на столах стояли — сколько кто хочет, столько и пей.

Крестясь и поминаючи покойницу, низкими поклонами поблагодарив хозяев, тихо народ разошелся. Чапуринские стряпухи убрали посуду, работники столы и скамьи на двор унесли; улица опустела... По сеням, по клетям, да по сенницам улеглись мужики и бабы деревни Осиповки поспать-отдохнуть после сытного обеда. Девки с ребятишками — в лес по грибы да по ягоды. Пришлые поминальщики, направляясь к своим деревням, разбрелись по разным дорогам.

А хозяева и гости, воротясь с кладбища в дом Патапа Максимыча, отправились прямо в моленну. Там передо всеми иконами горели пудовые ослопные[1] свечи, а в средине стоял крытый черным бархатом с серебряными галунами аналогий, на нем фарфоровое блюдо с узорочно разукрашенною цукатами кутьею. Облачась в соборную мантию, Манефа стала перед нею и замолитвовала. Пропели литию. Игуменья отведала кутьи, поминая покойницу, и, взяв блюдо на руки, обратилась к предстоящим. Один за другим подходили к ней и вкушали кутию...

Напившись чаю, за столы садились. В бывшей Настиной светлице села Манефа с соборными старицами, плачея Устинья Клещиха с вопленницами да еще кое-кто из певчих девиц, в том числе, по приказу игуменьи, новая ее наперсница Устинья Московка. Мирские гости расселись за столы, расставленные по передним горницам. Там рыбными яствами угощал их Патап Максимыч, а в Настиной светлице села с постниками Аксинья Захаровна и угощала их уставны́м сухояденьем.

И кляла же тот обед Устинья Московка. Первое дело: свежей рыбки хотелось покушать ей, а главное, Василий Борисыч там сел, да там же и Прасковья Патаповна. Подметив на кладбище, как поглядывал на нее Ва-

[1] Старинное слово: свеча, величиной в *ослȯп*. А ослоп в лесах на севере и доселе означает дубину, стяг.

силий Борисыч, дала Устинья волю пылкому, ревнивому сердцу... Если б можно было, взяла бы да и съела девичьего подлипалу... Горячая девка была!..

За поминальными обедами беседы не ведутся: пьют, едят во славу божию в строгом молчанье. Лишь изредка удельный голова вполголоса перекидывался отрывистыми словами с Иваном Григорьичем, да Фленушка шептала что-то на ухо Параше, лукаво поглядывая на Василия Борисыча. Кое-что и она подметила на кладбище и еще ране того, в Комарове во время дорожных сборов, кой-что про Парашу московскому послу рассказала.

В конце обеда, после поминального киселя, встали гости из-за трапе́зы и опять пошли в моленную. Там вместо аналогия стоял большой стол, крытый браной камчатной скатертью, а на нем ставлена была фарфоровая миса с «тризной» и пустые стаканы по числу гостей. Надев соборную мантию, Манефа замолитвовала, а девицы за упокойную стихеру шестого гласа запели: «Создателю и творче, зиждителю и избавителю, ослаби, отпусти, Христе боже». А пели демеством. Василий Борисыч нарочно девиц той стихере обучил, собираясь ехать в Осиповку на сорочины. Про эту стихеру на Керженце в лесах до тех пор не слыхивали[1]. Всем она очень понравилась, и все много благодарили Василия Борисыча, что такую хорошую стихеру вывез из Москвы на Керженец... А во время пения той стихеры Никитишна серебряным ковшом тризну по стаканам разливала. И пили во славу божию, крестясь и поминая за упокой рабу божию девицу Анастасию.

Тем сорочины и кончились.

* * *

Из моленной после трапе́зы отдохнуть разошлись. Фленушка да Марьюшка вместе с Парашей заперлись в ее светлице. Порывалась туда Устинья Московка, но

---

[1] Полной заупокойной стихеры «Создателю и творче» ни в одной старопечатной книге нет. Только в «уставе» сказано: «По сем восстав от трапезы поем: «Создателю и творче», но дальше ни одного слова текста стихеры не напечатано. Это некоторых ревнителей на Керженце вводило в немалое сомненье, пока не был привезен из Москвы полный текст поминальной стихеры. Он находится только в рукописных крюковых певчих книгах XVII столетия, довольно редких.

мать Манефа ее не пустила. Ревностью пылая и в досаде на неудачи, больше получа̀са растирала канонница ноги хворой игуменьи, сильно приуставшей после длинных служб и длинного обеда.

Успокоив, сколь могла, матушку и укрыв ее на постели одеялом, пошла было гневная Устинья в Парашину светлицу, но, проходя сенями, взглянула в окошко и увидела, что на бревнах в огороде сидит Василий Борисыч... Закипело ретивое... Себя не помня, мигом слетела она с крутой лестницы и, забыв, что скитской девице не след середь бела дня, да еще в мирском доме, видеться один на один с молодым человеком, стрелой промчалась двором и вихрем налетела на Василья Борисыча.

— Ты что?.. Ты что это вздумал?..— задыхаясь и едва переводя дух, визгливо кричала она на него.— Куда, пес этакой, на кого бесстыжие глаза свои запускал? А?..

Озадаченный внезапным появлением Устиньи, как полотно побледнел Василий Борисыч и, поднявшись с места, дрожавшим от страха голосом едва мог промолвить:

— Ох, искушение!

— Куда ты, стоя на кладбище, подлые зенки свои пялил? — неистово лютуя, кричала Устинья.— На кого глядел?.. А?..

— Да что ты?.. Что ты кричишь?.. В уме ли? — вполголоса стал было уговаривать ревнивую канонницу Василий Борисыч.— Опомнись!.. Могут услышать...

— Пущай их слышат!..— пуще прежнего лютовала Устинья.— Наплевать мне! Хоть все сюда сходись! Себя погублю, зато уж и тебя осрамлю, беспутного, осрамлю, осрамлю!.. Будешь меня помнить!.. Вытолкают по шеям!.. Всем скажу, что к хозяйской дочери примазаться хочешь!.. Чапурин не свой брат — на̀ эти дела хуже черта... Свернет тебе голову, как куренку!.. Воротишься в Москву с поротой спиной!.. Я те докажу!.. Думал, на дуру напал?.. Нет, брат, шалишь, мамонишь!.. Снял с меня голову, так и я с тебя сниму!.. Изменщик ты мерзкий!.. Я ль тебя не любила?.. Я ли тебя...

И грянулась о̀земь в рыданьях.

Василий Борисыч вконец растерялся, стоит как вкопанный, придумать не может, что делать ему... Убе-

жать — содому, окаянная, на весь дом, на всю деревню наделает, перебудит всех... Остаться — придет кто-нибудь, из окошка увидит.

— Ох, искушение!.. Настал час испытаний!—схватив себя за виски, говорил он и снова принялся уговаривать то рыдавшую, то надрывавшуюся от хохота Устинью.

— Образумься!.. Устиньюшка!.. Опомнись!..— говорил он. боясь наклониться к ней, боясь и прочь отойти.— С ума, что ли, сошла?.. Стыд-от где у тебя?.. Совесть-та где?..

Устинья продолжала рыдать и, наконец, завопила в источный голос:

— Погубитель ты мой!.. Злодей ты этакой!.. Забыла твоя совесть, чем обещался ты мне?.. Ох, погубила я с тобой свою головоньку!..

— Искушение! — теребя в отчаяньи виски, потихоньку восклицал Василий Борисыч.— Да уймись же, окаянная, уймись. Устиньюшка, пожалуйста, уймись, говорю тебе, моя миленькая!.. Слушай... а ты слушай же!..— обрадовавшись блеснувшей в уме его мысли, сказал он, наклоняясь к Устинье и боязливо поглядывая на окошки.— Видишь, лесок — близенько... Пойдем туда — там обо всем потолкуем... Ох, ты господи, господи!.. Вот искушение-то!.. Ох, дуй тя горой! Ну, пойдем же, моя ягодка, моё яблочко наливчатое, пойдем,— тут недалече!

Медленно поднялась Устинья, глянула на всполье, на ближний перелесок и, отирая наплаканные глаза миткалевым рукавом, плаксиво сказала:

— Пойдем.

— Вместе идти не годится. Народу много — увидят,— посвободнее вздохнув, молвил Василий Борисыч.— Ступай ты вперед, Устиньюшка, я за тобой.

— Врешь, меня, голубчик, не надуешь! — перебила Устинья.— Спровадить хочешь, самому бы к своей крале лытнуть...

— Ну, ин я вперед,— сказал Василий Борисыч.

— А ты в лесу-то схоронишься, да обходом к ней, еретице,— возразила Устинья.— Нет, любезный, меня на бобах не проведешь... Вместе пойдем.

— Вот положение!..— осторожно вскликнул Василий Борисыч.— Ох, искушение!

И стал он клясться и божиться Устинье всеми клят-

вами, что не уйдет, не укроется, станет у ней на виду дожидаться ее в опушке перелеска.

Согласилась Устинья, и, весь дрожа от страха, Василий Борисыч спешил впритруску к перелеску. Ходо́к был плохой, на̀ ноги слабый — одышка беднягу берет, а нечего делать, прибавляет да прибавляет шагу — поскорей бы укрыться от людских взоров. Труси́т, идет побежкой, а сам горькую думу раздумывает: «Попутал же меня бес окаянный!.. Связало ж меня с безумной баламотницей!.. Ишь, чертовка, как привязалась!.. Вот они последствия-то какие!.. Не придумаешь, как подобру-поздорову отделаться от окаянной! Ох, искушение!.. А ведь глаз-от какой зоркий у шельмы! Словно прочла на уме!.. Нагрянула беда, что ни дай, ни вынеси! Ну, как в Москву донесется!.. Гусевы, Мартыновы, Досужевы, матушка Пульхерья... Уставщик-от мол наш, книжник-от, девственник-от, постник!.. Ох, искушение!..»

А Устинья следом за ним. Мерными шагами, ходко спешит она к перелеску, огнем пышет лицо, искрами брызжут глаза, губы от гнева и ревности так и подергивает. «Коль не мне, никому за тобой не быть!.. Крови твоей напьюсь, а другой не отдам!.. А эту разлучницу, эту змею подколодную!.. Конями ее обвести, зельем опоить, ножом зарезать!..»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часа через два по возвращении Василья Борисыча из лесу с Устиньей в передних горницах Патапа Максимыча гости за чаем сидели. Ни матери Манефы, ни соборных стариц, ни Аксиньи Захаровны, на шаг не отходившей от золовки-игуменьи, не было тут. Как ни старалась Устинья Московка попасть в передние горницы, где возлюбленный ее, чего доброго, опять, пожалуй, на хозяйскую дочь глаза пялить начнет,— никак не могла: Манефа приказала ей быть при себе неотлучно... Куда как досадно, куда как горько было это ревнивой канонннице.

Гости из Городца и городские гости уехали — за пуншами только четверо сидело: сам хозяин, кум Иван Гри-

горьич, удельный голова да Василий Борисыч. Рядом в боковуше, за чайным столом, заправляемым Никитишной, сидели Параша, Груня, Фленушка да Марьюшка. У мужчин повелась беседа говорливая; в женской горнице в молчанки играли: Никитишна хлопотала за самоваром, Груня к мужским разговорам молча прислушивалась, Параша дремала, Марьюшка с Фленушкой меж собой перешептывались да тихонько посмеивались.

— Так как же ты, гость дорогой, в Неметчину-то ездил?.. Много, чай, поди было с тобой всяких приключеньев? — говорил Патап Максимыч Василью Борисычу. А тот сидел во образе смирения, учащал воздыхания, имел голову наклонну, сердце покорно, очи долу обращены.

— Много было всяких приключениев,— отвечал он тихим, сладеньким голоском своим.

— Много трудов приял?

— Всего было достаточно,— глубоко вздохнув, ответил Василий Борисыч.— Особенно прискорбно было, как ночью кордон мы проходили.

— Город, что ли, какой? — спросил кум Иван Григорьич.

— Какое город! — возразил смиренно Василий Борисыч.— По-нашему сказать — граница, рубеж, а по тамошним местам кордоном зовут.

— Что ж такое тут приключилось? — спросил Патап Максимыч.

— Пропуски там крепки, за нашими смотрят строго, у нас же и заграничных пачпортов не было, поехали на божию волю... И набрались же мы тогда страха иудейска,— ответил Василий Борисыч.

— Расскажи, сделай милость. Очень любопытно узнать ваши похожденья,— сказал Патап Максимыч.

И начал Василий Борисыч свой «проскинитарий»[1]:

— Прибыли мы к кордону на самый канун Лазарева воскресенья. Пасха в том году была ранняя, а по тем местам еще на середокрестной рѐки прошли, на пятой травка по полям зеленела. Из Москвы поехали — мороз был прежестокий, метель, вьюга, а недели через полто-

---

[1] От греческого προσχυνέω — поклоняюсь. Описание путешествия ради поклонения святым местам.

ры, как добрались до кордона, весна там давно началась...

— Мудреное дело! — удивился Иван Григорьич.

— Такие уж теплые земли господь своею премудростью создал,— наставительно молвил Василий Борисыч и, не дожидаясь ответа, продолжал проскинитарий: — Приехали мы в одну деревню, Гро́зенцы прозывается, версты три от кордона-то будет. Там христолюбец некий проживает, по нашему состоит согла́су. То у него и ремесло, что беглых, беспачпортных да нашего брата паломника тайком за кордон переправлять, а оттуда разны товары мимо таможен возить — без пошлины, значит. И в том первые пособники ему жиды... Переправляют нашего брата не кучей, а в одиночку, и завсегда в ночное время, чтобы, значит, таможенный объезд кого не приметил. Если ж увидят, дело плохое — тотчас музыку тебе на ноги [1], да по образу пешего хождения назад в Россию. В одну ночь товарища, с которым я за границу поехал, перевели благополучно, на другую ночь за мною пришли... Ох, искушение!.. Перерядили меня, раба божия, хохлом и повезли в другу деревню, а от той деревни четверти версты до кордона не будет... В самую полно́чь меня повели... Идем по задворкам, крадучись тихими стопами, яко тати... Искушение, да и только!.. И страх же напал на меня!.. Не приведи господи никому такого страха принять!.. Дрожу, ровно в лихоманке, сам в шубе, а по всем суставам мороз так и бегает, на сердце ровно камень навалило — так и замирает. Пошел было, как обычно хожу, а проводник в самое ухо мне шепчет: «Тише, на̀ землю ступай, услышат...» Господи, боже мой, и по земле-то надо с опаской ходить!.. Огонь, вижу, близехонько светится, двухсот шагов, кажись, не будет... «Деревня, что ли?..»—спрашиваю. «Молчи,— шепчет проводник,— это кордон и есть, тут караульня объездчиков, сторожка...» Оглянулся в другую сторону, и там огонек!.. «Ложись,— говорит проводник,— ползи за мной на четвереньках...» Пополз я ни жив ни мертв, сам молитву творю, а дух у меня так и занимает... А лютые псы и с той и с другой караулки лают, перекликаются, окаянные, меж собою. Думаю себе: «Бросятся, треклятые, тут мне и конец...» Поползли мы к канаве... Сажень ширины,

[1] Кандалы.

полнехонька воды... «Это что?»—спрашиваю. «Молчи,— шепчет проводник,— это самый кордон и есть, здесь вот Россия, за канавой Неметчина... Полезай за мной, да воду-то не больно бултыхай — услышат...» Ох, искушение!.. Вот, думаю, смерть-то моя пришла!.. Вода-то студеная, канава-то глубокая, чуть не по самое горло... Говорю: «Простудиться боюсь — не полезу в канаву...» А проводник изругал меня ругательски, да все шепотком на самое ухо: «Лодку, говорит, что ль для тебя, лешего, припасти?.. Аль мост наводить?.. Ишь неженка!.. Лезь,— не сахарный, не растаешь...» А собаки-то шибче да шибче... Господи, думаю, не нас ли почуяли?.. Ну, тут слава тебе, господи!.. Потерпел создатель грехам, не предал меня явной погибели... Кладочка тоненька проводнику по́д ноги попалась, положил он ее через канаву, и с шестом в руке, что в деревне мне дали, сух перешел на немецкую сторону... Перейдя кордон, опять на четвереньки, опять ползком... С полверсты так ползли... А потом стало посмелее: пошли на ногах, а пройдя с версту, видим — пара лошадей с телегой стоит, нас дожидаются... Тут уж мы поехали безо всякой опаски и добрались до места живы, здоровы, ничем невредимы...

— Да, нечего сказать, приключения! — заметил Патап Максимыч.— И вот подумаешь — охота пуще неволи,— лезет же человек на такие страсти... И не боится.

— Во хмелю больше переходят,— отозвался Василий Борисыч.— Товарищ мой, Жигарев, рогожский уставщик, как его переправляли, на ногах не стоял. Ровно куль, по земле его волочили... А в канаве чуть не утопили... И меня перед выходом из деревни водкой потчевали. «Лучше, говорят, как память-то у тебя отшибет — по крайности будет не страшно...» Ну, да я повоздержался.

— А на месте-то свободно проживали? — спросил удельный голова.

— Нельзя сказать, чтоб совсем свободно. И там пришлось в переделе быть,— сказал Василий Борисыч.

— В каком же это переделе? — спросил Патап Максимыч.

— И там полиция есть,— отвечал Василий Борисыч.— От нее, от этой самой немецкой полиции, мы едва не пострадали.

— Как же это случилось? Расскажи, пожалуйста: очень занятно про твои немецкие похождения слушать...— сказал Патап Максимыч.

— А вот как дело было,— начал Василий Борисыч.— Дня через три после того, как приняли нас в монастыре, сидим мы в келарне, беседуем с тамошними отцами. Вдруг входит отец Павел, что митрополита сыскал, лица на нем нет... «Беда, говорит, ищут вас, мандатор гайдуков прислал, стоят у крыльца, ни на шаг не отходят». А мандатор по-ихнему как бы у нас становой, а гайдуки как бы сотские, только страшнее... Я так и присел, ну, думаю, приспел час воли божией — сейчас музыку на́ ноги да в Москву... Жигарев посмелей меня был, да и пьян же к тому, даром, что страстная, по́лы в зубы да, не говоря худого слова, мах в окошко... Только крякнул спрыгнувши да, поднявшись, не больно чтоб шибко в монастырский сад пошел... А сад у них большущий да густой — нескоро в том саду человека отыщешь. А у меня смелости нет, с места не могу сдвинуться, ноги как плети, как есть совсем их подкосило... Поглядел в окно — от земли высоко́ — убьешься... Прыгнуть, как Жигарев, пьяному только можно, потому что господь, по своему милосердию, ко всякому пьяному, если только он благочестно в святой вере пребывает, ангела для сохранности и обереганья приставляет... Вот и стою я, ровно к смерти приговорен: в ушах шумит, в глазах зелень, пальцем не могу двинуть — вот что страх-от значит... Не приведи господи!.. «Что, говорю, делать-то буду!» А сам плачу, слово-то насилу вымолвить мог... Отец Павел ублажает: «Поколь гайдуки, говорит, не взошли, надевай клобук да камилавку, подумают — здешний инок, не узнают...» — «А после-то как же? — спрашиваю я отца Павла, дрожа от страха,— ведь иночество-то, говорю, не снимают, после этого надо ведь будет постричься...» — «Что́ ж? — отвечает отец Павел,— за этим дело не станет, завтра ж облечем тебя в ангельский образ...» Что тут делать?.. А у меня никогда и на мыслях не было, чтоб в иночестве жизнь провождать... А делать нечего, одно выбирай: музыку на́ ноги, либо клобук на голову... А гайдуки уж в сенях. Шумят, там отцы уговаривают их, а они силой в келарню-то рвутся... Решился... Ну, думаю: «Буди, господи, воля твоя...» И уж за камилавку

совсем было взялся, да вспомнилось отцу келарю — дай бог ему доброго здоровья и душу спасти,— вспомнилось ему, что из келарного чулана сделана у них лазейка в сад... Меня туда; а лазеечка-то узенькая, хоть из себя я и сухощав, а насилу меня пропихали, весь кафтанец ободрали, и рукам досталось и лицу... Только что они, господь их спаси, меня пропихали, гайдуки, слышу, в келарне — обыскивают... Я в сад. Забьюсь, думаю, куда подальше, в самую чащу. Пошел, хочу в кусты схорониться, ан кусты-то терновник — руки-то в кровь... Куда идти?..— думаю да по сторонам озираюсь... Глядь, а тут развалющий анбаришка стоит, и оттуда кто-то осторожным, тихим голосом меня призывает, по имени кличет... Смотрю, ан это Жигарев, мой товарищ: и хмель у него соскочил... Забрался и я к нему... «Вот, брат,— говорю ему,— какие последствия-то, а еще в Москве толковали, что здесь свобода...» — «Да, да,— говорит Жигарев,— надо подобру-поздорову отсюда поскорей восвояси, а главная причина, больно я зашибся, окно-то, дуй его горой, высокое, а под окном дьявол их угораздил кирпичей навалить...» С час времени просидели мы в анбаришке, глядим, кто-то через забор лезет... Батюшки светы!.. Гайдуки, должно быть, сад обыскивать... Пришипились мы — ни гугу, а я ни жив ни мертв... А это был от отца Павла паренек по нас послан. Отвел он нас версты за две от монастыря... Совсем уж стемнело, как иноки за нами пришли, «уехали, говорят, гайдуки». Ну, а потом все было спокойно.

— Как же так? — спросил Патап Максимыч.

— Известно как,— отвечал Василий Борисыч.— Червончики да карбованцы и в Неметчине свое дело делают. Вы думаете, в чужих-то краях взяток не берут? Почище наших лупят... Да. Только слава одна, что немцы честный народ, а по правде сказать, хуже наших становых... Право слово... Перед богом — не лгу.

— Все, видно, под одним солнышком ходим — по всем, видно, странам кривда правду передо́лила,— заметил кум Иван Григорьич.

— Именно так,— со вздохом подтвердил Василий Борисыч.

— Так за этим страхом ты, гость дорогой, совсем было в преподобные угодил,— смеялся Патап Макси-

мыч.— Вот дела так дела!.. А не хотелось? — примолвил он, подмигнув Василью Борисычу и прищурясь на левый глаз.

— Призвания свыше на то не имею,— смиренно склонив голову, с покорностью ответил Василий Борисыч.

— И хорошо, по-моему, что не имеешь того призвания,— сказал Патап Максимыч.— Что это за иночество, что это за келейное наше старчество?.. Одно пустое дело... Послушай только, чего не плетут у нас на Керженце старцы да келейницы... В Оленевском скиту старица была, не то Минадора, не то Нимфодора — шут ее знает,— та все проповедовала, что господь всякого человека монашеского ради жития созда́л... И многие ее вранье слушали да сдуру-то еще похваливали... Могла ли этакое слово дурища Нимфодора сказать, когда сам господь повелел людям плодиться и множиться... Так ли?.. Ведь повелел?

— Это точно... Сказано в писании,— ответил Василий Борисыч,— однако в том же писании и житие иноческое похваляется, ангельский бо чин есть... Земные ангелы, небесные человеки!.. Только известно: не всякому дано — могий вместити да вместит.

— Да... Вот красноярский игумен есть, отец Михаил... Он, брат, вместил... Да еще как вместил-то!.. В крепкий дом на казенну квартиру попал,— с усмешкой молвил московскому уста̀вщику Патап Максимыч.

— Испытаниями, горестями, озлоблениями же и лишениями преисполнено житие иноческое,— смиренно проговорил Василий Борисыч.

— Одно пустое дело!..— стоял на своем Патап Максимыч.— Захочешь спасаться, и в миру спасешься — живи только по добру да по правде.

Не отвечал Василий Борисыч.

— Чего ведь не придумают! — продолжал Патап Максимыч.— Человеку от беды неминучей надо спастись, и для того стоит ему только клобук да манатью на себя вздеть... Так нет, не смей, не моги, не то в старцах на всю жизнь оставайся... В каком это писании сказано?.. А?.. Ну-ка, покажи — в каком?

— Можно и отбыть в таком разе иночество,— уклоняясь от прямого ответа, молвил Василий Борисыч.

— Как же так? — спросил Патап Максимыч.

— Повелено иноческую одежду сожечь на том человеке,— сказал Василий Борисыч.— Когда на нем сгорит она, тогда и он свободен от иночества... Так положено...

— Положено, положено! — слегка горячась и громчей прежнего заговорил Патап Максимыч.— Где оно положено?.. Кто положил?..

— Святые отцы,— молвил Василий Борисыч.

— Все на святых отцов взваливают!.. Чего им, сердечным, и на ум не вспадало, все валят на них,— еще громче заговорил Патап Максимыч.— Нет, коли делом говорить, покажи ты мне, в каком именно писании про это сказано?.. Не то что́ без пути-то попусту язык о зубы точить?

Стихнул Василий Борисыч перед вспыхнувшим тысячником, решился не говорить ни слова. Только вздыхает да псалом на утоление гневных сердец про себя говорит: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его».

— Это, Патап Максимыч, он вправду говорит,— вступился удельный голова.— Намедни у нас точно такое дело было.

— Что-о-о?.. Иночества на живом человеке жгли?..— засмеялся Патап Максимыч.— Ай да голова!.. Ишь чем у них в приказе забавляются!.. Ха-ха-ха!.. Карпушка, что ли, поджигал?.. Ха-ха-ха!..

— А ты выслушай да потом и гогочи... Попусту, смеяться не след... Беса значит это тешить — кого хочешь спроси,— с малой досадой на приятеля ответил Михайло Васильич.— Слушай, как дело было. В летошнем году разных деревень девки на Китеж богу молиться ходили. Было на том богомолье келейных матерей сколько-то и скитских белиц. С вечера, известное дело: читали, молились, к утру приустали и над озером в роще вповалку спать полегли... Тут, надо думать, котора-нибудь из келейных, с озорства ли, со злобы ли, аль на смех, шут ее знает, возьми да на девицу на одну деревенскую, на сонную-то, иночество и возложи манатейку, значит, на шею-то ей. Проснулась девка, да и взвыла. Она, видишь, была просватана, конца Петровок дожидали свадьбу-то играть... Как быть! И замуж охота, и манатейки-то ски-

нуть нельзя!.. А келейницы ей в один голос: «Чудо сотворилося! Это уж такое тебе знамение от бога!.. Ты, говорят, сама рассуди, на каком месте это с тобой совершилось — ведь у самого невидимого града, у самого Великого Китежа... Слышала, какой с вечера «Летописец»-от читали?.. Есть, видишь ты, в том невидимом граде Китеже честные монастыри, чудные старцы и старицы... Сколь много веры надо иметь, сколь много духовных подвигов соделать, чтобы воочию узреть тех богоносных незримых отец и матерей? А к тебе блаженные сами пришли, сами на тебя иночество надели. Кто, как не они, святоблаженные? Сама посуди? Это божие дело — господь тебя призывает, правый путь к вечному блаженству сам тебе указует». Да такими словесами девку с толку и сбили: и замуж-то ей хочется и в праведницы охота... Кончилось тем, что девка в скиты ушла... А женихов отец меж тем издержался, к свадьбе готовясь, в долги вошел, с невестиных родителей стал у нас в приказе убытки править... Так вот какое дело было, а ты уж сейчас: иночество на живом человеке жгли.

— Мошенницы! — отозвался Патап Максимыч.— Спросить было сестрицу мою родимую,— прибавил он, усмехаясь,— не из ихней ли обители белицы сонную девку в ангельский чин снарядили!.. От них станется... Дошлые девки в Комарове живут!.. На всякие пакости готовы!..

Как выскочит Фленушка, хотела за своих вступиться, но Патап Максимыч так поглядел на нее, что та, ровно язык отморозивши, прижала хвост да смирным делом назад... Зато оправившийся от смущенья Василий Борисыч возревновал ревностью. Смиренно поникнув головою, тихим медоточным гласом обратился он к хозяину:

— В отеческом писании немало есть сказаний о знамениях и чудесах, коими господь привлекает человеков от суетного мира в тихое пристанище равноангельского жития. В «Патериках» и «Прологах» много тому примеров видим.

— Полно-ка ты, Василий Борисыч, со своими «Патериками» да «Прологами». Ведь это книги не божественные... Такие же люди писали, как и мы с тобой, грешные... Читывал я эти книги — знаю их... Чего-то, чего там не напутано,— сказал Патап Максимыч и потом ра-

душно примолвил: — Ты вот лучше пуншику еще пропусти!.. Никитишна! Сготовь Василью Борисычу хорошенького!

— Не следует такие речи говорить, Патап Максимыч. Грех великий!..— заметил ему Василий Борисыч.

— Про пуншик-от не следует разговаривать? Аль насчет наших преподобных, столпов древлего благочестия?—смеялся Патап Максимыч.—Насчет пунша смеяться не годится, потому пойло доброе, а над пустосвятами при веселой беседе потешиться греха нет, ни великого, ни малого... Не про книги тебе говорю, не над книгами смеюсь, над старцами да над старицами... Пустосвяты они, дармоеды, больше ничего!.. Слухи пошли, что начальство хочет скиты порешить... Хорошее, по-моему, дело... Греха меньше будет — надо правду говорить... Кто в скитах живет?.. Те, что ли, про которых в твоих «Патериках» писано?.. Постники?.. Подвижники?.. Земные ангелы?.. Держи карман!.. Обойди ты все здешни скиты да прихвати и Стародубские слободы, Рогожское на придачу возьми, найди ты мне старицу меньше девяти пудов весу, меньше десяти вершков в отрубе... Десятка не наберешь!.. Вот каковы у них пост да воздержание!..

— Ох, искушение! — глубоко вздохнув, вполголоса сказал Василий Борисыч.

— Сызмалетства середь скитов живу,— продолжал Патап Максимыч,— сколько на своем веку перезнал я этих иноков да инокинь, ни единой путной души не видывал. Нашел было хорошего старца, просто тебе сказать — свят человек,— и тот мошенником оказался. Красноярского игумна, отца Михаила, знавал?

— Личного знакомства иметь не доводилось,— ответил Василий Борисыч,— а слыхать про отца Михаила слыхал.

— Служба у него, любезный ты мой, такая, какой у вас и на Рогожском нет... Во всем порядок, на хозяйство его монастырское любо-дорого посмотреть... А уж баня, я тебе скажу, братец, какая!.. Липовая, парятся с мятой да с калуфером!.. На каменку квас... А чистота, чистота!.. И дух такой легкий да вольный!.. Век бы парился — не напарился!.. Царям только и мыться в такой бане, сроду такой не видывал,— с жаром продолжал Патап Максимыч.— А сам-от отец Михаил инок благочести-

вый, учительный, по всем здешним скитам нет такого, да и не бывало. Просто, как есть свят человек, не здесь, кажись, ему место, а в блаженном раю возле самого Авраама... Что же на поверку вышло?.. Воровскими делами занимался, фальшивы деньги работал... Вот те и праведник!.. А баня знатная!.. Что хорошо, то хорошо, надо правду говорить!..

— И сатана светоносного ангела образ приемлет, егда восхощет в сети своя слабого человека уловити,— молвил Василий Борисыч.

— Это что ж ты хочешь сказать?.. Думаешь, в отца Михаила сатана сам уселся?.. Так, что ли?..— захохотал Патап Максимыч.

— К тому говорю, что дьявольскому искушению ни числа, ни меры нет,— ответил Василий Борисыч.— Захотелось врагу соблазнить вас, Патап Максимыч, навести вас на худые мысли об иноческом житии, и навел на красноярского игумна.

— Сам к нему поехал... Что понапрасну на черта клепать! — засмеялся Патап Максимыч.— Своя охота была... Да не про то я тебе говорю, а то сказываю, что иночество самое пустое дело. Работать лень, трудом хлеба добывать не охота, ну и лезут в скиты дармоедничать... Вот оно и все твое хваленое иночество!.. Да!..

— Вражее смущение!..— проговорил Василий Борисыч.— Это лукавый вас на такие мысли наводит... Бороться с ним подобает, не поддаваться диавольскому искушению...

— Толкуй себе!.. Послушать тебя все едино, что наших керженских келейниц: все бес творит, а мы, вишь, святые, блаженные, завсегда ни при чем. Везде один он, окаянный, во всем виноват... Бедненький!..— молвил Патап Максимыч.

— Этого я не говорил, Патап Максимыч,— возразил Василий Борисыч.— Как же можно сказать, что бес все делает?.. Добра никогда он творити не может и правды такожде... Где зло, где неправда, там уж, конечно, дело не наше, его.

— Ну, Василий Борисыч,— засмеялся Патап Максимыч,— я бы тебя в игуменьи поставил... Право... Вон у меня есть сестрица родимая: ни дать, ни взять твои же речи... Послушать ее — так что в обителях худого ни

случится — во всем один бес виноват. Сопьется старица — бес споил, загуляет с кем — он же, проворуется — тот же бес в ответе... Благо ответчик-от завсегда наготове, свалить-то есть на кого... А слыхал ли ты, друг любезный, какое у нас, годов двадцать тому назад, в Комаровском скиту чудо содеялось?.. Как один пречестный инок беса в окошко махнул да чуть до́ смерти его не зашиб?..

— Не доводилось,— ответил Василий Борисыч.

— Как так?.. Столько времени у моей сестрицы гостишь, а про такие чудеса не слыхивал? — шутливо удивился Патап Максимыч.— Про отца Исакия, иже в Комарове беса посрами, знаешь?

— Нет, не знаю...

— Ну, так ты, Василий Борисыч, ничего, любезный мой, не знаешь... Ничего, как есть ничего,— продолжал Патап Максимыч.— Дивиться, впрочем, тут нечему: про такие чудеса наши старицы приезжим рассказывать не охотницы. Хочешь — расскажу тебе повесть душеполезну?.. Спасибо скажешь — можно в тетрадь написать поучения ради.

— Расскажите, коли такое есть ваше желание,— безучастно ответил Василий Борисыч, зная наперед, что услышит про такое чудо, какого ни в одном «Патерике» не отыщется.

— В Комарове,— начал с лукавой важностью в первый еще раз после Настиной смерти расшутившийся Патап Максимыч,— в Комарове теперь женски только обители. А прежде и мужские были... Вкупе-то, знаешь, веселей души спасать!.. Ионина обитель была там, часовня и теперь стоит. Спасался в ней старец искусен, житием сияя, яко светило,— преподобный отец Исакий... Подвизался богоугодно, дара пророчества сподобился — значит, стал прозорливцем... Много к нему народу ходило: охоч ведь народ-от будущу судьбу узнавать. Приношения, как водится, бывали: тем и держалась обитель. Прославился всюду Исакий — во всю землю произыде слава его... Ну, тут известное дело — бес... Позавидовал преподобному, приступил к нему и начал мечтаниями смущати, сонные видения представлять. Старец же посрамлял его ежечасно... Видит бес, что одному ему с Исакием не сладить — пошел в свое место, сатану привел,

чертенят наплодил, дьявола в кумовья позвал да всем собором и давай нападать на отца Исакия... Знал и я Исакия-то — ростом был с коломенску версту, собой детина ражий, здоровенный, лицом чист да гладок, языком речист да сладок; женский пол от него с ума сходил — да не то чтоб одни молодые, старухи — и те за Исакием гонялись. Спроси-ка при случае Аркадию либо Таифу... А был он лет сорока, не больше. Строил диавольский собор ему козни и навел на Исакия искушение — лестовка на руке, а девки на уме. Рядышком с Иониной обителью матушки Александры обитель стоит — Игнатьевых прозывается. Девок множество, все на подбор — одна другой краше. Старец их прочь не гонял... Жил таким образом преподобный года три, либо четыре, намолвки не наводил, бес ли его покрывал, сам ли умел концы хоронить — доподлинно сказать не могу. Приехала из Ярославля к матери Александре сродница — девица молодая, купеческого роду, хороших родителей дочь, воспитана по доброму, в чистоте и страхе господне, из себя такая красавица, что на редкость. Вóззрился на нее преподобный, а бесовский-от собор и ну его под бок и ну разжигать. «Хоть голову на плаху,— помышляет Исакий,— хоть душу во ад, а без того мне не быть, чтобы с той девицей покороче не познакомиться». Старая приятельница нашлась: мать Асклепиодота помогла преподобному. Наговорила гостейке турус на колесах: святой-де у нас в шабрах живет, благочестивый, учительный, постник, великий дар прозорливости имеет — всю судьбу твою как на ладонке выложит... Девица, известно — умок-от легок, что весенний ледок,— захотелось судьбу проведать, где, дескать, мой суженый, в каку сторону буду выдана, каково будет житье замужем. Согласилась — пошли. Тут-то чудо и сотворилось...

— Какое? — спросил Василий Борисыч.

— А вот какое,— допив стакан пуншу, продолжал Патап Максимыч.— Предста преподобному бес во образе жены и нача его смущати; он же отвеща ему глаголя: «Отыди от меня, сатано!» Бес же нимало не уязвися, дерзностно прельщая преподобного. Тогда отец Исакий поревнова, взем беса и изрину его из оконца... И товарищ твой крякнул, Василий Борисыч, как с высокого-то

окна в Белой Кринице прыгнул, а девичье тело понежней Жигаревского будет... Насмерть расшиблась...

— Искушение!..— шепотом прибавил Василий Борисыч.

— До начальства дело дошло: скрыть нельзя...—продолжал Патап Максимыч...— Еще умрет, пожалуй, тогда всем беда, опять же родитель из Ярославля приехал, всех на ноги поднял... суд да дело... Так ведь и в суде-то преподобный на своем стоял: «Я, говорит, полагал, что это бес, он ведь всегда во образе жены иноков смущает. Я было, говорит, крестным знамением его — неймется, заклинаниями — не внемлет. Ну тогда со дерзновением махнул его из окна... Вот, говорит, и вся моя вина...» Ты про этакие чудеса в книгах-то читал ли?

— Искушение! — только и мог ответить Василий Борисыч на слова Патапа Максимыча.

— Поплатился Исакий за искушение,— прибавил Патап Максимыч.— Первым делом — в острог, второе— чуть в Сибирь не угодил, а третье горше первых двух — со всеми деньгами, что за пророчество набрал, расстался... И обитель с той поры запустела.

— Искушение! — еще раз вздохнул Василий Борисыч.

— Нет, ты мне вот что скажи, Василий Борисыч,— продолжал Патап Максимыч,— какое насчет этого чуда будет твое рассуждение?.. Может, к отцу-то Исакию и на самом деле бес во образе ярославской девицы являлся?.. Может такое дело статься аль не может?.. Как по-твоему?

— Конечно, может,— ответил Василий Борисыч.

— Можно, значит, беса и в окошко? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Можно! — отрывисто и с сердцем молвил Василий Борисыч.

— И ребра переломать?

— Можно.

— Значит, исправник да суд понимали неладно, обидели, значит, Исакия понапрасну,— засмеялся Патап Максимыч, и богатырский хохот его впервые после Настиной кончины громкими раскатами по горницам раздался. Смеялись и кум Иван Григорьич с Михайлом Васильичем, смеялась и женская половина гостей. Груня

одна не смеялась, да еще рьяный поборник древлего благочестия Василий Борисыч... Под шумок довольно громко он вскрикивал:

— Маловеры!.. Слепотствующие!.. Ох, искушение!..

Под общее веселье пуще прежнего расходился Патап Максимыч.

— Это новы дела у Иониных,— сказал он,— а слыхал ли ты, Василий Борисыч, про старые?.. Не про старца Иону говорю тебе — тот жил давно, памятков про него, опричь чудотворной ели, никаких не осталось... А надо думать, что был свят человек, потому что богомольцы ту ель теперь до половины прогрызли... чудодействует, вишь, от зубной скорби, лучше самого Антипия помогает... Да не об ели хочу поведать тебе, а про слезы, печали и великие сокрушенья бывшего игумна той обители, отца — как бишь его? — Филофея никак... Батюшко родитель мой знавал этого Филофея, частенько, бывало, про его слезы рассказывал... Не знаешь про те слезы?.. Слушай!.. Ионина обитель в те поры первою обителью по всему Керженцу была, ионинский игумен был ровно архиерей надо всеми скитами, и мужскими и женскими... А это оттого, что отовсюду христолюбцы деньги на раздачу по скитам к Иониным присылали, вот как теперь к сестрице моей любезной присылают. Оттого она теперь у них и за патриарха... Право!.. Спроси хоть ее самое!.. А тогда, по той же причине, все ихнее житие было у ионинского игумна в руках. Поступил к ним Филофей не то из Москвы, не то из Слобод, одно слово — не здешний... Ладно, хорошо... Приезжает он во свою честную обитель... Глядят, старец постный, строгого жития, как есть подвижник, от юности жены не позна, живучи где-то в затворе... Казначей был у Иониных-то, отец Парфений... Всех прежних игумнов в руках держал, слабостям их помогая. И стал он примечать, на какую бы удочку этого осетра изловить... Замечает старец Парфений как только про женски обители речь поведется, у отца Филофея глаза так и запрыгают... Казначей себе на ус, говорит ему: «Отче святый, в горницах у тебя грязненько, не благословишь ли полы подмыть?» Тот благословляет... А Парфений: «При прежних, говорит, игумнах девицы полы подмывали, для того и очередь меж ними водилась. Благослови, отче святый, в женские обители

наряд нарядить». Игумен так и замахал руками: «Не хочу, значит: не благословляю...» А Парфений ему: «Без того нельзя, отче святый, грязи нарастет паче меры, а полы подмывать дело не мужское, ни один пòслушник за то не возьмется. Да к тому ж белицы в мужских кельях полы подмывают спокон веку, с самого, значит, Никонова гоненья. А стары обычаи преставлять не годится — ропот и смущение могут быть большие, молва пò людям пòйдет — в Иониной-де обители новшествà возлюбили — в старине, значит, не крепки. Подумай об этом, старче божий, ты человек новый, наших обычаев не знаешь». Нечего делать, согласился игумен, но только, что белицы с шайками в келью, он в боковушу да на запор. «Эту комнатку,— Парфению молвил,— после когда-нибудь...» Зачали девицы полы подмывать, а игумен на келейну молитву стал... Тут известно дело — бес... «Погляди да погляди, дескать, в замочну дырочку...» Послушался беса отец Филофей, приник к дырочке, взглянул — да глаза оторвать и не может. Белицы-то все молодые, подолы-то у всех подоткнуты. Сроду Филофей таких видòв не видал... Поборол, однако, врага, отошел òт двери, прямо к иконам... Молится с воздыханиями, со слезами, сердцем сокрушенным, уничиженным, даровал бы ему господь силу и крепость противу демонского стреляния... А бес-от его распаляет — помолится, помолится старец, да и к дырочке... Приходит наутре другого дня Парфений, говорит игумну: «Ну, вот, отче святый, теперь у тебя в кельях-то и чистенько, а в боковушке как есть свиной хлев, не благословишь ли и там подмыть?»— «Как знаешь»,— ответил игумен, а сам за лестовку да за умную молитву [1]. «Боковуша не величка,— молвил Парфений,— достаточно будет и одной...» Отвечает игумен: «Как знаешь».— «Так я пòд вечер наряжу, святый отче...» А игумен опять то же слово: «Как знаешь!..» На другой день поýтру опять к нему отец Парфений приходит, глядит, а игумен так и рыдает, так и разливается-плачет... Парфений его утешать: «Что ж, говорит, отче святый,— ведь это не грех, а токмо падение, и святые отцы падали, да угодили же богу покаянием... Чего тут плакать-то?.. До тебя игумны бывали, и с теми то же

[1] Умная молитва — мысленная, без слов.

бывало... Не ты, отче первый, не ты и последний». А отец Филофей на ответ ему: «Дурак ты, дурак, отец Парфений!.. О том разве плачу?.. О том сокрушаюсь?.. До шестого десятка я дожил... не знал...»

— Искушение! — опустя очи, воскликнул Василий Борисыч. А самому завидно.

Долго шла меж приятелей веселая беседа... Много про Керженски скиты рассказывал Патап Максимыч, под конец так разговорился, что женский пол одна за другой вон да вон. Первая Груня, дольше всех Фленушка оставалась. Василий Борисыч часто говорил привычное слово «искушение!», но в душе и на уме бродило у него иное, и охотно он слушал, как Патап Максимыч на старости лет расходился.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Правду говорил удельный голова Алексею: раньше трех дён Патап Максимыч гостей не пустил. И кум Иван Григорьич с Груней, и Михайло Васильич с Ариной Васильевной, и матушка Манефа с келейницами, и московский посол Василий Борисыч волей-неволей гостили у него три дня и три ночи.

— Тому делу нельзя быть, чтоб раньше трех дён гостей отпустить... Сорочины что именины — до троих суток роспуску нет,— говорил Патап Максимыч на неотступные просьбы тосковавшего по перепелам Михаила Васильича.

— Уехали ж городецкие, отпустил ты и городских гостей,— молвил голова гостеприимного своевольника,— яви божескую милость, отпусти меня с Ариной Васильевной.

— Гость гостю рознь — иного хоть брось, а с другим рад бы век свековать,— отвечал на те слова Патап Максимыч.— С двора съехали гости дешевые, а вы мои дорогие — ложись, помирай, а раньше трех дён отпуска нет.

— Поверь же богу, Патап Максимыч,— вздумал продолжать удельный голова.— Нужные дела по приказу есть, непременно надо мне домой поспешать.

— Пустых речей говорить тебе не приходится,— отрезал тысячник.— Не со вчерашнего дня хлеб-соль водим. Знаешь мой обычай — задурят гости да вздумают

супротив хозяйского хотенья со двора долой, найдется у меня запор на ворота... И рад бы полетел, да крылья подпешены [1]. Попусту разговаривать нечего: сиди да гости, а насчет отъезда из головы выкинь.

И должны были гости покориться воле Патапа Максимыча. Было б напрасным трудом спорить с ним. Не родился тот на свет, кто бы переспорил его.

И томился тоской Михайло Васильич, поглядывая на плававшие в воздухе длинные пряди тенетника и на стоявшие густыми столбами над хлебом и покосами толкунцы [2]. Тянуло его к сетям да к дудочкам — хоть бы разок полежать в озимях до Нефедова дня... Да что поделаешь с своеобычным приятелем? Хоть волком вой, а гости до трех дён у Чапурина.

Иной выливает горе слезами, другой топит его в зеленом вине, Патап Максимыч думал размыкать печаль в веселой беседе с приятелями. Не было к нему ближе людей Ивана Григорьича с Михайлой Васильичем — то были други верные, приятели изведанные, познал их Чапурин и в горе и в радостях, и в счастье и в печалях. И хотелось ему с ними развеять мрачные думы, душу свою хотелось ему отвести... Новый знакомец тоже по нраву пришелся... Но Василий Борисыч человек молодой, к тому ж за скиты и за всяко духовное дело стоит через меру, оттого и тешился над ним Патап Максимыч, оттого и поддразнивал его затейными рассказами про житье-бытье старцев и келейниц лесов Чернораменских.

Шутит Чапурин веселые шутки, трунит над Васильем Борисычем; добродушное лицо его сияет сердечною радостью... Но нет-нет, а вдруг отколь ни возьмись — налетит хмара темная, потускнеет ясный взор отца горемычного, замлеет говорливый язык, и смолкнет Патап Максимыч, вспоминая красотку свою ненаглядную, покойницу Настю-голубушку, и слеза, что хрусталь, засверкает на ресницах его... Смолкнут и други-приятели, глядя на хозяина, потупят очи речистые, зная, чем повеяло на душу Патапа Максимыча... По недолгом времени ровно ото сна воспрянет он; опять за шутки, опять за издевки над Васильем Борисычем. Про скиты речь по-

---

[1] Подпешить — сделать птицу пешею посредством обрезки крыльев.

[2] Толкунцы, или толкачи — рои мошек.

ведет, про Белую Криницу, зачнет путем, сведет на смеховое дело, пойдет балагурить насчет беглого священства да австрийского архиерейства, насчет келейного житйя, уставов, поверий, скитских преданий... Патап Максимыч был истый великорусс: набожник, ревностный к вере отцов богомольник, но великий суеслов; а как расходится да разгуляется, и от кощунства не прочь... Сидя в соседней боковуше, в ужас приходила мать Аркадия, слыша как потешался он над Васильем Борисычем... В душевном смятенье вполголоса читала она псалом царя Давида: «Рече безумец в сердце своем».

Василий Борисыч в споры. Нельзя же московскому послу оставаться без ответа, слушая такие речи; нельзя не показать ревности по древлему благочестию. Но с Патапом Максимычем спорить не то что с другим — много надо иметь и ума и уменья, чтоб свое защитить и ему понаровить. Другой слов бы не нашел для разговоров с Чапуриным, но Василий Борисыч на обхожденье с такими людьми был ловок, умел к каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему... Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый, безродный сирота, обширной начитанностью, знаньем церковного устава и пения обратил он на себя вниманье рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни... И в самом деле был он великий начетчик, старинные книги, как свои пять пальцев, знал; имея же острую память, многое из них целыми страницами читал наизусть, так, бывало, и режет... Но, читая старые книги, новыми он не брезговал, не открещивался от них, как другие староверы, напротив, любил их читать и подчас хорошее слово из них в речь свою вставить. Сильные своим влияньем тузы московского старообрядства дорожили такими людьми и уважали Василья Борисыча за острый ум и обширные познанья... Не раз изведав ловкость его, стали посылать его в разные места по духовным делам, и, куда, бывало, ни пошлют, всюду он порученье исполнит на славу. Это ему, бедному человеку, не только хороший хлеб давало, но даже доставило возможность купить в Сыромятниках[1] хорошень-

[1] Одна из отдаленных частей Москвы, поблизости Рогожского кладбища. В Сыромятниках живет немало старообрядцев рогожского согласия.

кий домик и сколотить себе небольшой капиталец. Большое богатство мог бы скопить, да страстишка в нем завелась—карты возлюбил... Ни трынка, ни горка, ни новоявленная макао не везли Василию Борисычу... А как был он по пословице «несчастлив в игре, да счастлив в любви», так и на это счастье деньги понадобились и, бывало, из кармана, как по вешней воде, уплывали... А все-таки в довольстве жил, бедовать ему не доводилось... Главное — с людьми уживаться умел... То затейник, то балагур, то скромник и строгий постник, то бабий прихвостень и девичий угодник, был он себе на уме: с кем ни повстречается, ко всякому в душу без оглобель въедет, с кем беседу ни зачнет, всякого на свою сторону поворотит...

С первого взгляда он насквозь узнал Патапа Максимыча, понял, что̀ это за человек, и разом сумел к нему подладиться. Заметив, что не жалует он потаковников, а любит с умным, знающим встречником[1] поспорить, охотно пускался с ним в споры, но спорил так, чтоб и ему угодить и себя не унизить. Послушает, бывало, мать Манефа, либо которая из келейниц, как ведет он речи с Патапом Максимычем, сердцем умилится, нарадоваться не может... А Патап Максимыч тоже рад и доволен. Ласково поглядывает на Василья Борисыча, самодовольно улыбается, а сам про себя думает: «Вот так человек!.. Из молодых да ранний — на все горазд: и себя огородить и старшему понаровить! Опять же и книжен. Таких начетчиков мало мне встречать доводилось. По всему старообрядству таких раз-два, обчелся».

Но не все же шутить да балагурить — надоест. До́сыта натешившись над скитами и над старою верой, на иное Патап Максимыч беседу свел. С Иваном Григорьичем да с удельным головой пошли у него разговоры про торги да промыслы. Василий Борисыч и тут лицом в грязь себя не ударил. Увидел Патап Максимыч, что и по торговому делу он был столько же сведущ, как и в книжном писанье. Исходив много стран, многое видел на веку своем Василий Борисыч, все держал на памяти и обо всем мог иметь свое сужденье. Московские фабрики, ржевские прядильни, гуслицкие ткачи, холуйские бого-

[1] Встречник — противник в споре, иногда враг.

мазы, офени-коробейники, ростовские огородники, шуйские шубники, вичужские салфетчики, сапожники-кимряки, пряничники-вязьмичи вдоль и поперек были ему известны. Куда ни заносила Василья Борисыча непоседная жизнь, везде дружился он с зажиточными старообрядцами. А те по многим местам держат в руках и торговлю и промышленность. Оттого ему и сподручно было так хорошо изведать торговое дело.

Когда повелись толковые, деловые разговоры, Василий Борисыч в какой-нибудь час времени рассказал много такого, чего ни Патапу Максимычу, ни куму Ивану Григорьичу, ни удельному голове Михайле Васильичу и на ум до того не вспадало.

Про то разговорились, как живется-можется русскому человеку на нашей привольной земле. Михайло Васильич, дальше губернского города сроду нигде не бывавший, жаловался, что в лесах за Волгой земли холодные, неродимые, пашни и покосы скудные, хлебные недороды частые, по словам его выходило, что крестьянину-заволжа̀нину житье не житье, а одна тяга; не то, чтобы деньги копить, подати исправно нечем платить.

— А промысла́,— жаловался он,— что спокон века здешний народ поили-кормили, решатся один за другим. На что ни оглянись, все по̀д гору катится, все другими перебито. На что славна была по всем местам наша горянщина, и ту изобидели: крещане [1] у токарей, юрьевцы да кологривцы у ложкарей отбивают работу. В прежние годы из нашей Чи́щи [2] валенок да шляпа на весь крещеный мир шли, а теперь катальщики чуть не с голоду мрут... Угораздило крещеных у немца картуз перенять!.. От саратовских колонистов тот картуз по Руси пошел и дедовску шляпу в корень извел... Прежде в Чищи для каждой стороны особую шляпу работа̀ли: куда шпилёк, куда верховку, куда ка́шник [3], а теперь, почитай, и валять-то разучились... Хизнула шляпа, остались сапоги с валенками, и те Кинешма с Решмой перебивают, а за Кинешмой да Решмой калязинцы [4]. Красную Рамень

[1] Жители Крестецкого уезда Новгородской губернии.

[2] Чищею называется безлесная полоса вдоль левого берега Волги шириною верст на двадцать, двадцать пять и больше.

[3] Разные виды русских поярковых шляп.

[4] Город и большое село на Волге в Костромской губернии. Калязин — город Тверской губернии, тоже на Волге.

взять. прежде на всю Россию весовые коромысла работа́ла, теперь и этот промысел стал подходить... Нет, плохое житье стало по нашим лесам!..

— Гневить бога вам нечего,— возразил Василий Борисыч — Посмотрели бы вы, как по другим-то местам люди живут, не стали б хаить да хулить свою сторону...

— Сторона наша плохая, хлеба недороды, иной год до рождества своего хлеба не хватит,— возразил удельный голова.

— А посмотреть бы вам, Михайло Васильич, каково народ по тем местам живет, где целу зиму на гумне стоят скирды немолоченные,— сказал на то Василий Борисыч.— По вашим лесам последний бедняк человеком живет, а в степных хлебородных местах и достаточный хозяин заодно со свиньями да с овцами.

— Уж ты наскажешь! только послушать! — сказал Михайло Васильич.— Как же возможно с овцами да со свиньями жить?..

— Не во гнев твоей милости будь: того и в посмешных песнях не поют и в сказках не сказывают.

— В сказках не сказывают и в песнях не поют,— молвил Василий Борисыч,— а на деле оно так. Посмотрели б вы на крестьянина в хлебных безлесных губерниях... Он домосед, знает только курные свои избенки. И если б его на ковре-самолете сюда, в ваши леса перенесть да поставить не у вас, Патап Максимыч, в дому́, а у любого рядового крестьянина, он бы подумал, что к царю во дворец попал.

— Ну уж и к царю! — самодовольно улыбнувшись, молвил Патап Максимыч.

— Истинную правду вам сказываю,— решительно ответил Василий Борисыч.— Посмотрели б вы на тамошний народ, посравнили б его со здешним, сами бы то же сказали... Здесь любо-дорого посмотреть на крестьянина, у самого последнего бедняка изба большая, крепкая, просторная, на боку не лежит, ветром ее не продувает, зимой она не промерзает, крыта дранью, топится побелому, дров пали сколько хочешь — у каждого хозяина чисто, опрятно, и все прибрано по-хорошему... А там избенка малая, низкая, курная, углы морозом пробиты, несет из них, а печку навозом либо соломой топят... Пол-от в избе земляной, стены да потолок что твой уголь.

Вместе с людьми и овцы с ягнятами, и свиньи с поросятами, и всякая домашняя птица... Корову в избе же доят и корму ей там задают...

— Быть того не может! — вскликнул удельный голова.— В жизнь свою не поверю, чтоб корова в избе жила и всякая скотина и птица.

— Побывайте в степях, посмотрите,— молвил Василий Борисыч.— Да... Вот что я вам, Михайло Васильич, скажу,— продолжал он, возвыся голос,— когда Христос сошел на́ землю и принял на себя зрак рабий, восхотел он, владыко, бедность и нищету освятить. Того ради избрал для своего рождества самое бедное место, какое было тогда на земле. И родился царь небесный в тесном, грязном вертепе среди скотов бессловесных... Поди теперь в наши степи — что ни дом, то вертеп Вифлеемский.

— Отчего ж это так? — в недоуменье спросил Михайло Васильич.

— Оттого, что земля там родима, оттого, что хлеба там вдоволь,— с улыбкой ответил московский посол.

— Понять не могу,— разводя врозь руками, молвил Михайло Васильич.— Хлеб всему голова: есть хлеб — все есть: нет — ложись, помирай.

— Не всегда и не везде так бывает,— сказал Василий Борисыч.— Если ж в тех хлебородных местах три, четыре года сряду большие урожаи случатся, тогда уж совсем народу беда.

— Как так? — спросил Патап Максимыч. Удивился и он речам Василия Борисыча.

— Да очень просто,— ответил Василий Борисыч.— Промыслу нет никакого, одно землепашество... Хлеба-то вволю, а мужику одним хлебом не изжить, и на то и на другое деньги ему надобны: и соли купить, и дегтю, и топор, и заступ, и серпы, и косы, да мало ль еще чего... У церковников попу надо дать, как с праздным придет, за исповедь, за свадьбы, за кстины [1], за похороны; винца тоже к празднику надо, а там подати, оброки, разные сборы, и все на чистоган. А чистогана, опричь как хлебом, достать нечем. А хлеб-от вези на базар, верст за двадцать, за дридцать. Сколько тут надо прохарчить, сколько времени эти поездки возьмут, а дороги-то осенью,

[1] Крестины.

да и летом, коли много дождей, не приведи господи! В черноземе-то, как его разведет, телега по ступицу грузнет, лошаденка насилу тащит ее... Что̀ тут ма́яты, что́ убыток!.. Хорошо вон теперь железны дороги почали строить, степняку от них житье не в пример лучше прежнего будет, да не ко всякой ведь деревне чугунку подведут... Хорошо еще, коли хлеб в цене — тогда и примет мужик маяты, а все-таки управится, и деньги у него в мошне будут. А как большие-то урожаи да каждый-то год, да как цена-то на хлеб упадет!.. По хлебным местам такая намолвка идет: «Перерод хуже недороду».

— Поди вон оно дело-то какое! — удивился Михайло Васильич.

— А лесу ни прута,— продолжал Василий Борисыч.— Избы чуть не из лутошек, по местам и битые из глины в чести, топливо — солома, бурьян да кизяк... [1]. Здесь, в лесах, летом все в сапогах, зимой в валенках, там и лето и зиму в одних родных лапотках, да еще не в лычных, а в веревочных. По здешним местам мясное-то у мужика не переводится, да и рыбы довольно — Волга по́д боком, а в хлебных местах свежину только в светло воскресенье едят да разве еще в храмовые праздники...

— Чудно́е дело!..— дивился Михайло Васильич.

— По вашим местам — щи с наваром, крыты жиром, что их не видать, а в хлебных местах щи хоть кнутом хлещи — пузырь не вскочит...— продолжал Василий Борисыч.— Рыбного тоже нисколько, речонки там мелкие, маловодные, опричь пискаря да го́ловля, ничего в них не водится. Бывает коренная, да везена та рыба из дальных мест и оттого дорога̀... Где уж крестьянину деньги на нее изводить — разве поесть немножко на масленице, чтоб только закон справить... Хлеба — ешь не хочу, брага не переводится, а хоть сыты живут, да всласть не едят, не то что по вашим местам. Вот каковы они хлебны-то места, Михайло Васильич!

— Мудрены дела твои, господи! — молвил удельный голова и задумался. И, малое время помолчав, спросил он Василья Борисыча:

— Перепелов, поди, чай, сколько в хлебе-то!

— Этого добра вдоволь,— ответил Василий Борисыч,— тьма-тьмущая!

---

[1] Кизяк — сухой навоз, обделанный в форму кирпича.

— Голосисты? — спросил голова.

— Беда! — молвил Василий Борисыч.

— Эка благодать!..—вздохнул Михайло Васильич.— Сотнями, чать, кроют...

— Оно и выходит, что хлеба много — лесу нету, лесу много — хлеба нету,— вставил в беседу речь свою кум Иван Григорьич.

— Не в лесе, Иван Григорьич, сила, а в промыслàх,— сказал ему на то Василий Борисыч.— Будь по хлебным местам, как здесь, промысла́, умирать бы не надо...

— Отчего ж не заводят? Кажись бы, не хитрое дело? — спросил Иван Григорьич.

— Оттого и не заводят, что хлебные места,— ответил Василий Борисыч.— Промысла́ от бесхлебья пошли, бесхлебье их породило... В разных странах доводилось мне быть: чуть не всю Россию объехал, в Сибири только не бывал да на Кавказе, в Австрийском царстве с Белокриницкими отцами до самой Вены доезжал, в Молдаве был, в Туречине, гробу господню поклонялся, в Египетскую страну во славный град Александрию ездил... И везде, где ни бывал, видел одно: чем лучше земля, чем больше ее благодатью господь наделил, тем хуже народу живется. Смотришь, бывало, не надивуешься: родит земля всякого овоща и хлеба обильно, вино и маслины и разные плоды, о каких здесь и не слыхивали, а народ беден... Отчего?.. Промыслу нет никакого... Земля-то щедра, всегда родит вдоволь, уход за ней не великий, человек-от и обленился; только б ему на боку лежать, промысла́ и на ум ему не приходят. А как у нас на святой Руси холод да голод пристукнут, рад бы поленился, да некогда... И выходит: где земля хуже, там человек досужей, а от досужества все: и достатки и богатство...

— А ведь это так, это он дело сказывает,— кивнул Патап Максимыч куму Ивану Григорьичу.— Говорится же ведь, что всяко добро от божьего ума да от человечьего труда.

— Да,— подтвердил Василий Борисыч.— Всё трудом да по́том люди от земли взяли... Первая заповедь от господа дана была человеку: «В поте лица снèси хлеб твой»... И вот каково благ, каково премудр отец-от небесный: во гневе на Адама то слово сказал, а сколь доб-

ра от того гневного слова людям пришло... И наказуя, милует род человеческий!..

— Известно... На то он и бог,— молвил удельный голова.

— А скажи-ка ты мне, Василий Борисыч, как по твоему замечанью... Можно по хлебным местам промысла развести али нельзя?— спросил у него Патап Максимыч.

— Можно-то можно, люди бы только нашлись,— ответил Василий Борисыч.— Самому крестьянству на промыслы сразу подняться нельзя... Зачинать ново дело русский человек не охотник, надо ему ко всякому делу допрежь приглядеться.

— Как же завести-то их? — спросил Патап Максимыч.

— А вот как,— ответил Василий Борисыч.— Человеку с достатком приглядеться к какому ни на есть месту, узнать, какое дело сподручнее там завести, да, приглядевшись, и зачинать с божьей помощью. Год пройдет, два пройдут, может статься, и больше... А как приглядятся мужики к работе да увидят, что дело-то выгодно, тогда не учи их — сами возьмутся... Всякий промысел так зачинался.

— Фабрику, значит, поставить, либо завод какой?— сказал Патап Максимыч.

— Нет,— возразил Василий Борисыч.— Нет, нет, оборони боже!.. Пущай их по городам разводят... Фабричный человек — урви ухо [1], гнилая душа, а мужик — что куколь: сверху сер, а внутри бел... Грешное дело фабриками его на разврат приводить... Да и то сказать, что на фабриках-то крестьянскими мозолями один хозяин сыт... А друго дело то, что фабрика у нас без немца не стоит, а от этой саранчи крещеному человеку надо подальше.

— Самое истинное дело,— согласился Патап Максимыч.

— Ты ему воли на вершок, а он, глядь, и всем заволодел,— вставил свое слово Михайло Васильич.

— Не фабрики, кустарей по какому ни на есть промыслу разводить — вот что надо,— сказал Василий Борисыч.— И пример с них мужики скорее возьмут, и веры

---

[1] Плут.

в тот промысел будет побольше... Да вот к примеру хоть Вичугу[1] взять, от здешних лесов не больно далеко, и там земля неродима... До французского года[2] ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь по трем уездам у мужиков только и дела, что скатерти да салфетки ткать. И фабрики большие завелись, да речь не об них... По иным деревням, что ни дом, то стан... Заобихожий[3] круглый год за работой; тяглецы, как не в поле, тоже за станом стоят... И что денег тем мастерством добывают!.. Как живут!.. А как дело-то зачиналось?.. Выискался смышленый человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по древлему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведенье, с легкой его руки дело и пошло да пошло... И разбогател народ и живет теперь лучше здешнего... Да мало ль таких местов по России. А везде доброе дело одним зачиналось!.. Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо бы народу жилось.

— Да,— промолвил Патап Максимыч и крепко задумался.

И когда расходились гости на сон грядущий, не сказал он никому ни единого слова, но молча трижды расцеловался с Васильем Борисычем.

А уйдя в боковушу, долго ходил взад и вперед, закинув руки за спину.

«Слыхал и я про Коновалова,— думал он сам про себя.— Добром поминают его по всему околотку, по всем ближним и дальным местам... Можно про такого человека сказать: «Сеял добро, посыпал добром, жал добро, оделял добром, и стало его имя честно и памятно в род и род». Голодного накорми, слабому пособи, неразумного научи, как добро наживать трудом праведным, нет тех дел святее перед господом и перед людьми... От людей вечный помин, от господа грехов отпущенье... И в писании сказано: «блажен»... Что каменны палаты в Петербурге?.. Что железны дороги да расчистка волжских перекатов — коноваловское дело превыше всего... И капитала много меньше потребуется... Смогу!.. А смышлен этот Василий Борисыч!.. Из себя маленек, годами

[1] Кинешемского уезда Костромской губернии.
[2] 1812 год.
[3] Заобихожий — лишний в доме.

молоденек, а разумом и старого за́ пояс заткнет... Сынка бы такого разумного!.. Не привел господь!.. Что́ делать?.. На волю божью не подашь просьбу... А этот лучше того долговязого!.. Острый разум!.. И угораздило же его в бабьи дела ввязаться!.. Кельи да старицы, уставы да архиереи!.. Все едино, что вздень сарафан да с девками в хороводы... Последнее дело!..»

* * *

Утром третьего дня сорочин Патап Максимыч опять с гостями беседовал. В ожиданьи обеда Никитишна в передней горнице закуску им сготовила: икры зернистой, балыка донского, сельдей переславских и вяленой рознежской[1] стерляди поставила. Хрустальные с разноцветными водками графины длинным рядом стояли на столе за тарелками.

— Дивлюсь я тебе, Василий Борисыч,— говорил ему Патап Максимыч.— Столько у тебя на всякое дело уменья, столь много у тебя обо всем знанья, а век свой корпишь над крюковыми книгами[2], над келейными уставами да шатаешься по белу свету с рогожскими порученностями. При твоем остром разуме не с келейницами возиться, а торги бы торговать, деньгу наживать и тем же временем бедному народу добром послужить.

— Всякому человеку о́т бога свое дело положено,— молвил Василий Борисыч.— Чему обучен, чему навык, тому делу и должен служить. Да и можно ль мне в торговлю пуститься? Ни привычки, ни сноровки.

— Так говорить не моги,— перебил его Патап Максимыч.— Мы, стары люди, видим подальше тебя, больше тебя разумеем. Птичка ты невеличка, да ноготок у тебя востер. По малом времени в люди бы вышел, тысячником бы стал, богачом.

— Что есть, и того довольно с меня,— молвил Василий Борисыч.— Не в богатстве сила, в довольстве... Я, слава богу, доволен.

---

[1] Рознежье — село на левом берегу Волги, повыше Васильсурска. Здесь весной во время водополья ловят много маломерных стерлядей и вялят их.

[2] Певчие книги. Крюки — старинные русские ноты, до сих пор обиходные у старообрядцев.

— Доволен! — усмехнулся Патап Максимыч.— И лягушка довольна, пока болото не пересохло... А ты человек, да еще разумный. Что́ в писании-то сказано о неверном рабе, что данный от бога талант закопал? Помнишь?

— Дело-то о́пасно,— немного подумав, молвил Василий Борисыч.— Батюшка родитель был у меня тоже человек торговый, дела большие вел. Был расчетлив и бережлив, опытен и сметлив... А подошел черный день, смешались прибыль с убылью, и пошли беда за бедой. В два года в доме-то стало хоть шаром покати... А мне куда перед ним? Что я супротив его знаю?.. Нет, Патап Максимыч, не с руки мне торговое дело.

— Напрасно так рассуждаешь,— возразил Патап Максимыч.— Добра тебе желаючи, прошу и советую: развяжись ты с этими делами, наплюй на своих архиереев да на наших келейниц... Ну их к шуту!.. На такие дела без тебя много найдется... Повел бы торги — и себе добро и другим польза.

— Нет, Патап Максимыч! — молвил Василий Борисыч.— Такой уж несмелый я человек — всего опасаюсь, всего боюсь, опять же привычка... А привычка, не истопка [1], с ноги не сбросишь... Боюсь, Патап Максимыч, оченно мне боязно за непривычное дело приняться...

— Волка бояться — от белки бежать,— сказал Патап Максимыч.— Не ты первый, не ты будешь и последний... Знаешь пословицу: «Смелому горох хлебать, робкому пустых щей не видать»? Бояться надо отпетому дураку да непостоянному человеку, а ты не из таковских. У тебя дело из рук не вывалится... Вот хоть бы вечор про Коновалова помянул... Что б тебе, делом занявшись, другим Коноваловым стать?.. Сколько б тысяч народу за тебя день и ночь богу молили!..

— Такого дела мне не снести,— молвил Василий Борисыч.

— Отчего? — спросил Чапурин.

— Не к лицу пироги разбирать, коли хлеба нет,— молвил Василий Борисыч.— Торги да промыслы заводить, надо достатки иметь, а у меня,— прибавил он усмехаясь,— две полы, обе голы, да и те не свои — подаренные.

[1] Истопки — изношенные лапти.

— Нет капитала, в долю бы шел,— сказал Патап Максимыч.— Такого, как ты, всякий с радостью примет.

— В су́прядках не пряжа, в складчи́не не торг,— отозвался Василий Борисыч.

— Это так точно,— с довольной улыбкой подтвердил Чапурин.— Сам тех же мыслей держусь. Складчи́на последнее дело... Нет того лучше, как всякий Тит за себя стоит... А эти нонешни акции, да компании, да еще пес их знает, какие там немецкие штуки — всем им одна цена: наплевать.

— Значит, ты и артели порочишь? — вступился удельный голова.

— Кто их порочит! — с досадой возразил Патап Максимыч.— Артель порочить нельзя, артель та же братчина, заведенье доброе; там все друг по друге, голова в голову, оттого и работа в артели спора... Я про нынешни компании помянул, их не хвалю... Тут нажива только тому, кто дело к рукам умеет прибрать... А другим пайщикам обида одна... Нет, я так советую тебе, Василий Борисыч, шел бы ты в долю к какому ни на есть богатому да хорошему человеку: его бы деньги, твое уменье... Говорил ты намедни, что по разным городам у тебя большое знакомство... Неужто не сыщется, кто бы тебе деньгами пособил?..

— Как не сыскаться,— молвил Василий Борисыч.— Есть доброхотов довольно.

— Что ж ты?

— Просить охоты нет,— сказал Василий Борисыч.

— А ты попробуй — без просьбы нельзя же: дитя не плачет, мать не разумеет,— молвил Патап Максимыч.— Ну-ка, попробуй...

— Искушение! — впо́лголоса проговорил Василий Борисыч, смиренно поникнув головою.

— Что стал?.. Пробуй! — упершись в коленки руками и наклонясь к Василию Борисычу, сказал Патап Максимыч.

— Не могу я просить, Патап Максимыч, язык не поворотится.

Плюнул с досадой Чапурин.

— Сами, что ли, деньги-то тебе в карман влезут? — крикнул он, выпрямясь во весь рост.— Сорока, что ли, тебе их на хвосте принесет?.. Мямля ты этакой, рохля!..

Мог бы на весь свет загреметь, а ему по скитам шляться да с девками по крюкам петь!.. Бить-то тебя некому!

— Искушение!..— с глубоким вздохом, полушепотом промолвил Василий Борисыч.

— Добро ему кажут, на широку дорогу хотят его вывести, а он, ровно кобыла с норовом, ни туда, ни сюда,— шумел Патап Максимыч...— Сказывай, не́путь этакой, много ль денег требуется на развод промыслов где-нибудь поблизости?.. Ну хоть на Горах [1], что ли?

— Ох, искушение! — глубже прежнего вздохнул Василий Борисыч. Сроду не случалось бывать ему в таком переделе...

А Патап Максимыч так зашагал по горнице, что стоявшая на горках посуда зазвенела... Вдруг стал он перед Василием Борисычем и взял его за̀ плечи.

— Получай деньги, Васильюшка,— сказал ему.— Брось, голубчик, своих чернохвостых келейниц да посконных архиереев, наплюй им в рожи-то!.. Васильюшка, любезный ты мой, удружи!.. Богом тебя прошу, сделай по-моему!.. Утешь старика!.. Возлюбил я тебя...

— Нет, уж увольте, Патап Максимыч,— собравшись с духом, молвил Василий Борисыч.— Не надо — не могу я ваших денег принять...

— Дурак! — крикнул вскипевший гневом Чапурин и порывисто вышел из горницы, хлопнув дверью, так что окна зазвенели.

— Что ж ты тревожишь его? — говорил Василью Борисычу кум Иван Григорьич.— Видишь, как расходился!.. Для че упорствуешь?.. Не перечь... покорись, возьми деньги.

— Не к рукам мне его деньги,— ответил Василий Борисыч.— Какой я купец, какой торгове́ц?.. Опять же не к тому я готовил себя.

— Про то не думай,— внушительно сказал ему удельный голова.— Патап Максимыч лучше тебя знает, годишься ты в торговое дело али нет?.. Ему виднее... Он, брат, маху не даст, каждого человека видит насквозь... И тебе бы, Василий Борисыч, ему не супротивничать, от счастья своего не отказываться.

---

[1] На Горах — на правом берегу Волги.

— Ох, искушение! — руками даже всплеснул Василий Борисыч. А самому бежать бы — так в пору.

— Нет, уж ты не прекословь, Василий Борисыч,— продолжал уговаривать его Иван Григорьич.— Потешь старика, пожалей — добра ведь желает тебе.

— Да толком же я говорю: не могу того сделать,— чуть не со слезами ответил Василий Борисыч.— Заводить торговое дело никогда у меня на уме не бывало, во снях даже не снилось... Помилуйте!..

— Экой ты человек неуклончивый! — хлопнув о полы руками, воскликнул Иван Григорьич.— Вот уж поистине: в короб нейдет, из короба не лезет и короба не отдает... Дивное дело!.. Право, дивное дело!..

— Старого человека надо уважить,— молвил Михайло Васильич.— Из-за чего ты в самом деле расстроил его?.. Ну и впрямь, что̀ за охота тебе с келейницами хороводиться!.. Какая прибыль?.. Одно пустое дело!..

Под эти слова дверь быстро распахнулась, и Патап Максимыч вошел в горницу. Лицо его пылало, пот крупными каплями выступал на высоком челе, но сам он несколько стих против прежнего.

— Слушай,— сказал он, подойдя к Василию Борисычу и положив ему руки на̀ плечи.— Чего торгов боишься? Думаешь, не сладишь?.. Так, что ли?

— Так точно,— ответил Василий Борисыч.

— Ладно, хорошо... Будь по-твоему,— сказал Патап Максимыч, не снимая рук с плеч Василья Борисыча.— Ну, слушай теперь: сам я дело завожу, сам хочу промысла̀ на Горах разводить — ты только знаньем своим помогай!

— Какое ж мое знание, Патап Максимыч? Помилуйте, господа ради!..— возразил было Василий Борисыч.

— Лучше тебя знаю, каково твое знанье,— прервал его Патап Максимыч.— Помогай же мне, ступай в приказчики...

— Ох, искушение! — вздохнул Василий Борисыч.

— Да ну его к шуту, твое «искушение». Заладил, что сорока Якова, надоел даже... Идешь в приказчики?

Молчит Василий Борисыч, мутится взор его под горячими взглядами Патапа Максимыча.

— Житье на всем на готовом, жалованья — сколько запросишь. Дело вести без учету, без отчету, все как сы-

ну родному доверю... Что же?.. Чего молчишь?.. Аль язык-от отсох!.. Говори, отвечай! — сильно тряся за плечи Василья Борисыча, говорил Патап Максимыч.

— Не знаю, что отвечать,— тихо промолвил Василий Борисыч... А у самого на уме: «Спаси от бед раба своего, богородице!»

— Толком спрашиваю, толком и ответ давай! — чуть не на весь дом крикнул Патап Максимыч.

— Дайте сроку...— едва проговорил Василий Борисыч.

— Много ли?

— Недель шесть...— сказал Василий Борисыч.

— Долго...— молвил Патап Максимыч.

— Меньше нельзя. Чужие дела в руках, зря их бросить нельзя,— ответил Василий Борисыч.

— Дело сказал,— молвил Патап Максимыч.— А все бы маненько убавить надо...

— Никак невозможно, Патап Максимыч,— решительно сказал Василий Борисыч.

— Ну, была не была,—согласился Чапурин.—Шесть недель так шесть недель. Будь по-твоему... Только смотри же у меня, не надуй...

— Помилуйте!.. Как это возможно!..— А сам на уме: «Только б выбраться подобру-поздорову».

— Ладно, хорошо,— сказал Патап Максимыч. И, обняв Василья Борисыча, трижды поцеловал его со щеки на щеку.

— Никитишна! — крикнул он, маленько отворив сенную дверь.

Кума-повариха вошла в горницу.

— Ставь-ка нам, кумушка, смолёну, головку холодненькую,— молвил ей повеселевший Патап Максимыч.

Кумушка скоро воротилась, неся на железном тагильском подносе бутылку шампанского с четырьмя хрустальными стаканчиками.

— С новым приказчиком! — поздравлял Чапурина удельный голова.

— С новым торгом! — подхватил кум Иван Григорьич.

И скорым делом бутылку покончили.

Василий Борисыч пил, но крепко задумался.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Обедать сели. То был последний обед сорочин.

Пол-обеда не прошло, забренчали на дворе бубенчики колокольчик стал позвякивать: то Михайле Васильичу стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему. Из-за стола прямо в тарантас, и во весь опор, как ездят только исправники, покатил он в Клюкино, чтобы с вечера на перепелов в озимях залечь. . Только свалит жар, сбирался ехать кум Иван Григорьич с Груней; а с солнечным закатом хотела отправляться и Манефа со старицами, белицами и с Васильем Борисычем. Патап Максимыч не на долгое время и Парашу в Комаров отпускал, позволял даже ей с матерями съездить в леса на богомолье и в ночь на Владимирскую[1] невидимому граду Китежу поклониться... Денька через три хотела выехать из Осиповки и Аксинья Захаровна. Ехать думала наперед к Груне, а повременя, как только Манефа из Шарпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Патапу Максимычу не сидеть дома, и он собрался в Красную Рамень на мельницы, а отголь в город.

За обедом развеселый Патап Максимыч объявил во услышанье, что к первому спасу[2] будет у него новый приказчик и что с ним он новы торговы дела на Горах заведет. И, сказав, показал на Василья Борисыча.

Молнией сверкнули черные очи Манефы... Переглянулись белицы и старицы, с недоуменьем взглянула на мужа Аксинья Захаровна, вздохнула и покорно опустила глаза... Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Патаповна, а бойкая, разудалая Фленушка, взглянув на нее, а потом на склонившегося над тарелкой Василья Борисыча, улыбнулась лукавой улыбкой... На этот раз Устинья Московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Патапа Максимыча, багрецом подернулись щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами палючими, и слезинки, что росинки, засверкали на длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто ни слова, ни звука... И любо было Патапу Максимычу, что всех огорошил вестью нежданною. Повел разговоры:

---

[1] Июля 23-го.
[2] Августа 1-го.

— По нонешним временам человеку с достатком и стыд и грех на печи сложа руки сидеть... Не по-старому жить приходится, не в кубышку деньги копить да зарывать ее в подполье либо под углом избы... Ход да простор возлюбили ноне денежки... К тому ж и господь повелел, себя помня, ближнего не забывать... Теперь, по милости божией, по околотку сотня другая людей вкруг меня кормится, и я возымел такое желание, чтобы, нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бедным людям пошло и добрая жизнь... Благословил бы только господь...

— Господь повелел богатому нищей братье именье раздать и по нем идти,— истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата.

— Ту заповедь и держу в помышленье,— молвил он.

— «Нищие всегда имате с собою», рек господь,— продолжала игуменья, обливая брата сдержанным, но строгим взглядом.— Чем их на Горах-то искать, вокруг бы себя оглянулся... Посмотрел бы, по ближности нет ли кого взыскать милостями... Недалёко ходить, найдутся люди, что постом и молитвой низведут на тебя и на весь дом твой божие благословение, умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих.

— Никак на своих чернохвостниц мекаешь? — насмешливо молвил Патап Максимыч.— Нет, матушка, шалишь-мамонишь — с жиру взбеситесь!.. Копейки не дам!

— Вольному воля! — понизив голос, ответила Манефа.— Господь призрит на нища и убога — проживем и без твоих милостей.

— Ну и живите, только других не корите,— молвил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу и удельному голове, прибавил: — Эка, подумаешь, бездонная кадка эти келейницы!.. Засыпь их кормом поверх головы, одно вопят: «Мало, еще подавай!»

— Не суесловь, безумный! — возвысила голос Манефа.— Забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?

— Много ж тебе с твоими келейницами ответов-то придется давать тогда,— усмехнулся Патап Максимыч.—

Ведь у вашей сестры, что ни слово, то вранье либо сплетня какая.

— Безумное слово, нечестивая речь!..— вспыхнула мать Манефа, но тотчас же стихла. Не слыхать ее голоса больше.

И, не внимая усердным потчеваньям Аксиньи Захаровны, не вкушала она от сладких брашен, сготовленных Никитишной. Глядя на свою матушку, и старицы с белицами воздержались от ястия и пития, хоть и было это им за великую досаду. Только Фленушка с Марьюшкой, как не их дело, кушали во славу божию... Устинья Московка не ела, рвалось и кипело у ней сердце, мутился разум. Чуя недоброе, глаз не спускала она с Василия Борисыча и зорко стерегла, не взглянет ли он на хозяйскую дочь... Но он сидел, ровно к смерти приговоренный... Молчит, потупя очи, и тоже ни единой яствы не касается... Собравшись с духом, спросила у мужа Аксинья Захаровна, что за дела вздумал он на Горах заводить. Не ответил Патап Максимыч. Не взглянул даже на сожительницу.

Проводили удельного голову, проводили и Груню с Иваном Григорьичем. Манефа спешно в путь снаряжается. Узелкам, коробкам, укладочкам да сундучкам у келейниц ни конца, ни счета: у каждой старицы, у каждой белицы свой дорожный обиход. Опричь перин да подушек, надо весь скарб собрать и в повозки покласть... А тут подоспели Парашины сборы. В один чемодан всего не убрать, другой прихватили... Одного платья что брала... Платки левантиновые, две шали турецкие, лент в косу десятка два, передники всякие, рукава, сарафанов дюжины полторы: ситцевые для прохлады, шерстяные для обиходу, шелковые для наряду в часовню аль при гостях надеть... Нельзя же Параше без дорогих нарядов — не простая девица в скиты едет,— одна-единственная дочка Патапа Максимыча.

Сидя в бывшей Настиной светлице, молча глядела Манефа, как Фленушка с Устиньей Московкой укладывали пожитки ее в чемоданы. Вдруг распахнулась дверь из сеней, и вошел Патап Максимыч, одетый по-домашнему: в широкой рубахе из алого канауса, опоясанной шелковым поясом, вытканным в подарок отцу покойницей

Настей. Поглядел он на укладыванье, поглядел на Манефу, почесал слегка голову и молвил сестре:

— Ну, ты, спасена душа, подь-ка ко мне в боковушу...

И медленно вышел из светлицы.

Еще того медленней поднялась с места Манефа, не промолвив ни слова, неспешною поступью пошла она вслед за братом.

— Садись и ты... Чего стоять-то?.. Не вырастешь,— сказал вошедшей в боковушу игуменье сидевший за столом и раскладывавший по пачкам деньги Патап Максимыч.

Села напротив брата Манефа. Оба ни слова.

— Сколько здесь с тобой стариц? — спросил он.

— Уставщица мать Аркадия, да мать...— начала было Манефа.

— Счетом сказывай,— прервал Патап Максимыч.

— Три,— сказала Манефа.

— Белиц?

— Двенадцать, Фленушка тринадцатая.

— Чертова дюжина! — усмехнулся Патап Максимыч, отсчитывая деньги.— Сколько теперь у тебя в обители всего-навсего стариц и сколько белиц?

— Тридцать четыре старицы, без одной пятьдесят белиц,— отвечала Манефа.

— Сколько во всем Комарове вас живет? Огулом сказывай,— спрашивал Патап Максимыч, отсчитывая новую пачку.

— Лицевых [1] семьсот двадцать пять да двести не писанных,— отвечала Манефа.

— Беглых, попросту сказать. Что̀ мало? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Всякая с пачпортом, только что в списках не значится. У родных гостят,— молвила матушка Манефа.

— Знаем, как они у вас у родных-то гостят!..— опять усмехнулся Патап Максимыч и, отложив другую пачку, спросил сестру: — Много ль обителей по другим скитам?

— В Улангере двенадцать, в Оленеве...— начала было Манефа.

— Чохом говори,— прервал ее брат.

---

[1] То есть записанных в полицейские списки.

— Дай срок смекнуть,— молвила Манефа и, посчитав, сказала: — Пятьдесят обителей.

Патап Максимыч опять стал деньги считать. Оба молчали.

Затем, подвигая к сестре пачку за пачкой, стал говорить:

— Старицам, что здесь с тобой, по синей, белицам по зеленой, эту красну особо Фленушке дай, да без огласки, смотри... В твою обитель по зеленой на старицу, по полутора целковых на белицу. А эта красная на твоих обительских трудников... Вот тебе еще пятьсот целковых в раздачу на Комаровские обители. С лишком по полтине серебра на душу придется, раздавай как знаешь, в кою обитель больше, в кою меньше, тебе лучше знать... Это на комаровских сирот, а это на другие скиты, по десяти целковых на обитель,— продолжал Патап Максимыч.— Куда больше, куда меньше, твое дело... Да смотри, Настасью бы поминать не ленились... Припасов кой-каких завтра тебе с работником пришлю... А вот сто рублей на Прасковьины гостины. Ей не говори, что дал... А это тебе,— прибавил Патап Максимыч, придвигая пять сотенных к Манефе.

— Благодарю покорно,— молвила игуменья, встав и низко поклонившись брату.— Дай-ка мне бумажку да перышко, запишу, сколько куда назначил. Не то забуду. После болезни памятью что-то стала я хуже.

Не говоря ни слова, придвинул Чапурин к сестре бумагу, перо и чернильницу, а сам начал мерить горницу крупными шагами. Манефа медленно записывала раздачу.

Кончив запись, подняла она голову и молвила брату:

— Можно с тобой путем потолковать, Патапушка?

— Говори,— отрезал Патап Максимыч и, не взглянув на сестру, продолжал ходить взад и вперед по горнице.

— На саму на троицу недобрые вести дошли до нас,— начала Манефа.— Пишут Дрябины из Питера: беда грозит.

— Решать думают? — молвил Патап Максимыч.

— Так пишут благодетели,— подтвердила Манефа.— Шлют, слышь, из Питера самых набольших чиновников, станут-де они Оленевски обители переписы-

вать, не строены ль которы после воспрещенья. И которы найдут новыми, те тут же и порешат — запечатают...

— А найдется таких? — спросил Патап Максимыч.

— Как не найтись? — ответила Манефа.— Воспрещенью-то теперь боле тридцати годов, а как пол-Оленева выгорело — и пятнадцати не будет... Новых-то, после пожару ставленных, обителей чуть не половина... Шарпан тоже велено осмотреть, а он тоже весь новый, тоже после пожара строен. Казанску владычицу из Шарпана-то велено, слышь, отобрать... И по всем-де скитам такая же будет переборка, а которы не лицевые, тех, слышь, всех по своим местам, откуда пришли, разошлют...

— Слышал и я прò то. И мне писали... Дело не ладное... Опять же на грех под это самое время отец-от Михаил с вором Стуколовым подвернулись.

Потупила очи Манефа и торопливо опустила на них креповую наметку.

— Видно, куда ни кинь, везде клин,— продолжал Патап Максимыч, подойдя к окну и зорко приглядываясь к черневшей вдали опушке леса.— Такие строгости, каких не бывало!.. А все сами виноваты. Жили бы смирненько, никто бы вас не тронул... А то вздумали церковников к себе залучать да беспаспортных, архиерея выдумали, с чужестранными царствами сноситься зачали. Вот и попали в перекрестную, что ни дохнуть, ни глотнуть... С одной стороны — вы-то уж больно пространно жить захотели, а с другой — начальство-то ровно муха его укусила.

— Съездить бы тебе, Патапушка, к губернатору, попросить бы от него милостей...— молвила брату Манефа.

— Ничего тут губернатор не поделает,— ответил Патап Максимыч.— Был у меня с ним насчет вас разговорец. Со всяким бы, говорит, моим удовольствием, да не могу: власти, говорит, такой не имею... Известно, хоть и губернатор, а тоже под начальством живет, и его по головке не погладят, коль не сделает того, что сверху ему приказано.

— Может, потянул бы в нашу пользу, коли бы ты-то хорошенько ему покланялся,— молвила Манефа.

— Да как же ему в вашу-то пользу тянуть, когда самому за то ответ придется давать? — сказал Патап Мак-

симыч.— Когда можно было — в просьбах мне не отказывал.

— Ох, владычица, царица небесная! — вздохнула игуменья.

— И про то пытал я у губернатора,— продолжал Патап Максимыч,— нельзя ли вам как-нибудь с теми чиновниками повидеться, чтобы, знаешь, видели не видали, слышали не слыхали... И думать, говорит, про то нечего, не такие люди.

— Полно, Патапушка, все одного кустика ветки, всех одним дождичком мочит, одним солнышком греет,— сказала Манефа.— Может, и с ними льзя по-доброму да по-хорошему сладиться. Я бы, кажись, в одной свитке осталась, со всех бы икон ризы сняла, только бы на старом месте дали век свой дожить... Другие матери тоже ничего бы не пожалели!.. Опять же и благодетели нашлись бы, они б не оставили...

— Пустое городишь,— прервал ее Чапурин.— Не исправник в гости сбирается, не становой станет кельи твои осматривать. То вспомни: куда эти питерские чиновники ни приезжали, везде после них часовни и скиты зорили.. Иргиз возьми, Лаврентьев монастырь, Стародубские слободы... Тут как ни верти, а дошел, видно, черед и до здешних местов... Что̀ же ты, как распорядилась на всякий случай?

— Да я казначею мать Таифу на другой же день в Москву и в Питер послала,— отвечала Манефа.— Дрябину Никите Васильичу писала с ней, чтобы Громовы всеми мерами постарались отвести бурю, покланялись бы хорошенько высшим властям; Громовы ко всем вельможам ведь вхожи, с министрами хлеб-соль водят.

— Ничего тут и Громовы не поделают. Не такое время,— молвил Патап Максимыч.

— Ох, уж и Никита-то Васильич твои же речи мне отписывает,— горько вздохнула Манефа.— И он пишет, что много старания Громовы прилагали, два раза обедами самых набольших генералов кормили, праздник особенный на даче им делали, а ни в чем успеха не получили. Все, говорят, для вас рады сделать, а насчет этого дела и не просите, такой, дескать, строгий о староверах указ вышел, что теперь никакой министр не посмеет ни самой малой ослабы попустить...

— Вот видишь,— молвил Патап Максимыч.— Незачем было тебе и Таифу гонять. В Москву-то что с ней наказывала?

— А послала я с ней в Москву главную нашу святыню: пять икон древних, три креста с мощами, десятка четыре книг, которы поредкостней.

— Чем такую даль ехать, ко мне бы могла свезти, и у меня б сохранны были,— сказал Патап Максимыч.

— Думала я про то, Патапушка, думала, родной. Чего бы ближе, как не к тебе, да вот чего, признаться, поустрашилась. Как пойдут, думаю, у нас переборы да обыски, хоть и узнают, что святыня в Москву отправлена, все-таки ее не досягнут — Москва-то велика, а кому отдана святыня, знаем только я да матушка Таифа, да вот тебе еще на смертный случай поведаю: Гусевым. А чтоб к тебе свезти, того поопàсилась: люди узнают, совсем ведь скрыть этого невозможно; ну, как, думаю, грехом, питерские-то чиновники от какой-нибудь болтуньи про то сведают, так, чего доброго, пожалуй, и к тебе нагрянут с обыском... Сам посуди...

— Что дело, то дело. Распорядки твои хороши,— молвил Патап Максимыч.— А насчет себя как располагаешь, коли разгонят вас?

Манефа не отвечала.

— Хоть мы с тобой век бранимся, а угол тебе у брата всегда готов,— сказал Патап Максимыч.— Бери заднюю, и моленная в твоей, значит, будет власти, поколь особого дома на задах тебе не поставлю. Егозу свою привози, Фленушку-то... Еще кого знаешь, человек с пяток прихвати. Авось сыты будете.

— Много благодарна за твои милости, Патапушка,— ответила Манефа.— Только уж я, не поставь во гнев, нà этот счет маленько не так распорядилась. В Иргизе и по другим местам, где начальство обители разоряло, всех тамо живших рассылали по тем местам, где по ревизии они приписаны и из тех мест всем им выезд на всю останную жизнь был заказан. Как было там, так, надо полагать, и у нас будет. А ведь и я, и Фленушка, и другие кой-кто из обители к нашему городку приписаны. Ходу, значит, нам из него дò смерти не будет... Потому и приискала я в городý местечко дворовое и располагаю там строиться... Кожевниковых дом, чать, знаешь, крайний

к соляным амбарам, его покупаю, да по соседству еще четыре местечка желательно прикупить: на имя Фленушки одно, на имя матери Таифы другое, третье Виринеюшке, а четвертое матери Аркадии.

— Значит, ты в городу́ новый скит расплодишь? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Ну, уж ты, батька, и скит!.. Чего не скажет! — тоже улыбнувшись, молвила Манефа.— Сиротское дело, Патапушка, по-сиротски и будем жить... А ты уж на-ка поди: скит!

— Ну, заводись, заводись, стройся,— сказал Патап Максимыч.— Дозволят, чай, скитско-то строенье в город свезти?

— По другим местам дозволяли,— ответила Манефа.

— Стало быть, только место купить да плотникам за работу?

— Только,— подтвердила Манефа.

— Что за места-то просят? — спросил Патап Максимыч.

— Да за все-то за пять местов больше тысячи целковых.

— Счетом сказывай.

— Да тысячу двести,— сказала Манефа.

— Получай,— вот тебе тысяча двести,— сказал Патап Максимыч, подвигая к сестре деньги.— За Настю только хорошенько молитесь... Это вам от нее, голубушки... Молитесь же!.. Да скорей покупай; места-те, знаю их, хорошие места, земли довольно. А строиться зачнешь — молви. Плотникам я же, ради Настасьи, заплачу... Только старый уговор не забудь: ни единому человеку не смей говорить, что деньги от меня получаешь.

— Помню, родной, помню...— молвила Манефа, пряча деньги в карман.

— Ну, теперь делу шаба̀ш, ступай укладывайся,— сказал Патап Максимыч.— Да смотри у меня за Прасковьей-то в оба, больно-то баловаться ей не давай. Девка тихоня, спать бы ей только, да на то полагаться нельзя — девичий разум, что храмина непокровенна, со всякой стороны ветру место найдется... Девка молодая, кровь-то играет — от греха, значит, на вершок, потому за ней и гляди... В лесах на богомолье пущай побывает,

пущай и в Китеж съездит, только чтоб, опричь стариц, никого с ней не было, из молодцов то есть.

— Василий Борисыч со старицами в леса да на Китеж располагал съездить,— молвила Манефа.

— Этот ничего...— сказал Патап Максимыч.— Василий Борисыч человек иной стати. Его опасаться нечего. Чтобы московских скосырей да казанских хахалей тут не было — вот про что говорю. Они к тебе больно часто наезжают....

— Благодетели...— молвила Манефа.

— То-то благодетели!.. Чтобы духу их не было, пока Прасковья у тебя гостит,— строго сказал Патап Максимыч.

— Будь спокоен, Патапушка, будь спокоен, ухраню, уберегу,— уверяла его Манефа.— Да вот еще что хотела я у тебя спросить... Не прими только за обиду слово мое, а по моему рассуждению, грех бы тебе от господней-то церкви людей отбивать.

— Это кого? — спросил Патап Максимыч.

— Да хоть бы того же Василья Борисыча. Служит он всему нашему обществу со многим усердием; где какое дело случится, все он да он, всегда его да его куда надо посылают. Сама матушка Пульхерия пишет, что нет у них другого человека ни из старых, ни из молодых... А ты его сманиваешь... Грех чинить обиду Христовой церкви, Патапушка!.. Знаешь ли, к кому церковный-от насильник причитается?..

— К кому? — слегка улыбнувшись, спросил Патап Максимыч.

— А вот к кому — слушай,— молвила Манефа и медленно, немного нараспев прочитала: — «Аще кто хитростию преобидети восхощет церкви божии: аще грады, или села, или лугове, или озера, или торжища, или одрины, или люди купленные в домы церковные, или виноград, или садове, и вся какова суть от церковных притяжаний...»

Манефа приостановилась.

— Что стала? Дочитывай,— молвил Патап Максимыч. Не впервой доходилось ему слушать читаемые сестрой статьи из устава или Стоглава.

— «...первее: еже святыя троицы милости, егда предстанем страшному судищу, да не узрит,— продолжала

Манефа, смотря в упор на Патапа Максимыча,— второе же: да отпадет таковой христианския части, яко же Иуда от дванадесятого числа апостол; к сему же и клятву да приимет святых и богоносных отец».

— Значит, по твоему, Василий-от Борисыч — купленный раб? — с усмешкой молвил Патап Максимыч.— Кто ж его покупал?

— У тебя, Патапушка, все смехи да шутки. Без издевок ты ни на час... Ты ему дело, а он шутки да баламутки,— сказала Манефа.

— А ты спасёна душа, не отлынивай, держи ответ на то, про что спрашивают. Это ведь ты из Стоглава мне вычитала, знаем и мы тоже маненько книжно-то писанье... Там про купленных людей говорится... Сказывай же про ря́ду: кто купил Василья Борисыча, у кого и какая цена за него была дадена? — продолжал шутить Патап Максимыч.

— В Стоглаве не про одних купленных в церковны домы людей говорится... Тамо сказано: «...и вся какова суть от церковных притяжаний»,— сдержанно, но с досадой молвила Манефа.

— Притяжание-то что означает? — спросил Патап Максимыч.— То же, что стяжание, имущество, значит... Так разве он не человек, по-твоему, а имущество, вот как этот стол, аль эта рубаха, аль кони да коровы, не то деньги?.. Крещеный человек может разве притяжанием быть?.. Не дело толкуешь, спàсенница.

— С тобой, батька, не сговоришь. У тебя уж нрав такой,— молвила Манефа.— А что, отбивая Василья Борисыча от церкви, чинишь ей обиду — в том сумленья не имей. Дашь ответ пред господом!.. Увидишь!..

— Ладно, хорошо. Это уж мое дело,— сказал Патап Максимыч.— Авось отмолимся, вас же найму грехи-то замаливать.

— Суеслов! — недовольным голосом сказала Манефа, вставая со стула.— Я уж пойду, надо собираться, ехать пора. Благодарим покорно,— примолвила она, низко поклонясь брату, и с этим словом тихо вышла из боковуши.

Оставшись один, долго взад и вперед ходил Патап Максимыч. «Ишь какое слово молвила,— думал он.— Церковное притяжание!.. Чего только эти келейницы не

вздумают!.. Человека к скоту аль к вещи какой бездушной применила!.. А губа не дура — понимает, каков он есть человек... Дорожит... Жаль отпустить... На Москве-то как взбесятся!.. То-то начитают мне!.. И в самом деле, пожалуй, к церковным татям причтут!.. Да ну их совсем!.. Не детей крестить... Что мне Москва?.. Плевать!.. А с Васильем таких делов наделаем, что всем за удивленье станет!.. На Горах новы промысла разведем, божьему народу хлеб-соль дадим!.. Дòвеку не забудут Патапа Чапурина!.. Какие же бы промыслà-то завести?.. Приглядеться надо, говорит, что будет сподручнее... Ну, да это его дело... Выдумывай!.. А умен, пес на него лай!.. Вот сынок-от будет так уж сынок!.. Не Алешке чета... А что-то он, сердечный?..»

* * *

Жар свалил. По вечерней прохладе двинулись келейные гости из Осиповки. В восьми повозках ехали. В каждой по две, в иной и по три келейницы сидело: всех впереди мать Манефа с Васильем Борисычем, за ними Параша с Фленушкой, потом Марьюшка, головщица с уставщицей Аркадией, потом другие матери и белицы, сзади всех мать Лариса с Устиньей. Неразговорчива была с девицами и к тому же сонлива мать Лариса, а Устинья молчала со злости и досады на то, что едет в скит Прасковья Патаповна, что поедет она на богомолье с Васильем Борисычем и что мать Манефа, пожалуй, с ними ее не отпустит.

Зато в двух передних повозках разговоры велись несмолкаемые. Фленушка всю дорогу тараторила, и все больше про Василья Борисыча. Любила поспать Прасковья Патаповна, но теперь всю дорогу глаз не свела — любы показались ей Фленушкины разговоры. И много житейского тут узнала она, много такого, чего прежде и во сне ей не грезилось.

Мать Манефа всю дорогу с Васильем Борисычем пробеседовала. Говорили больше про намеренье Патапа Максимыча взять его к себе в приказчики.

— Что ж, Василий Борисыч? Неужто и в самом деле покинешь ты дело божие? — спрашивала его Манефа.

— И сам еще не знаю, матушка,— ответил Василий

Борисыч.— Силóм вырвал он из меня слово... Допрежь того никогда и в ум мне не прихаживало, чтоб торговым делом займоваться... Так пристал, так пристал, что сам не знаю, как согласье дал... Ровно в тумане в ту пору я был.

— Он хоть кого отуманит. Его на то взять,— молвила Манефа — Любого заговорит, и не хочешь, согласье дашь. Такой уж человек, господь с ним... Какие ж твои мысли насчет этого, Василий Борисыч? — поправляясь на пуховике, сказала Манефа.

— Не могу еще теперь ничего сказать,— ответил Василий Борисыч.— Шесть недель — время... Успею обдумать.

— Конечно, шесть недель достаточно,— сказала Манефа.— А по теперешним-то твоим мыслям куда больше склоняешься?

— Не знаю, как вам доложить, матушка,— уклончиво отозвался Василий Борисыч.— И Патапа-то Максимыча оскорбить не желательно, потому что человек он добрый, хоть и востёр на язык бывает, да и московских не хочется в досаду ввести — Петра Спиридоныча, Гусевых, Мартыновых... А уж от матушки Пульхерии что достанется, так и вздумать нельзя!..

— Ты людей поминаешь, о боге-то хоть маленько подумай,— сказала Манефа.— Перед богом-то право ли поступишь, ежели церковны дела покинешь?.. Вот о чем вспомяни: о душевном своем спасении, а Гусевы да Мартыновы что̀?.. Сила не в них.

— Очень уж вы меня возвышаете, матушка, паче меры о моих кой-каких церковных послугах заключаете,— после недолгого молчания ответил Василий Борисыч.— На̀ эти дела много людей смышленей да поумней меня найдется.

— Этого не говори. Нам виднее.— сказала Манефа.— За смиренные речи хвалю, а все-таки помяну, что уничижение бывает паче гордости.

— Ох, искушение! — всклúкнул Василий Борисыч.

— Вот хоть теперешнюю твою пору́ченность взять. Наперед говорить не стану — принимать нового владыку аль не принимать — в Петров день на собранье соборный ответ дадим тебе... А теперь вот о чем хочу я спросить у тебя, Василий Борисыч, назови ты мне хоть еди-

ного человека, который бы лучше тебя мог это дело устроить? Кто лучше тебя может церковный мир водворить, смятения, несогласия утишить, всякого на истинный путь направить? Наперечет знаю всех рогожских уставщиков и других книжных людей тоже знаю. По именам называть не стану, осуждать не годится, а прямо тебе скажу, что вряд ли можно кому такое дело препоручить. Иной книжен и начитан, да слабостью одержим — испивает. Другой разумен и дело церковное, пожалуй, не хуже твоего сумеет обделать, да утроба несытая, за хорошие деньги не токмо церковь, самого Христа продаст... У иного ветер в голове,— ради женской красоты и себя и дело забудет... А иной нравом не годится: либо высокоумен и спесив не в меру, либо крут и на язык невоздержан... Правду аль нет говорю, Василий Борисыч?

— Ох, искушение! — молвил он.— Не смущайте вы меня, матушка... Неужто и в самом деле свет клином сошелся, неужто во всех обществах только и есть один я пригодный человек? Найдется, матушка, много лучше меня.

— Да где они, где? — с жаром возразила Манефа.— Укажи, назови хоть одного. Нынче, друг мой Василий Борисыч, ревностных-то по бозе людей мало — шатость по народу пошла... Не богу, мамоне всяк больше служит, не о душе, о кармане больше радеют... Воистину, как древле Израиль в Синайской пустыне — «Сотвориша тельца из злата литого и рекоша: сей есть бог».

Не отвечал Василий Борисыч на Манефины речи. А она, помолчав, продолжала:

— И что ты станешь делать у Патапа? Промысла̀ на Горах, говорит он, хочу разводить... А какие промысла̀ — сам не знает. Нравом-то он у нас больно упрям, заберет что в голову, дубиной не вышибешь. И что ему больше перечить, то хуже. Вот так и теперь... Вздумал что-то несодеянное да, не обсудивши дела, ну людей смущать, от божьего дела их отвлекать... Я, Василий Борисыч, от мира хоша и отреклась, но близких по плоти, грешница, не забываю. Потому, о пользах брата радеючи, всякого успеха ему желаю и завсегда о том бога молю... А ежели он ради житейских стяжаний вздумал теперь нужных церкви людей к себе переманивать, тут я ему не споспешница и не молитвенница... Потому и сове-

тую тебе и богом тебя прошу: не прельщайся ты его словами, не ломай совести — пребудь верен делу, тебе данному, не променяй церкви божией на Патапа... О душе подумай, Василий Борисыч, о вечном спасении.

— Все это, матушка, я очень хорошо и сам могу понимать,— сказал Василий Борисыч.— Чего лучше того, как господу служить? Но ведь я, матушка, высоко о себе не полагаю и никак не могу вменить в правду ваших обо мне слов, будто я церкви уж так надобен, что без меня и обойтись нельзя... Это вы только по своей доброте говорите... А Патапа Максимыча оскорбить мне тоже нежелательно, хоть и он обо мне тоже уж больно высоко задумал, чего я и не стою... А по душе признаться, откровенно вам доложить, матушка, и боязно мне огорчать-то его... Не оставит он втуне, если поперек его воли пойдешь, а я человек маленький, к тому же несмелый, меня обидеть не то что Патап Максимыч, всякий может.

— Нечего тебе бояться,— возразила Манефа.— Сегодня здесь, завтра уехал. Где он тебя возьмет?

— Э, матушка! — молвил Василий Борисыч.— У Патапа Максимыча рука долга̀, на дне моря достанет.

— Да ведь ты не беззаступен! — сказала Манефа.— Гусевы, Мартыновы, Досужевы в обиду не дадут.

— Не дадут! — горько улыбнувшись, молвил Василий Борисыч.— Мало вы знаете их, матушка, московских-то наших тузов!.. Как мы с Жигаревым из Белой-то Криницы приехали, что они тогда?.. Какую засту́пу оказали?.. Век того не забуду...

— А что такое? — спросила Манефа.

— Да вот что,— начал свой рассказ Василий Борисыч.— В самое то время, как мы ездили за границу, проживал в Москве Белокриницкого монастыря настоятель — отец архимандрит Геронтий. За сбором в Россию был послан, деньги на построенье соборного храма, утварь всякую церковную, облаченья, иконы древние собирал от христолюбцев для митрополии... Проведали о нем, и велено было взять его, как только из Москвы со всем своим сбором выедет... А мы едем себе обратно, ничего не ведаем и совершенно спокойны... В Туле узнали, что Геронтий под караулом, а по Москве строгие розыски идут насчет переписки с митрополией... Слышим, ста-

рообрядцы все в тревоге... Мы, конечно, испугались, думали не ехать в Москву, а наперед написать да спроситься, что делать... Послали письмо, ответу не дождались, а на словах посланный от тех, что нас посылали, сказал: «Делайте, что хотите,— мы вас никуда не посылали, знать вас не знаем, ведать не ведаем». Вот оно каково, матушка!.. Подумали мы, подумали — что делать, что предпринять?.. И положились во всем на божию волю: что будет, то и будь,— поехали. А подъезжая, в сторону взяли на Кожухово и, не заехавши в Москву, прямо на Рогожское. Сдали миро и другую святыню, что привезли, да в город. К тому придем, к другому, кто нас посылал-то, а они сторонятся, ровно чуму мы с собой завезли. «Нашли, говорят, время, когда воротиться! До вас ли теперь. Не смейте, говорят, и к домам нашим близко подходить, мы вас никогда не знали и никуда не посылали!» Так вот они каковы, заступники-то!.. Вот какова надежда на них, матушка!..

Негодованье разлилось по лицу Манефы. Молчала она. Нечего было сказать на слова Василья Борисыча. Он продолжал:

— Когда мирно да тихо, когда от правительства ослàба — высоко тогда они мостятся, рукой не достать, глазом не вскинуть: «Мы-ста да мы-ста!.. Мы обчество!.. Первостатейные!..» А чуть понахмурилось — совсем иные станут: подберут брызжи, подожмут хвосты и глядят, что волк на псарне... и тогда у них только о самих себе забота — их бы только чем не тронули, о другом и заботы нет; все тони, все гори,— пальцем не двинут... Эх, матушка, мало вы их знаете!.. Петр апостол трижды от Христа отрекся, а наши-то столпы, наши-то адаманты благочестия раз по тридцати на дню от веры во время невзгод отрекаются... Да и не токмо во время невзгод, завсегда то же делают... Знакомство с господами имеют, жизнь проводят по-ихнему. Спросят господа: «Зачем-де вы, люди разумные, в старой своей вере пребываете?» Отречься нельзя; всяк знает, чего держатся, что ж они делают?.. Смеются над древлим-то благочестием, глупостью да бабьими враками его обзывают. «Мы-де потому старой веры держимся, что это нашим торговым делам полезно...» А другой и то молвит: «Давно бы-де оставил я эти глупости, да нельзя, покаместь старики живы —

дяди там какие али тетки. Наследства-де могут лишить...» Вот как они поговаривают... А ведь это, матушка, сторицею хуже, чем Петровски Христа отречься страха ради иудейска...

— Неужто вправду ты говоришь, Василий Борисыч? — взволнованным голосом спросила Манефа.

— Как перед богом, матушка,— ответил он.— Что мне? Из-за чего мне клепать на них?.. Мне бы хвалить да защищать их надо; так и делаю везде, а с вами, матушка, я по всей откровенности — душа моя перед вами, как перед богом, раскрыта. Потому вижу я в вас великую по вере ревность и многие добродетели... Мало теперь, матушка, людей, с кем бы и потужить-то было об этом, с кем бы и поскорбеть о падении благочестия... Вы уж простите меня Христа ради, что я разговорами своими, кажись, вас припечалил.

— О господи долготерпеливый и многомилостивый! — вздохнула Манефа.

— Вы думаете, матушка, что, устроя церковные эти дела, вот хоть насчет архиерейства, что ли, или насчет другого чего, из ревности по вере они так поступают? — продолжал Василий Борисыч.— Нисколько, матушка, о том они не думают... Большие деньги изводят, много на себя хлопот принимают из одного только славолюбия, из-за одной суетной тщетной славы. Чтобы, значит, перед людьми повыситься... Не вера им дорога, а хвала и почести. Из-за них только и ревнуют... Ваше же слово молвлю: мамоне служат, златому тельцу поклоняются... Про них и в писании сказано: «Бог их — чрево».

Скорбные думы о падении благочестия в тех людях, которых жившая в лесах Манефа считала незыблемыми столпами старой веры и крепкими адамантами, до глубины всколебали ее душу... Не говорила она больше ничего Василью Борисычу насчет поступленья его в приказчики к Патапу Максимычу. Ни отговаривала, ни уговаривала. Замолчала она; не заговаривал и Василий Борисыч... Молча доехали в самую полночь до Комарова.

«И что это, что это с нами будет? — думала Манефа, выйдя из повозки и взглянув на черневшую в ночном сумраке часовню.— Извне беды, бури и напасти; внутри нестроение, раздоры и крайнее падение веры!.. О госпо-

ди!.. Ты единая надежда в печалях и озлоблениях... устрой вся во славу имени своего, устрой, господи, не человеческим мудрованием, но ими же веси путями».

Потом, прощаясь с Васильем Борисычем у входа в свою келью, тихонько шепнула ему:

— Ты, Василий Борисыч, никому не говори, про что мы с тобой беседовали... Зачем смущать?

— Вполне понимаю, матушка,— отвечал он также шепотом.— Как можно? Слава богу, не маленький.

— То-то, смотри поостерегись,— молвила Манефа и, пожелав гостю спокойного сна, низко ему поклонилась и отправилась в келью...

Было уж поздно, не пожелала игуменья говорить ни с кем из встретивших ее стариц. Всех отослала до у́тра. Хотела ей что-то сказать мать Виринея, но Манефа махнула рукой, примолвив: «После, после». И Виринея покорно пошла в келарню.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Марья Гавриловна воротилась с Настиных похорон, Таня узнать не могла «своей сударыни». Такая стала она мрачная, такая молчаливая.

Передрогло сердце у Тани. «Что за печаль,— она думает,— откуда горе взялось?.. Не по Насте же сокрушаться да тоской убиваться... Иное что запало ей на̀ душу».

Две недели прошло... Грустная, ко всему безучастная Марья Гавриловна вдруг оживилась, захлопотала, и что ни день, то делалась суетливее. За то дело хватится, за другое примется,— ни того, ни другого не доделает. То битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться зачнет, либо без всякой видимой причины порывистыми рыданьями зарыдает. Путного слова не может Таня добиться — попусту гоняет ее Марья Гавриловна туда и сюда, приказывает с нетерпеньем, отсылает с досадой... Спросит о чем ее Таня — промолчит, ровно не слыхала, либо даст ответ невпопад. По ночам вздыхает, тоскует; станет поу́тру Таня постель оп-

равлять, думка [1] хоть выжми — мокрехонька вся. И каждый день хуже да хуже — тает Марья Гавриловна, ровно свеча на огне.

«Лихие люди изурочили [2],— думает Таня, не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные речи Марьи Гавриловны.— Либо прӣтку [3] пó ветру на нее пустили, либо след ее из земли вынули». Как тому горю пособить, кому сурóчить [4] с «сударыни» злую бòлесть лиходеями напущённую?

Слыхала Таня, что по соседству с Каменным Вражком в деревне Елфимове живет знахарка — тетка Егориха и что пользует она от урòчных [5] скорбей, от призора очес [6] и от всяких иных, злою ворожбой напускаемых на людей, недугов. Заговор ли отчинӣть, порчу ли снять, кумоху [7] ль отогнать, при резах, порубах кровь остановить, другое ль знахарство какое понадобится — все деревенские тетке Егорихе кýчатся и завсегда от нее пользу видят... Но в честны́х обителях скита Комаровского знахарку не жаловали. Матери келейницы распускали про Егориху славу нехорошую — она-де с нечистой силой знается, решилась-де креста и молитвы и душу свою самому сатане предала. От кòбей и волхвований Егорихи честны́е старицы святыми молитвами скит ограждали, а белицам строго-нàстрого наказывали не то что говорить с нею, не глядеть даже на кудесницу, угрожая за ослушание пóмстою [8] от господа... При каждом упоминаньи имени знахарки, крестясь и на левую сторону отплевываясь, старицы одна речистей другой чудны́е дела про нее рассказывали... Говорили, что водится Егориха и с лесною, и с водяною, и с полевою нечистью, знается со всею силой преисподнею, черным вороном летает под òблаки, щукой-рыбою в водах плавает, серой волчицей

---

[1] Думка — маленькая подушка, подкладываемая пóд щеку.

[2] Изурóчить — колдовством навести на человека болезнь, испортить.

[3] Прӣтка — посредством порчи напущенная болезнь с обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками.

[4] Сурочить — знахарскими заговорами снять напущенную на человека болезнь.

[5] Урок — порча.

[6] Призор очес, сглаз — порча, происходящая от взгляда недобрым глазом.

[7] Кумоха — лихорадка.

[8] Пòмста — наказание, мщение.

по полям рыскает... От нее, еретицы, улетают птицы в высь поднебесную, от нее уходит рыба в я́ры-омуты, от нее звери бегут в трущобы непроходные... Раз, сидя в келарне на посидках у матери Виринеи, уставщица Аркадия при Тане рассказывала, что сама она своими глазами видела, как к Егорихе летун [1] прилетал... «Осенью было дело,— говорила она,— только что кочета̀ по̀лночь опели [2], засидевшись у Глафириных, шла я до своей обители и в небе летуна заприметила. Красён, что каленый уголь, не меньше доброго гуся величиной; тихо колыхаясь, плыл он по воздусям и над самой трубой Егорихиной кельи рассы́пался кровяными мелкими искрами...» Кривая мать Измарагда, из обители Глафириных, однажды зашедшая со своими белицами к Манефиным на беседу, с клятвой уверяла, что раз подстерегла Егориху, как она в горшке ненастье стряпала... «Сидя на берегу речки у самого мельничного омута,— рассказывала Измарагда,— колдунья в воду пустые горшки грузи́ла; оттого сряду пять недель дожди лили неуёмные, сиверки дули холодные и в тот год весь хлеб пропал — не воротили на семена...» А еще однажды при Тане же приходила в келарню из обители Рассохиных вечно растрепанная, вечно дрожащая, с камилавкой на боку, мать Меропея... Та клялась всеми угодниками, что видела, как ранним утром в день благовещенья черти Егориху, ровно шубу в Петровки, проветривали: подняли ведьму на возду́си и долгое время держали вниз головою, срам даже смотреть было. Хоть мать Меропея паче меры любила слезу иерусалимскую [3], однако и черницы и белицы поверили ее россказням... И мало ль чего не судачили по скитам про елфимовскую знахарку... И молоко-то она из чужих коров выдаивает, и спорынью-то из хлеба выкатывает, и грозы-то и бури нагоняет, и град-от и мо́лость [4] напускает, и на людей-то порчу посылает... «Правда, иной раз и снимает она болести,— прибавляли матери,—

---

[1] Летучий воздушный дух, огненный змей.

[2] Кочет — петух. Первые кочета «полночь опевают», вторые (перед зарей) «чертей разгоняют», третьи (на заре) «солнышко на небо зовут».

[3] В скитах и вообще в Керженских и Чернораменских лесах иерусалимской слезой в шутку называют водку.

[4] Мо̀лостьем за Волгой зовут ненастье, слякоть, мокрую и ветреную погоду.

но тут же на иных людей переводит... А на кого озлобится, оборотит того в зверя либо в птицу какую... Егориха молода овдовела и в прежни годы с пареньком любилась. Жил он у язвицких ямщиков в работниках, а сам был дальний, с Гор, из-за Кудьмы. Подарила ему Егориха конька да кобылку, и стал паренек от себя хозяйствовать, на своих лошадках ямскую гоньбу гонять... И гонял он на тех лошадушках три года с тремя месяцами... Что же вышло? Ездил парень на родном батюшке да на родной матушке... Озлобилась за что-то Егориха на родителей своего полюбовника да в лошадей их на три года с тремя месяцами и оборотила...» «Что стоит такой ведьме над человеком пагубу стрясти,— толковали келейницы,— коли месяц с неба красть умеет, а солнышко крутогим месяцем ставить».

Не то про Егориху по селам и деревням говорили. Там добрая слава ходила про нее, там ее любили и честили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала травами и кореньями, снимала порчу заговорами и все с крестом да молитвою. Опять же за то любили ее, что была она некорыстная — за лечбу ли, за другое ли что подарят ее, возьмет с благодарностью, а сама ни за что на свете не попросит. Знали про нее и то, что много тайной милостыни раздает она, много творит добра потаенного... Слушая, что толкуют скитские матери про добрую знахарку, не в шутку по деревням на них сердитовали. «Поглядели б они, пустобайки чернохвостые,— говорили мужики деревенские,— поглядели б, как наши ребятишки любят Егориху, а в младенце душа ангельская, к бесовской нечисти разве можно ей льнуть?»

Родом будучи дальняя, живучи безысходно в обители, не слыхала Таня, какие речи в миру ведутся про Егориху, а страшных рассказов от обительских стариц вдоволь наслушалась. Келья елфимовской знахарки представлялась ей бесовским вертепом, исполненным всяких страхов и злых чарований, а сама знахарка горбатою, безобразною старухой с кошачьими глазами, свиными клыками и совиным носом. То думалось Тане — сидит Егориха на змеиной коже, варит в кипучем котле разных гадов, машет над ними чародейной ширинкой и кличет на помощь бесов преисподней... То представлялось ей, как Егориха верхом на помеле быстрей стрелы

несется по воздуху, как в глухую полночь копает на кладбище могилы, а оттуда в лес бежит и там, ровно кур да гусей,— змей подколодных на кормежку скликает... Каких страхов про знахарку на обительских беседах Таня не наслушалась!.. Каких чудес не насказали ей болтливые келейницы!..

Думает Таня: «Кроме тетки Егорихи, таких людей, кто б умел прйтку суро́чить, поблизости нет... Как же быть?.. Молвить Марье Гавриловне, позвала бы к себе знахарку?.. Не захочет с ведьмой хороводиться [1]. Да и то взять — приведешь ее сюда, после, пожалуй, с не́чистью не развяжешься... Ну, как приманишь к себе бесовскую силу?.. Ну, как летун прилетит да рассыплется по нашим горницам огненными искрами?.. Ну, как по ночам вкруг домика демоны зачнут на сходку сбираться да треклятые свои мечтания [2] заведут: го̀лки и клики, бесстудные скаканья, неистовые свисты, и топоты но̀жные, и вой, и гудение, и мерзкое в долони плескание?.. Обороны, господи, и помилуй от такой напасти!.. Читают же канонницы за тра̀пезой, что самим угодникам божиим такие напасти от не́чисти бывали, как же нам-то, грешным, от нее устоять?.. Опять же тетке Егорихе в обитель и ходу нет: увидят матери, кочергами да ухватами из скита ее вытурят... Разве самой тихими стопами, по тайности, сходить в Елфимово да попросить тетку Егориху порчу заглазно снять, да страшно и подумать к ней в келью войти... И подступить близко к ведьмину жилью страшно — неравно наступишь на какую-нибудь нашептанную щепку, либо перешагнешь через заговоренную ямку, не то сухой листочек либо соломинку ветром свеет с колдуньиной кровли — как раз злая прйтка накатит на тебя».

От одной мысли идти к Егорихе Тане всю спину мурашками осыпа̀ло.

А Марье Гавриловне с каждым днем хуже да хуже. От еды, от питья ее отвадило, от сна отбило, а думка каждую ночь мокрехонька... Беззаветная, горячая любовь к своей «сударыне» не дает Тане покою ни днем, ни

---

[1] Хороводиться — знаться, водиться с кем.

[2] Мечтание, мечта — в народном языке употребляется лишь в смысле привидения, призрака, обмана чувств сверхъестественною силою.

ночью. «Перемогу страхи-ужасы,— подумала она,— на себя грех сойму, на свою голову сворочу силу демонскую, а не дам хилеть да болеть моей милой сударыне. Пойду в Елфимово — что будет, то и будь».

Раз до вторых кочетòв не спала Марья Гавриловна, ночь ноченскую провздыхала да проплакала... До зари не смыкала глаз Таня, сидя на корточках ý двери спальной горницы и прислушиваясь ко вздохам и рыданьям дорогòй своей «сударыни». Растопилось сердце преданной девушки жалостью, и только что забылась дремотой Марья Гавриловна, поспешно надела она нà босу ногу выступки [1], вздела на плечи стеганый капотец, повязала голову шерстяной косыночкой и, не переводя духа, бегом побежала в Елфимово.

Манефина обитель на краю Комарова стоит, до Елфимова от нее версты не будет. Скорехонько долетела резвоногая Таня, благо обитель спала еще и никто ее не приметил. Все обошлось ладно, да вот какая беда приключилась: Елфимово деревушка хоть и маленькая, двенадцати дворов в ней не наберется, да не вестно было Тане доподлинно, в коем дворе искать знахарку, под коим окном стукнуться к тетке Егорихе... А на улице ни души — рань глубокая, еще нè звали кочетá на небо солнышка, не чирикали воробьи подзастрешные [2], не мычали под навесами коровушки, а псы сторожкóвые, зà ночь дóсыта налаявшись, свернулись в клубки и спали на заре под крыльцами... Кого спросить, кому покучиться?.. «Экая я глупая, экая неразумная,— бранит себя Таня, в раздумьи стоя на елфимовской улице,— не спознала наперед, в коем доме искать ее!..»

Тут завидела Таня, что идет к ней навстречу с другого конца деревни высокая, статная женщина, далекó еще не старая в темно-синем крашенинном сарафане с оловянными пуговками, в ситцевых рукавах, с пестрым бумажным платом на голове и с личным пестером [3] за плечами. Бодрым ходом подвигается она к Тане. Поровняв-

[1] Выступки — род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками.

[2] Застреха — желоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы теса или драни. На застрехах по деревням обыкновенно воробьи живут, отчего и называются подзастрешными.

[3] Пестер, иначе пещур — заплечная котомка из лыка, иногда прутьев.

шись, окинула девушку пытливым, но добрым и ласковым взором и с приветной улыбкой ей молвила:

— Путь тебе чистый, красавица!

Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнаемой женщины.

— Отколь будешь, девица? — спросила ее та женщина.

— Из Комарова, тетушка,— робко ответила Таня, доверчиво глядя в добрые голубые глаза приветливой незнакомки.

— Что раненько таково?.. Куда идешь-пробираешься? Дело пытаешь аль от дела лытаешь? — спросила она.

— По своему делу,— ответила Таня.

— Девица, вижу, ты хорошая,— молвила та женщина, глядя с любовью на Таню.— Не тебе б по зарям ходить, молоды ребята здесь бессовестные, старые люди обидливые — как раз того наплетут на девичью голову, что после не открестишься, не отмолишься.

— Знахарка у вас на деревне живет,— стыдливо краснея, молвила Таня.— Я было к ней...

— К тетке Егорихе? — улыбнулась встречная женщина.

— Да...— молвила Таня, опуская очи наземь.

— Какое же дело твое, девонька?.. Ведь я сама и есть знахарка Егориха.

Слова не может вымолвить Таня... Так вот она!.. Какая ж она добрая, приветная да пригожая!.. Доверчиво смотрит Таня в ее правдой и любовью горевшие очи, и любо ей слышать мягкий, нежный, задушевный голос знахарки... Ровно обаяньем каким с первых же слов Егорихи возникло в душе Тани безотчетное к ней доверие, беспричинная любовь и ничем необоримое влеченье.

— Какое ж у тебя до меня дело, красавица? — спросила тетка Егориха.

— Не мое дело,— ответила Таня,— а моей «сударыни». Благодетельница моя, мать родная, может, слыхала ты про купчиху Масляникову, про Марью Гавриловну, что живет в Манефиной обители?..

— Слыхала, девонька, слыхала,— молвила знахарка.— Много доброго про нее слыхала я. Кроткая, сказывают, сердобольная, много горя на долю ее выпало, а

сердце у ней не загрубело... И честно хранит вдовью участь... Все знаю, лебедушка... Николи не видывала в глаза твоей Марьи Гавриловны, а знаю, что вдовица она добрая, хорошая.

— Ангел божий — вот она какова, тетушка,— с глубоким чувством любви порывисто молвила Таня.

— И ты, по всему вижу, девушка добрая, хорошая,— сказала знахарка.— Хороших людей только хорошие любят.

— Больнехонька она, тетушка, напущено на нее...— начала было Таня.

— Погоди, погоди маленько, красавица,— все по́ ряду расскажешь,— сказала Егориха, взглянув на разгоравшуюся в небе зарю.— Видишь, солнышко близится, скоро народ подыматься учнет — нехорошо, как тебя на деревне увидят, парни у нас бедовые... Не ровён случай — со стороны кто увидит тебя — нехорошая слава пойдет... Дойдут напрасные речи до Марьи Гавриловны, она оскорбится на тебя... Пойдем-ка мы с тобой на всполье, да там, походя, спустимся в Каменный Вражек... Сегодня на Тихов день [1] тиха, добра Мать Сыра Земля... И солнышко сегодня тихо течет по́ небу... И певчие пташки с нынешнего дня затихают... Свет тихий святыя славы господней сегодня сияет!.. От него все травы полным соком наливаются и вплоть до Иванова дня в целебном соку стоят... Нельзя упустить сегодняшней росы утренней. На Тиховой росе — надо травы рвать, корни копать, цветы собирать... Пойдем... Ходючи со мной, порасскажешь про болезнь Марьи Гавриловны.

Сердце замерло у Тани, страсть напала на нее... «Зелья сбирать, коренья копать!.. Колдунье помогать!» — шевельнулось у ней на уме, но Егориха ровно прочла, что у нее по мыслям прошло.

— Именем Христовым да именем пресвятой богородицы те травы собираются...— сказала она.— Сорви травку без имени божьего — не будет от нее пользы человекам... Ты не верь тому, красавица, что келейницы про господне созданье рассказывают... По-ихнему — и табак трава, не богом сотворенная, а диаволом, и дорогой травой [2] лечиться не следует потому-де, что, когда

[1] Июня 16-го св. Тихона.
[2] Smillax sarsaparilla.

господь по земле ходил, все тра́вы перед ним преклонилися, не поклонилась одна дорогая трава... И гулёна[1], по-ихнему, содомское яблоко, и чай от бога отчаивает, и кофий строит ков на Христа... Много пустого плетут ваши старицы...

Таня молчала, с удивлением слушая речи знахарки.

— Над старыми книгами век свой корпят,— продолжала та,— а не знают, ни что творят, ни что говорят... Верь мне, красавица, нет на сырой земле ни единой былиночки, котора бы на пользу человекам не была со́здана. Во всякой травке, во всяком цветочке великая милость господня положена... Исполнена земля дивности его, а любви к человекам у него, света, меры нет... Мы ль не грешим, мы ли злобой да кривдой не живем?.. А он, милосердный, все терпит, все любовью своей покрывает.

Отлегло у Тани о́т сердца. С простодушной доверчивостью спросила она:

— Так взаправду ты, тетенька, с крестом да с молитвой свое дело творишь?

— А то как же? — ответила знахарка.— Без креста, без молитвы ступить нельзя... Когда травы сбираешь, корни копаешь — от господа дары принимаешь... Он сам тут невидимо перед тобой стоит и ангелам велит помогать тебе... Вели́ка тайна в том деле, красавица!.. Тут не суетное и ложное — доброе, полезное творится,— богу во славу, божьему народу во здравие, от лютых скорбей во спасение.

— А как же я боялась тебя, тетушка!..— промолвила Таня.

— Еще б не бояться!.. В скиту живешь,— улыбнулась Егориха.—Поди, там про меня и не знай чего в уши тебе ни напели. С бесами-де водится, с демонами... Так, что ли?

— Что говорить, тетенька!.. Всякого было насказано,— ответила Таня, оправляя на голове косынку.

— Бог с ними! — незлобно и тихо промолвила знахарка.— А ты вот что знай, вот что ведай, красавица: есть тайны добрые, есть тайны темные. Добрые о̀т бога, темные от врага идут. Тайную божию силу ничто отменить не может, а темную силу вражию господней силой

[1] Картофель.

побороть можно... Есть знахари, что́ темной силой орудуют, и то человеку на вред и погибель... А кого умудрил господь свою тайную силу познать иль хоть самую ма̀лицу силы той,— тому человеку легко отделать [1] вред, лихим знахарством напущенный... Темная сила от имени божия трепещет, от силы его, как дым, исчезает... И кого умудрит господь уразуметь тайную силу его, тот видит ее и в зорях алых, и в радуге семицветной, и в красном солнышке, и в ясном месяце, и в каждом деревце, в каждой травке, в каждом камешке... Везде, во всем разлита тайная божия сила...

— И тебя умудрил господь? — умильно спросила Таня, с любовью глядя в светлые очи знахарки.

— Умудрил, красавица, хоть на малость самую, а умудрил,— с благоговеньем ответила Егориха.— И за тот великий дар денно и нощно благодарю я создателя...— Все-таки иной раз доведется хворому, недужному пользу принесть, все-таки иной за тебя богу помолится... Однако прибавим шагу, туманы вздымаются, роса умывает лицо Матери Сырой Земли. Гляди, какие полотенца по́ небу несутся. Утираться ими Матери Сырой Земле... Видишь? — прибавила она, указывая на утренние перистые облака, что розовыми полосами с золотистыми краями подернули небесную глубь.

— Рассказывай теперь про Марью Гавриловну... Что такое приключилось с ней? — молвила Егориха, когда подошли они к Каменному Вражку.

Таня рассказала, как умела. Внимательно слушала ее знахарка и, когда девушка кончила, так заговорила:

— На самоё бы надо взглянуть, да ходу мне в вашу обитель нет... Ну не беда: дам я тебе корешков да травок, зашей ты их в какую ни на есть одежу Марьи Гавриловны, да чтоб она про то не знала, не ведала... Всего бы лучше в рубаху да поближе к вороту... А станешь те травы вшивать, сорок раз «Богородицу» читай. Без того не будет пользы... Ну вот и пришли.

Вынула знахарка косарь из пе́стера и, обратясь на рдеющий зарею восток, велела Тане стать рядом с собою... Положила не взошедшему еще солнцу три поклона великие да четыре поклона малые и стала одну за

---

[1] Отделать — снять порчу.

другою молитвы читать... Слушает Таня — молитвы все знакомые, церковные: «Достойно», «Верую», «Богородица», «Помилуй мя, боже». А прочитав те молитвы, подняла знахарка глаза к небу и вполголоса особым напевом стала иную молитву творить... Такой молитвы Таня не слыхивала...

То была «вещба» — тайное, крепкое слово.

«Встану я, раба божия Наталья, помолясь-благословясь, пойду во чисто поле под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные о̀блаки. Стану я, ра̀бица божия, во чистом поле на ровном месте, что на том ли на престоле господнем... облака́ми облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец-солнце красное, подпояшусь светлыми зо̀рями, обтычусь частыми звездами, что вострыми стрелами... Небо, ты, небо!.. Ты, небо, видишь!.. Ты, небо, слышишь!.. Праведное солнце! благослови корни копати, цветы урвати, травы сбирати!.. А на что их сбираю, было б на то пригодно!.. Во имя отца и сына и святаго духа. Аминь».

Потом пала ниц на̀ землю. Тут на иной лад, иным напевом завела она мольбу к Матери Сырой Земле:

Ох, ты гой еси, Сыра-Земля!
Мати нам еси родная,
Всех еси ты породила,
Воспоила-воскормила
И угодьем наделила...
Для людей своих детей —
Зелий еси породила
И злак всякий напоила,
Польгой [1] беса отгоняти
И в болезнях помогати,—
Повели с себя урвати
Зелий, снадобьев, угодьев
Ради польги на живот.

И, встав, поклонилась трижды на восток... И со словами: «Господи, благослови» — стала косарем копать коренья и класть их в лычный пе́стер.

И, принимаясь за рытье каждого корня, «господи, благослови» говорила, а копая — «Богородицу» читала.

Слушает Таня, сама дивуется. «Что за речи такие, что за молитвы чудные? — думает она про себя.— А нет

[1] Вместо «польза» в Нижегородском и Костромском Заволжье говорят «польга».

в тех молитвах никакой супротивности, ни единого черного слова знахарка не промолвила. Божьим словом зачала, святым аминем закончила».

То были вещие слова, с которыми наши предки в мольбах своих обращались к Небу ходячему, к Солнцу высокому, к Матери Сырой Земле... Как ни старалась церковность истребить эти остатки языческой обрядности, затмить в народной памяти все, что касалось древней веры,— все-таки много обломков ее доселе хранится в нашем простонародье. Святочные гаданья, коляда, хороводы, свадебные песни, плачи вопрениц, заговоры, заклятья,— все это остатки языческой обрядности, а слова, при них употребляемые,— обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским богам. Но ни в каких песнях так полно и так цельно не сохранились слова стародавних молитв, как в таинственных заговорах и заклинаньях. Составляя предмет знания немногих, цельней и сохранней переходили они из рода в род... Русский народ, будучи в делах веры сильно привержен к букве и обряду, сохраняет твердое убежденье, что молитва ли церковная, заговор ли знахарской действуют лишь тогда, если в них не опущено и не изменено ни единого слова и если все прочтено или пропето на известный лад исстари установленным напевом. Оттого в заговорах и в заклятьях и дошли до нас сохранно древние молитвы предков, воссылавшиеся ими излюбленным, родным богам своим. Со временем в иных заговорах появились обращения к христианским святым и к византийским бесам, о которых понятия не имели старорусские поклонники Грома Гремучего и Матери Сырой Земли. Святых включили в заговоры, чтобы не смущать совести верующих, а под незнакомыми язычникам бесами народ, по наставлениям церковных пастырей, стал разуметь древних богов своих. Несмотря на такие искажения, слова заговоров доселе веют стариной отдаленной... В них уцелела обрядность, чтимая давними нашими предками..

— Гляди, красавица,— говорила Тане знахарка, копая один корень руками.— Вот сильная трава... Ростом она с локоть, растет кусточком, цветок у ней, вишь, какой багровый, а корень-от, гляди, крест-накрест... Железом этот корень копать не годится. руками надо брать...

Это Петров крест[1], охраняет он от нечистой силы... Возьми.

Таня взяла корешок. Знахарка продолжала сбор трав и рытье кореньев... Тихо и плавно нагибала она стройный стан свой, наклоняясь к земле... Сорвет ли травку, возьмет ли цветочек, выроет ли корень — тихо и величаво поднимает его кверху и очами, горящими огнем восторга, ясно глядит на алую зарю, разливавшуюся по небосклону. Горят ее щеки, высоко подымается грудь, и вся она дрожит в священном трепете... Высокò подняв руку и потрясая сорванною травой в воздухе, восторженно восклицает:

— Небо, ты видишь!.. Небо, ты слышишь!.. Праведное солнце, благослови!

Набрав несколько трав, знахарка стала подавать их одну за другою Тане... А подавая, так говорила:

— Вот Адамова глава[2], полезна от всякой болезни, ото всякого зла, отделывает порчу, отгоняет темную силу... Бери... А вот плакун-трава[3]. Эта трава всем травам мати. Когда жиды Христа распинали, пречистую кровь его проливали, тогда пресвятая богородица по сыне слезы ронила на матушку на Сыру Землю... И от тех слез зарождалась плакун-трава... От плакун-травы бесы и колдуны плачут, смиряет она силу вражию, рушит злое чародейство, сгоняет с человека уроки и притку... Бери... А это чертогон-трава[4], гонит бесов, порчу, колдунами напущенную, сурочивает, всякие болезни целит и девичью зазнобу унимает... Бери... А вот и беленький о́долень[5] нашелся,— сказала знахарка, ступая в болотце, по которому пестрели ярко-желтые купавки и полевые о́долени.— Чуешь, каков благоуханный цвет!.. Одолеет он всякую силу нечистую!.. Мать Сыра Земля со живой водой тот цветок породили — оттого ровна у него сила на водяницу и на поляницу[6]. Возьми цветик, красави-

---

[1] Петров крест — Lathraea Squammaria.

[2] Адамова голова, иначе Адам-трава, или кукушкины сапожки — Cyrpedium Calceolus.

[3] Плакун, иначе луговой зверобой — Hypericum Ascyron.

[4] Чертогон — Scabiosa Succissa.

[5] Одолень — Nymphea alba. Тем же именем «одолень» зовется и другое растение, Euphorbia pilosa.

[6] Водяница — нечистая сила в водах, поляница — в полях и вообще на земле.

ца... А вот и прострел-трава[1]. Когда сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на творца-создателя, Михайло архангел согнал его с неба высокого на сыру-землю. Сатана со своими демонами за прострел-траву спрятался, а Михайло архангел кинул в него громову стрелу. Прострелила стрела ту траву сверху донизу, от того прострела разбежалися демоны и с самим сатаной провалились в преисподнюю... И с той самой поры бесовская сила боится прострел-травы и бежит от нее на двенадцать верст. Избавляет прострел-трава от призора очес, от урочных скорбей, от порчи, от притки и ото всякого бесовского наважденья... Бери... А вот и седьмая трава нам надобная — это царь-трава[2]. Как громовые стрелы небесные гонят темных бесов в преисподнюю, так и царь-трава могучей своей силою далеко прогоняет силу нечистую... Вот и все семь трав, что пригодны к утолению скорби Марьи Гавриловны... Отломи от каждой по кусочку — да не забудь — с молитвой и, перекрестясь, зашей, как я сказывала... Дня через три прибеги сюда на Каменный Вражек сказать, будет ли какая перемена у Марьи Гавриловны. Не будет — ино другим тогда пособлю... А теперь беги скорей, красавица,— солнышко на всходе, келейницы ваши скоро проснутся, увидать тебя могут смотницы[3]... Ваши матери нанести нѐбыль на девушку в грех не поставят... Беги, девонька, проворней беги!.. Христос с тобою!..

Простясь со знахаркой, бегом пустилась Таня по поляне, направляясь к Манефиной обители... Но когда бежала она мимо часовни, рябая звонариха Катерина колотила уж в свои била и клепалы, сзывая келейниц к заутрене.

Не целят корни и травы Марью Гавриловну, нет ни малого от них облегченья. Не раз бегала Таня на Каменный Вражек, не раз приносила новые снадобья от знахарки и клала их под постель Марьи Гавриловны либо в воду, что приносила умываться ей... Пользы не виделось.

Что ж за недуг такой Марье Гавриловне приключился?.. Что за немощь такая на нее накинулась?

---

[1] Прострел-трава, иначе лютик — Aconitum Jycoctonum.
[2] Иначе купальница — Ranunculus acris.
[3] Смотница — сплетница, клеветница.

Через две недели наказывала она Алексею в Комарове побывать. Прошло четыре, а его нет как нет... Оттого и беспокойные думы с утра дò ночи, оттого и суетная хлопотливая, оттого и думка каждое утро мокрà.

Не огни горят горючие, не котлы кипят кипучие, горит-кипит победное сердце молодой вдовы... От взоров палючих, от сладкого голоса, ото всей красоты молодецкой распалились у ней ум и сердце, ясные очи, белое тело и горячая кровь... Дòсыта бы на милого наглядеться, дòсыта бы на желанного насмотреться!.. Обнять бы его белыми руками, прижать бы его к горячему сердцу, растопить бы алые уста его жарким поцелуем!..

Про Евграфа помину нет... Ровно она его не знавала, ровно его на свете никогда не бывало...

СОДЕРЖАНИЕ

В ЛЕСАХ

Книга первая

Часть вторая (главы 6—13) 7

Книга вторая

Часть третья (главы 1—12) 201

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)
Собрание сочинений
в восьми томах.
Том III

Оформление художника
Б. В. Столярова.
Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 21/XI 1975 г. Подписано к печати 2/IV 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Объем 21,42 усл. печ. л. 22,56 уч.-изд. л. Тираж 375 000 экз. Изд. № 1014. Заказ № 1433. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683

20 коп.